



Всемирный клуб одесситов

Константин Паустовский

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ
ОЖИДАНИЙ

Рассказы, дневники, письма



ПЛАСКЕ
Одесса 2012

УДК 785.16(477.74)(09)

ББК 85.318.503(4Укр-4Од)

2012

З 671 Паустовский Константин Георгиевич
Время больших ожиданий. Рассказы, дневники, письма.
Ред. Ф. Кохрихт. Всемирный клуб одесситов
Одесса: ПЛАСКЕ, 2012. – 486 с., илл.

ISBN 978-966-8692-45-1

В книгу включены повесть «Время больших ожиданий», главы из автобиографического цикла «Повесть о жизни», связанные с Одессой, автобиографические рассказы, письма К. Паустовского 1920-х и 1950-х гг., одесский дневник писателя 1920 года. Публикуются также рукописи писателя из фондов Одесского литературного музея.

На обложке – Одесса, Карантинная гавань, 1910-е годы XX века.

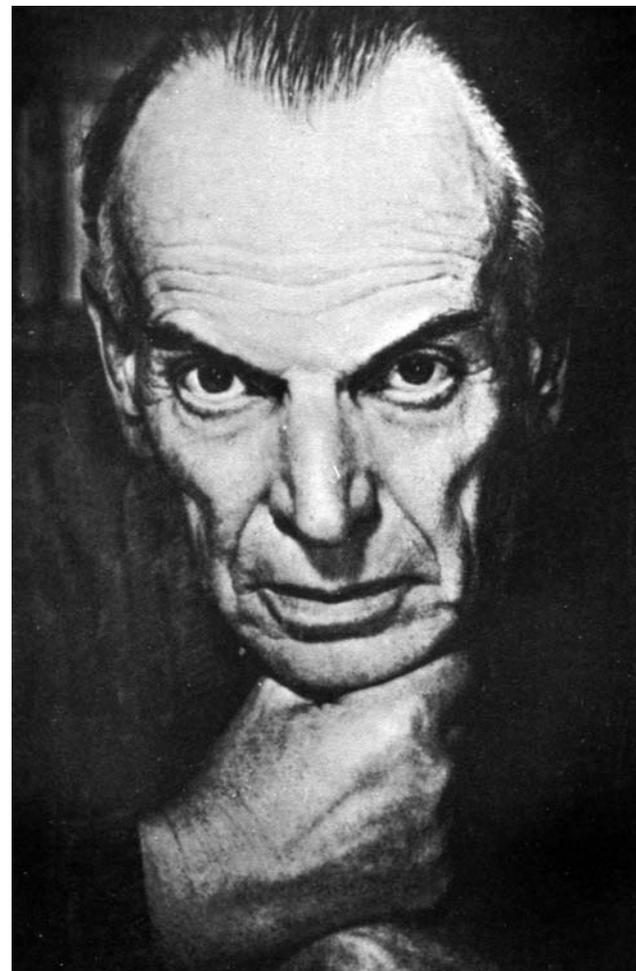
Иллюстрации из фондов Одесского литературного музея, Государственного архива Одесской области, собраний Р. Александрова, Е.М. Голубовского, А.А. Дроздовского, С.В. Калмыкова.

© Галина Арбузова и наследники, 2012

© Алена Яворская, составление, предисловие, подбор иллюстраций, 2012

© Ростислав Александров, «Что было, то было...», подбор иллюстраций, 2012

© Сергей Калмыков, подбор иллюстраций, 2012



Одесса прекрасна. Каждый, кто ее покинул, испытывает тоску по ее акациям, ее говору, ее великолепному морю – родному и потому самому лучшему из всех морей.

Всему
К. Паустовскому

Обычно писатель знает себя лучше,
чем критики и литературоведы.

К. Паустовский

Алена Яворская

«Глубокое очарование жизнью»

Благодарим за помощь Инну Арутюнову, Валентину Голубовскую, Евгения Голубовского, Олега Губаря, Анатолия Дроздовского, Александру Ильф (Москва), Виктора Корченова (Нью-Йорк), Еву Краснову, Аркадия Креймера, Сергея Лущика, Елену Погорельскую (Москва), Михаила Пойзнера, Владимира Хазана (Иерусалим), сотрудников Одесского литературного музея Наталью Михайлову, Эмму Насонову, Елену Черненко, Гарию Гехтлера, Евгению Шабельскую, Виктора Глушакова; сотрудников Одесской национальной научной библиотеки им. М. Горького Ольгу Барковскую, Марину Иванову, Татьяну Щурову; сотрудников Государственного архива Одесской области Лилию Белоусову, Светлану Герасимову, Сергея Березина, Татьяну Сороковскую, Степана Желяскова; сотрудницу фирмы «Нулевой километр» Екатерину Веселкову.

Одесский миф известен во всем мире. О нем говорят на всех языках Земли и на всех континентах. От Северного полюса до Южного, от Огненной Земли до Норвегии.

Но у каждого мифа должен быть свой певец, как Гомер, благодаря которому мы знаем о войне греков с троянцами.

«Одесский миф» созвучен с «Одиссеей». И пусть до сих пор спорят о том, почему именно Одессой назвали наш город, – мы-то знаем, что действительно унаследовали хитроумие и удачливость Одиссея. Его воспел Гомер. А кто же воспел Одессу?

Творцам одесского мифа несть числа.

Первыми разносили по миру славу о новом городе в песнях украинские кобзари: «А в Одесі добре жити. Мішком хліба не носити, на панщину не ходити...». Для аристократических читателей была книга русского князя Долгорукого: «Одеса сама собою указывает выгоды свои настоящие и будущие. Довольно пробыть в ней день или два, чтобы удостовериться в пользе, которая от нее происходит удобна». Для негоциантов – записки французского купца Шарля Сикара «Из бедной деревушки Гаджибей... город сей... построенный на берегу такого моря, которое почиталось опаснейшим, сделался в столь короткое время самым цветущим торговым городом в Европе».

И вот многочисленные гости юной Одессы во все концы света едут с рассказами о вольном городе, на строительстве которого, как и на Вавилонской башне, смешались языки и народы. Но – о чудо! Город был построен,

и понимали все друг друга, говоря на разных языках, и возник новый, общий язык – одесский.

Вплетались все новые имена – и прославленные впоследствии, и забытые: Александр Пушкин, Яков Полонский, Осип Рабинович, Иван Бунин, Александр Куприн, Шолом-Алейхем, Влас Дорошевич, Александр Федоров, Александр Дерibas, Владимир Жаботинский, Семен Юшкевич, Корней Чуковский, Дон Аминадо, Алексей Толстой. Приложили перо великие иностранцы – Марк Твен, Жюль Верн и Виктор Гюго. И, наконец, знаменитая одесская школа – Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Вера Инбер, Илья Ильф и Евгений Петров, Валентин Катаев, Семен Кирсанов, Юрий Олеша, Зинаида Шишова и многие другие, потерявшиеся на фоне известных имен.

Но в смутные времена революций, эмиграции, во время строительства социализма и репрессий, войн и борьбы с космополитизмом одесский миф не то чтобы исчез, но слегка забылся. Город жил вопреки всему, и, как уверял когда-то Бабель, «Одесса стоит крепко и ее изумительная способность ассимиляции не потеряна».

Но кто же напишет об Одессе? Расстрелян Бабель, молчит Олеша, не в чести Багрицкий.

И тогда в конце пятидесятых появляется удивительная книга – «Время больших ожиданий». Ее автор немного старше одесситов, он не родился в нашем городе, но, как ни странно, с двадцатых годов и друзья, и недруги упорно причисляли его к одесской школе, к юго-западным, южнорусским.

Константин Георгиевич Паустовский и впрямь во многом может считаться одесситом. Русский (советский, как говорили раньше) писатель Паустовский родился в Москве, учился в Киеве, в нем смешались украинская, польская, турецкая кровь. Паустовский – парадоксально сочетание неисправимого романтика и мягкого человека, который мог проявить неожиданную твердость и неуступчивость, осторожного писателя – и одного из создателей считавшегося оппозиционным альманаха «Тарусские страницы».

«Желание необыкновенного преследовало меня с детства... Я не ушел от романтики и никогда от нее не уйду – от очистительного ее огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от постоянного ее непокоя. Романтическая настроенность не позволяет человеку быть невежественным, трусливым и жестоким», – писал Паустовский.

Романтик не может не мечтать о дальних странах, о море. Одна из первых встреч будущего писателя с морем была в Одессе. Впервые четырнадцатилетним он был здесь по пути в Крым:

«Ехали мы через Одессу. Гостиницы в Одессе были переполнены. Пришлось остановиться в подворье Афонского монастыря, около вокзала. Монастырские послушники – бледные юноши в рясах и черных лакированных поясах – угощали нас щами из крапивы и сушеной камсы.

Я был в восторге от этих щей, от нарядного белого города, шипучей сельтерской воды и от порта. Над ним сизыми тучами носились голуби и перемешивались с белыми тучами чаек.

Опять я встретился с морем. У этих степных берегов оно было ласковее, чем у берегов Кавказа».

После этой встречи многое было в жизни юноши – распад семьи, скитания, работа, первая публикация. Символично – первый опубликованный рассказ молодого автора назывался «На воде» и увидел свет в том же киевском журнале «Огни», в котором через три года дебютирует Бабель.

Паустовский учился и на историко-филологическом факультете Киевского университета, и на юридическом факультете Московского. Началась первая мировая война. Как младший сын в семье он был освобожден от службы в армии, но осенью 1914 пошел работать санитаром на санитарный поезд (вначале тыловой, а затем полевой военно-санитарный). В 1915 санитар Паустовский вновь увидел Одессу. Летом 1916 он женился на Екатерине Загорской, также работавшей в поезде сестрой милосердия. После гибели на фронте двух старших братьев Константин Георгиевич возвращается в Москву. И начинается полоса скитаний. Недаром именно «Книгой скитаний» закончится цикл его автобиографических повестей.

В конце 1919 года странствия приводят его с женой в Одессу. Лихорадочно оживленный город, где собрались все беглецы из Москвы и Петербурга. Выступления знаменитостей и уличные грабежи, тягостные раздумья – уехать или остаться, необходимость заработка – вот составляющие той зимы. Да и выдающиеся литераторы, и актеры «остались в Одессе в незначительном количестве», – грустно острила одна из газет, сообщая о предстоящем литературном вечере.

«Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило – их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду», – писал Паустовский в начале шестидесятых. Вопреки этому утверждению его дневники 1920 года вовсе не наполнены ощущением «больших ожиданий», скорее уж – распада мира. И все же именно в 1920-21 произошли две встречи, которые, как принято говорить, стали основопола-

гающими в жизни Паустовского. Две встречи – не считая многих прочих одесских знакомств – с газетой «Моряк» и Исааком Бабелем.

К «Моряку», в котором он проработал около полутора лет, Паустовский всю жизнь испытывал самые теплые чувства. Впервые он написал об этой газете в рассказе «Слава боцмана Миронова» в 1921 году. «Моряку» посвящена глава «Веселье и голод» в опубликованной в 1936 повести «Черное море». В пятидесятые и шестидесятые годы Паустовский присылал письма и поздравления газете. В «Моряке» же публиковались и главы из его новых книг. Словом, любовь была нежной и обоюдной.

И написанные Паустовским в поздравлении слова «Судьба морской газеты «Моряк» была в такой же степени бурной и интересной, как и жизнь любу из ее читателей», – в полной мере можно отнести и к нему самому.

Знакомство и дружба с Бабелем многое определила в дальнейшей судьбе Паустовского.

В истории их отношений много загадочных совпадений. Первые рассказы опубликованы в одном журнале, правда, с разрывом в несколько лет. Оба они – и реалист Бабель, и романтик Паустовский – скитальцы, которым не сидится на одном месте, оба, как говорят в Одессе, любопытны «до жизни».

Еще один загадочный случай, о котором вспоминал по семейным преданиям сын Паустовского Вадим. Летом 1921 года жили рядом на даче Бабель и Паустовский с женами, и Исаак Лившиц. Екатерина Загорская, жена Паустовского, в начале 1910-х изучала французский язык в Париже, проводила время в музеях, общалась с эмигрантами и из любопытства посещала школу хиромантии. В свое время мадам Ленорман предсказала великое будущее молодому артиллерийскому офицеру. Став императором Франции, Наполеон отблагодарил гадалку. В основанной мадам Ленорман школе и брала уроки гадания по руке девушка.

«Порой мама очень точно гадала по руке своим знакомым. Правда, не всегда охотно, так как очень при этом уставала. Отец, переняв кое-что у нее, тоже пытался гадать, но у него получалось неважно. Видимо, здесь дело не только в знаниях, но и в интуиции.

Однажды дачным вечером мама предсказала Бабелю в ближайшие годы крупный литературный успех и известность, если не мировую, то всеевропейскую. Как Ленорман Наполеону. Это вызвало взрыв восторга и град шуток в адрес Бабеля, все помыслы которого в то время были направлены на то, чтобы опубликоваться в одесских газетах и журналах, не говоря уже о московских».

Что забавно, в материальном смысле для Екатерины предсказание имело примерно те же последствия, что для мадам Ленорман. После того как у нее родился сын, Бабель привез из Парижа полный чемодан вещей и игрушек, что в те годы было, пожалуй, важнее для молодой матери, чем золото.

К дачному периоду относится и еще один занимательный документ. Дачники образовали клуб литераторов «Под яблочным деревом». Действительными его членами были Бабель, Паустовский, Исаак Лившиц, Евгений Иванов и одесские журналисты Крути и Зоров.

Итогом совместного творчества был «Устав клуба литераторов», рукопись которого сохранилась в архиве Паустовского. Первый же ее параграф: «Членами Клуба могут быть только несомненно чистокровные, густопсовыые литераторы (расклейщики газет, выпускающие, любители порнографических программ и одесские репортеры исключаются)».

В 1925, когда почти все действующие лица «Времени больших ожиданий» перебираются в Москву, журнал «Огонек», явно покровительствующий одесситам – редактором был Михаил Кольцов, заместителем Ефим Зозуля, – планирует книгу «Семь одесситов».

«В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Колычева, Гребнева и меня, хотя я не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но все почему-то считали меня одесситом, очевидно, за мое пристрастие к одесским рассказам», – вспоминал Паустовский.

Предисловие написал Бабель:

«...Вот семь молодых одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта – и они укатили бы в недосыгаемые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег.

Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губстатбюро. И потому что у них нет ни визы, ни английских фунтов – поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подпеваает им Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он в тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков».

Слова Бабеля о «душевном и чистом голосе» оказались пророческими. Именно так написаны книги Паустовского, и особенно «Повесть о жизни» – шесть автобиографических книг.

«По существу творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда», – писал Паустовский. И в полной мере это оправдано в повести об Одессе.

Если относиться к этой книге как к подлинной автобиографии, то неизбежно возникнет ряд вопросов: почему не упомянута жена, вместе с которой он жил на Черноморской, почему о рассказе «Любка Казак», опубликованном в 1924, Бабель говорит в 1921, почему «день мирного восстания» перенесен с августа 1919 на лето 1920? Да и много еще вопросов может задать въедливый читатель. В одесском государственном архиве хранятся дела сотрудников Опродкомгуба Константина Паустовского, Василия Регинина, Якова Лившица, увы, утрачено дело Владимира Головчинера. И в сохранившихся делах многие детали противоречат тексту книги – так, например, Паустовский начал работать в Опродкомгубе с 17 февраля 1920, а Головчинер со 2 марта. Ошибки памяти? Нет, ведь недаром Константин Георгиевич писал: «Рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя бы и неяркому свету, легкий романтический вымысел. Он освещал, как маленький луч на картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы и замечены».

Из письма 1957 года одесскому журналисту Якову Кравцову, сотруднику «Моряка»: «Очень хочется побродить по Одессе, по Фонтанам, кое-что вспомнить и кое о чем написать».

Паустовский и вспомнил, и написал. Казалось бы, времена либеральные: прошел XX съезд, был разоблачен культ личности, реабилитировали Бабеля. Но повесть вызвала неприятие с самого начала. Журнал «Новый мир», редактором которого был Александр Твардовский, по праву считался самым прогрессивным – вспомнить хотя бы публикацию лагерных рассказов Солженицына. Но повесть, в которой нет ни слова об арестах и расстрелах, о ЧК, повесть о веселой голодной жизни Одессы все же вызывает неприятие. И Твардовский пишет письмо с критическими замечаниями:

«Нет мотивов труда, борьбы и политики, по-прежнему в ней есть поэтическое одиночество, море и всяческие красоты природы... последние могикане старой и разные щелкоперы новой прессы. Одесса, взятая с анекдотически-экзотической стороны».

Не может не вызывать по-прежнему возражений угол зрения на представителей «литературных кругов»: Бабель, апологетически распространенный на добрую четверть повести».

Твардовский рекомендует внести в повесть исправления, главные требования: «1) Несколько добрых, не формальных слов о людях труда, налаживающих новую жизнь в Одессе после ухода белых; 2) Решительного сокращения апологетического рассказа о Бабеле, который, поверьте, не является для всех тем «божеством», каким он был для литературного кружка одесситов».

Возмущенный Паустовский отвечает нехарактерно для него резким письмом: «Есть люди. Люди во всем разнообразии их качеств, и незачем клеить на них унижительные ярлыки. У какого-нибудь одесского репортера может быть больше душевного благородства, чем у Вас, сомнительных учителей жизни. Что касается Бабеля, то я считал, считаю и буду считать его очень талантливым писателем и обнажаю голову перед жестокой и бессмысленной его гибелью, как равно и перед гибелью многих других прекрасных наших писателей и поэтов, независимо от их национальности. Если редакция «Нового мира» думает иначе, то это дело ее совести». Он отдает повесть в журнал «Октябрь».

В 1959 году, раскрыв третий, затем четвертый и пятый номера журнала «Октябрь», все читающие жители Советского Союза узнали об удивительном городе Одессе. Оказалось, что это – не только город-герой, город-порт и город-курорт, а тот самый «значительный и очаровательнейший город... город, в котором легко жить, в котором ясно жить». И пусть эта фраза Бабеля читателям была пока недоступна, но для возвращения его имени из небытия – еще до переиздания книг Бабеля – Паустовский сделал все, что мог.

Василий Туманский утверждал, что одесской главой «Евгения Онегина» Пушкин дал Одессе «грамоту на бессмертие». Это было в девятнадцатом веке. В двадцатом веке то же можно сказать и о книге Паустовского.

С этого момента и началось возрождение одесского мифа. Не только советские читатели – старшее поколение что-то и раньше знало, но и иностранцы, – а эта повесть Паустовского была переведена на английский, немецкий, итальянский, голландский, французский, японский, – узнали об Одессе, характере, нравах и быте одесситов, об одесских песенках, одесских улицах, одесских писателях. И даже до перестройки (а уж тем более после) можно было заметить интуриста, бродящего по Одессе с книгой Паустовского в руках. А что уж говорить о многочисленных читателях со всех концов страны – от Архангельска, Ташкента, Новосибирска, Курил до высокомерных москвичей и ленинградцев, увлеченно ищущих сходства и отличия Одессы Паустовского и этой, нынешней!

Паустовского можно сравнить не только с Гомером, но и с Нестором летописцем (недаром так созвучны названия: «Повесть временных лет» и «Время больших ожиданий»). Но, возможно, наиболее точно сравнение с Платоном, благодаря которому мы знаем об Атлантиде, затонувшей, исчезнувшей. Ведь той Одессы, отсвет, остатки, осколки которой застал Паустовский в 1920, давно нет. Ее планомерно уничтожали. Как написал в 1921 году Владимир Нарбут, о котором после долгих лет молчания одним из первых вспомнил Паустовский:

О город Ришелье и Дерибаса!
Забудь себя! Умри и встань другим.

И если что-то кроме мифа и сохранилось, то благодаря людям, подобным Паустовскому. В завещании своем он писал: «Мы жили на этой земле. Не отдавайте ее в руки опустошителей, пошляков и невежд. Мы потомки Пушкина, и с нас за это спросится».

Такие люди были и самыми внимательными читателями. После публикации в «Октябре» из Одессы посыпались письма, в которых кроме восхищения и благодарности указывали на неточности и ошибки – от авторства песни «Ужасно шумно в доме Шнеерзона» (Паустовский ошибочно приписал ее Ядову) до неточности в морской терминологии. Прочитав «Время больших ожиданий», многие одесситы стали серьезно изучать историю города, находить реальные адреса, людей, упомянутых Паустовским. В Одессе повесть вышла в издательстве «Маяк» в 1961 году и, несмотря на тираж в сто тысяч, была раскуплена в считанные часы. В 2008 издательство «Optimum» под одной обложкой опубликовало повесть и часть одесских дневников.

Казалось бы, зачем еще одно издание, когда сегодня текст младшему поколению читателей доступен в Интернете, а у старшего давно стоит на книжной полке?

Но впервые с 1959 года в этой книге можно будет прочитать именно тот текст «Времени больших ожиданий», который вызвал восхищение первых читателей. Многие фразы, ситуации при дальнейших публикациях были сняты и с тех пор не входили ни в одно издание. Кроме снятого цензурой сам автор изменил эпизод в главе «Мнимая смерть художника Костанди». По рассказам старых одесситов, дочери художника, недовольные описанием отца, прислали возмущенное письмо, и Паустовский переписал часть главы. Еще об изменениях: в первом варианте наводчика Циреса убивал Мишка Япон-

чик. Почему Паустовский позднее заменил его Пятирубелем – сложно сказать. То ли напомнили, что Япончик погиб в 1919, а Бабеля в то время в Одессе не было; то ли из-за того, что в рассказе Бабеля о наводчике Цудечкисе «Справедливость в скобках» (который Паустовский практически пересказывает в этой главе) Бенья Крик не убил старика; то ли цензура вмешалась, – но имя Япончика исчезает.

Все восстановленные фразы и эпизоды для удобства читателей выделены курсивом. Лишь в одном случае сохранена правка Паустовского – после писем из Одессы с уточнением авторства он назвал настоящего создателя песни «Ужасно шумно в доме Шнеерзона» Ямпольского. В первой редакции оркестр в ресторане играл для Ядова не «Бублички», а «Свадьбу».

Перед текстом журнальной публикации было предисловие Паустовского. Он писал:

«Многие, что читатель или критик, могут искать и не найдут в этой повести уже сказанного раньше, в предыдущих книгах. А повторять одно и то же из книги в книгу я считаю излишним.

Эта повесть – не история. Автобиографию свою я пишу, твердо следуя принципу – писать только то, чему я сам был свидетелем. Поэтому в повести нет и не может быть описания всех событий, относящихся к месту и времени этой книги, то есть Одессы 1920 и 1921 годов».

Уникальность этой книги в том, что здесь впервые собрано под одной обложкой все, что относится к повести «Время больших ожиданий» и к жизни Паустовского в Одессе. И здесь уместно неоднократное повторение слова «впервые».

Впервые под одной обложкой собрано почти все, написанное Паустовским об Одессе. В книгу впервые в полном объеме включены все известные на сегодня одесские дневники Паустовского 1919-1921 годов. Дополняют текст повести его стихи и публикации в «Моряке», письма жене. Позволяют проследить одесский период 1915 и 1919 главы из повестей «Беспокойная юность» и «Начало неведомого века». И рассказы, прямо или косвенно имеющие отношение к героям «Времени больших ожиданий»: «Слава боцмана Миронова», «Случай в магазине Альшванга» (об Андрее Соболе, имя которого после первой публикации исчезло из повести), «Инкубатор капитана Косоходова». Первое подробное описание «Моряка» и его сотрудников – глава из повести «Черное море», где кроме известных писателей упомянуты корректоры Подбельский и Харито (Николай Поддорольский и Николай Харджиев).

Статья «Что было, то было...» – результат многолетней работы краеведа Ростислава Александрова в архивах и общения со старожилами – помогает в полной мере ощутить то далекое время больших ожиданий.

На иллюстрациях – и персонажи книги, и виды города. Снимки из фондов Одесского литературного музея, Государственного архива Одесской области, собраний Р. Александрова, Е.М. Голубовского, А.А. Дроздовского, С.В. Калмыкова, многие публикуются впервые.

В Одесском литературном музее есть экспозиция, посвященная Паустовскому, – ее может увидеть каждый одессит или приезжий. Но те рукописи, что хранятся в фондах, – письма в редакцию «Моряка» и одесским друзьям – также собраны воедино впервые, и сопровождает их статья Татьяны Липтуги – создателей музейной экспозиции.

В разные годы, начиная с тридцатых до шестидесятых, Паустовский писал об Одессе, настойчиво повторяя одну и ту же мысль – как много дала ему «дружба с Черным морем, с тенистой и солнечной разнохарактерной Одессой, с ее веселыми людьми, славными одесситами».

Паустовский много сделал для нашего города. А чем отблагодарила его Одесса? Экспозиция в Литературном музее, мемориальный музей писателя, памятник «Времени больших ожиданий» в Саду скульптур Литературного музея, библиотека и улица его имени – и преданность читателей.

И вся эта книга – памятник человеку, который так любил Одессу и так много сделал, для того чтобы любовь эту вместе с ним разделил весь мир.

Из предисловия Константина Георгиевича Паустовского к автобиографической «Повести о жизни»: «Независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет, – чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни».

У Ланжерона прибой пели...



Беспокойная юность Главы из повести

Океанский пароход «Португаль»

<...>

К половине лета поезд так износился, что было приказано срочно увести его на ремонт в Одессу, в тамошние железнодорожные мастерские.

Мы шли в Одессу через Киев – город моего детства. Я снова увидел его на рассвете с запасных путей вокзала. Солнце уже золотило пирамидальные тополя и горело в окнах высоких домов из желтого киевского кирпича.

Я вспомнил его утренние, только что политые улицы, заполненные тенью, вспомнил хозяек, несущих в кошелках теплые булки-франзоли и бутылки холодного молока. Но почему-то меня уже не тянуло в свежесть этих улиц – Киев уходил в невозвратное прошлое.

В том, что прошлое необратимо, были смысл и целесообразность. Убедился я в этом позже, когда сделал две-три попытки вторично пережить уже пережитое. «Ничто в жизни не возвращается, – любил говорить мой отец, – кроме наших ошибок». И в том, что ничто в жизни действительно не повторялось, была одна из причин глубокой привлекательности существования.

После Киева проплыла за окнами кудрявая, перегретая солнцем Украина. Запах бархатцев, желтевших около каждой путевой будки, проникал даже в вагоны.

Потянулись степи, перерезанные золотыми полосами подсолнухов. В стеклянистой дали воздух весь день мрел и мерцал. Я уверял Романина, что этот блеск на горизонте – отражение

в высоких слоях воздуха солнечного света, который падает на море и преломляется в нем.

Романин на этот раз не возражал и не смеялся надо мной. Он декламировал во весь голос у себя в аптеке:

Так вот оно, море! Горит бирюзой,
Жемчужною пеной сверкает.
На влажную отмель волна за волной
Тревожно и тяжело взбегает...

Под Одессой я проснулся. Поезд стоял на полустанке. Я соскочил с площадки на полотно. Морские ракушки затрещали под ногами.

Я увидел низкий дом полустанка с красной черепичной крышей. Около белой стены росла высокая кукуруза. Ветер шелестел ее длинными листьями. Воздух над черепичной крышей и кукурузой переливался великолепной синевой.

– Вот теперь это действительно похоже на отблеск от моря, – сказал мне из открытого окна Романин.

Пахло полынью. Тогда впервые этот горьковатый запах соединился в моем представлении с близостью Черного моря. А потом это соседство полыни и моря так укрепилось, что даже на севере, услышав запах полыни, я невольно прислушивался, надеясь различить отдаленный морской гул. Иногда я будто слышал его, но шумело, конечно, не море, а сосновый лес.

Я был счастлив тем, что через несколько часов увижу море. С детства его веселый пенистый простор запал мне в душу.

Нас подали под разгрузку к одесским пакгаузам. Моря не было видно. Только белел вдали одесский вокзал.

Но все вокруг казалось мне наполненным морем, даже лужи мазута на путях. Они отливали морской синевой. Валявшиеся на земле старые буфера были покрыты корабельной ржавчиной. Так, по крайней мере, я думал тогда.

Нам, санитарам, отвели под жилье старый пассажирский вагон третьего класса. Мы быстро переселились в него. Маневровый паровоз начал толкать этот вагон перед собой, затолкал наконец к низкой ограде пустынного сада и там оставил на все время пребывания в Одессе.

Нам очень нравилась наша стоянка. По утрам мы умывались тут же около вагона из водонапорной колонки. Сквозная тень акаций перебежала по окнам.

За садом шумел маленький базар, а дальше начиналась одесская окраина Молдаванка – приют воров, скупщиков краденого – «маравихеров», мелких торговцев и прочих многочисленных личностей с неясными и неуловимыми занятиями.

Врачи и сестры поселились на даче вблизи Одессы, на Малом Фонтане. Мы ездили к ним почти каждый день.

В день приезда я так и не увидел моря. На второй день я встал очень рано, умылся на путях солоноватой водой и пошел на базар выпить молока и поесть.

На базаре сидели на табуретках красные от жары и крика торговки с закатанными рукавами. Весь день они переругивались, перекликались, зазывали покупателей или подымали этих же покупателей на смех. Переругивались они нарочито визгливыми голосами, зазывали покупателей вкрадчиво, даже кокетливо, насмехались же над ними очень дружно, забывая на это время свои внутренние распри.

– Деточка! – кричали они мне. – Вот молочко топленое! Вот молочко с пенкой! Вам же мамаша ваша дорогая приказала пить молочко с пенкой!

– Семачки жареные! Семачки! – кричали другие мрачными голосами. – За копейку полный карман! За какую-нибудь затертую копейку!

Но интереснее всего было в рыбном ряду. Я долго стоял там около цинковых холодных прилавков, залепленных рыбьей чешуей и посыпанных каменной солью.

Плоские палтусы с сиреневыми костяными наростами на спине смотрели в небо помутившимися глазами. Скумбрия трепетала в мокрых корзинах, как голубая ртуть. Коричневые окуни медленно открывали рты и тихонько чмокали, как бы смакуя утреннюю базарную прохладу. Горами лежали бычки – черные «каменщики», светлые «песчанники» и кирпичного цвета «кнуты».

Около корзин с ничтожной фиринкой сидели особенно ласковые торговки. Их товар хозяйки покупали только для кошек.

– Вот для кошечки, барышня или мадам! Вот для кошечки! – кричали эти торговки льстивыми голосами.

На распряженных возах горами были навалены абрикосы и вишни. Под возами храпели в теплой пыли владельцы этих богатств – немцы-колонисты из Люстдорфа и Либенталя, а на возах сидели нанятые ими зазывалы – еврейские мальчишки, ученики из хедера, и, закрыв глаза и покачиваясь, как на молитве, пели жалобными голосами:

– Ай, люди добренькие, господа дорогие! Ай, вишня! Ай, вишня, ай, сладкая абрикоса! Ай, пять копеек за фунт! Ай, пять копеек! Себе в чистый убыток! Ай, люди добренькие, покупайте! Ай, кушайте на здоровье!

Мостовая была засыпана вишневыми косточками с остатками кровавой мякоти и косточками абрикосов.

Я купил серого хлеба с изюмом и пошел в дальний край базара, в обжорку, где на толстых столах бурно кипели, отражая нестерпимое черноморское солнце, кривые самовары и жарилась на сковородах украинская колбаса.

Я сел за стол, покрытый домотканой скатертью. На ней была вышита крестиками надпись: «Раичка, не забывай за родной Овидиополь».

Посреди стола в синем тазу с отбитой эмалью плавали в воде пионы.

Я съел сковороду жареной колбасы, начал пить горячий сладкий чай и решил, что жизнь в Одессе прекрасна.

В это время ко мне подсел сухопарый человек в морской каскетке с треснувшим лакированным козырьком. Желтые баки торчали, как у рыси, по сторонам его серого лица.

– Скажите, молодой человек, – спросил он меня приглушенным голосом заговорщика, – вы, извиняюсь, не санитар?

– Да, санитар.

– С того поезда, что пришел вчера на ремонт?

– Да, с того поезда, – ответил я и с удивлением посмотрел на всезнающего незнакомца в каскетке.

– Тогда будем знакомы, – сказал незнакомец, приподнял обеими руками над головой каскетку и снова положил ее на лысую голову. – Аристарх Липогон, бывший каботажный шкипер. Врожденный моряк.

– Чего ты подкатываешься до молодого человека! – закричала раскрасневшаяся торговка, поившая меня чаем. – Чего ты дуришь ему голову!

– Тетя Рая, – очень вежливо ответил ей врожденный моряк, – какое ваше собачье дело путаться в чужие проекты. Что вы рвете у меня изо рта кусок хлеба! Вы, видите, сытая, а я голодный, как пустая бочка. Понятно?

Тетя Рая поворчала еще немного и затихла.

– Могу предложить содействие, – сказал Липогон. – Не брезгую никакой услугой, какая спонадобится, может, вам, санитарам, а может, вашим докторам, что живут на роскошной даче Быховского на Малом Фонтане. Сполняю все быстро и дешево.

– Ну, например, – спросил я. – Что значит «всё»?

– Могу загнать и купить, что вам желательно, с доставкой в вагон. Безбандерольный константинопольский табак. Это же золотые кудри, а не табак! Французский марафет в порошке. Греческую водку «мастику», мессинские апельсины исключительно аромата и смака. Или свежие консервы, бычки в томате сегодняшнего выпуска, прямо с нашей одесской фабрики. На второй день они уже несколько теряют божественный вкус. Очень рекомендую! Имею в городе и порту обширные знакомства. Спросите каждого про меня, и если он порядочный человек, то вам дословно ответит: «Липогон все может. У Липогона двадцать ног, сорок рук и сто глаз».

– Только язык у тебя один, арестант! – с сердцем сказала тетя Рая. – Язык у тебя один, у голоты, а ты им чешешь за семерых.

Я сказал Липогону, что мне ничего не нужно. Вот, может быть, врачам и сестрам что-нибудь понадобится. Я их об этом спрошу.

– А я, кстати, – сказал Липогон, – наведаюсь сегодня вечерком на дачу Быховского. Рад был познакомиться, молодой человек.

Он снова приподнял двумя руками и положил на лысую голову измятую каскетку и удалился, вихляя фалдами пиджака и небрежно напевая:

Мичман молодой
С русой головой
Покидал красавицу Одессу..

– Вот, – сказала мне тетя Рая, – имеете перед собой пример, юноша, до чего доводит человека фантазия.

– Как фантазия? – удивился я.

– Жил человек хорошо, – скорбно ответила тетя Рая. – Плавал на дубке, возил кувшины с Херсона до Одессы, имел приличный костюм, свободную двадцатку в кармане и имел что кушать на каждый день. Так нет! Не мог человек примириться! Я его знаю идеально, мы с ним знакомые с малых лет, жили в Овидиополе в соседних дворах. Не мог человек существовать, как все люди. «Мне, говорит, Раичка, жмет на сердце серая скука существования. Мне, говорит, Раичка, хочется жить вроде как в романах описано, – в слезах и цветах, с музыкой и роскошной любовью. Мне, говорит, необходимо рисковать, чтобы, как пишется, или пан, или пропал!»

– Что говорить! – вздохнула соседка-торговка, раскладывая на мостовой синие баклажаны. – Вышел пан да пропал.

– Что же он сделал? – спросил я.

– Женился, – ответила тетя Рая. – Только вы слушайте – как! Был у нас тут в Одессе вроде как румынский оркестр. Румыны не румыны, а так, всякий народ. Кто с Кавказа, кто с Кишинева, а кто и с нашей Молдаванки. И была в том оркестре цимбалистка Тамара. Женщина, правда, красивая, видная. На ней и женился. Ему абы блеск в очи, – все эти стеклярусы, да бархаты, да цимбалы, да вальсы. «Я, говорит, сделаю ей такую жизнь, что сама Вера Холдная зайдет от зависти».

– Что говорить, сделал он ей ту жизнь! – вздохнула торговка баклажанами.

– Все-таки человек старался для той женщины, – примирительно сказала тетя Рая. – И до сей поры старается. Как женился, так начал гнать копейку из всех возможностей и невозможностей. Контрабанду взялся возить на своем дубке. Засыпался, конечно, отобрали у него патент. От тюрьмы откупился. Вылетел он на улицу, а квартиру все-таки успел ей справить. Ну не квартирка, чисто картонка от торта с розовой ленточкой! Чисто коробка с бумажными кружевцами! Вылетел он с дубка, пошел по мелким делам, по маклачеству. Сник, потерял престиж у людей. А фантазии свои не бросил. Все брешет и брешет! От Тамары нищенство свое прячет. Она женщина ленивая да еще с придурью. Ничем не интересуется. Лежит целый день на подоконнике, книжки рас-

трепанье читает под граммофон. Поставит «Дышала ночь» или там «Вчера вас видела во сне» и читает. Распатланная. Ей все равно, была бы халва. А что человек себя знищил, сделался шантрапой, так она этого не хочет видеть. Она амурные истории читает! Тьфу и тьфу!

Тетя Рая в сердцах сплюнула.

– Заработает он арестантские роты, в этом я вам поклянусь, молодой человек!

Я вернулся к себе в вагон и совсем было собрался идти к морю, но нас послали в железнодорожные мастерские помочь рабочим соскабливать старую краску с вагонов. Мы проработали до вечера.

Потом я умылся и поехал на Малый Фонтан, на дачу. Там с обрыва я наконец увидел море. Мглистый вечер сливался с голубоватым пространством воды. Волны внизу чуть рокотали галькой. Первая звезда зажгла свой огонь под облаком, похожим на крыло серебряной птицы.

Маяки не горели. На горизонте темнела громада корабля. Это был турецкий крейсер «Меджидие», подбитый нашей береговой артиллерией и севший на камни. Его еще не сняли. Крейсер медленно погружался в сумерки и вскоре совсем в них исчез.



Малый Фонтан

Я сбежал по крутой дорожке к морю. Сухие кусты акации росли на щебенчатой земле. Крупные морские голыши сыпались из-под ног. Жесткий дрок выбрасывал во все стороны темные стрелы с желтыми, видными даже в темноте цветами. Пахло нагретым ракушечным камнем и жареной скумбрией – сестры готовили ее около дачи на очаге.

Я спустился к морю, разделся и вошел по горло в теплую, но свежую воду. Отражения звезд плавали на воде рядом со мной, как маленькие медузы.

Я старался не шевелиться, чтобы не разбивать их на десятки качающихся осколков. Нужно было много времени, чтобы они опять слились в отражение звезды.

Всем телом я чувствовал осторожное, но мощное дыхание моря. Оно едва заметно колебалось.

Море начиналось чуть ниже моих глаз, на уровне подбородка. У меня забилось сердце от мысли, что между мной и этими морскими бесконечными далями, уходящими отсюда к Босфору, к берегам Греции и Египта, к Адриатике и Атлантике, нет ничего, что у самых моих глаз начинается великий всемирный океан.

С берега потянуло запахом маттиолы. Далеко в стороне Днестровского лимана ударил и раскатился вдоль берега пушечный выстрел. И здесь была война, в местах, как бы нарочно созданных для деятельной и счастливой жизни, созданных для моряков, садоводов, виноделов, художников, детей и любящих, для беспечального детства, плодотворной зрелости и старости, похожей на ясный сентябрь.

Сестры окликнули меня с берега. Я вышел из воды, оделся и поднялся к даче. Там на террасе с полосатым полотнищем вместо крыши стоял, сняв каскетку, Липогон и вкрадчиво беседовал с сестрами. Для начала он продал им полотняный мешочек с греческими маслинами.

В город мы возвращались вместе с Липогоном.

– Я так угадываю, – сказал мне в трамвае Липогон, – что вы большой охотник до моря.

Я согласился.

– Тогда вам не на поезде ездить, в раздолбанных теплушках, а на госпитальном морском корабле. Сейчас у нас в Одессе стоит

госпитальный корабль «Португаль». Французский бывший пароход.

– Ну что ж, – ответил я осторожно, – я бы с радостью перешел на этот пароход.

– Это можно! – небрежно бросил Липогон. – Есть шанс! У меня там младший врач знакомый. Я его ссужаю контрабандным табаком. Приходите завтра до Карантинной гавани в час дня. Я буду вас дожидаться около «Португалья». С вас я ничего не возьму. Угостите меня в ресторане – и квиты!

Он помолчал.

– Будет время, – сказал он, наклоняясь ко мне, чтобы шум трамвая не заглушал его голос, – я вам про себя расскажу. Люди плохое про меня брешут. А у меня жизнь вроде как роман с продолжением. У меня с тайной жизнь. Судьба у меня поганая, конечно. Но я, может, порядочнее всех ваших порядочных. Вот только удачи у меня совсем мало. И потому нету никакого размаха для деятельности.

Темная ночь врывается в открытое окно неосвещенного трамвая порывистым ветром. В то время во всех портовых городах не зажигали огней.

– Была б моя воля, – сказал Липогон, – плавал бы я по всем морям. И имел бы не жизнь, а картину Айвазовского.

Назавтра я пришел в Карантинную гавань не в час дня, а в десять часов утра. У мола как бы растворялся в сухом солнечном сверкании белый океанский пароход с двумя огромными красными крестами на бортах.

На корме парохода я прочел золотую французскую надпись «Португаль – Марсель».

В белизне парохода, в легкости мачт, снастей и мостиков, в блеске меди и алмазной чистоте иллюминаторов, в свежести палуб



К. Паустовский. Одесса, 1915 г.

было что-то нереальное, будто этот пароход пришел из праздничного мира, будто он был сделан из затвердевшего света.

Это был пассажирский пароход французской компании «Мессажери Маритим». Он ходил до войны из Марселя в Мадагаскар, в Сирию и Аравию, потом пришел зачем-то на Черное море. Тут его застала война с Турцией, и «Португаль» по соглашению с французским правительством был передан нам под госпитальный корабль. Его перекрасили в белый цвет.

По палубе «Португалья» ходили молоденькие сестры в серых летних платьях и моряки в белом. Я боялся, что меня увидят раньше времени, ушел и болтался в порту до часу дня.

Ровно в час я снова подошел к «Португалю». У трапа стоял Липогон и независимо разговаривал с молодым морским врачом. У врача были черные насмешливые глаза и красная шея, чуть сдавленная белым воротничком кителя. Он быстро пожал мне руку и сказал Липогону:

– Итак, до свидания, шкипер! После этого рейса принесите мне еще табак.

– Есть! – с наигранной бодростью воскликнул Липогон, поднес руку к козырьку каскетки и отошел.

Врач взял меня за локоть и повел к себе в каюту. Он держал меня за локоть так крепко, будто боялся, что я поскользнусь на этих зеркальных палубах, упаду и еще, упаси бог, сломаю или разобью какой-нибудь сияющий прибор или стеклянные двери.

Мне это не очень понравилось, но я смолчал и не отнял руку.

– В общем, – сказал врач у себя в каюте, наполненной солончатой свежестью и запахом хорошего табака, – мне нужен один санитар для перевязочной. Вы студент? Превосходно! Вы захватили документы?

– Да.

– Прошу.

Я показал ему документы. Он пробежал их и вернул мне.

– Читайте, что все сделано, – сказал он. – Послезавтра приходите. Мы проведем кое-какие формальности, и вы останетесь на корабле. Возможен скорый рейс.

Я был как в тумане. Не верилось, что я буду плавать на этом океанском корабле. Детские мечты сбылись. Мне было, конечно, жаль поезда, жаль товарищей, но все побеждала жажда морских скитаний.

Врач проводил меня до трапа. Там стоял вертлявый, как мартышка, низенький старик в морской, но не русской форме. По обилию золотых нашивок на рукавах я догадался, что это высокое пароходное начальство.

– Наш капитан господин Баяр, – вполголоса предупредил меня молодой врач.

Он поклонился капитану и сказал ему по-французски:

– Вот, господин капитан, наш новенький санитар. Студент из Москвы.

Я тоже поклонился.

– Это непостижимо, мой бог! – воскликнул по-французски господин Баяр и вскинул обе руки к небу. – Бакалавры, вместо того чтобы учиться, кормят с ложечки русских мужиков манной кашей. Никто не делает своего дела в этой непонятной стране. Никто!

Капитан схватил меня за плечо цепкой коричневой лапкой, повернул к себе и посмотрел в глаза.

– О-о-о! – сказал он. – Да, да! Каждый пережил это! Я вас понимаю. Мечты, мечты! Нет! – вдруг крикнул он. – Море – вот оно где, мой друг!

Он снял кепи с золотым шитьем и показал на седую, стриженную ежиком голову.

– Здесь волшебные ночи под экватором! Все бенгальские закаты! Запах корицы и вся прочая чепуха. Здесь! У вас болезнь, молодой человек, но я не знаю от нее никаких лекарств. Поэтому рад видеть вас у себя на борту.

Он быстро повернулся и побежал по палубе к капитанскому мостику.

Врач смотрел ему вслед с насмешливой, но учтивой улыбкой.

– Вот такой у нас капитан, – сказал он. – Великолепный гасконец. Итак, до послезавтра.

На следующий день я угощал Липогона обедом в ресторане «Дарданеллы» на Степной улице.

Собственно говоря, это был не ресторан, а гудевшая от мух харчевня.

Со мной пришли Романин и Николашка Руднев. Оба они были обескуражены моим уходом с поезда и, как это ни казалось стран-

ным, совершенно мне не завидовали. Наоборот, они как будто не одобряли мой поступок.

Обед в «Дарданеллах» окончился скандалом. Нам подали рагу из баранины. Мы съели его, но тотчас после этого Липогон подозвал ленивого официанта и сказал ему:

– Позови до нас хозяина.

– Это зачем?

– Не твое дело спрашивать.

Из задней комнаты неохотно вышел заспанный хозяин – тучный человек с зеленоватым лицом.

– В чем дело? – спросил он сиплым голосом. – Если что не нравится, так у меня не ресторан при «Лондонской гостинице». Можете катиться туда, когда вы такие нежные.

– А в том дело, – зловеще ответил Липогон, – что вы, господин Каменюк, подсовываете клиентам тухлую баранину. И тем самым можете отправить их в райские кущи.

– Вы думаете? – иронически спросил господин Каменюк. – Ай-ай-ай! Так-таки и тухлая? У меня баранина – первый сорт.

– А я вам говорю – тухлая!

– Так зачем же вы ее скушали? – с прежней иронией, не предвещавшей ничего хорошего, спросил Каменюк. – Вы же ее скушали до косточки. Да еще и тарелку обчистили корочкой. Не дурите мне голову. Я не цуцик!

– Ах так! Ах, не тухлая у вас баранина? – с каким-то восторгом в голосе воскликнул Липогон. – Тогда покорнейше попрошу вас подать нам еще четыре порции этого прелестного рагу.

Эти слова Каменюку заметно не понравились.

– Вышла уже вся баранина, – сказал он, бледнея. – Нету! Понятно? И ничего я вам больше не подам.

– Придется мне, – с грустью сказал Липогон, – сходить за приставом господином Скульским и дать этому делу законное течение. Так что в случае неприятностей вы на меня не обижайтесь, господин Каменюк.

Каменюк изо всей силы хлопнул по нашему столику ладонью.

– Последнее слово, уходите без скандала. Не нужно мне ваших денег!

Он повернулся к Липогону:

– Чтоб ты подавился теми деньгами, зараза!

Мы так опешили от неожиданного хода событий, что не успели вмешаться. Я все-таки достал деньги и положил их на столик, но я не уверен, что все они попали в карман господину Каменюку. Потому что господин Каменюк гневно швырнул их в сторону Липогона, а тот подобрал их и с великолепным пренебрежением швырнул обратно господину Каменюку. Но количество бумажек, как я успел заметить, было уже меньшим, чем во время первого броска.

– Зачем вы устроили эту дурацкую историю? – спросил я Липогона, совершенно взбешенный, когда мы вышли на улицу.

– А затем, – ответил Липогон, – что вы студенты. У вас ветер в карманах. А Каменюк жиреет на тухлятине.

– Так баранина была же не тухлая!

– Сегодня нет, а завтра да, – невозмутимо ответил Липогон. – Видали, как он закрутился, когда я требовал вторую порцию. Потому он, собака, думает – может, и взаправду она тухлая, эта баранина. Тогда есть вещественное доказательство для полиции. Так лучше от нас отделаться, чем рисковать.

Мы долго обсуждали это событие у себя в вагоне. Вечером поехали на дачу – мне надо было попрощаться с врачами и сестрами.

На даче все были поражены моим поступком. Иные завидовали мне, иные недоумевали. Только Леля молчала, прикусив губу, и ни разу не взглянула на меня.

Мы сидели на темной террасе. Внизу, засыпая, шумел прибой.

Леля больно жала мне руку и сказала:

– Пойдемте!

Мы вышли в темный сад и начали спускаться к морю. Леля молчала, но крепко держала меня за руку – так ведут провинившегося мальчишку, чтобы его наказать.

Внизу, у самого моря, Леля наконец остановилась. Она тяжело дышала.

– Фантазер! – сказала она. – Авантюрист! Мальчишка! Завтра же вы пойдете на этот лохотный дурацкий пароход и откажетесь. Слышите?

– Почему?

– Как почему? Боже мой! Да неужели вы сами не понимаете! Потому что это не по-товарищески. Потому что это черт знает

что! Конечно, гораздо приятнее бить баклуши в этом госпитальном плавучем салоне с кисейными занавесками и раздушенными куклами-сестрами, чем работать в грязи, в крови и разбитых теплушках. Даже Романину, Рудневу и всем вашим товарищам неловко за вас. Будто вы не заметили! Никто, конечно, этого вам не скажет. А я говорю. Потому что для меня это не все равно... Потому что я хочу думать о вас хорошо... И вообще, не спрашивайте меня о том, что вы сами знаете.

– Да я ничего и не спрашиваю.

– И прекрасно! Ну что же? Я жду.

Целая буря поднялась у меня в душе. В чем-то Леля была права, конечно. Но как я мог потерять эту сказочную возможность плаванья, потерять то, чего я ждал так давно, с малых лет своей жизни?

– Нет, – сказал я. – Я не могу отказаться от этого. И все это совсем не так, как вы думаете. Не надо говорить со зла.

– Ну тогда прощайте! – глухо сказала Леля, повернулась и пошла в темноту вдоль белой кромки прибора.

Я окликнул ее. Она не ответила. Я пошел следом за ней. Она остановилась и сказала холодным и злым голосом:

– Не ходите за мной. Это глупо! И противно. Прощайте. Кляннитесь вашему новому приятелю, этому... как его... Липогону.

Она засмеялась. Я ждал. Я слышал, как она пошла дальше, потом остановилась, бросила в море несколько камешков, потом, явно издеваясь надо мной, запела:

Я грущу... Если можешь понять
Мою душу доверчиво-нежную,
Приходи ты ко мне попенять
На судьбу мою странно-мятежную...

Я повернулся, поднялся на берег и, не заходя на дачу, пошел пешком в Одессу.

Была очень темная ночь. Ветер шумел в садах. Два раза меня останавливал патруль и проверял документы.

Я вспоминал час за часом все, что случилось, и вдруг со страхом сообразил, что я ведь сам не знаю, хорошо или плохо то, что я делаю. Я сам не знаю этого!

«Что это? – спрашивал я себя. – Духовная нищета? Или болезнь? Или просто нежелание задуматься над собой и своей жизнью? Или трусость?»

То мне казалось, что Леля совершенно права. То, наоборот, я думал, что все, о чем она говорила, – ханжество и притворство. Но почему же тогда Романин и Руднев не смотрят мне в глаза? Что их тяготит? Неужели они решили, что я пустельга? Почему? И кто это выдумал, будто работа на госпитальном корабле – увеселительная прогулка. Нет, я ни за что не откажусь, не сдамся. К черту!

Я заблудился, конечно, и пришел в свой вагон, когда все уже спали. Я был рад этому.

А дальше произошло следующее. Наутро я спустился в Карантинную гавань, но на том месте, где стоял вчера «Португаль», была причалена железная баржа с каменным углем.

Человек, сидевший на борту баржи и чистивший тарань, сказал мне, что «Португаль» снялся ночью и ушел в Трапезунд.

– Как же так? – спросил я растерянно. – Он должен был уйти через несколько дней.

– Бывает, – равнодушно ответил человек с таранью. – Вызвали депешей. Срочно. Дело, приятель, военное. Да он сюда воротится. Ты не беспокойся.

Мне стыдно было возвращаться к себе в вагон, к своим старым товарищам. Но вернуться пришлось.

– Что же вы теперь будете делать? – небрежно спросил меня Романин.

– Ждать, когда «Португаль» вернется.



Екатерина Степановна Загорская (Леля)
1889-1969. Вторая половина 1910-х гг.

– Ну что ж, ждите. Дело, конечно, ваше.

С утра я уехал на трамвае в Люстдорф. Мне неприятно было оставаться в вагоне.

В Люстдорфе – скучной немецкой колонии – я провел весь день на берегу моря. Я ничего не ел. Только к вечеру я купил себе десяток абрикосов.

Я решил вернуться в Одессу последним трамваем, но трамвай не пришел. Тогда я пошел пешком. До города было около двадцати километров.

Снова была ночь и ветер. Снова всю дорогу шумели сады и в лицо били семена акаций, вылетающие из лопнувших стручков.

Мне казалось, что я один во всем мире. Я бы много дал, чтобы сейчас увидеть маму, чтобы она потрепала меня по волосам и сказала: «Ах, какой же ты все-таки неисправимый, Костик!».

Я сел отдохнуть около чугунных кованых ворот какой-то дачи. В каменной ограде была сделана глубокая ниша для статуи, но статуи в ней не было. Я забрался в пустую нишу, сел, обхватив колени руками, и просидел так очень долго. Потом я уснул.

Проснулся я, должно быть, оттого, что около ниши стоял гимназист с велосипедом и с восхищением смотрел на меня.

– С добрым утром! – сказал он. – Вы были похожи на статую Мефистофеля работы скульптора Антокольского.

– Нет такой статуи! – сердито ответил я, хотя хорошо знал, что такая статуя существует, соскочил на землю и пошел к городу.

Дорога шла между каменными оградами. Я вглядывался в эти ограды, – они показались мне знакомыми.

Что это? Неужели Малый Фонтан? Вдали уже был виден железный фонарь над калиткой дачи, где жили врачи и сестры. Я совсем позабыл, что дорога в Люстдорф проходила невдалеке от Малого Фонтана.

Я остановился около калитки, открыл ее и заглянул в сад. Он уходил вниз к белому и тихому морю.

Утро было пасмурное, без ветра. Несколько капель дождя упало мне на лицо и на серую от высохшей соли морскую гальку на дорожке. На гальке появились темные влажные пятна. Тут же на глазах они высохли.

«Должно быть, все еще спят», – подумал я. Мне хотелось увидеть Лелю. Опять, как недавно ночью, ко мне вернулось сознание одиночества.

Знают ли здесь, что я не уехал, что «Португаль» ушел без меня? Должно быть, нет. Вчера никто из санитаров не собирался ехать на дачу.

Я осторожно вошел в сад. За высокими подстриженными кустами буксуса стояла знакомая зеленая скамейка. Я сел на нее. Ни с террасы, ни из сада меня не было видно. Я успокаивал себя тем, что немного отдохну и незаметно уйду отсюда.

Снова упало несколько капель дождя. Запищали над морем чайки.

Я поднял голову. Кто-то быстро шел от дачи к калитке. Я взглянул в просвет между ветками буксуса и увидел Лелю.

Она была без шляпы, в дождевом плаще, и лицо ее было таким бледным, каким я его еще никогда не видел. Она шла быстро, почти бежала.

Я встал со скамейки, раздвинул ветки буксуса и вышел к ней навстречу.

Леля увидела меня, вскрикнула, упала на колени и, опираясь на одну руку, начала опускаться на крупный серый гравий. Глаза ее были закрыты.

Я подбежал к ней, схватил за плечи, но не мог поднять ее. Она тихо застонала, почти сказала шепотом:

– Господи! Он жив! Господи!

– Я опоздал на «Португаль», – бессмысленно сказал я, не зная, чем успокоить Лелю.

– Помогите же мне, – сказала она и подняла заплаканное лицо. – Дайте руку.

Она с трудом встала.

– Да неужели вы ничего не знаете?

– Нет, – ответил я, совершенно растерянный.

– Пойдемте отсюда. Куда-нибудь.

Мы ушли в соседний заброшенный сад, где никто не жил. Там Леля в изнеможении опустилась на скамью.

– Боже мой, – сказала она и посмотрела на меня полными слез глазами. – Глупый вы, глупый! Вот – читайте!

Она вынула из кармана плаща маленький серый листок. Это был экстренный выпуск газеты «Одесские новости». Я развернул его и увидел черный заголовок:

«Новое чудовищное злодеяние немцев. Госпитальный пароход «Португаль» потоплен торпедой с германской подводной лодки на траверзе Севастополя. Из всей команды и персонала не спасся ни один человек».

Я отбросил газету и обнял за плечи Лелю. Она плакала сейчас, как маленькая девочка, – не стыдясь, не сдерживаясь, обильными слезами облегчения.

– Господи! – говорила она сквозь слезы. – Что это я так плачу! Какая ерунда! Не подумайте, пожалуйста, что я так уж вас любила. Просто я испугалась.

– Да я ничего и не думаю, – ответил я и пригладил ее влажные волосы.

– Правда? – спросила Леля, подняла на меня глаза и улыбнулась. – Дайте мне, пожалуйста, сумочку. Там у меня платок. А я бежала в город узнать... может быть, не все погибли.

По разбитым дорогам

Еще за месяц до рейса в Одессу мы с Романиным послали в Москву просьбу перевести нас с поезда в полевой санитарный отряд. Нам хотелось быть ближе к войне.

У Романина были для этого еще и свои основания. Он рассказал мне по секрету, что пишет очерки о войне для радикальной вятской газеты, поезд же дает ему мало материала для очерков.

Он показал мне несколько напечатанных очерков. Они понравились мне точностью и простотой языка.

Романин уговаривал меня написать для этой же газеты два-три очерка. Я написал только один. Это был мой первый очерк. Он назывался «Синие шинели» и был напечатан. В нем я писал о том, как был взят в плен весь многотысячный гарнизон австрийской крепости Перемышль. Мы видели этих пленных в Бресте.

В этом очерке я не мог написать об одном странном случае, поразившем не только меня, но и всех санитаров.

Пленных вели через Брест. Тяжело волоча на ногах разбитые бутсы, шли по улицам Бреста тысячи австрийских солдат и офицеров – медленный поток синих тусклых шинелей.

Иногда поток останавливался, и небритые люди понуро ждали, глядя в землю. Потом они снова шагали, сгорбившись под тяжестью неизвестной судьбы.

Вдруг санитар Гуго Ляхман схватил меня за руку.

– Смотрите! – крикнул он. – Вон там! Австрийский солдат! Смотрите!

Я взглянул и почувствовал, как озноб прошел по телу. Навстречу мне шел усталым, но мерным шагом я сам, но только я был в форме австрийского солдата. Я много слышал о двойниках, но еще ни разу не сталкивался с ними.

Навстречу мне шел мой двойник. У него все до мелочей было мое, даже родинка на правом виске.

– Чертовщина! – сказал Романин. – Да это прямо страшно.

И тут произошло совсем уже странное обстоятельство. Конвоир взглянул на меня, потом посмотрел на австрийца, бросился к нему, дернул за рукав и показал ему на меня.

Австриец взглянул, как будто споткнулся и остановился. И сразу остановилась вся толпа пленных.

Мы смотрели в упор друг другу в глаза, должно быть, недолго, но мне показалось, что прошел целый час. Взволнованный говор прошел по рядам пленных.

В темных глазах австрийца я увидел удивление. Потом оно сменилось мгновенным страхом. Он быстро пересилил его и вдруг улыбнулся мне застенчиво и печально и приветственно помахал поднятой бледной рукой.

– Марш! – прокричал наконец конвоир.

Синие шинели колыхнулись и двинулись дальше. Австриец несколько раз оборачивался и махал мне рукой. Я отвечал ему. Так мы встретились и разошлись, чтобы никогда больше не увидеть друг друга.

В поезде было много разговоров об этом случае. Все сошлись на том, что этот австрийский солдат был, конечно, украинец. А так как я отчасти был тоже украинцем, то наше поразительное сходство уже не казалось непонятным.

Да, но я сильно отвлекся. Тогда в Одессе, через несколько дней после гибели «Португалья», мы с Романиным получили телеграмму из Москвы о том, что оба мы переводимся в один и тот же полевой санитарный отряд и нам надлежит немедленно выехать в Москву, а оттуда – в расположение отряда.

После недавней передряги с «Португалем» я с радостью остался на поезде, и теперь это новое назначение совсем не огорчило меня. Но отступить было нельзя. Меня утешало лишь то, что я буду работать вместе с Романиным.

Нас провожали на вокзале в Одессе очень шумно. Кто-то решил пошутить и нанял с помощью Липогона маленький еврейский оркестр. Старые, выдавшие виды евреи в пыльных пальто невозмутимо наигрывали на перроне матчиш и кекуок, а после третьего звонка заиграли марш «Тоска по родине».

Сотни пассажиров, так же как сотни провожающих, шумно выражали свой восторг этими пышными проводами.

Напоследок Леля крепко обняла меня, поцеловала, взяла с меня слово писать и шепнула мне, что она тоже хочет перевестись в полевой отряд или госпиталь, и мы, наверное, встретимся где-нибудь в Польше.

Поезд тронулся. Липогон высоко приподнял над головой каскетку и держал ее так, пока поезд не скрылся за поворотом. Скрипки безутешно рыдали, выпевая знакомый мотив.

Я высунулся из окна и долго видел белую косынку Лели, она махала ею вслед поезду.

И как всегда, когда у меня кончалась одна полоса жизни и подходила другая, в сердце начала забираться тоска. Тоска и сожаление о пережитом, о покинутых людях.

Ирпень, 1954 г.

Начало неведомого века Главы из повести

О фиринке, водопроводе и мелких опасностях

Фиринка – маленькая, с английскую булавку, черноморская рыбка – продавалась всегда свежей по той причине, что никакой другой рыбы не было и вся Одесса ела (или, говоря деликатно, по-южному, «кушала») эту ничтожную рыбку. Но иногда даже фиринки не хватало.

Ели ее или сырую, чуть присоленную, или мелко рубили и жарили из нее котлеты. Котлеты эти можно было есть только в состоянии отчаяния или, как говорили одесситы, «с гарниром из слез».

У меня и Назарова (мы поселились рядом) денег почти не осталось. Поэтому мы питались только фиринкой и мокрым кукурузным хлебом. По виду он походил на зернистый кекс, по вкусу – на анисовые капли. После еды приходилось полоскать рот, чтобы уничтожить пронзительный запах этого хлеба.

Изредка я покупал жареные каштаны. Торговали ими вздыхающие старухи, закутанные в тяжелые бахромчатые шали. Они сидели вдоль тротуаров на низеньких скамейках и помешивали в жаровнях каштаны. Каштаны трещали, лопались и распространяли запах чуть пригорелой коры, но с душистым и сладким привкусом.

Света в Одессе было мало, фонари зажигали поздно, а то и совсем не зажигали, и, бывало, по тихим осенним вечерам только багровый жар жаровен освещал тротуары. Этот свет снизу придавал улицам несколько феерический вид.



Я.У. Ландесман



Санаторий Ландесмана. 1910-е гг.

Старые женщины кутались в шали, а город кутали частые туманы. Вся осень прошла в этих приморских туманах. Признаться, с тех пор я полюбил туманные дни, особенно осенью, когда они подсвечены вялым лимонным цветом палой листвы.

Найти жилье в Одессе было очень трудно, но нам повезло. На Ланжероне, на маленькой и пустынной Черноморской улице, тянувшейся по обрыву над морем, был частный санаторий для нервнобольных доктора Ландесмана. Неустойчивая и пестрая жизнь тех лет вызывала бурный рост нервных болезней, но ни у кого не было денег, чтобы лечиться, особенно в таком дорогом санатории, как у Ландесмана. Поэтому санаторий был закрыт.

Назаров встретил в Одессе знакомую женщину – невропатолога из Москвы, – и она устроила нас в этот пустой санаторий. Ландесман – весьма величественный и учтивый человек – отвел нам две небольшие белые палаты с условием, что мы будем охранять санаторий. Мы должны были следить, чтобы не рубили на

дрова небольшой сад около санатория и не растаскивали по частям самый дом.

Отопление в санатории не работало, комната у меня была очень высокая, с широкими окнами, и потому маленькая железная «буржуйка», как ни старалась, никогда не могла нагреть эту комнату. Дров почти не было. Изредка я покупал акациевые дрова. Продавали их на фунты. Я мог осилить не больше трех-четырёх фунтов, – не было денег.

Было очень холодно, особенно во время северных ветров. К тому же ощущение холода усиливалось от белизны скользких кафельных стен.

Я опять работал корректором в газете (название ее я позабыл). Издавал эту газету академик Овсяннико-Куликовский. Работал я через два дня на третий и получал очень мало «колоколов» – так назывались тогда денкинские деньги с изображением Царь-колокола в Кремле.

Мне нравилась жизнь в гулком особняке над морем, нравилось полное одиночество и даже как будто зернистый, пахнущий морской солью холодный воздух в его стенах.



Редакция газеты «Современное слово», в которой работал К. Паустовский (Екатерининская пл., 7)

Я много читал, понемногу писал и от нечего делать занялся изучением морского тумана. По утрам я выходил в сад к обрыву над морем.

В тумане медленно рокотал по гальке невидимый прибой. На Воронцовском маяке уныло ухала туманная сирена и равномерно бил колокол. Седые маленькие капли поблескивали на давно высохшей траве и ветках акаций.

С тех пор туман связался в моем представлении с одиночеством, со спокойной и сосредоточенной жизнью. Он ограничивал землю и замыкал ее в небольшой видимый круг. Он оставлял для наблюдения немного вещей – несколько деревьев, куст дрока, колонну из дикого камня, чугунную калитку и якорную цепь, неизвестно для чего валяющуюся в углу сада.

Он заставлял смотреть на эти вещи пристальнее и дольше, чем мы это делаем обычно, и открывать в них много не замеченных ранее качеств. В ноздреватом желтом камне было много накрепко впаянных в него маленьких морских ракушек, на кустах дрока оставалось еще несколько цветов, они сидели на прямых твердых стеблях, как промокшие и сморщенные золотые бабочки, и терпеливо дожидались солнца. Но оно очень редко проступало в тумане размытым белым пятном и не давало ни теплоты, ни тени. Под единственным старым платаном с лимонными пятнами на стволе валялись листья, как бы вырезанные из тусклого зеленого бархата. По чугунной калитке вереницей бежали муравьи, сносили в свои подземные житницы последние запасы на зиму, а под якорной цепью жила маленькая робкая жаба.

У тумана были свои звуки. Появлялись они перед тем, как туман начинал редеть. Тогда слышался неясный шорох. Это водяная пыль собиралась в капли, они стекали по черным ветвям деревьев и с шорохом падали на землю. Потом в этот мягкий звук входил чистый и протяжный звон. Это значило, что первая капля тумана упала с крыши и ударила в перевернутый вверх дном пустой цинковый бак.

Я полюбил запах тумана, – слабый запах каменноугольного дыма и пара. То был запах вокзалов, пристаней, палуб – всего, что связано со странствиями, со сменой обширных сухопутных

и морских пространств, с шествием в светоносной фиолетовой синеве Архипелага далеких розовеющих островов, откуда ветер доносит слабый запах лимона, с сырым ветром и беспокойными огнями плавучих маяков Ламанша, с плавным ходом поезда сквозь наши дремлющие лесные края, со всем, – что берет в пожизненный плен наше слабое человеческое сердце.

Тогда в Одессе мной завладела мысль о том, чтобы провести всю жизнь в странствиях, чтобы сколько бы мне ни было отпущено жизни – много или мало, – но прожить ее с ощущением постоянной новизны, чтобы написать об этом много книг со всей силой, на какую я способен, и подарить эти книги, подарить всю землю со всеми ее заманчивыми уголками – юной, но еще не встреченной женщине, чье присутствие превратит мои дни и годы в сплошной поток радости и боли, в счастье сдержанных слез перед красотой мира – того мира, каким он должен быть всегда, но каким редко бывает в действительности.

В то время я был уверен, что моя жизнь сложится именно так.

Все, что пишуший дарит любимому, он дарит всему человечеству. Я был уверен в этом неясном законе щедрости и полной отдачи себя. Отдавать и ничего не ждать и не просить взамен, разве только сущий пустяк – какую-нибудь песчинку, попавшую на милую теплую ладонь, – не больше.

Все, что написано выше, теоретики литературы называют лирическим отступлением и не советуют писателям терять власть над собой и путать построение вещи. Но мне кажется, что можно вот так – свободно и без всякого напряжения – написать целую книгу, повинувшись только безостановочному бегу воображения и мысли. Только так, может быть, можно достигнуть полноты выражения.

Но придется все-таки вернуться к фиринке и кукурузному хлебу, к осенним дням в Одессе.

Скудная эта пища несколько не огорчала меня, особенно после того, как я достал у кока стоявшего в порту французского парохода «Дюмон Дюрвиль» две банки голландского сгущенного кофе. Я обменял на это кофе коробку табака фабрики Стамболи. Табак этот, оставшийся от отца и непонятно как сохранившийся, подарила мне мама.



Табак фабрики Стамболи

«Дюмон Дюрвиль» стоял у мола в Карантинной гавани рядом с английским истребителем. Матросы с истребителя весь день играли на молу в литой мяч.

Из Триеста и Венеции в Одессу регулярно приходили черно-желтые пароходы компании «Ллойд Триэстино». Греческие моряки патрулировали по улицам. Их синяя форма, белые гетры на круглых пуговках и широкие тесаки были старомодны и театральны.

Одесса была удивительна в тот год невообразимым смешением людей.

Одесские мелкие биржевые игроки и спекулянты, так называемые «лапетутники», стусевались перед нашествием наглых и жестоких спекулянтов, бежавших, как они сами злобно говорили, из «Совдепии». Лапетутники только горько вздыхали, – кончилась патриархальная жизнь, когда в кафе у Фанкони целый месяц переходила из рук в руки, то падая, то подымаясь в цене и давая людям заработать «на разнице», одна и та же затертая железнодорожная накладная на вагон лимонной кислоты в Архангельске.

Архангельск был недостижим, дальше, чем Марс, и лимонная кислота давно уже стала мифом. Но это не смущало лапетутников. Их занятие походило на шумную игру маньяков. Они до хрипоты торговались, били по рукам, обижались, а иной раз из-за этого вагона лимонной кислоты или такого же мифического груза губок (франко-порт Патрас в Греции) разгорались визгливые затяжные скандалы.

Но у лапетутников были иногда и настоящие сделки, – на пачку сахара, партию лежалых подтяжек или на подозрительный нашатырь в порошке. Нашатырь в то время был в цене. Он заменял дрожжи.

Спекулянты, бежавшие с севера, ошеломляли мирных философов-лапетутников дерзкими и бесшабашными сделками. Сверкали бриллианты, обязательно из царской короны, потрескивали новенькие фунты стерлингов и франки, редчайшие ду-

шистые меха с плеч знаменитых петроградских красавиц переходили в трясущиеся руки сизых от бритья греческих негодяев. Особенно широко торговали русские спекулянты барскими именами во всех губерниях «многострадальной России».

На Дерибасовской улице каждый вечер можно было встретить около цветочниц многих знаменитых людей, правда, несколько обносившихся и раздраженных лихорадочной смехотворных слухов. По этой части Одесса опередила все города юга.

Но слухи были не только смехотворные, но и грозные. Они врывались в город вместе с буйным северным ветром из херсонских степей. Советские войска рвались к югу, сбивая заслоны, тесня белых, перерезая дороги. Жидкая цепочка белого фронта обрывалась, как гнилая нитка, то тут, то там.

После каждого прорыва на фронте Одесса заполнялась дезертирами. Кабаки гремели до утра. Там визжали женщины, звенела разбитая посуда и гремели выстрелы, – побежденные сводили счеты между собой, стараясь выяснить, кто из них предал и погубил Россию. Белые черепа на рукавах у офицеров из «батальонов смерти» пожелтели от грязи и жира и в таком виде уже никого не пугали. Город жил на авось. Запасы продуктов и угля, по подсчетам, должны были уже окончиться. Но каким-то чудом они не иссякали. Электричество горело только в центре, да и то тускло и боязливо. Белым властям никто не повиновался, даже сами белые.

Три тысячи бандитов с Молдаванки во главе с Мишей Япончиком грабили лениво, вразвалку, неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им хотелось отдо-



Цветочницы на углу Екатерининской и Дерибасовской. 1910-е гг.



Миша Япончик (М. Виницкий), 1891-1919 гг.

хнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили, кутили по ресторанам, пели, плача, душераздирающую песенку о смерти Веры Холодной:

Бедный Рунич горько плачет –
Вера лежит в гробу.

Рунич был партнером Веры Холодной. По тексту песни, Вера лежала в гробу и просила Рунича:

Голубыми васильками
Грудь мою обвей
И горючими слезами
Грудь мою облей.



Вера Холодная и Осип Рунич, 1910-е гг.

Однажды я шел вечером из типографии к себе на Черноморскую с петроградским журналистом Яковом Лифшицем. Бездомный Лифшиц стал третьим жильцом санатория Ландесмана.

У маленького, беспокойного и взъерошенного Лифшица была кличка «Яша на колесах». Объяснялась эта кличка необыкновенной походкой Лифшица, он на ходу делал каждой ступней такое же качательное движение, какое, например, совершает пресс-папье, промокая чернила на бумаге. Поэтому казалось, что Яша не идет, а быстро катится. И ботинки у него походили на пресс-папье или на часть колеса, – подметки у них были согнуты выпуклой дугой.

Мы шли с «Яшей на колесах» на Черноморскую, выбирая тихие переулки, чтобы поменьше встречаться с патрулями. В одном из переулков из подъезда вышло два молодых человека в одинаковых жокейских кепках. Они остановились на тротуаре и закурили. Мы шли им навстречу, но молодые люди не двигались. Казалось, они поджидали нас.

– Бандиты, – сказал я тихо Яше, но он только недоверчиво фыркнул и пробормотал:

– Глупости! Бандиты не работают в таких безлюдных переулках. Надо их проверить.

– Как?

– Подойти и заговорить с ними. И все будет ясно.

У Яши была житейская теория – всегда идти напролом, в лоб опасности. Он уверял, что благодаря этой теории счастливо избегал многих неприятностей.

– О чем же говорить? – спросил я с недоумением.

– Все равно. Это не имеет значения.



Яков Лифшиц. Одесса, 1920 г.



«В Одессе живут, как в раю». Рис. МАД, 1918 г.

Яша быстро подошел к молодым людям и совершенно неожиданно спросил:

– Скажите, пожалуйста, как нам пройти на Черноморскую улицу?

Молодые люди очень вежливо начали объяснять Яше, как пройти на Черноморскую. Путь был сложный, и объясняли они долго, тем более что Яша все время их переспрашивал.

Яша поблагодарил молодых людей, и мы пошли дальше.

– Вот видите, – сказал с торжеством Яша. – Мой метод действует безошибочно.

Я согласился с этим, но в ту же минуту молодые люди окликнули нас. Мы остановились. Они подошли, и один из них сказал:

– Вы, конечно, знаете, что по пути на Черноморскую около Александровского парка со всех прохожих снимают пальто.

– Ну, уж и со всех! – весело ответил Яша.

– Почти со всех, – поправился молодой человек и улыбнулся. – С вас пальто снимут. Это безусловно. Поэтому лучше снимите его сами здесь. Вам же совершенно все равно, где вас раздеют – в Александровском парке или в Канатном переулке. Как вы думаете?

– Да, пожалуй... – растерянно ответил Яша.

– Так вот, будьте настолько любезны.

Молодой человек вынул из рукава финку. Я еще не видел таких длинных, красивых и, очевидно, острых, как бритва, финок. Клинок финки висел в воздухе на уровне Яшиного живота.

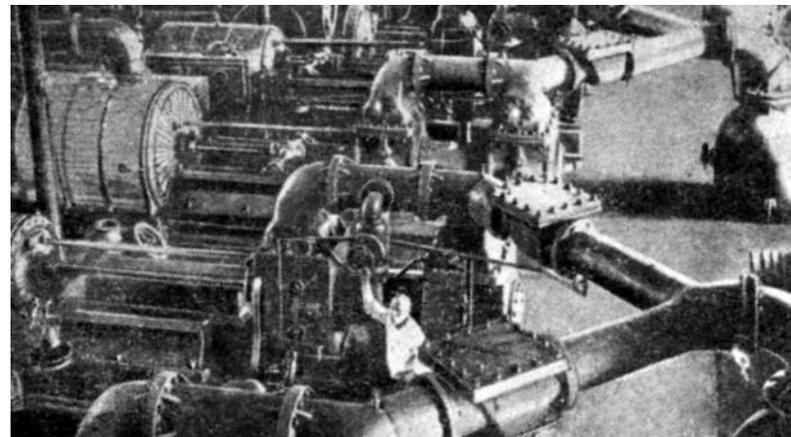
– Если вас это не затруднит, – сказал молодой человек с финкой, – то выньте из кармана пальто все, что вам нужно, кроме денег. Так! Благодарю вас! Спокойной ночи. Нет, нет, не беспокойтесь, – обернулся он ко мне, – нам хватит и одного пальто. Жадность – мать всех пороков. Идите спокойно, но не оглядывайтесь. С оглядкой, знаете, ничего серьезного не добьешься в жизни.

Мы ушли, даже не очень обескураженные этим случаем. Яша всю дорогу ждал, когда же и с меня снимут пальто, но этого не случилось. И Яша вдруг помрачнел и надулся на меня, будто я мог знать, почему сняли пальто только с него, или был наводчиком и работал «в доле» с бандитами.

Вообще Яше сильно не везло. Назаров уверял, что Яша принадлежит к тому редкому типу людей, которые приносят неудачу. В доказательство он приводил два случая. Я, к сожалению, не мог опровергнуть их потому, что произошли эти случаи у меня на глазах. Один случай был с бутылкой для воды, а второй – с термометром.

В то время в Одессе было очень плохо с водой. Ее качали из Днестра за шестьдесят километров. Водокачка на Днестре едва дышала. Ее много раз обстреливали разные банды. Город все время висел на волоске, – ничего не стоило оставить его совсем без воды.

Вода в трубах бывала, да и то не всегда, только в самых низких по отношению к морю кварталах города. В эти счастливые кварталы тянулись с рассвета до позднего вечера вереницы людей со всей Одессы с ведрами, кувшинами и чайниками.



Водокачка на Днестре



Вера Инбер, 1911 г.

Лишь немногие счастливицы – владельцы тележек – приезжали за водой с бочонками. Им завидовали и заодно их ненавидели, несмотря на то, что они сами впрягались в тележки и на них жалко было смотреть, когда они, задыхаясь, втаскивали свои тележки на подъемы или мчались, испуганные, за этими же тележками на крутых спусках, расплескивая половину воды.

Мы ходили за водой по очереди километра за два на Успенскую улицу. На этой улице я знал все подвалы, где были

краны, и мог их найти с завязанными глазами.

В очередях за водой мы узнавали все последние новости и слухи и встречались с завсегдатаями этих очередей, как со старыми и добрыми друзьями.

Поэтесса Вера Инбер жила недалеко от нас, в тенистом Обсерваторном переулке. Она ходила за водой с большой стеклянной вазой для цветов. Ваза была сделана из матового разноцветного стекла, и на ней были выпуклые изображения лиловых ирисов.

Однажды хрупкая и маленькая Инбер поскользнулась и разбила вазу. Но на следующий день она пришла с такой же точно вазой. Я просто из сострадания донес ей эту вазу с водой до дому. Инбер так боялась, что я уроню и разобью эту последнюю вазу, что я устал от ее боязни и у меня начали дрожать ноги. Таская воду, я, конечно, смотрел себе под ноги и потому изучил все тротуары и мостовые между Черноморской улицей и Успенской.

Я убедился, что это – заманчивое и даже в некотором отношении полезное занятие. На тротуарах и мостовых можно было заметить много мелких примет. Они давали повод для раз-

мышлений и выводов. Были приметы приятные, безразличные и неприятные,

Особенно неприятными, почти зловещими и чаще всего попадавшимися приметам были капли, а то и целые лужицы крови и гильзы от маузеров. Они кисло пахли порохом. Неприятны были также пустые кошельки и порванные документы. Но они попадались редко.

Приятных примет было меньше, но они были разнообразнее. Чаще всего это были вещи совершенно неожиданные – засохшие цветы из букета, осколки хрустала, сухие клешни крабов, обертки от египетских сигарет, банты, потерянные маленькими девочками, заржавленные рыболовные крючки. Все это говорило о мирной жизни. К приятным приметам относилась, конечно, и трава, проросшая кое-где между плитами тротуара. И невзрачные цветы, правда, уже высохшие, так же как и перемытые дождем морские голыши в цементных водостоках.

Больше всего было безразличных примет – пуговиц, медных денег, булавок и окурков. На них никто не обращал внимания.

Мы таскали воду и сливали ее в большую стеклянную бутыл в коридоре.

Однажды Яша Лифшиц вышел в коридор и дико закричал. Я выскочил из своей комнаты и увидел необъяснимое зрелище. Огромная бутыл на глазах у меня и Яши начала медленно наклоняться, несколько мгновений постояла в позе Пизанской башни, потом рухнула на пол и разлетелась на тысячи осколков. Драгоценная вода с журчанием полилась по лестнице.

Мы успели бы, конечно, подхватить бутыл, но вместо этого мы стояли и смотрели на нее как замороженные.

Второй случай с термометром был еще поразительнее. Я заболел испанкой. Термометр в Одессе было достать не легче, чем ананас. Их было в городе считанное число. Над термометрами тряслись, как над последней спичкой на шлюпке у потерпевших кораблекрушение.

Назаров выпросил термометр на два дня у редактора газеты, прославленного академика Овсяннико-Куликовского. Академик –



Термометр. Начало XX века

знаменитый гуманист и хранитель традиций либерального русского общества – не мог, конечно, отказать Назарову в его просьбе. Жуя губами и кряхтя, что выражало сильное недовольство, он дал термометр, но со строгим приказом класть его в вату, в ящик стола и беречь пуще зеницы ока.

Назаров померил мне температуру, но пренебрег приказом академика. Он положил термометр на стол и ушел в город. Я уснул.

Разбудил меня Яша. Он осторожно открыл дверь. Она скрипнула, и я проснулся.

Я взглянул на стол и почувствовал, как волосы сами по себе зашевелились у меня на голове, – термометр вдруг начал медленно катиться к краю стола.

Я хотел крикнуть, но у меня перехватило дыхание. Я увидел страшные глаза Яши. Он тоже смотрел на термометр и не двигался.

Термометр медленно докатился до края стола, упал на пол и разбился. У меня, должно быть от ужаса, упала температура. Я сразу выздоровел.

Мы долго ломали голову, где взять термометр. Назаров два дня, сказавшись больным, не ходил в редакцию, чтобы не попадаться на глаза академику. В конце концов пришлось пойти на преступление. Мы подобрали ключ к кабинету Ландесмана и в его письменном столе нашли термометр. Выражаясь уклончивым языком воров, мы «взяли» его (воры не любят слова «украли») и вернули Овсяннику-Куликовскому.

После этих двух случаев Назаров начал убеждать меня в том, что Яша – человек опасный, и уговаривал меня не ходить с ним вместе по улицам. Я только посмеялся над Назаровым, за что вскоре и был жестоко наказан.



Глухие стены Стурдзовского переулка

Чтобы точно представить себе то, что случилось, надо сказать несколько слов о Стурдзовском переулке. Путь на Черноморскую шел по этому переулку. Его никак нельзя было обойти.

Этот переулок, названный именем известного во времена Пушкина иезуита Стурдзы, всегда вызывал у нас ощущение скрытой опасности. Может быть, потому, что на него выходили только каменные стены обширных садов. С другой стороны сады обрывались к морю. Эти глухие стены не давали никакой защиты, никакого укрытия. В то время у всех выработалась привычка, идя по улице, заранее намечать себе ближайшее укрытие на случай стрельбы или встречи с пьяным патрулем.

В Стурдзовском переулке не было ни одного укрытия, если не считать единственного двухэтажного дома с какой-то темной подворотней. В доме никто не жил. За выломанными оконными рамами разрастался бурьян.

Я не внял предостережению Назарова и однажды поздним осенним вечером опять возвращался домой с Яшей.

Ходить вечером по улицам можно было, только строго соблюдая ряд неписаных законов. Нельзя было курить, разговаривать,

кашлять и стучать каблуками по тротуару. Идти, вернее, пробираться, надо было под стенами или в тени от деревьев. Каждые сорок или пятьдесят шагов следовало останавливаться, прислушиваться и вглядываться в темноту. На перекрестках полагалось осмотреть пересекающую улицу и переходить перекресток очень быстро.

Мы благополучно дошли до Стурдзовского переулка, остановились, выглянув из-за угла, и долго прислушивались и всматривались в его крошечную темноту. С одной стороны, темнота была спасительной: она скрывала нас. Но, с другой стороны, она была опасна тем, что мы могли наткнуться на засаду.

Все было тихо, так тихо, что мы слышали в глубине переулка слабый шум прибоа.

Мы крадучись пошли по переулку. Я сказал, что надо идти по той стороне, где подворотня, не доходя до нее, остановиться, хорошо прислушаться, а затем быстро и беззвучно проскочить мимо подворотни. Расчет, по-моему, был математически точен. Если в подворотне есть люди, то они могут нас и не заметить. Если же мы будем идти по противоположной от подворотни стороне, то нас могут заметить еще издали. Я высчитал, что в последнем случае мы будем идти против опасной подворотни, или, вернее, будем на виду у людей, спрятавшихся в подворотне, в пять раз дольше. И, следовательно, будет в пять раз больше шансов, что нас заметят.

Но Яша опять начал шепотом разводить свою теорию, что всегда надо идти в лоб опасности. Я не спорил с ним, чтобы не поднимать лишнего шума, и мы пошли по противоположной стороне от подворотни.

Яша считал про себя секунды. Мы знали, что от Стурдзовского переулка до санатория Ландесмана было семь минут ходьбы. В санатории за высокой оградой и железными воротами мы всегда чувствовали себя в полной безопасности. Особенно если не зажигали коптилок.

Когда мы проходили около подворотни, Яша споткнулся. Потом, когда мы вспоминали о происшествии в Стурдзовском переулке, Яша утверждал, что всегда, если хочешь сделать что-нибудь наилучшим образом, то обязательно сорвешься на пуста-

ковине. Я же про себя думал, что всему виной была Яшина невыносимая походка. Но я молчал, чтобы не огорчать Яшу.

Как бы там ни было, но Яша споткнулся и от неожиданности, вместо того чтобы выругаться про себя, сказал внятным и растерянным голосом:

– Извиняюсь!

– Стой! – закричал из подворотни сиплый голос, и на нас упал режущий свет электрического фонарика. – Вынуть руки из карманов! Немедленно, матери вашей черт!

К нам подошло несколько вооруженных. Это был казачий патруль.

– Документы! – сказал тот же сиплый голос. Я протянул свое удостоверение. Казак посветил на него, потом на меня.

– Пиндос, – определил он. – Скумбрия с лимончиком! Бери свою липу обратно.

Он отдал мне удостоверение и посветил на Яшу.

– А ты можешь не показывать, – сказал он, – сразу видать, что иерусалимский генерал. Ну ладно. Проходите!

Мы сделали несколько шагов.

– Стой! – вдруг истерически закричал тот же казак. – Ни с места! Мы остановились.

– Чего стали! Сказано вам – проходи!

Мы снова пошли, но очень медленно, чтобы не выдавать свое волнение. Нервы были напряжены с такой силой, что спиной, всем телом я чувствовал, как казаки взводят затворы. Щелканья затворов я не слышал. Я понимал, что это – предсмертная игра кошки с мышью, что нас все равно убьют и что каждое мгновение может быть последним.

– Стой! Так вашу мать! – снова закричал казак. Остальные сдержанно засмеялись.

Мы снова остановились около стены. Я ее не видел в темноте, но я знал, что она сложена из грубого камня и на ней есть выступы и выбоины.

– Лезьте через стену, – сказал я шепотом Яше. – Одним рывком! Все равно конец!

Я был худой. Мне легко было быстро влезть на стену. Но Яша со своими ботинками-колесами чуть не сорвался. Я схватил его

за руку и рванул. Мы перекинули ноги через стену и прыгнули. Позади загрохотали частые выстрелы. С верхушки стены полетел битый камень.

Мы бросились через темный сад. Стволы деревьев, вымазанные известкой, белели в темноте, и это нам помогло.

Казачи лезли через стену вслед за нами. Пуля свистнула где-то рядом. Мы добежали до противоположной стены сада. В ней был пролом.

Казачи уже бежали по саду, но они теряли время на то, чтобы прикладываться к винтовкам, и мы успели выскочить в пролом. В трех шагах от него был крутой обрыв к морю.

Мы скатились с обрыва и бросились вдоль берега. Казачи стреляли сверху, но они уже потеряли нас в темноте, и пули шли в сторону.

Мы долго пробирались по берегу, изрытому оврагами и пещерами. Прибой все так же равнодушно и сонно рокотал по гальке. Трудно было поверить, что человек может бессмысленно убить такого же, как он, человека перед лицом этой осенней, теплой, пахнущей чабрецом ночи, перед лицом шумящего спокойными волнами моря. По наивности своей я думал тогда, что зло всегда отступает перед красотой и что нельзя убить человека на глазах у Сикстинской мадонны или в Акрополе.

Смертельно хотелось курить. Выстрелы стихли. Мы залезли в первую же пещеру и закурили. Пожалуй, никогда в жизни я не испытывал такого наслаждения от папиросы.

Часа три мы просидели в пещере, потом вышли и крадучись пошли по берегу к санаторию Ландесмана. Все вокруг было тихо.

Против санатория мы, цепляясь за кусты и камни, влезли по отвесному обрыву к высокой крепостной ограде санатория. В цоколе ограды было пробито круглое отверстие для стока дождевой воды. Мы пролезли в него, потом завалили его камнями, хотя это было совершенно не нужно, и вошли в дом.

Назаров не спал. Он оторопел от нашего рассказа. В ванной, где не было окон, мы зажгли коптилку и впервые увидели себя. Платье было порвано, руки изодраны в кровь. Но, в общем, мы легко отделались от смерти.

Мы жадно напились чаю и опьянели. Конечно, не от чая, а от удивительного, ни с чем не сравнимого, какого-то невесомого чувства безопасности. Если есть полное счастье, то оно было в ту ночь с нами.

Мне хотелось, насколько возможно, продлить это чувство. Я оделся, взял одеяло и пошел в лоджию – глубокую нишу на втором этаже с выступающим балконом. В лоджии было темно. Ветер не проникал в нее, и меня никто не мог заметить с улицы.

Я сел в плетеный шезлонг, закутался в одеяло и так просидел до рассвета, прислушиваясь к звукам ночи.

Беспредельный морской шум не прекращался ни на минуту. Он набегал длинными волнами, то усиливаясь, то затихая. И ветер то начинал шуметь в голых деревьях, то замолкал, так же как и я, прислушиваясь к течению ночи. Но он не уходил, он был здесь. Я это знал по запаху мокрой гальки и по едва внятному трепету одинокого платанового листа.

Я заметил еще днем этот упрямый сизый лист, но сейчас, ночью, он казался мне маленьким живым существом, моим единственным бодрствующим другом.

Изредка из тьмы, из города, доносились ружейные выстрелы. После каждого выстрела долго лаяли собаки. Потом далеко в море мелькнул тусклый огонь и погас.

Все спало вокруг. Я часто засыпал на несколько минут, но сон этот был непрочен. То был полусон, когда с той ясностью, какая бывает только наяву, можно увидеть большие белые цветы, плывущие по ночному морю, или услышать, как поет скрипка, легкая, как детская ладонь.

В этом полусне я ощущал себя совсем иным, чем всегда, – очень спокойным, доверчивым, принимающим мир. И я слышал стихи, приходящие из морской темноты и похожие на женский шепот:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.

Последняя шрапнель

С каждым днем жизнь в Одессе становилась тревожнее. Бои с советскими частями шли уже под Вознесенском.

В Константинополь отходили пароходы, переполненные беглецами. Почти все эти пароходы – грязные, с облезлой черной краской на бортах – выползали из порта с большим креном, были нагружены выше ватерлинии и так густо дымили, что этим дымом заволакивало весь Ланжерон и нашу Черноморскую улицу.

Но газеты еще выходили. Белое командование знало, что конец приближается буквально по часам, но всеми силами скрывало это от населения, особенно от беглецов с севера. В газетах печатались телеграммы о том, что наступление большевиков приостановлено и в Одессу отправлены из Салоник крупные французские воинские части с артиллерией и газами.

Все эти слухи распространялись для того, чтобы беглецы с севера не ринулись в панике дальше на юг, в Константинополь, и не помешали бы бегству белой армии. Пароходов в порту было мало, и деникинцы берегли их для себя.

Газеты еще выходили, и в кафе «Желтая канарейка» еще докучивали махнувшие на все рукой офицеры. Газеты пытались внушить населению затасканную историю о том, что «Москва сгорела, но Россия от этого не погибла».

Газета, где я работал корректором, тоже занималась бесконечным перебиванием этой темы в статьях, фельетонах и стихах.

Однажды к нам в редакцию пришел Бунин. Он был обеспокоен и хотел узнать, что происходит на фронте. Стоя в дверях, он долго стаскивал с правой руки перчатку. На улице шел холодный дождь, кожаная перчатка промокла и прилипла к руке.

Наконец он стянул перчатку, мельком осмотрел серыми спокойными глазами дымную комнату, где мы сидели, и сказал:

– Да, у вас небогато.

Мы почему-то смутились, а Назаров ответил:

– Какое уж тут богатство, Иван Алексеевич. На ладан дышим.

Бунин ваял стул и подсел к столику Назарова.



И. Бунин. Одесса, 1918 г.

– Кстати, – сказал он, – вы не знаете, откуда взялось это выражение «дышать на ладан»?

– Нет, не знаю.

– В общем – конец! – сказал Бунин и помолчал. – Дождь, холод, мрак, а на душе спокойно. Вернее, пусто. Похоже на смерть.

– Вы загрузили, Иван Алексеевич, – осторожно сказал Назаров.

– Да нет, – ответил Бунин. – Просто неуютно стало на этом свете. Даже море пахнет ржавым железом.

Он встал и ушел в кабинет редактора.

С юных лет я любил Бунина за его беспощадную точность и печаль, за его любовь к Рос-

сии и удивительное знание народа, за его мудрое восхищение миром со всей его разнообразной красотой, за зоркость, за ясное бунинское ощущение, что счастье находится всюду и дано только знающим. Уже в то время Бунин был для меня классиком. Я знал наизусть многие его стихи и даже отдельные отрывки из прозы. Но выше всего по горечи, по страданию и безошибочному языку я считал маленький рассказ – всего в две-три страницы – под названием «Илья-пророк».

Поэтому сейчас я боялся сказать при нем хотя бы слово. Мне было просто страшно. Я опустил голову, слушая его глухой голос, и только изредка взглядывал на него, боясь встретиться с ним глазами.

Много лет спустя я прочел «Жизнь Арсеньева». Некоторые главы этой книги стали для меня чем-то более высоким, чем самая совершенная поэзия и проза. Особенно то место, где Бунин говорит о костях своей матери, зарытых в глинистой и холодной елец-

кой земле, о неизбежной потере единственно любимых людей, об отчаянии этой любви и бедном сердце, тяжело бьющемся в пустоте жизни. Он знал простые слова, разрывающие наше сердце:

Плакала ночью вдова:
Нежно любила ребенка, но умер ребенок.
Плакал и старец сосед, прижимая к глазам рукава,
Звезды светили, и плакал в закуте козленок,

Плакала мать по ночам.
Плачущий ночью к слезам побуждает другого.
Звезды слезами текут с небосклона ночного.
Плачет господь, рукава прижимая к глазам.

Бунин вскоре ушел. Я не мог больше работать, править выссанные из пальцев и безграмотные заметки одесских репортеров, и ушел к себе на Черноморскую.

Черный ветер задувал с оловянного моря. Угрюмые занавески дождей висели над ним. Листья акаций уже не плавали по чистым лужам, а давно утонули в них. Теперь они лежали под водой на плитах тротуаров желтыми гниющими пластами. Только мокрый плющ поблескивал на огородах и говорил о жизни.

Я пошел к морю, к Аркадии. Пустыня воды мерно колебалась и бесшумно набегала на размытые пески. Вся угрюмость, весь неуют осеннего моря вошли в сознание сложной и холодной тоской. Я не сопротивлялся ей.

В который раз я представил себе свою жизнь. Я перебирал ее год за годом и вдруг понял, что всему моему раздерганному противоречиями прошлому может дать смысл и силу, значение и оправдание только будущее.

Может быть, будущее отберет из этой жизни, из множества пережитого все, что освещено и согрето подлинной человечностью и поэзией, и поможет мне соединить эти отрывочные звенья моей жизни в цельный рассказ. Кто знает, может быть, этот рассказ будет нужен людям, а не только мне самому, и поможет им пробиваться через цепкое ненастье к далекой и ослепительной полосе чистого неба.

Кто знает? К той полосе, что сейчас уже медленно разрасталась над морем на юге, обещая выпустить из облачного студенистого плена солнце приморской осени.

За ночь полоса ясного неба разошлась, и утром я увидел из окна своей комнаты неправдоподобно синее море.

Дул слабый, но жгучий норд-ост. Он, как всегда, принес холод, чистоту неба и воздуха. Сухая трава покрылась инеем и качалась под ветром, поблескивая и звеня. Прибой тяжело и лениво облизывал прибрежные скалы и оставлял на них белую корку льда. Ветер срывал с морских валов густую, как сбитый белок, соленую пену. Ключья ее дрожали и шевелились на берегу, и легко было поверить древним эллинам, что из этой пены родилась нечеловечески прекрасная богиня Афродита.

Мои праздные мысли об этом прервал тяжелый пушечный гром. Он как бы прихлопнул город железной лапой. От этого выстрела весь санаторий зазвенел, как разошедшийся шкаф со стеклом. С крыши упала со звоном и рассыпалась черепица.

Потом послышался второй удар, третий, четвертый...

Стрелял французский крейсер, стоявший на рейде. Стрелял в степь. Снаряды проходили над городом и рвались так далеко, что звук разрывов не доходил до Одессы.

В окно я увидел, как с улицы ворвался во двор «Яша на колесах». Он открыл дверь на лестницу и крикнул снизу, наполняя гулом своего голоса пустой санаторий:

– Большевики прорвались у Тилигульского лимана! Подходят к Куяльнику. Конец!

Куяльник был в нескольких километрах к востоку от Одессы.

Яша вбежал ко мне в комнату. Пришел Назаров. Яша кричал, что белые бегут без единого выстрела, что в порту – паника, что французский крейсер бьет в степь наугад и что нужно немедленно захватить самое необходимое, сложить маленький чемодан и идти в порт. Там уже началась посадка на пароходы.

– Ну и что же, – сказал я ему. – Идите. Это – дело вашей совести. Но я считаю, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя бросать свою страну. И свой народ.

– Да, – добавил Назаров. – Жизнь вне России не имеет никакой цены и никакого смысла. А если ваша жизнь, Яша, уж так драгоценна, – не знаю для кого, – так бегите, черт с вами.

– Глупости! – пробормотал Яша и покраснел до того, что на глазах у него выступили слезы. – Все бегут. Это меня засосало. Ну, конечно же, я никуда не уеду.

Решения в то время требовали быстроты. Одна минута колебания могла исковеркать всю жизнь или спасти ее.

Яша остался. Он бурно радовался тому, что ни о чем уже не надо думать и не надо колебаться. Он даже вскипятил чай, мы наспех выпили его и пошли в Александровский сад.

В этом саду стояла над обрывом старинная аркада. Оттуда сверху хорошо был виден весь порт и все, что в нем творилось.

Я долго потом не мог отделаться от гнетущего ощущения, будто я уже видел на картине какого-то беспощадного художника это гомерическое бегство, эти рты, разорванные криками о помощи, вылезавшие из орбит глаза, зеленые от ужаса лица, глубокие морщины близкой смерти, слепоту страха, когда люди видят только одно – шаткие сходни парохода со сломанными от напора человеческих тел перилами, приклады солдат над головами, детей, поднятых на вытянутых материнских руках над обезумев-



Бегство из Одессы. 7 февраля 1920 г.

шим человеческим стадом, их отчаянный плач, затоптанную женщину, еще извивающуюся с визгом на мостовой...

Люди губили друг друга, не давая спастись даже тем, кто дорвался до сходней и схватился за поручни. Несколько рук тотчас вцеплялись в такого счастливец, повисали на нем. Он рвался вперед, тащил за собой по сходне беглецов, но тут же срывался, падал вместе с ними в море и тонул, не в силах освободиться от своего живого и страшного груза.

Все портовые спуски были забиты людьми. Казалось, что ограды и дома трещат от их напора и вот-вот поддадутся и рухнут. Это было бы спасе-



Аркада в Александровском парке, 1910-е гг.



Одесский порт, 7 февраля 1920 г.

нием, конечно, но дома из шершавого камня не поддавались. Только непрерывный звон стекол и треск дерева говорили о том, что людей вдавливают в окна и двери.

Растоптанные чемоданы, узлы и корзины ползли под ногами людей по спуску, как уродливые живые существа. Вещи вываливались из них, цеплялись за ноги, и люди тащили за собой женские сорочки и кружева, детские платья и ленты. Мирные эти вещи еще усугубляли трагический вид бегства.

Над всеми портовыми спусками висела отвратительная морозная пыль.

Офицеров и солдат толпа затерла, разъединила, и только бурки кавказцев металась в гуще людей черными колоколами, мешая их владельцам бежать. Они сбрасывали их, и бурки, как черные ковры, как бы сами по себе колыхались и плыли к порту.

Над мостиком одного из пароходов вырвалась к серому небу струя пара, и раздался дрожащий густой гудок. Тотчас, подхватив этот гудок, закричали на разные голоса все остальные пароходы. То были прощальные отходные гудки.

Они прозвучали как отходная людям, покидавшим отечество, отказавшимся от своего народа, от русских полей и лесов, весен и зим, от народных страданий и радостей, отрекшимся от прошлого и настоящего, от светлого гения Пушкина и Толстого, от великой сыновней любви к каждой травинке, к каждой капле воды из колодца простой и прекрасной нашей земли.

Кавалеристы на конце мола стояли все так же неподвижно.

Конвоировавший пароходы миноносец дал два выстрела. Две бесполезные шрапнели разорвались над городом жидким дребезжащим звоном. Это было последнее прости родной земле.

Советская артиллерия не ответила. Люди стояли на молах, на бульварах, на обрывах над морем и смотрели, как в дыму и мгле тускнели, уходя, тяжелые туши пароходов. В этом молчании победителей был тяжкий укор.

Пароходы исчезали в тумане. Северный ветер норд-ост как бы перевернул чистую страницу. На ней должна была начаться героическая история России – многострадальной, необыкновенной и любимой нами до предсмертного вздоха.

Таруса на Оке. 1956

Время больших ожиданий



Время больших ожиданий

Предки Остапа Бендера

Февральский день 1920 года во время пронзительного норда деникинцы бежали из Одессы, послав напоследок в город несколько шрапнелей. Они лопнули в небе с жидким звоном. *Тотчас у многих мнительных одесситов пропала всякая уверенность в завтрашнем дне.*

Белые оставили после себя опустошенный город. Ветер наваливал около водосточных труб кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Магазины закрылись. Сквозь окна было видно, как толпы рыжих крыс-«пацюков» судорожно обыскивали пыльные прилавки. Базарные площади – все эти Привозы, Толчки и Барахолки – превратились в булыжные пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебежали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время в Одессе не могло быть и речи.

Жалкие остатки продовольствия исчезли мгновенно. Холод закрадывался в сердце при мысли, что в огромном и опустелом портовом городе ничего нельзя достать, кроме водопроводной воды с привкусом ржавчины. Водопровод каким-то чудом еще качал из Днестра тонкую струю этой воды.

Я жил в то время в Одессе, в пустом *психиатрическом* санатории доктора Ландесмана на Черноморской улице.

Вместе со мной в санатории поселилось несколько журналистов. В их числе был и петроградский журналист Яша Лифшиц – человек чрезмерно деятельный и не интересовавшийся ничем на свете, кроме политики и газетной работы. О нем я писал

в предыдущей своей автобиографической повести «Начало неведомого века».

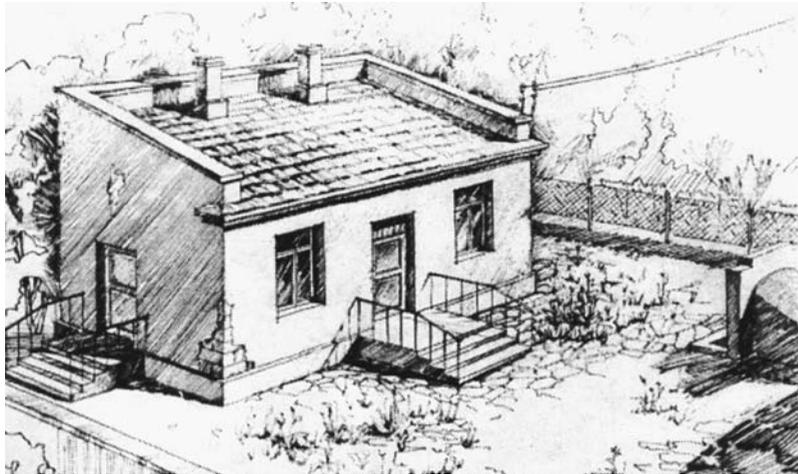
Незадолго до прихода советских войск Яша сказал мне, что надо выметаться от Ландесмана, так как большевики, когда войдут в Одессу, санаторий национализируют, а нас все равно выкинут.

– Возможны крупные неприятности! – произнес Яша роковым голосом.

Какие могут быть неприятности, он не объяснил. Но так как в те времена *бесконечной смены правительств* ожидание неприятностей было повседневным состоянием людей, то я его и не спрашивал.

Мы с Яшей сняли по соседству с санаторием дворницкую у оборотистого домовладельца, священника-расстриги Просвирняка.

Дворницкая стояла в заглошем саду, окруженном высокой оградой из камня «дикаря». Со стороны улицы ее защищал двухэтажный дом. Жить в этой дворницкой в то немирное время было спокойно, как в крепости. Недаром сам Просвирняк называл дворницкую «Форт Монте-Кристо».



Дворницкая. Графическая реконструкция архитектора И.М. Безчастного

До нас Просвирняк сдавал дворницкую профессору Новороссийского университета по кафедре политической экономии, обрусевшему немцу Швиттау. Профессор переделал дворницкую под маленький удобный особняк, окружил его куртинами маргариток, перевез в дворницкую свою библиотеку, но вскоре, предчувствуя приближение опасных времен, бросил все и бежал в Константинополь.

Профессорская библиотека состояла почти сплошь из немецких книг по экономике, таких аккуратных, что казалось, к ним ни разу никто не прикасался. К тому же они представлялись мне неимоверно скучными из-за своего готического шрифта.

Книги источали острый запах лизола и гвоздики. С тех пор этот запах стал для меня признаком вяжущей скуки, в особенности запах гвоздики – черных, похожих на маленькие обойные гвозди семян тропического растения. *Из-за этих семян в средние века возгорались войны, тогда как сейчас мы с трудом выносили их въедливый запах.*

Но зато в библиотеке у профессора стояли все восемьдесят шесть томов энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Это было завидное богатство.

Живя среди книг и вещей, оставленных Швиттау, я за глаза составил представление об этом профессоре. Он, конечно, был *совершенно* доволен собой, чисто умыт, румян, носил русую бородку и золотые очки, и в глазах его присутствовал тот водянистый блеск, какой бывает у застарелых девственников. Мне был неприятен этот мой воображаемый предшественник. Поэтому при каждом удобном случае я держал окна открытыми настежь, чтобы выветрить из дворницкой добропорядочный профессорский дух.

Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует сказать несколько слов о Черноморской улице. Я полюбил эту маленькую окраинную улицу и был уверен, что она самая живописная в мире.

Самый путь из города на Черноморскую улицу был своего рода лекарством от невзгод. Я часто испытывал это на себе. Иногда я возвращался из города в полном унынии из-за какой-нибудь неудачи. Но стоило мне войти в безлюдные переулки, окружав-



Стурдзовский переулок

шие Черноморскую, – в Обсерваторный, Стурдзовский или Батареиный, – услышать шелест старых акаций, увидеть темный плющ на оградах, освещенных золотеющим солнцем зимы, почувствовать веяние моря на своем лице, и тотчас возвращались спокойствие и душевная легкость.

Почти все эти переулки состояли из оград. Дома скрывались в глубине садов за глухими калитками. Переулки приводили на Черноморскую улицу. Она тянулась по краю высокого обрыва над морем. Слово «тянулась» здесь вряд ли подходит, так как улица была недлинная. Ее можно было пройти за несколько минут.

За всеми оградами открывалось море – великолепное во всякую погоду. Слева внизу были хорошо видны Ланжерон и Карантинная гавань, откуда уходил, изгибаясь, в море обкатанный штормами старый мол. Справа крутые рыжие берега, поросшие лебедой и пыльной марью, шли к Аркадии и Фонтанам, к туманным пляжам, где море часто выбрасывало сорванные с якорей плавучие мины.

Черноморская улица была морским форпостом Одессы. Мимо нее проходили все пароходы, шедшие в порт и уходив-

шие из него. Шум ее садов говорил о разной силе ветра. Мы научились определять ветер по этому шуму, как моряки по шкале Бофорта.

Существовали и другие звуки, даже незначительные, но и они сообщали нам о состоянии погоды. Так, например, частый стук созревших каштанов о тротуар свидетельствовал, что ветер крепчает и доходит до четырех баллов.

Черноморская улица всегда была безлюдна. Редкие ее обитатели предпочитали сидеть дома. Поэтому когда на ней появился однажды черный угольщик со своей ключей, то это было встречено как фантастическое событие. Прежде всего потому, что древесный уголь в то время продавался на вес золота. И еще потому, что угольщик, бесстрашно разоблачая свою частноторговую сущность, кричал мохнатым, мрачным голосом ласковые слова:

– Вот уголь, уголек, уголечек!

Среди неуютного быта тех дней Черноморская улица казалась хотя и обманчивым, но все же «островом спасения» для заброшенных на нее жизненной бурей людей.

В то время Илья Арнольдович Ильф еще не был писателем, а ходил по Одессе в потертой робе, со стремянкой и чинил электричество. С этой стремянкой на плече Ильф напоминал длинного и тощего трубочиста из андерсеновской сказки.

Ильф был монтером. Работал он медленно. Стоя на своей стремянке, поблескивая стеклами пенсне, Ильф зорко следил за всем, что происходило у его ног, в крикливых квартирах и учреждениях.

Очевидно, Ильф видел много смешного, потому что всегда посмеивался про себя, хотя и помалкивал.

Десятки Остапов Бендеров, пока еще не описанных и не разоблаченных, прохаживались враскачку мимо Ильфа. Они не обращали на него особого внимания и лишь изредка отпускали остроты по поводу его интеллигентского пенсне и вздернутых брьюк. Иногда они все же предлагали Ильфу соляную кислоту (в природе ее в то время давно уже не было) для паяльника или три метра провода, срезанного в синагоге.



Илья Ильф. Одесса, 1920 г.

Ильф в таких случаях вступал в оживленный торг, исключительно с целью выслушать новейший набор одесских острот, клятв и проклятий.

Мода на клятвы часто менялась. Она зависела от многих вещей: от положения на фронте гражданской войны, от стоянки или отсутствия в Константинополе английского дредноута «Сюперб» или от поведения балтийского матросского отряда, который, как говорили, занимал под постой дом мукомола Вайнштейна.

Самой модной была тогда клятва: «Чтоб мне не дойти туда, куда я иду». В этой клятве содержался явный намек на опасность хождения по одесским улицам.

Но Ильфу недолго пришлось чинить электричество. Вскоре одесская электростанция остановилась, и, как уверяли одесситы, навсегда.

Я вспомнил об Ильфе и его персонаже – бесстрашном плуте Остапе Бендере – потому, что даже в те суровые дни плутовство процветало в Одессе. Оно заражало даже самых бесхарактерных людей. Они тоже начинали верить в древний закон барахолки: «Если хочешь что кушать, то сумей загнать на Толчке рукава от жилетки».

Плутовство вползло наконец и в нашу среду литераторов и журналистов.

Советских денег у нас с Яшей Лифшицем не было ни копейки. Соленой камсы осталось на один день. В письменном столе валялось два черных сухаря. Они распространяли тот же ненавистный запах лизола и гвоздик, как и профессорская библиотека.

Следовало что-то предпринять, чтобы не пропасть от истощения. Но, как нарочно, голова гудела, и ни я, ни Яша ничего не

могли придумать. Да и что придумаешь в опустошенном городе, где еще не было ни учреждений, ни газет, ни базаров, ни, наконец, советских денег! Приходилось ждать, пока все это наладится; но ждать было почти невозможно: нас уже шатало и тошнило от голода.

Поэтому мы предпочитали лежать в дворницкой, укрывшись с головой своими потертыми пальто, и все-таки чего-то дожидаться.

В дворницкой холод стоял густым слоем, как в леднике. Жесткую «буржуйку» мы топили старыми газетами и быстро доводили ее до белого каления. Но она так же стремительно остывала, как и разъярялась.

На пятый день после занятия Одессы советскими войсками к нам пришел мой школьный товарищ по Киеву Володя Головчинер. Недели за две до этого я встретил его на Дерибасовской, где Володя, несмотря на свою подслеповатость, золотые очки и потрепанный, но барский вид, торговал с рук зажигалками.



Владимир Головчинер (слева), Илья Ильф. 1930-е гг. Фото Александра Козачинского

Володя привел с собой сморщенного, как обезьянка, человечка, говорившего так быстро и невнятно, будто во рту у него было полно голышей.

– Вот, – сказал Володя Головчинер и неопределенно показал на человечка, – имею честь представить товарища Торелли. Торелли – это псевдоним. А «в миру», как выражается ваш расстрига-домовладелец, он носит фамилию Блюмкис. Он одесский репортер. У него есть одна идея.

Мы высунули головы из-под пальто и молча рассматривали виновато улыбавшегося товарища Торелли, имевшего какую-то идею.

– Торелли или Торичелли? – придирчиво спросил Яша. Он был немного туг на ухо.

– Торелли, – уныло повторил Володя Головчинер. – Да это неважно. Идея его имеет отношение к нашему бедственному существованию. Упомянутый товарищ Торелли – в миру Блюмкис – находится в таком же пиковом положении, как и вы двое и даже я, Владимир Головчинер, сын киевского профессора-стоматолога и чемпион по плаванию. Эту идею товарищ Торелли имеет изложить сам, поскольку это позволят ему его речевые способности.

Володя любил говорить ерническим языком. Я к этому привык еще в гимназии.

Тогда Торелли что-то произнес, но так быстро, что мы услышали только треск, будто кто-то проиграл стремительно дробь на турецком барабане.

– Позвольте, я переведу, – бесстрастно сказал Володя Головчинер. – Товарищ Торелли считает, что его идею следует принять немедленно и, по возможности, без смеха.

Оказалось, что товарищ Торелли снимает комнату у расстриги Просвирняка в двухэтажном доме, выходявшем на улицу. Он узнал от расстриги, что мы столичные журналисты. Столичным журналистам Торелли завидовал, хотя ни за что не согласился бы променять Одессу даже на работу в самом «Русском слове». Вы спросите: почему? Очень просто. В Одессе можно было «сделать» любую сенсацию. Написать, например, в газете «Одесская почта», что на рабочей окраине Пересыпи лопнул меридиан, и катастрофа для города была предупреждена только благодаря ге-

роическим усилиям пожарных команд. В Москве и Петрограде такой номер никогда не прошел бы.

Но дело сейчас не в этом, заметил Торелли. Дело в том, чтобы спастись от голода. Для этого нужно объединиться не меньше чем четверем опытным журналистам. Надо пойти на риск, но зато, может быть, завтра же мы будем, как нежно выразился Торелли, «кушать» хлеб и нам, может быть, даже дадут аванс – по несколько «лимонов» на каждого. «Лимонами» в то время назывались советские бумажные деньги достоинством в миллион рублей.

Сущность своей идеи Торелли объяснить отказался, требуя безусловного доверия.

– Разглашать раньше времени – значит сглазить! – сказал он убежденно.

Мы не удивились этому. Нам было теперь все равно: пропадать так пропадать, риск так риск! Мы отупели от голода и согласились на все.

– Тогда, – сказал Торелли, – завтра в восемь утра я заскочу за вами и буду сопровождать вас в город.

Он надел соломенное канотье – его он до тех пор держал за спиной – и, игриво сказав: «Привет, привет!», исчез.

– Да-а, – задумчиво произнес Яша Лифшиц. – «Все сметено могучим ураганом». Все продано, и все проедено.

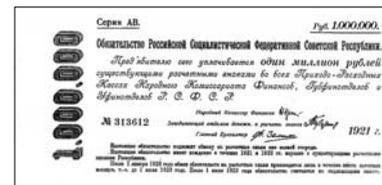
– Вы о чем? – спросил Володя.

– О том, что рваное соломенное канотье товарища Торичелли не головной убор для зимних одесских нордов.

– Представьте себе, – сказал Володя, – что у него есть сестра. У нее год назад отнялись ноги. Она почти не может ходить. Они живут в одной комнате. Как терпеливо он ухаживает за ней! Под



Газета «Одесская почта»



Денежная купюра
достоинством в 1 миллион рублей, 1921 г.

его жалкой оболочкой бьется великодушное сердце. Тема, достойная Шекспира!

– Что он собирается выкинуть, этот Торичелли? – спросил Яша. – Как бы мы не влипли в какую-нибудь идиотскую историю.

Володя сказал, что все может быть, и ушел. Мы снова натянули на головы пальто. Но я долго не мог согреться и уснуть.

Проснулся я на рассвете, когда воздух за окном, похожий на воду, подкрашенную грязноватым ультрамарином, был даже на взгляд груб и насыщен ледяным ветром. Очевидно, этот ветер задувал прямо с полюса. Я с отвращением подумал, что скоро надо вставать, идти в город, а ветер будет врывать за шиворот и костенить тело.

Может быть, не ходить? Сжаться под пальто, собрать в комок все свое слабое тепло и потом, засыпая, вынуть из него, как из елочной ваты, невесомый и радостный сон – синий, тонкий, оставляющий такое же ощущение нежности, какое бывает, если прикоснешься щекой к щеке спящего ребенка.

Я ждал такого сна, но вместо него услышал, как в саду ядовито зашипел норд. Потом в это шипение вошел настойчивый и грубый стук в дверь, – это пришел за нами товарищ Торелли.



Обсерватория. Начало XX века

В город мы шли через Александровский парк. Норд хлестал в лицо гравием и швырял шершавую пыль. Цинкового цвета море катило из рассветного цинкового тумана гремящие мутные валы. Противно и назойливо верещал цинковый флюгер на крыше маленькой обсерватории в парке.

– Весны не будет, – сказал Яша. – Солнца тоже не будет! Ничего больше не будет! Все это еще одна иллюзия недорезанных интеллигентов.

Торелли тонко пискнул и поперхнулся. Я не сразу сообразил, что он смеется. На его обветренных глазах блестели красноватые слезы.

– Куда вы нас ведете? – придирчиво спросил Яша. – Я предпочитаю жалкую авантюру.

– Клянусь честью, что я вас доведу только до первого советского учреждения, – торопливо ответил Торелли. – Должны же они в конце концов открыться, эти учреждения! Кстати, вы сами согласились на риск.

На углу Канатной улицы нас ждал Володя Головчинер.

В городе было пусто. По Канатной процокали копытами всадники с красными лоскутками на потертых мерлушковых папах. Они даже не посмотрели на нас. Изо всех подворотен высунулись мальчишки, и тотчас по дворам прокатились мощные материнские крики:

– Назад, чтоб вас хвороба взяла! Это же несчастье, а не дети! Назад!

Мальчишки скрылись.

Потом медленно проехала, сотрясая окна, расхлябанная грузовая машина с поломанной мебелью. В кузове машины сидел красноармеец с винтовкой и курил. Мальчишки снова появились в подворотнях, но так же внезапно исчезли под новые хриплые вопли: «Назад, байструки! Чтобы вы горели огнем на том свете!».

Чудесный, бодрый запах махорки пронесся, завиваясь, по улице. Я невольно проглотил слюну.

– Не отставайте от этой машины, – сердито прошептал нам Торелли. – Тут будет дело!

Мы прибавили шаг. Грузовик выехал на Ришельевскую, свернул к Оперному театру и остановился около темного здания быв-

шей Ришельевской гимназии. То был один из домов, оставшихся от времен Ришелье и де Рибаса. Такие здания придавали Одессе благородные черты Генуи, Флоренции и даже, как утверждали некоторые одесситы, самого Парижа.

На тротуаре около этого классического здания лежало имущество рядового советского учреждения (очевидно, учреждение это большую часть своей жизни проводило на колесах): оборванные рулоны бумаги, линияые плакаты из кумача, обернутые вокруг древков, расшатанные канцелярские столы, нервные этажерки, привыкшие падать навзничь от грубого хлопанья дверей, выгоревшие портреты в рамах, выкрашенных сизой морилкой, погнутый бак для кипяченой воды и множество ящиков.

Все это имущество охранял матрос с такой рыжей проволоочной шевелюрой, что бескозырка у него не прикасалась к голове, а как бы стояла в воздухе, опираясь на эту шевелюру.

На дверях здания был прибит кусок холста с надписью: «Одесский Опродкомгуб».

– Сюда! Быстро! – сказал Торелли, рванулся в сторону и выскочил на маленькую площадь Пале-Рояль около Оперного театра. Там страж с проволоочными волосами не мог нас заметить.

Сейчас Торелли совсем не казался таким жалким, как вчера на Черноморской или каким был еще час назад. Отблеск вдохновения упал на его лицо. Но я не представлял себе ничего, что могло быть причиной этого вдохновения. Глаза Торелли лукаво поблескивали в щелках припухших век.

– Прежде всего надо выяснить, – сказал он, – что значит Опродкомгуб?

Я знал это сокращенное название и объяснил его. Оно означало: «Особый продовольственный губернский комитет».

Торелли присел, хлопнул себя по коленкам костлявыми лапками и залился тихим смехом.

– Лучшего учреждения, – пропищал он, – нам и не нужно. В самый раз!

Тогда обозлился Володя Головчинер.

– Слушайте, синьор Торричелли, – сказал он. – Объясните нам, что это за манифарги, или, проще говоря, что это за штучки. Иначе мы бросим вас и уйдем.



Пале-Рояль. Начало XX века

Володя называл «манифаргами» все, что было ему непонятно.

Тогда Торелли изложил свою «идею», свой план, показавшийся нам одновременно и невероятно опасным, и неслыханно глупым.

– Послушайте, – сказал он, – вы же знаете, что такое учреждение? Или вы не знаете? И вы тоже знаете, что ни одно уважающее себя учреждение не может жить, если оно не издает какой-нибудь информационный листок или бюллетень про свою работу. Или, худо-бедно, не имеет собственного информационного отдела. Вы это знаете? Очень хорошо! А вы не подумали, что для этого отдела нужны газетчики? Особенно репортеры. И знаете ли вы, что если нет информационного отдела, то начальник учреждения, будь он хоть сам мистер Форд, начнет барахтаться в делах, как цыпленок в луже? Мы откроем в Опродкомгубе информационный отдел. Мы напечатаем роскошный бюллетень на ротаторе о прибытии в Одессу для раздачи нетерпеливому населению трех бочек выдержанной камсы из Очакова и вагона кукурузы и моченых помидоров из Тирасполя. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что в Одессе начнется жизнь! – крикнул Торелли. – Жизнь!

– А почему вы уверены, что в этом учреждении еще нет информационного отдела? – спросил Яша. – Вы слишком много на себя берете, товарищ Торичелли.

– Ха! – воскликнул Торелли. – И еще раз «ха»! И, если хотите, двадцать раз «ха»! Вы же видите, что они еще не втащили в дом даже свое барахло. Они еще сосунки. Ну, а если тут информационный отдел есть, так это же не единственное учреждение в Одессе. Пойдем в другое. И откроем информационный отдел там.

Мы промолчали, подавленные логикой Торелли.

– Требуется солидный человек в очках, чтобы он говорил по-русски, как актер Качалов, – сказал Торелли. – Самый подходящий для этого, по-моему, товарищ Головчинер. Он будет у нас начальником отдела. Вы, – он показал на меня, – заместителем, товарищ Лифшиц – экономистом, а я – репортером. Но главное – проскочить мимо матроса, мимо этого рыжего голиафа с винтовкой. Пошли! Быстро! В таких делах волынка – первая опасность.

Мы с деловым видом подошли к входу в таинственный Опродкомгуб. Торелли шел сзади, фальшиво насвистывая и стараясь спрятаться за нашими спинами.

Рыжий часовой сидел на ящике и держал за передние лапы белую мохнатую собачку.

– Служи дяде! – говорил матрос нарочито грозным голосом. – Служи дяде, черт мохнатый, цуцик-пуцик! Служи дяде!

Собачка виляла хвостом и повизгивала, явно показывая, что ей слишком лестно такое обращение. Но служить она не умела.

– Вот приблудилась с ночи, – сказал нам матрос, – и не уходит. Такая обходительная собачка, не поверите! Голодная, стерва! Придется взять ее с собой в команду. Ой же, и придется! – ласково сказал он, начал трепать собачку по спине и приговаривать: – Ой же, и надо взять такую дурную смешную собачку! Ой же, и следует взять на матросское снабжение такую кудлатую псину!

Собачка молотила хвостом и подвывала от восторга. Мы проскочили мимо матроса под суровые своды Опродкомгуба. Я посмотрел на своих спутников. Они растерянно улыбались.

– Ах, какой парень! – неожиданно сказал Яша Лифшиц.

– Кто? – спросил Торелли.

– Конечно, не вы!

По темным коридорам красноармейцы, топя бутсами, тащили канцелярские шкафы. Дверцы у шкафов сами по себе распахивались и тотчас захлопывались с оглушительным треском. Красноармейцы вполголоса ругались.

– Значит, так, – сказал Володя Головчинер, – мы сейчас узнаем, в какой комнате сидит начальник этого учреждения, пойдем к нему и попросим принять нас на работу.

Торелли взмахнул, руками, отступил и с ужасом и презрением посмотрел на Володю.

– Вы что? – спросил он свистящим шепотом. – Окончательно сумасшедший? Или нет? Или у вас еще не прорезались зубы? Вы хотите, чтобы нас прямо отсюда отправили в Чека и разменяли на мелкую монету? Пришли с улицы – и бенц! – прямо к начальнику! Кто мы? Что мы? Желтая пресса! Бульварные журналисты! Вы угробите всех. Стоило мне стараться и придумывать такой замечательный план, чтобы из-за вас обмишуриться навеки! Разве так поступают?

– А как? – растерянно спросил Головчинер. Мы с Яшей тоже опешили.

– Раз не знаете, так положитесь на меня! – высокомерно произнес Торелли. – Я подскажу вам все, что нужно делать. Никаких начальников! Мы сами начальники! За мной!

Торелли пошел вперед, а мы, горько сожалея, что впутались в эту историю, неуверенно пошли следом за ним.

К счастью, никто не обратил на нас внимания, и мы наконец попали в пустой и пыльный коридор на втором этаже. Он кончался уборной с выломанной дверью и черной лестницей.

– Пожалуй, лучше всего будет здесь, – сказал Торелли и толкнул первую же дверь. Она открылась, и мы вошли в пустую комнату. В ней не было ничего, кроме валявшихся на полу справок о прививке оспы и плаката с надписью: «Борись с трихинозом свиней!».

Торелли поднял плакат, достал из кармана синий карандаш, перевернул плакат чистой стороной, положил на подоконник и написал на нем витиеватым писарским почерком: «Информационный отдел». Потом подумал и приписал внизу шрифтом немного поменьше: «Завотделом – Головчинер В.Л.».

Мы следили за действиями Торелли, не спуская с него глаз, как кролики, зачарованные гремучей змеей.

Торелли достал из кармана брюк бумажный пакетик с несколькими кнопками, вышел в коридор и приколот плакат к двери.

– Вот и все! – сказал он и радостно потер руки. – Все обдумано. Первый акт отошел. Теперь остается только ждать дальнейших событий. Присаживайтесь, прошу вас, на подоконники!

У Володи Головчинера была пачка кубанского табака, черного и сухого, как торф. Мы расселись на пыльных подоконниках, закурили и начали ждать. Говорили мы шепотом. Один Торелли насвистывал вальс из «Веселой вдовы».

– Черт его дери, – неопределенно сказал Яша. – Может быть, нас действительно расстреляют?

Торелли презрительно фыркнул.

Мы сидели и прислушивались к беспорядочному шуму, постепенно заполнявшему учреждение. Где-то даже зазвонил, как вызов из преисподней, надтреснутый телефон.

За окнами был виден Ланжероновский спуск, но не весь, а только один его живописный кусок. Море синело; норд уже иссякал.

– Мы самозванцы, – опять сказал Яша мрачным голосом. – Нас разоблачат в три счета. Лучше, пока не поздно, уйти.

Тогда возмутился Торелли.

– Это мне страшно нравится! – воскликнул он. – Bravo и бис! Не смешите меня. Где вы видите самозванцев? Разве мы не будем честно работать? Если мы нашли подходящее место для приложения интеллигентских сил, так это простой здравый смысл, и только!

– Вы Спенсер, Торелли, – сказал Володя. – Кант! Президент Пуанкаре! Вы подвели железную базу под мое шаткое звание заведующего информационным отделом. У меня после ваших слов выросли крылья.

– Тише! – вдруг сказал злым шепотом Яша. – Хватит паясничать! Кто-то идет.

Действительно, по коридору кто-то шел, бряцая шпорами. Шаги были чугунные, как у командора. Человек со шпорами остановился против нашей комнаты, густо прокашлялся, помедлил и распахнул дверь.

Мы вздрогнули.

В дверях стоял, очевидно, один из отчаянных командиров прославленных партизанских отрядов. Косматые седеющие брови густо свисали над его черными глазами. Плохо выбритое лицо отливало синеватой чернотой. На поясе у него висел мощный маузер с деревянным прикладом. Через плечо была перекинута полевая сумка. Нагрудные карманы френча были туго набиты пистолетными обоймами, махоркой, зажигалками и скомканными бумажными деньгами. От обилия этих вещей оба кармана лопнули, и при каждом движении человека с маузером из прорех в карманах сыпалась драгоценная махорка.

Человек с маузером пристально осмотрел нас, потом прикинул глазом величину комнаты и сказал неожиданно тонким, как дудочка, голосом:

– Доброго здоровьица, други! Будем знакомы. Карп Поликарпович Карпенко. Бывший работник на ниве народного образования, а ныне ваш комендант. Кто здесь заведующий столь замечательным отделом? Кажется, товарищ Головчинер Ве Эль? Он здесь?

– Да, это я, – осторожно ответил Володя.

– Покорнейше прошу, – сказал комендант, – не позже, чем через час, представить мне точный реестрик потребного вам имущества, заверенный вашим подписом. Не зевайте, пока имущество не расхватали другие, более нахальные отделы. Информационный отдел всегда, знаете, остается в дураках. Имею на этот счет опыт. А почему? Потому, что интеллигенты, дорогой мой товарищ Ве Эль Головчинер, разводят нюни со всяким бараклом. Когти и кулаки надо показывать! Вот! – комендант показал нам красный волосатый кулак. Он даже повертел им в разные стороны, чтобы мы лучше его рассмотрели. – Как говорится, сто раз покрути перед носом, а один раз стукни! Сразу всякое хрюкало хвост подожмет, и воцарится полнейший порядок. И эта штучка, – он похлопал по маузеру, – тоже прочищает мозги лучше, чем технический нашатырь. Не беспокойтесь. Вас я не дам в обиду, поскольку от отца унаследовал почтение к трудовой интеллигенции. Оно, знаете, совершенно правильно сказано у поэта: «Сейте разумное, доброе, вечное...».

Он внезапно замолк и прислушался. Из коридора доносилось кряхтенье нескольких человек. Комендант распахнул дверь, выскочил из комнаты и закричал плачущим бабьим голосом:

– Очи у вас повылазили, что ли! Балет мне устраиваете! Тут же информационный отдел, а вы сюда прете несгораемый шкаф, надлежащий до бухгалтерии. Назад! Спускайте его по этой черной лестнице в первый этаж. Все здание сотрясаете, полы побили, как черепицу. Что это за чертовы люди, ей-богу! Противно даже на вас смотреть!

После сильного пыхтения за дверью вдруг раздался удар. В коридоре что-то обрушилось, треснула оконная рама, со звоном полетели стекла, и комендант снова закричал отчаянным голосом (так обыкновенно кричат, хватаясь за голову):

– Удерживай!! Удерживай его, чертяку! А то завалите здание! Удерживай, говорю!..

И вот тогда мы впервые почувствовали как бы подземный толчок. Дом вздрогнул, качнулся. Громоподобный грохот покатился с нашего второго этажа на первый. Чердак у нас над головой затрясся, и с потолка белой чешуей посыпалась штукатурка. Было слышно, как, топя бутсами, разбегались люди.

Второй удар землетрясения слился с хриплым воплем коменданта:

– Тикайте с площадки, матери вашей черт! Разве сами не видите, что делается! Тикайте!

Внутреннее это опродкомгубовское землетрясение стихло так же внезапно, как и началось. Мы вышли в коридор. В нем туманом висела известковая пыль. В полу зияли борозды, будто коридор пропахали тяжелым плугом. Угол у окна был отбит. Внизу, на первом этаже, на площадке черной лестницы, лежал на боку, отдыхая, слетевший со второго этажа злополучный стальной шкаф, опутанный рваными веревками. Перила лестницы были начисто отломаны. Они чудом висели на одной ржавой проволоке.

Над шкафом, как над покойником, грустно стояли, опустив головы, носильщики-красноармейцы. Очевидно, они были из хозяйственной команды: никакой выправки у них я не заметил.

Комендант тоже стоял около шкафа в глубоком раздумье. Он увидел нас и ударил носком сапога по шкафу. Раздраженно зазвенела шпора.

– Видали бугая? – спросил комендант. – Чуть людей не поубивал. Так пришлите мне, товарищ Головчинер, реестрик. И не стесняйтесь. Составляйте с «походом».

С этой минуты мы поверили, что «гениальный» план Торелли удался если не совсем, то, по крайней мере, наполовину.

Реестр был составлен. Торелли отнес его коменданту. При этом он успел подружиться с ним и войти в курс жизни Опродкомгуба. Комендант оказался, по словам Торелли, «мировым хлопцем».

Мы повеселели, особенно когда в комнате появились первые столы и стулья. Повеселел даже Яша. Он перестал каркать, хотя время от времени и вспоминал о грозном часе, когда придется заполнять анкету.

Но наши испытания на этом не кончились. В коридоре снова слышались шаги, но теперь уже нескольких человек. Мы быстро сели за свои пока еще пустые столы. На них не было даже чернильниц.

Дверь снова распахнулась, и в комнату вошел хилый молодой человек в пальто, перешитом из солдатской шинели, и в линялой студенческой фуражке. Он близоруко приглядывался к нам сквозь толстые стекла очков.

Это был начальник Опродкомгуба, бывший студент-юрист Харьковского университета, товарищ Агин.

За ним вошла его свита. Она состояла из здоровых парней в плотных гимнастерках и скрипучих кожаных портупях.

Появление Агина было похоже на выход римского императора Марка Аврелия – прекраснородушного философа и поэта – в окружении гремящих мечами и латами легионеров.

Нам долго не верилось, что этот болезненный и мягкий человек был начальником учреждения, ведавшего снабжением Одессы, – учреждения шумного, грубого, которое тотчас же обсели, пытаясь прорваться в него, всякие делеги, рвачи, хапуги, рукосуи и «леваки».

Агин был тих, но непоколебим, и потому кипящие багроволицые толпы тайных и явных спекулянтов, равно как и раскаленные их мечты о баснословной наживе, стихали, как волны, у дверей его кабинета.

– Оказывается, у нас есть даже информационный отдел! – сказал Агин, пожевал губами и усмехнулся. У меня упало сердце. Агин

АНКЕТА
для советских сотрудников.

Вопросы (детали обязательны)	Ответы (кратко, ясно и четко)
1. Какими услугами, к кому вы можете обратиться?	Вульфсон
2. В качестве кого?	Соборный секретарь
3. Как относитесь к фаворитам?	Партийный фаворит
4. Народит?	Эй нет
5. Самые опасные?	Левый
6. Важнейшие?	русские
7. Образование (языки, курсы, школы, семинары, все наизусть)	еврейский и русский (русский)
8. Род занятий (пре-профессор)	Журналист
9. Политические взгляды: а) если не коммунист, то кем вы себя считаете? б) если не коммунист, то кем вы себя считаете? в) если не коммунист, то кем вы себя считаете?	Н.С.П.
10. Справедливы ли в нашей стране и во всем мире?	Н.С.П.
11. Справедливы ли в нашей стране, особенно в нашей стране, в нашей стране и в нашей стране? а) да б) нет в) не знаю	Н.С.П.
12. Вы не могли бы работать или служить государству, если бы вы были коммунистом? а) да б) нет в) не знаю	да, конечно

Анкета К. Паустовского. 1920 г.

обвел всех нас глазами и снова усмехнулся.

– Кто заведует им? Вы? Очень рад, товарищ. Как ваша фамилия? Головчинер? Вы не родственник известного сиониста Головчинера? Нет? Ну, тем лучше. Иногда однофамильцы тоже могут причинить неприятности. А это ваши сотрудники? Все журналисты? Очень, очень рад! Надеюсь, мы сработаемся, хотя функции вашего отдела мне еще недостаточно ясны.

Торелли издал какой-то непонятный длинный звук, обозначающий, очевидно, утверждение, что мы, конечно, сработаемся.

Агин обернулся к нему, наклонил несколько набок голову, как бы вдумываясь в стремительную тираду Торелли и ожидая ее продолжения. Но Торелли pokrылся обильным потом и молчал.

– Ага, понимаю, – сказал Агин и дружески улыбнулся Торелли. – Вы совершенно правы.

Он попросил Володю Головчинера прийти через час к нему в кабинет на совещание заведующих отделами для обсуждения плана работ, кивнул нам и вышел...

Володя Головчинер стоял белый, по словам Торелли, «как мукомол».

Через два томительных часа Володя вернулся румяный и веселый, крикнул нам с порога: «Встать, халдеи!» – и роздал всем по сто тысяч рублей, по талону на получение хлеба и по анкете из ста двадцати вопросов. Но сейчас уже анкета нас не пугала. Мы поздравили и поблагодарили Торелли. Он сиял, как победитель, и троекратно, по-московски, облобызался с нами.



Ротатор



Плакат «Долой гидру контрреволюции!» 1920-е гг.

К вечеру отдел приобрел вид настоящей редакции. На маленьком столике стоял новенький ротатор.

Над ним висел огромный плакат: красноармеец в зеленом богатырском шлеме всаживал штык в чешуйчатое брюхо дракона. Из пасти у дракона било косматое малиновое пламя. Внизу была надпись: «Долой гидру контрреволюции!».

Над столом у Володи Головчинера висел лист картона. На нем в кружочках из листьев дуба были напечатаны портреты вождей. Непостижимым образом все вожди походили друг на друга, как братья. Объяснялось это тем, что жидкая типографская краска расплзлась по картону и очертания всех лиц слились в одно мутное пятно.

Плакаты прислал нам в знак особого расположения комендант Карп Поликарпович Карпенко.

Жизнь снова казалась прекрасной, а теплый хлеб из соседней временной пекарни, подгорелый и пахнущий хмелем, – необыкновенно вкусным. Я никогда еще не ел такого душистого хлеба с такой хрустящей горбушкой.

Все обошлось, но все же на душе у Яши и у меня было беспокойно. Однажды ночью Яша, ворочаясь на жесткой койке без тюфяка, сказал мне:

Все обошлось, но все же на душе у Яши и у меня было беспокойно. Однажды ночью Яша, ворочаясь на жесткой койке без тюфяка, сказал мне:

– Вы там как хотите, а я завтра пойду к Агину и расскажу про все это безобразие. Про то, как мы попали в Опродкомгуб.

– Ну что ж, пойдёмте.

Наутро мы пошли к Агину. В тот день признаки весны уже появились в Одессе. Солнечный свет стал плотнее. Над морем плыли, разваливаясь и открывая синие небесные провалы, громады белых облаков.

Даже в кабинете у Агина чувствовалось приближение весны. От сырых полов в тех местах, куда падал из окна солнечный свет, клубился пар.

Агин вежливо выслушал нас, откинувшись на спинку кресла, и, кивая головой, тихо засмеялся.

– Я ждал этой исповеди, – сказал он, – но, признаться, несколько позже. Я все знаю. Нельзя сказать, чтобы я был восхищен вашей выдумкой, – она лежит слишком близко от криминала. Но поскольку это изобрели не вы, а тот маленький человек с плохой итальянской фамилией, то на вас нет особой вины. А я был бы никуда не годным руководителем, если бы не догадался, что здесь дело, несомненно, подмоченное.

– Как же вы догадались? – спросил Яша.

– Прежде всего, у нас по схеме нет никакого информационного отдела. Он свалился на Опродкомгуб как снег на голову. Кое-что начал подозревать с первой же минуты милейший наш комендант, Карп Поликарпович. Он первый же и доложил мне, что люди, видно, интеллигентные, никак не жулики, должно быть хорошие работники, и не стоит подымать шума и губить их. Но, признаюсь, мне нелегко было задним числом включить этот самозванный отдел в структуру учреждения. Самое удивительное, что этот отдел действительно оказался нужным. Отсутствие его было бы явным ущербом. За что и примите мою благодарность.

Лабиринты из фанеры

Вдоль тротуаров зацвели старые акации. Все вокруг было усыпано их желтоватыми цветами.

Опродкомгуб к весне переехал с Ришельевской в самую гущу этих уличных акаций – в «Северную гостиницу» на Дерибасовской.

Первые годы революции отличались необыкновенной непоседливостью учреждений. Они постоянно переселялись. Шумно заняв какой-нибудь дом, учреждение прежде всего строило внутри множество фанерных (или, как говорят на юге, «диктовых») перегородок с такими же фанерными хлипкими дверями.

Фанерный лабиринт из одного какого-нибудь учреждения, если бы его вытянуть в одну линию, мог бы, пожалуй, опоясать стеной всю Одессу по окружавшей город Портофранковской улице.

Фанерные перегородки, никогда не доходившие до потолка, пересекались под самыми причудливыми углами, резали надвое лестничные площадки, создавали темные, загадочные переходы, тупики и закоулки.

Если бы с этих учреждений, заполненных перегородками, можно было снять крыши или сделать вертикальный разрез дома от чердака до подвала, то перед пораженными зрителями открылась бы картина запутанного человеческого муравейника. Он был заполнен особой породой человеко-муравьев. Они исписывали за день горы бумаги и прятали их на ночь, как в соты, в фанерные клетушки.

На фанерные перегородки полагалось клеить кипы приказов, объявления и огромные, как простыни, стенные газеты.

В фанерном коридоре ставили цинковый бак для кипяченой воды с прикованной к нему на цепи жестяной кружкой. Около бака усаживалась курьерша – тетя Мотя или тетя Рая, – и с этой минуты учреждение начинало полностью действовать.

Иногда даже казалось, что никакое учреждение немислимо без фанерных перегородок и курьерш, и только при нали-



Гостиница «Большая Московская», где размещался Опродкомгуб. 1910-е гг.

чии курьерш и фанеры учреждение расцветает, кипит ключом, и работа его подвергается всестороннему обсуждению как со стороны собственной «тети Моти», так и всех «тетушек Моть» из соседних – дружественных или враждебных – учреждений. Каждая «тетя Мотя» блюла авторитет своего заведения. «Правила внутреннего распорядка» были для нее скрижалями, не подлежащими критике и, очевидно, врученными коменданту самим Саваофом на высотах административного Синая!

В этих лабиринтах из фанерных перегородок можно было увидеть много любопытных вещей и в первую очередь кассу – унылую клетушку за прорезанным в фанере кривым окошком.

В Опродкомгубе над окошком кассы было написано синим карандашом: «Товарищи! Сумму пишите прописью и не утруждайте кассира резанием денег. Режьте сами! (Основание: приказ по Опродкомгубу № 1807)».

Эта загадочная и несколько устрашающая надпись «Режьте сами!» объяснялась просто: кассир получал деньги большими листами и поневоле тратил много времени на то, чтобы разрезать их на отдельные купюры. Это занятие кассиру надоело, и он начал выдавать заработную плату просто большими неразрезанными листами.

В зависимости от стоимости купюр листы с напечатанными на них деньгами ценились по-разному. К примеру, тысячерублевок было отпечатано на листе двадцать штук, и потому лист стоил двадцать тысяч рублей, а десятирублевок – шестьдесят штук, и лист с ним соответственно стоил шесть тысяч рублей.

Но не всегда кассир мог расплатиться одними цельными листами. Иногда ему приходилось выкраивать ножницами из листа нужную сумму.

Против этого кассир не восставал: в конце концов, такая операция брала немного времени. Скандалы вспыхивали из-за того, что некоторые заносчивые сотрудники отказывались брать деньги целыми листами, а требовали расплаты нарезанными купюрами.

В таких случаях старый и желчный кассир захлопывал фанерное окошечко кассы и кричал изнутри:

– Что! У вас руки отсохнут, если вы порежете деньги? Не хотите сами, так дайте вашим деткам. Пусть они получат удовольствие!

Захлопывание окошечка было со стороны кассира сильным, хотя и запрещенным приемом, своего рода психической атакой. Я испытал ее на себе и убедился, что захлопнутое окошко кассы действует просто панически на всех служащих, но особенно на многосемейных и алкоголиков. У каждого появлялась необъяснимая уверенность, что окошечко никогда больше не откроется, что все деньги розданы до последней копейки и что их больше вообще не будет в природе.

Самый несговорчивый получатель денег всегда сдавался перед захлопнутым фанерным окошком и начинал даже каяться. Тогда кассир открывал окошечко, долго и горестно смотрел поверх очков на протестанта и качал головой.

– Стыдитесь, молодой человек! – говорил он. – Скандальить вы умеете, а чтобы чуточку помочь финансовым работникам и порезать деньги самому, так на это вас никогда не хватает. Пишите сумму прописью вот тут, где красная птичка.

С целью просветить сотрудников Опродкомгуба в области денежного обращения кассир приклеил к фанерной перегородке около кассы образцы советских денег, имеющих хождение по стране, а рядом образцы денег, хождения не имеющих.

То была редкая коллекция бумажных денег. Ее не украли только потому, что предусмотрительный кассир приклеил деньги к фанере столярным клеем и их нельзя было отодрать от нее никаким способом. Но все же на второй день появления этой коллекции комендант Карпенко обнаружил попытку стащить коллекцию, – кто-то начал выпиливать лобзиком кусок фанеры с наклеенными деньгами.

В то время почти все деньги носили прозвища. Тысячные ассигнации назывались «кусками», миллионы – «лимонами». Миллиардам присвоили звучное прозвище «лимонардов». Все мелкие деньги тоже носили самые неожиданные наименования. Особенно нежно одесситы называли «ицыками» и «сруликами» *маленькие бумажные деньги* в тридцать и пятьдесят рублей.



Одесские деньги. 1917 г.



Белогвардейские «колокола». 1919 г.



Украинские карбованцы. 1918 г.

Среди денег, не имеющих хождения, были совершенно фантастические: например, сторублевки, напечатанные на обороте игральных карт. Их выпускал какой-то захолустный город на Украине – не то Чигирин, не то Славута. Были одесские деньги с видом биржи, белогвардейские «колокола» и «ермаки», украинские «карбованцы», сторублевые «яешницы», «шаги» и еще множество всяческих банкнот и «разменных знаков», чья ценность обеспечивалась сомнительным имуществом разных городов – от Крыжополя до Сосницы и от Шполы до Глухова.

Наша стена около кассы Опродкомгуба выглядела живописно. Почти каждый сотрудник, получая деньги, проделывал с ними одну и ту же операцию: он прижимал к фанере денежный лист, накладывал сверху кусок бумаги и изо всей силы тер по ней,

чтобы убрать с денежного листа лишнюю липкую краску.

После этого деньги отпечатывались и на бумаге, и на фанере с такой четкостью, что, как уверяли остряки, с них можно было делать оттиски и пускать их в обращение наравне с настоящими деньгами.

После получки все покрывалось оттисками липких денег. На пальцах, на столах, на бумагах и книгах мы находили номера денежных серий и подпись народного комиссара финансов.

Ячная каша

Сотни тысяч рублей, которые мы получали под видом заработной платы, целиком уходили на обед в соседней нарпитовской столовой. Там изо дня в день мы съедали две-три ложки ячной каши, сдобренной зеленым, похожим на вазелин веществом. Торелли уверял, что это было оружейное масло.

Кроме того, мы питались горелым хлебом и мидиями.

Хлеб отличался удивительной особенностью: корка и мякиш существовали в нем обособленно. Они образовывали как бы два чуждых друг другу геологических пласта. Между этими пластами находилось пространство, заполненное мутной кисловатой влагой, горьким хлебным квасом.

Были любители, которые высасывали этот сок и утверждали, что он вылечивает опухоли на суставах.

Такие опухоли появились тогда от недоедания и холода. К ним нельзя было прикоснуться без того, чтобы тотчас же не возникла резкая и длинная боль. Кроме того, при каждой попытке помыть руки опухшие места лопались и кровоточили. В холод они сильно болели, а в тепле начинали нестерпимо чесаться.

Я пил хлебный сок и могу засвидетельствовать, что опухоли от этого не исчезали, но зато начиналась тяжелая изжога.

Мясо морских ракушек – мидий – мы варили с солью. В нем чувствовался сильный привкус ихтиола.

Кроме того, мидии надо было добывать самим на Ланжероне, отдирая их ножом от прибрежных скал, конечно, в тихую и теплую погоду. Поэтому мидии были только летней пищей.

Лета мы ждали с нетерпением. Летом я начинал ловить бычков и султанку. На широких молах в порту уже зеленели огороды, окруженные изгородью из ржавых труб и рваного листового железа. Чудно пахли листья помидоров, обещая недалекий урожай «красненьких» (так в Одессе звали помидоры). Призрак голода бледнел, но не уходил. Голод прятался рядом. Мы все время чувствовали его близость и знали, что при малейшей оплошности он появится снова, еще более мучительный и зловещий, чем раньше.



Мидии



«Буржуйка»

Что касается меня, то я считал себя совершенно счастливым, когда мне удавалось достать несколько таблеток сахара. Я пил с ним чай из сушеной свеклы с горелой хлебной коркой и чувствовал, как свежесть и сила вливаются в меня целыми зарядами, обновляя скудеющую кровь.

Деньги уходили на ячную кашу и на воду, – за ведро воды приходилось платить пятьсот рублей. Больше их почти ни на что не хватало, даже на спички и дрова. Акациевые *ломкие* дрова, похожие по цвету на серу, продавались в Одессе только щепками и только на вес.

Поэтому дрова приходилось воровать. Я не стыжусь признаться в этом хотя бы потому, что дело это было опасное и подчас грозило смертельным исходом.

Конечно – что говорить – мы предпочли бы топить нашу верную «буржуйку» газетами и бумагой. Но старые газеты тоже приходилось воровать.

С точки зрения морали, воровство дров и газет было явлением одного порядка. Но с практической точки зрения, газеты, понятно, не могли идти ни в какое сравнение с дровами. Газета давала мимолетное

тепло, вернее – намек на него, но зато засыпала паленой бумагой и желтым своим пеплом весь двор и сад, вызывая нарекания расстриги Просвирняка.

Дрова мы воровали преимущественно в Аркадии. Это была ближайшая к Одессе дачная местность на берегу моря.

Когда наступало лето, то Аркадия напоминала руины римских вилл – Боргезе, Альдобрандини или Конти. Сухой плющ обвивал треснувшие колонны с отбитой штукатуркой. Ее отбивали нарочно, желая убедиться, что колонны кирпичные и не годятся на дрова.

Ящерицы грелись в оконных проемах, где цвел, крепко зацепившись за разбитые каменные подоконники, золотой дрок. Ласточки гнездились в пилястрах. В лоджиях, как в огромных каменных чашах, буйно разрастался пыльный татарник.

На мраморных плитах муравьи прокладывали широкие апиевы дороги. Подобно разрушенному с южной стороны Коллизею, стоял тоже осыпавшийся с юга, со стороны моря, знакомый цементный бассейн. Он зарос по дну сухими злаками и бессмертником.

Хотя этим руинам и было всего каких-нибудь два года, но воздух древности уже завладел ими. Он сообщил окраске пустынной Аркадии пыльный и бронзовый налет Пергама и Эллады.

Так было летом. Зимой же, особенно в ненастные ночи, когда мы отваживались проникать в Аркадию, руины грозно чернели. В них выл январский норд и швырял в лицо заряды сухого снега. Тогда невозможно было представить себе, что над этими развалинами когда-нибудь подыметесь летнее солнце Одессы и легчайший шум ветра будет равномерно пробегать по листве уцелевших столетних деревьев.

Мы с Яшей воровали дрова всего три раза за зиму, но, правда, удачно. Два раза мы притащили по одной половице, а однажды нам даже удалось выломать раму от дверей.

Этих дров нам хватило на всю зиму, но только потому, что Яша открыл замечательный способ мгновенно раскалить «буржуйку» и так же мгновенно кипятить на ней чай. Все дело было в том, чтобы топить тоненькими, как солома, лучинками. Это давало буйное, но короткое пламя и брало ничтожное количество дров.

Я хорошо помню наши ночные походы за дровами. Сначала мы ходили днем на разведку и выискивали дачу, где еще не все деревянные части были разворованы. При этом Яша вел со мной очередной запальчивый спор о подлинности пьес Шекспира или об экономических последствиях Версальского мира.

После разведки мы отправлялись в главный поход. Мы за-светло шли к Аркадии по морскому берегу, где нас зимой вряд ли кто мог заметить. Мы несли с собой под пальто коловорот расстриги Просвирняка и его же маленький охотничий топор. За это расстрига получал от нас по строгому соглашению растопку для самовара. Дровами же мы делились только с Торелли, – его больной сестре, лежавшей без движения, нужно было постоянное тепло.

Около Аркадии, в заброшенной будке, где в доисторические времена продавали зельтерскую воду с сиропом, мы дожидались темноты.

В темноте мы находили выбранную днем дачу. Шли мы к ней осторожно, поминутно прислушиваясь. При малейшем шуме мы прятались за первой же оградой.

Мы боялись вовсе не милиции. В Аркадии ее не было, да и не могло быть. Кому бы пришло в голову охранять развалины, сады, свистящие голыми ветвями, и холодное побережье, затянутое черным дымом штормовых ночей? Мы избегали встреч не с милицией, а с мелкими бандитами, воровавшими дрова для продажи, с жадными торгашами. Ими кишели в то время базары.

В первую же ночь мы нарвались на них, и они чуть не подстрелили нас из обреза. При этом они изрыгали на нас такие чудовищные угрозы, что волосы становились дыбом и леденела кровь.

Тяжелее всего было выламывать половицы. Это следовало делать совершенно бесшумно, но заржавленные гвозди всегда предательски взвизгивали. Руки у нас были изорваны в кровь, ногти обломаны, а ноги дрожали от напряжения.

Половицы были невероятно тяжелые, будто чугунные. С величайшим трудом, изнемогая и спотыкаясь, мы вдвоем едва дотаскивали их до своей дворницкой.

Я разводил огонь в «буржуйке», а Яша падал на продавленный матрац на полу, проклинал себя, «буржуйку», Одессу, Антанту

и все на свете, стонал и клялся, что больше ни за что не пойдет воровать дрова.

У меня тоже было невесело на душе. Мне казалось, что мы с Яшей опустили, и если так пойдет дальше, то мы превратимся в обыкновенных деревянных воров. Но соблазн горячего чая был так велик, что мы тут же забывали эти жалкие вылазки собственной совести. После чая Яша тотчас засыпал, а я лежал на жесткой профессорской тахте и долго прислушивался к звукам.

Блокада

В туманной области человеческих воспоминаний заключено, на первый взгляд, много таинственных, а на самом деле просто необъясненных вещей.

Например, воспоминания о больших событиях бывают подчас такими же зыбкими, как, скажем, воспоминания о самом сереньком деньке.

В своих писаниях я старался избежать этой зыбкости, но не уверен, что это мне вполне удалось. Память зачастую оставляет нам субъективный облик времени, тогда как мы думаем, что он объективен и точен. Так, например, вся жизнь в Одессе в конце 1920 года и в 1921 году сохранилась в моей памяти как некий сравнительно мирный отрезок времени среди гремящих и ошеломляющих событий. Чем это объяснить?

В те годы Одесса опустела. Часть рабочих ушла на север, в Советскую Россию, с первыми же частями Красной Армии, с продовольственными и матросскими отрядами. Это было еще до появления интервентов и Деникина. Часть же населения отхлынула из Одессы в деревню, спасаясь от голода и белых мобилизаций.

В городе почти не было больших заводов. Самыми крупными предприятиями считались джутовая фабрика, консервные фабрики и судоремонтные мастерские. Над городом властвовал порт с его люмпенами – грузчиками, босяками и жлобами. А на обширных городских окраинах засел упорный и изворотливый одесский обыватель.

Во время интервенции оставшиеся в Одессе рабочие всячески поддерживали подпольщиков-большевиков.

Подпольщики скрывались в каменоломнях и в самом городе. Несмотря на аресты и расстрелы, они работали так смело, что им удалось даже провести при французах и деникинцах областную конференцию большевиков, регулярно выпускать подпольную газету «Коммунист», распространять множество прокламаций, поддерживать бастовавших работников типографии, трамвая и телеграфа, взорвать поезд с военным имуществом интервентов и, наконец, создать военно-революционный комитет, который принял временную власть над городом в первые дни занятия Одессы советскими войсками.

Незадолго до взятия города, когда бои с белыми шли уже у Берислава и Перекопа, деникинская контрразведка расстреляла девять молодых большевиков-подпольщиков. Перед казнью их изощренно пытали, и средневековые эти пытки потрясли даже толстокожих одесских обывателей.

Я помню рассказы о *тихой и кроткой женщине* Иде Краснощекиной, проявившей непостижимую твердость и несокрушимое мужество. На нее обрушилась вся ярость контрразведчиков.

Перед казнью подпольщики написали письмо своим товарищам на свободе. В этом письме были простые и берущие за сердце слова: «Мы умираем, но торжествуем».

В этих словах был заключен молодой пыл и великая вера в неизбежность победы – тот пыл и та вера, что с тех пор стали неотъемлемым качеством революционной молодежи.

Ко времени второго прихода деникинцев ряды рабочих в Одессе еще сильнее поределли. Почти все заводы были закрыты. Порт зарастал сорной



Ида Краснощекина. Рисунок 1920 г.

травой. Жизнь явно замирала, и только бешеная спекуляция пылала пышным и ядовитым пламенем.

Кроме того, в Одессе существовал большой разрыв между сознанием людей, пришедших с севера и живших уже в третьем году революции, и сознанием одесситов, живших в революции только первые месяцы.

Мне тоже пришлось пережить не одну, а три Октябрьских революции: первую в Москве в октябрьские дни 1917 года, вторую в 1919 году в Киеве и третью в 1920 году в Одессе.

В Одессу революция принесла с собой не только сложившиеся на севере формы государственности и быта, но и привела на черноморский юг новых людей, воспитанных революционной бурей и чуждых *веселому* практическому опыту обывателя-одессита.

Появились решительные и неумолимые люди (их всех одесситы без всякого разбора звали «комиссарами»), точно знавшие, что нужно для победы революционного сознания среди пестрого, чрезмерно экспансивного и склонного к анархическим поступкам населения Одессы.

Кажущееся спокойствие тогдашней одесской жизни объяснялось еще и тем, что зима 1920 года и весь 1921 год был в Одессе временем блокады. Море месяцами лежало, как мертвый плат, без единого пароходного дыма.

От советского севера Одесса была отрезана разрушенными железными дорогами, налетами всяческих банд, «дикими территориями», где не было никакой власти, взорванными мостами.

Это и вызывало ту некоторую обособленность одесской жизни, какую нельзя было не заметить даже при самом беглом знакомстве с революционными событиями на нашем юго-западе.

Я часто просыпался на профессорской тахте и слушал ночь. С некоторых пор это стало любимым моим занятием.

Ночь наливалась тишиной. Я долго вслушивался в эту грядущую тишину и улавливал иногда далекий звук пушечного выстрела. Это французская канонерка «Ля Скарп» обстреливала каждую ночь Очаков. *По этому обстрелу можно было ставить часы.*

Веская тишина и перекаты пушечного гула означали блокаду.

До сих пор я только читал это слово в исторических книгах или в старых, как зеленоватый налет на бронзе, морских романах. Но все же я довольно ясно представлял себе блокаду.

Что это было? Пустое море, где зловеще проносились быстрые сторожевые суда, бессмысленный орудийный огонь с моря по окраинным огородам, погасшие маяки, взорванный у входа в порт транспорт, стеньги его мачт над водой, далекий луч прожектора рядом с мерцанием Млечного Пути и легкость во всем теле от недоедания.

Если таковы были, по моему тогдашнему разумению, приметы блокады, то одесскую блокаду можно было назвать классической.

Все, о чем сказано выше, стало в то время содержанием одесской жизни. Хотя по временам нам самим казалось, что реальность так густо переплелась здесь с фантастикой, что их друг от друга нельзя отделить.

Несмотря на голод, ледяную сырость в домах, на разруху и одиночество (Яша ближе к весне переехал в город, и я остался на Черноморской один), я чувствовал временами приливы необъяснимого подъема. Я приписывал это своей молодости, хотя и не был тогда так особенно молод, – мои годы уже подходили к тридцати. Но я ощущал себя восемнадцатилетним. Ко всему взрослому – положительному и благоразумному – я был враждебен, хотя временами и робел перед ним, как мальчишка.

Все в Одессе вызывало у меня такое юношеское состояние, даже длившаяся всю весну и лето блокада.

Представление о блокаде, как я уже упоминал, связано с морем, где нельзя увидеть на горизонте ни одного пароходного дыма. Так было тогда в Одессе. И это мне нравилось.

Море было таким пустынным, как в те времена, когда человек не научился строить даже плоты. Можно было неделями и месяцами всматриваться с бульвара вдаль и не увидеть ничего, кроме вспышек солнца в колебании волн.

Изредка на горизонте появлялась эскадра причудливых парусных кораблей. Они надменно плыли под белыми тугими па-

русами, но, приблизившись, превращались в грозные снеговые горы и неожиданно швыряли в потемневшую воду молнии и раскаты грома.

Море отзывалось на голоса этих туч, превращая один гром в сплетение многих гулких громов. Они сотрясали морские дали по всем направлениям.

Я пользовался всяким свободным днем, чтобы уйти из города на самые отдаленные станции Большого Фонтана.

Началась весна. Приход ее на это степное побережье был трогательнее, чем в местах, богатых растительностью. Может быть, потому, что здесь был очень виден каждый цветок, тянувшийся из-под заржавленных рельсов заброшенного трамвая, каждая трепещущая бабочка, сушившая крылья в теплых струях морского воздуха.

Этот воздух подымался равномерными и сильными вздохами из-под крутых рыжих обрывов, подымался от пляжей, заваленных после войны обломками пароходов и дубков. Мне казалось, что горячий ток воздуха исходит даже от корпуса эскадренного миноносца «Занте». *Давным-давно он наскочил* на прибрежные скалы у Большого Фонтана, вклинился в них, и никто даже не пытался снять его с этих скал.

В его каютах и трюмах ворчала, вливаясь и выливаясь, вода. По бортам уверенно карабкались на палубу крабы – погреться на склепанных железных листах.

А море продолжало быть таким пустынным, что мы, кажется, не удивились бы, если бы заметили на нем бронзовые носы греческих трирем или цветные паруса финикийян, хотя это и были давно исчезнувшие древние суда.

Понятия древности и пустынности всегда соприкасаются. Ведь в баснословные времена трирем людей на земле было мало, и потому, конечно, были очень пустыньны все ее моря и материки.

Сейчас же Черное море было пустым из-за блокады и еще потому, что белые, бежав из Одессы, увели с собой весь так называемый торговый флот – все пассажирские и грузовые пароходы, буксиры, баржи и катера пароходных обществ РОПиТа (Русского общества пароходства и торговли), Черноморско-Дунайского пароходства и Добровольного флота.



Эмблема РОПИТ

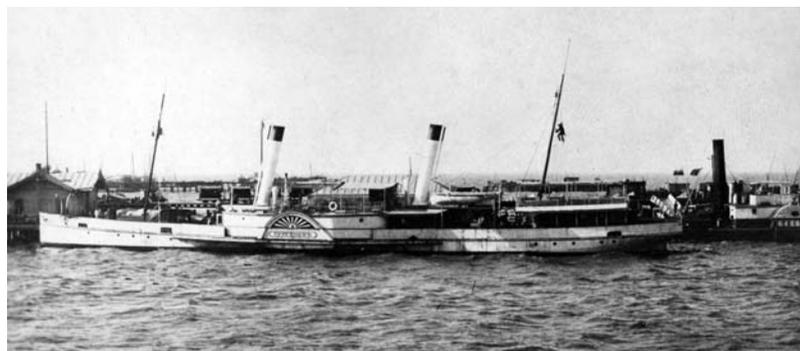
Флот был уведен в разные порты Средиземного моря. Там белое командование распродало его заграничным компаниям.

Белые увели и частные пароходы, даже такую рухлядь, как пароходы знаменитого судовладельца Шаи Крапотницкого. Шая был помещиком морской Одессы. Он был легендарно скуп и вероломен. Ему не верили в долг

даже извозчики. Служить на пароходах Крапотницкого соглашались только отпетые неудачники. Жалованье из Крапотницкого вытряхивали в прямом смысле этого слова, хватая его за шиворот.

Шае принадлежал допотопный колесный пароход «Тургенев», ходивший из Одессы в Аккерман и описанный Катаевым в повести «Белеет парус». Часть уроженцев Одессы оспаривает это утверждение и уверяет, что «Тургенев» принадлежал пароходной фирме «Мишурес и сыновья».

Где-то на мусорных задворках Нефтяной гавани, на «корабельном кладбище», осталось несколько развалившихся пароходов,



Пароход «Тургенев». Начало XX века

предназначенных на слом, и среди них проржавевший насквозь «Керчь», впоследствии «Димитрий», тоже принадлежавший пресловутому Шае. Этот пароход чуть не сыграл трагическую роль в моей жизни.

Порт был недвижим, как лагуна. Он потерял прямое назначение и превратился в садок для скумбрии и бычков, в излюбленное место престарелых рыболовов.

Мола заросли овсом (от рассыпанного зерна) и пахучей желтой ромашкой. Причальные тумбы покрылись такой слоеной ржавчиной, что на них с трудом можно было прочесть литую надпись. Она сообщала, что тумбы эти изготовлены на одесском судостроительном заводе Беллино-Фендерих.

На широких молах портовые сторожа разводили огороды.

Из бесчисленного множества огородов, какие я видел в жизни, эти были самыми живописными. В терпких зарослях помидоров хозяин ставил вместо скамейки ящик. На нем можно было посидеть, покурить и послушать всякие разговоры.

По всем огородам стояли пугала и другие хитроумные сооружения, чтобы отгонять воробьев. Пугала изображали бродяг и пропойц в рваных тельняшках и брюках-клеш из дырявой мешковины.

На тряпичные головы этих бродяг были напаяны детские ватные капоры или продавленные котелки. Эти заломленные котелки придавали пугалам несколько игривый и вместе с тем бесстыдный вид. Казалось, что владельцы этих котелков сейчас же пустантятся в «танец смерти» или канкан.



Реклама завода Беллино-Фендерих



Причальная тумба



Карантинный мол. Начало XX века

Самой большой популярностью пользовалось пугало из огорода на Карантинном молу. Оно изображало прощелыгу в шкиперской каскетке, с бутылкой водки в руке. Прощелыгу этого прозвали «Жорой с Дюковского сада».

Вместо водки в бутылке была морская вода. Но это не мешало завсегдатаям порта восхищаться ловкой выдумкой хозяина огорода и шумно его приветствовать.

Из всяческих сооружений против воробьев пользовалась всеобщим признанием только маленькая ветряная мельница. Ее фанерные крылья вертелись от морского бриза и ударяли по осколкам стекла, подвешенным на шпагате. От этого получался довольно приятный и дробный звон, нестерпимый для воробьев.

Были еще бамбуковые шесты с привязанными к ним разноцветными тряпками. Они развевались по ветру, скручиваясь в клубки и распускаясь.

Все это (в том числе и пугала в порту) было косвенными признаками блокады. Она проходила в Одессе пока что спокойно (в начале лета даже старый знакомец «Ля Скарп» удалился от

одесских берегов), и потому ей сопутствовали разные мирные, а иной раз и идиллические занятия жителей.

Война с Польшей не дошла до Одессы. Было тихо. Только изредка в море, всегда в стороне Очакова и Кинбурнской косы, возникали орудийные громы. Это врангелевский крейсер «Кагул» приходил из Крыма и бессмысленно обстреливал берег. Его тут же прогоняли наши береговые батареи, и «Кагул» охотно возвращался в Севастополь с видом исполненного долга, – немилосердно дымя, перекатывая стальным носом груды сияющей пены и развевая на гафеле грот-мачты выцветший андреевский флаг.

Какие же еще были в Одессе блокадные приметы? Был голод. Маленький кусок черствого кукурузного хлеба и десяток абрикосов считали вполне достаточной пищей.

Мы, работники Опродкомгуба, знали, какое нечеловеческое напряжение требовалось, чтобы прокормить впроголодь город, насытить, как по евангельской притче, пятью хлебами несколько тысяч человек.

Хлеб давали по карточкам, или, как тогда выражались в Одессе, «по литерам». Это выражение объяснялось тем, что на карточках были отпечатаны все буквы алфавита, от «А» до «Я», и хлеб выдавался в зависимости от литеры: по «А» больше всего, а по «Я» давали почти невесомое его количество, очевидно только для канареек.

Я получал хлеб по литере «К».

Мне нравилось стоять в длинных очередях. Жизнь каждой очереди была хотя и короткой, но увлекательной. Очередь жила головоломными слухами, анекдотами, внезапно возникавшей паникой, насмешливым обсуждением высказанной кем-нибудь житейской мудрости и, конечно, скандалами. Они взрывались внезапно, как фугасные снаряды, но затихали медленно – так же, как рассеивается пыль после взрыва.

Драки случались редко и носили безопасный характер взаимного толкания в грудь растопыренной пятерней.

В одесской очереди я видел удивительную сцену. По скупости слов и выразительности жеста она представляется мне образцом уличных скандалов.

В очереди стоял кроткий старец еврей в длинном, до пят, потертом черном пальто и пыльном котелке. Улыбаясь и покачивая головой, он добродушно рассматривал очередь через необыкновенно толстые очки. Время от времени он вынимал из кармана пальто маленькую книгу с выдавленным на черном переплете золотым щитом Давида, прочитывал одну или две страницы и снова прятал книгу в карман.

Это был, конечно, ученый, может быть, даже цадик, старый философ с Портофранковской улицы. Все злоключения жизни не могли смутить его ясный дух, его расположения к людям и погасить улыбку в его голубоватых детских глазах.

Около очереди вертелся и приглядывался к ней развязного вида молодой человек в маленькой кепке с пуговкой. На ногах у него сверкали растоптанные туфли канареечного цвета.

Кожаная обувь была в то время большой редкостью. Все ходили в деревяшках. Весь город наполнялся их дробным стуком. По утрам, когда одесситы бежали на службу, стук учащался, и если закрыть глаза, то можно было подумать, что все население Одессы разыгрывает на кастаньетах скачущий танец. Поэтому канареечные туфли развязного молодого человека вызвали в очереди тихую зависть. Она выражалась в восхищенных взглядах и вздохах.

Молодой человек соображал, как бы незаметнее и без скандала втереться в очередь. Наконец он увидел старика с книгой. Старик этот, естественно, показался ему воплощением кротости и непротivления злу. Тогда молодой человек решился. Он ловко просунул плечо между стариком и его соседом по очереди, деликатно отжал старика назад, стал перед ним и небрежно сказал:

– Я извиняюсь!

Старик, все так же кротко улыбаясь, согнул руку, немного отвел в сторону свой маленький острый локоток, примерился и вдруг стремительно и сильно ударил этим локотком молодого человека в грудь под самую «душу». При этом старик сказал совершенно спокойно, как бы внося поправку:

– Нет, это я извиняюсь!

Молодой человек икнул, отлетел и ударился спиной об акацию. Кепка упала у него с головы. Он подобрал ее и пошел, не огляды-

ваясь, к перекрестку. Только на перекрестке он наконец обернулся, погрозил старику кулаком и сказал, всхлипывая:

– Каторжанин! Старый бандит!

Очередь молчала. Коллективная мысль, захваченная врасплох этим событием, еще не оформилась и не получила ясного выражения. А старик вытащил из кармана книгу и углубился в нее, выискивая, очевидно, какую-нибудь истину, пригодную для обсуждения с приятелями-стариками в тихих дворах Портофранковской улицы.

Дни блокады казались безмятежными некоторой части населения Одессы только из-за полной неосведомленности о том, что происходит вне города. На самом же деле положение для молодой еще советской власти было грозным и напряженным. Нужна была большая находчивость и вера в свои силы, чтобы выйти из нависшей над городом опасности.

Дело в том, что после бегства белых из Одессы на окраинах города и в немецких колониях, во всех этих Либенталях, Люстдорфах и Мариенталях, застряло около семидесяти тысяч деникинских офицеров и солдат.

Союзники рассчитывали, опираясь на них, поднять в Одессе восстание и поддержать его с моря огнем своих кораблей.

Кроме того, в предместьях – на Молдаванке, Бугаевке, в Слободке-Романовке, на Дальних и Ближних Мельницах – жило, по скромным подсчетам, около двух тысяч бандитов, налетчиков, воров, наводчиков, фальшивомонетчиков, скупщиков краденого, *шнореров* и прочего темного люда.

Настроение этого разнообразного и нервного общества было неясным. Бандиты вообще отличаются истеричностью и непостоянством привязанностей. Никто не мог знать, как они себя поведут, если случится восстание.

В Одессе в то время было мало советских войск. А между тем союзная эскадра уже крейсировала у берегов Одессы, выслав вперед для разведки итальянский миноносец «Ракия».

И вот произошел случай, резко изменивший всю обстановку. Миноносец «Ракия» наскочил на мину на траверсе Большефонтанского маяка. Внешним проявлением этого события был

только легкий гул, докатившийся до города с моря. Но он никого не встревожил.

По приказу Одесского губкома рыбаки с Золотого берега, Большого Фонтана, с дачи Ковалевского и из Люстдорфа – люди опытные и спокойные – немедленно вышли на своих шаландах к месту взрыва, подобрали уцелевших итальянцев, сняли с тонущего миноносца убитых и доставили их на берег раньше, чем успели подойти на помощь корабли эскадры.

Тела погибших итальянцев привезли в Одессу. Командующему эскадрой, *итальянскому адмиралу*, было передано радио. В нем сообщалось, что город, удрученный этим несчастьем, берет на себя похороны доблестных итальянских моряков, приглашает командира эскадры прибыть на торжественную церемонию и просит выслать для отдания последних почестей погибшим отряды моряков.

Адмирал ответил согласием, – больше ему ничего не оставалось делать.

А наутро от порта до Куликова поля около вокзала, где была приготовлена братская могила, выстроились красноармейские части и отряд *балтийских* моряков без оружия. На всех домах висели траурные флаги. Путь похоронной процессии был усыпан цветами и ветками туи.

Сто тысяч одесситов присутствовало на этих похоронах – почти все тогдашнее население города.

Гробы несли на руках портовые рабочие. За ними шли с винтовками, опущенными дулами к земле, *низенькие* и загорелые итальянские матросы. *Потом легко прошли безоружные французы в беретах с красными помпонами, греки в белых нарядных гетрах, и, наконец, долговязые англичане в широченных, как юбки, брюках и темных форменках. Брюки у них хлопали на ветру, отбивая шаг.*

Играли оркестры с иностранных судов и сборный оркестр Одессы. Он не ударил в грязь лицом, и надрывающие сердце траурные звуки шопеновского марша заставляли чувствительных одесситок плакать, утирая глаза концами шалей.

В церкви Ново-Афонского подворья печально и похоронно звонили колокола. Крыши домов были черны от людей.

Над могилой говорили речи. Итальянцы слушали их, держа винтовки «на караул». Потом отдаленный прощальный залп кораблей слился с ружейным залпом на Куликовом поле. Братская могила превратилась в пирамиду цветов.

После похорон для иностранных моряков был устроен в бывшем кафе Фанкони ужин. На него товарищ Агин истратил почти весь неприкосновенный запас продовольствия.

После таких похорон не могло быть, понятно, и речи о бомбардировке и о восстании. Матросы иностранных кораблей не допустили бы этого. Они были благодарны за почет, оказанный большевиками их погибшим товарищам, и были растроганы дружеским приемом.

Старый адмирал, похожий, как говорили, на Джузеппе Верди, понял, что дело пока что проиграно. Он отдал эскадре приказ возвращаться в Константинополь. И эскадра скрылась в вечерней черноморской мгле, оставив на произвол судьбы деникинских офицеров.

Одесский губком пошел на огромный риск, допустив в город отряды вооруженных иностранных матросов. Но это был благородный риск, и Одесские большевики, устроив эти похороны, выиграли бескровное сражение у интервентов.

Работники губкома были уверены, что похороны вызовут порыв солидарности у матросов эскадры с нашими рабочими и солдатами, и никакие приказы не смогут разрушить эту солидарность.

Вскоре блокада была снята. В порт пришли из Херсона первые парусные дубки с абрикосами.



Афонское подворье. Начало XX века

Потом в одно безоблачное утро у Карантинного мола пришвартовались две пестрые, как писанки, турецкие фелюги из Скутари – первые *иностранные* суда в Одессе.

На следующий день газеты с торжеством сообщили, что в порт прибыли из Турции на двух фелюгах кило камней для зажигалок, стеклянные бусы, позолоченные браслеты и бочонок маслин.

Дело было, конечно, не в кило камней для зажигалок, а в том, что море отныне стало свободным. Оно, как мне казалось, сразу изменилось: весело зашумело под порывистым ветром и засверкало такой белоснежной пеной, какую я на нем не видел до тех пор.

Теперь каждый день уже можно было ждать в юго-западной морской голубизне появления желтых океанских труб, мощных корабельных корпусов, причудливых флагов, торжественных гудков и длинного грохота якорных цепей. Он всегда обещает мореплавателям законный отдых хотя и в чужой, но прекрасной стране.

Хитросплетение обстоятельств

Володя Головчинер любил глубокомысленно говорить, что жизнь наша зависит от причудливого и неожиданного сплетения обстоятельств. При этом он в доказательство своей правоты приводил слова из чеховского «Иванова»: «Жизнь наша, жизнь человеческая, подобна цветку, произрастающему в поле. Пришел козел, съел – и нет цветка!». *Мы же считали, что жизнь подчинена ряду твердых закономерностей и поэтому смеивались над Володей, особенно сердился Яша Лифшиц. Во время споров с Володей он презрительно фыркал, и при этом черный хохолок волос на его затылке воинственно топорщился.*

Торелли занимал среднюю позицию и соглашался что, может быть, на всем земном шаре жизнь и течет закономерно, но что касается Одессы, то за это поручиться нельзя.

Он утверждал, что Одесса – взбалмошный город, где возможно все, вплоть до уличных боев из-за венских стульев. При

этом Торелли вспоминал случай во время интервенции Одессы в 1919 году.

Интервенты разделили город на четыре зоны: французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Каждая зона была отгорожена от соседней рядами венских стульев. Однажды петлюровцы воспользовались тем, что французский часовой отлучился с поста по нужде, и перетащили *стулья* – отхватили *себе* большой кусок чужой территории. Возмущенный часовой поднял, по словам Торелли, «страшный шумер» и начал даже стрелять.

Но как бы там ни было, все же в том случае, о каком речь будет ниже, Володя Головчинер оказался прав: произошло причудливое и неожиданное сплетение (или, как говорил Володя, «хитросплетение») обстоятельств.

В самый разгар блокады, когда почти полная отрезанность от мира сообщала одесской жизни даже некоторый оттенок беззаботности, ранним летним утром ко мне в дворницкую постучался Торелли.

– Вставайте! – крикнул он мне через дверь. – Кажется, в Одессе началась новая интервенция.

Я вскочил. В Одессе можно было ожидать чего угодно. С обрыва над Ланжероном мы с Торелли увидели затянутый голубоватой и нежной дымкой порт, увидели, как пышно выразился Торелли, «розовоперстую

Аврору», – тонкие пряди облаков над морем, освещенные тихой зарей, и на прозрачной воде порта – два огромных и неуклюжих океанских парохода под французским флагом.

Рядом с пароходами стоял элегантный и длинный, как серая сигара, французский контрминоносец «Лейтенант Борри». Прозрачный дым струился из его труб, а медные части пылали на палубе десятками жгучих солнц.

Мы пошли в порт, но нас туда не пустили. Порт был оцеплен отрядами красноармейцев и наших матросов.



Французский патруль на Приморском бульваре

Французские транспорты медленно и осторожно подтягивались к причалам.

Через час мы уже знали все. Во-первых, мы узнали, что контрминоносцем «Лейтенант Борри» командовал известный и весьма изысканный французский писатель-моряк Клод Фаррер, автор книги «В чаду опиума».

Само по себе это было тоже интересно. Но гораздо интереснее была высадка, тотчас же начавшаяся с французских транспортов.

С них в полном порядке и тишине спустились не зуавы и не кофейные сенегалцы, и даже не солдаты французского Иностранного легиона, а наши *веснушчатые и белобрысые* солдаты в новенькой, с иголки, защитной форме, но без оружия. Единственное, что отличало их от солдат старой царской армии, – это скрипучие краги из желтой глянцевиной кожи.

Солдаты строились на пристани и уходили в казармы в сопровождении советских командиров.

Да, через час мы уже знали всё. Это «всё» заключалось в том, что во время первой мировой войны по прихоти Николая Второго во Францию был отправлен корпус русской пехоты, так называемый Экспедиционный корпус. Солдат везли морем из Владивостока в Марсель.

Корпус высадился в Марселе и промаршировал через Париж перед восхищенными француженками, осыпавшими офицеров и солдат цветами.

Президент республики принял парад русских войск около Триумфальной арки. Солдаты прошли перед президентом с захватской песней:

Чубарики-чубчики, горе не беда!

Этим, по существу, все и окончилось. Французское командование не спешило отправлять русских на фронт. Оно не хотело делить возможный успех с «русскими медведями».

Потом в России произошла революция, русские солдаты,



Парад Экспедиционного корпуса в Париже

естественно, отказались воевать, и французы увели их в тыл, в лагерь для военнопленных. Там наши солдаты просидели несколько лет, требуя возвращения на родину и время от времени устраивая бунты, вызывавшие панику во французском правительстве.

В конце концов французы решили избавиться от русских, погрузили их на морские транспорты и, договорившись с советским правительством, отправили под конвоем в Одессу.

Вся Одесса повалила на портовые спуски приветствовать русских солдат. Их обнимали, целовали, дарили цветы.

Но затем произошло нечто совершенно загадочное.

Когда разгрузка была окончена и транспорты тут же отвалили от причалов, и в сопровождении контрминоносца «Лейтенант Борри» начали вытягиваться на рейд за Воронцовский маяк, со стороны нашей Черноморской улицы раздался громоподобный орудийный залп, и полоса шрапнели разорвалась перед носом транспортов.

Транспорты застопорили машины, а контрминоносец развернулся бортом к Одессе, и тотчас же на его боевой рубке замигали ослепительные вспышки фиолетового огня: миноносец начал какие-то торопливые переговоры с берегом.

На оцепленном Приморском бульваре устанавливали орудия. Сосредоточенные и суровые матросы-балтийцы с маузерами на поясах работали молча и быстро.

Тотчас же вся Одесса узнала, что в трюмах транспортов был спрятан большой груз оружия, вплоть до легких танков.

Французы решили одним ударом убить двух зайцев: избавиться от революционных



Воронцовский маяк. Н. начало XX века

русских солдат, а на обратном пути из Одессы в Константинополь зайти в Крым и выгрузить оружие Врангелю.

Одесские власти узнали об этом от солдат Экспедиционного корпуса и запросили по радио распоряжения из Москвы.

Москва приказала не выпускать французские транспорты и потребовать от французов, чтобы во избежание излишнего кровопролития врангелевское оружие было выгружено в Одессе.

Французы упорствовали. В Одессе говорили, что всю эту наглую и жульническую историю с оружием придумал генерал д'Ансельм. Даже его союзники – деникинцы – считали, что д'Ансельм глуп, как пробка, и скуп, как Плюшкин.

Прошло два дня. Вся Одесса толпилась на берегу, гадая, чем все это кончится. Французы упорствовали и держали в котлах пар: трубы транспортов все время дымились.

Очевидно, французы искали какого-нибудь выхода из положения, в котором был бы хоть оттенок благородства. Но они, конечно, ничего не придумали, кроме применения грубой силы.

Из Константинополя в Одессу была отправлена сильная эскадра французских военных кораблей. Командующий эскадрой передал в Одессу радио с угрозой открыть по городу огонь из тяжелых орудий и снести весь город, если транспорты не будут отпущены.

Я помню до сих пор ту жгучую горечь и досаду, когда мы узнали, что Москва предложила выпустить французов, чтобы спасти Одессу. Тогда мы еще не были так сильны на море, чтобы принять бой со всей французской эскадрой.

В день ухода французских транспортов я пошел на Фонтаны, оттуда было видно открытое море. С обрывистого берега я увидел



Генерал д'Ансельм

морской горизонт, затянутый пеленой тяжелого и непроницаемого дыма. Это подходила французская эскадра. Она остановилась в нескольких милях от берега, дожидаясь своих транспортов.

Транспорты уходили полным ходом. За ними неся, юля и перебегая от транспорта к транспорту, контрминоносец «Лейтенант Борри». Все же одна из наших батарей не выдержала и дала вслед уходящим французам залп шрапнелью.

Я испытал тогда жестокую обиду за Францию и за французов, обиду за великую французскую культуру, за Дидро и Вольтера, Гюго и Стендаля, за Золя и Коро, за Пастера и Делакруа, за всех великих французов, которых никто из нас не отделял от русских. Они казались нам такими же родными, как Пушкин, Толстой, Чехов. Они были жестоко унижены политическими маклаками Франции и их представителем – надутым, как петух, генералом д'Ансельмом. Я представлял себе, с каким холодным презрением Стендаль или Гюго приказали бы расстрелять этого генерала за его трусливую подлость.

«День мирного восстания»

Электричество в Одессе давно не горело. О нем забыли. Лампочки обросли пыльной корой. Выключатели, если их случайно поворачивали, взвизгивали от ржавчины.

Единственным человеком из нас, который радовался этому, был Володя Головчинер.

– У каждого времени, – говорил он с апломбом, как будто открывал необыкновенную истину, – есть свой стиль. Стиль нашего времени – приближение к патриархальной жизни. Посудите сами, электричество ушло в невозвратное прошлое. Трамвайные рельсы зарастают крапивой. На площадях городов цветет картошка. Из воздуха исчезли последние молекулы копоты. Вместо обуви мы носим греческие котурны, а вместо водки пьем чистую воду. По-моему, это прекрасно. Начинается золотой век.

Однажды мне нездоровилось. Я не пошел в Опродкомгуб и до вечера пролежал у себя в дворницкой. Стояла поздняя весна. Цветели каштаны, и над морем взошел затуманенный месяц.

Я мирно читал при коптилке десятый том энциклопедии Брокгауза и Эфрона, как вдруг произошло нечто непонятное и тревожное – тонкий волосок в электрической лампочке под потолком начал желтеть и, далеко не дойдя до полного накала, остановился и замер. Он залил все вокруг таким тусклым и неприятным светом, как будто комната превратилась в морг.

Я оцепенело смотрел на лампочку, соображая, почему она горит так тускло. Очевидно, немощный ток с натугой протискивался по ржавым проводам, едва пробивался через пыльные соединения, обмотанные высохшей изоляционной лентой, и застревал в затянутых паутиной механизмах электрических счетчиков.

«В конце концов он разгорится», – уверял я себя, но свет не усиливался, а наоборот, убывал. Но его все-таки было вполне достаточно, чтобы осветить ряды хмурых профессорских книг в дубовых шкафах.

Я подумал, что неожиданный свет загорелся, конечно, неспроста. Он был загадочным предостережением. Подумал так, конечно, не я один. В Одессе началась скрытая паника. Одесситы поняли, что появление света предшествует неприятностям. Но каким?

На это намекнул мне Торелли. Он постучался и вошел в дворницкую желтый, с побелевшими глазами. Через руку у него было перекинута новенькое женское пальто с обезьяньим воротником.

– Я вас попрошу, – сказал Торелли торопливо, – повесить это пальто у себя на вешалке. На несколько дней. Это пальто моей сестры.

Я был озадачен, но взял у Торелли пальто и повесил в шкаф. Пальто было легкое и пахло духами. Очевидно, после болезни сестра Торелли Рахиль – еще молодая и миловидная женщина, рыжая от веснушек, – не надевала это пальто ни разу.

– А в чем дело? – спросил я Торелли.

– Дело в логике, – Торелли неестественно хихикнул и потер руки. – Мы с вами прекрасно знаем, что в Одессе угольного штыба для электростанции хватит всего на три ночи. А между тем станцию пустили. Значит, за три ночи что-то произойдет. И это «что-то» обязательно требует электрического света.

– Что может случиться? – растерянно спросил я.

– Я знаю?! – Торелли пожал плечами. – Варфоломеевская ночь! Избиение младенцев! Похищение сабинянок! Последний день Помпеи! Что вам больше понравится. Привет, до завтра!

И он исчез, оставив меня в полном недоумении.

В конце концов, ничего не придумав, я лег спать. Выключатель, когда я повернул его, заверещал, но лампочка не погасла. Я начал вертеть выключатель. Он пищал все пронзительнее и злее, но лампочка продолжала гореть. Она даже не мигала. Тогда я влез на стул, обернул лампочку газетой и попытался вывинтить ее. Но она прикипела к патрону и потому лопнула со звуком выстрела и погасла, теперь уже навсегда.

Я лег, не закрывая окон. Гул моря то сонно вкатывался ко мне в дворницкую, то отливал из нее так равномерно, что быстро усыпил меня.

Проснулся я на рассвете. Капли росы собирались на ветках туи за окном. В саду было тихо и пусто. Только в углу, около стены, где всегда стояла старая бочка с известью, чернело нечто большое и бесформенное.

Я долго всматривался в эту черную кучу, похожую на копну сена. В куче было что-то пугающее, но я пересилил страх, вылез в сад через окно и подошел к ней.

Куча состояла из нескольких старых, но дорогих шуб. Была шуба на хорьковом меху, с бобровым воротником, было два старомодных демисезонных драповых пальто, были каракулевая женская шуба и меховой жакет из кенгуру.

Под слоем шуб я нашел низенькую, обитую штофом табуретку на вычурных золоченых ножках. Такую табуретку я видел как-то в театре на «Пиковой даме» под ногами у старой графини.

Я хотел вытащить табуретку, чтобы рассмотреть ее, но не рассчитал своих сил – поднял ее и тут же уронил. Мне показалось, что табуретка налита свинцом.

Я ударил по ней ногой и услышал, как внутри нее, под нарядным штофом эпохи Людовика XIV, звякнуло нечто металлическое. Тайна сгущалась. Но прежде чем заняться ее разгадкой, я побежал за хлебом в ближайшую лавку. Она была открыта только два часа в день. Я боялся опоздать и остаться без хлеба.

Когда я вернулся, то куча шуб оказалась уже прикрытой соломой и старыми листьями так тщательно, что никто бы и не подумал, что здесь что-то спрятано.

История эта, как все непонятное, начала меня раздражать. Я знал, что ключ от единственной калитки со двора в сад был у Просвирия, и пошел к нему за объяснениями.

Поведение Просвирия всегда было для нас своего рода барометром. Если при встрече с Яшей или со мной он отводил глаза, делал вид, что плохо нас слышит, и, разговаривая, перебивал нас и кричал на кухню работнице, бывшей монахини: «Неонила, не лейте так много постного масла!» или еще что-нибудь в таком же роде, то это означало, что положение советской власти в Одессе в какой-то, даже в самой маленькой степени, пошатнулось.

Если же Просвирик был настороженно любезен и хохотал неестественным басом, подбирая снизу обеими руками свою черную бороду, то это свидетельствовало о крепости советской власти.

На этот раз Просвирик был сдержанно любезен, но глаза у него побелели от злобы. Выслушав мой рассказ о залежах шуб и табуретке, он смиренно, но подчеркнуто ответил:

– Вам, глубокоуважаемый Константин Георгиевич, как советскому служащему, хотя и ограниченной, но все же с некоторой ответственностью за деяния ваших хозяев надлежало бы знать, что с сегодняшнего числа в Одессе объявлен «День мирного восстания». Продлится этот день, по разъяснению властей, четыре дня.

– Я не был еще в городе, – ответил я. – Что это за «День мирного восстания»?

– Так вот, попрошу ознакомиться! – Просвирик положил на стол передо мной серый листок бумаги. Руки его тряслись. – Собственноручно отклеил от стены своего дома вчера в одиннадцать часов вечера.

Я прочел приказ Одесского губисполкома о том, что в целях экспроприации у имущих классов богатств, являющихся отныне народным достоянием, в Одессе объявляется «День мирного восстания».

В этот день у всех без исключения граждан будут отобраны излишки вещей и продовольствия, кроме самых необходимых, указанных в списке.

Я посмотрел этот список. Там было напечатано: «Оставить в пользовании каждого гражданина комплект верхней носильной одежды, комплект белья, пару ботинок (кроме сапог), головной убор и так далее, вплоть до «одной ложки столовой и одной чайной, ножа, вилки, кружки, самой необходимой посуды для варки пищи и ста граммов сахара».

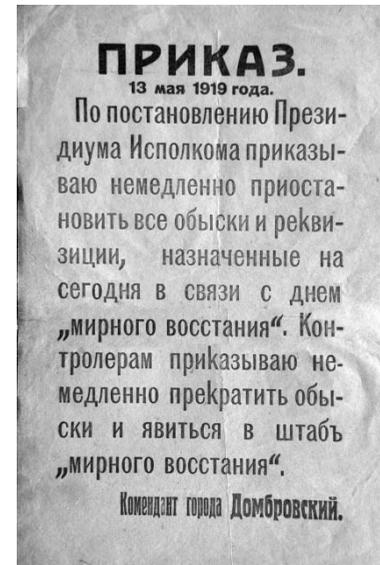
«В случае нахождения золота и драгоценных вещей, иностранной валюты, а также предметов роскоши и спекуляции скрывающие их лица будут преданы суду, как за измену Родине и контрреволюцию».

– Хана! – неожиданно сказал Просвирик, и я даже вздрогнул. Впервые я услышал из его медоточивых уст крепкое слово.

– Так вот, Даниил Семенович, – сказал я, – будьте добры забрать из-под моих окон все ваши вещи и спрятать их, где вам будет угодно. Я, можете себе представить, не хочу быть расстрелянным из-за ваших шуб, траченных молью, и табуреток, набитых золотом.

– Вы глубоко ошибаетесь, Константин Георгиевич, – ответил расстрига нежным голосом и прижал руки к груди. – Напрасно гневаетесь. Две шубы, правда, мои, а табуретку принесла свояченица генерала Ренненкампа. По сердобилию своему не мог отказать, поскольку сам прятал при ней собственный скарб. Войдите в мое положение. Как стемнеет, я все унесу.

– Хорошо, – согласился я. – До вечера так до вечера.



Приказ о приостановлении «Дня мирного восстания». 13 мая 1919 г.

Просвирняк, забыв, должно быть, что он расстрига, воздел руки к небу и сказал вдохновенным и лживым голосом, как с амвона (при этом глаза его на мгновение сверкнули бешеным огнем):

– Братоубийственные времена! Поистине нет предела человеческой скверне и проискам антихриста!

Он опустил руки и продолжал уже обыкновенным голосом:

– Вас я уважаю, но жилец из третьей квартиры, монтер товарищ Гаварсаки, повергает меня в смятение. Он скупает взрывчатые вещества. Когда-нибудь всех нас заберут вместе с ним и поставят к стенке. Ручаюсь головой! Опасайтесь его! Посматривайте, чтобы он не закопал в саду свою дьявольскую пиротехнику. А шубы – это пустое дело. Ну, в крайнем случае «товарищи» отберут. Я готов ко всему.

Я ушел, нисколько не сомневаясь, что Просвирняк не уберет из сада свои вещи. И я оказался прав. Когда я вернулся к вечеру вместе с Яшей (*он решил по случаю тревожного времени переехать на несколько дней ко мне в дворницкую*), то куча вещей уже протянулась вдоль ограды целым валом. Вещи так же тщательно были укрыты соломой, как и первая куча, теперь уже казавшаяся мне ничтожной.

Около вала из вещей сидел на венском стуле и дремал почтенный старец с вылинявшими баками. Он выглядел настолько старомодно, что можно было подумать, будто в саду идет съемка фильма из времен Гончарова или Островского.

– Вещи вы, конечно, не убрали, – сказал я Просвирняку. – Ну, да бог вам судья. Но что за персонаж сидит в саду на стуле?

– Страж, – таинственно ответил Просвирняк. – Между нами говоря, вещей понатащали со всей Черноморской: уж очень место укромное. Но людей, естественно, пробирает двойной страх. С одной стороны, все могут отобрать власти, а с другой, не ровен час, наскочат одесские налетчики. Вот и решили караулить по очереди. До минования опасности. Товарищ Гаварсаки тоже совался в сад со своей пиротехникой. Но я его не пустил.

– С какой пиротехникой?

– Сулей хотел спрятать. Двухведерные бутылки с неизвестной жидкостью. Убогий умом человек этот Гаварсаки.

– Нда-а-а! – сказал Яша, ознакомившись с общим положением в саду и в доме. – Я могу предсказать, что дело у вас окончится хорошей катастрофой.

В городе в тот день меня прежде всего поразило невиданное уличное оживление. Особенно бросалось в глаза большое количество детских колясок всех сортов и вообще обилие всяких приспособлений для перевозки мелких вещей, вплоть до навьюченных, как мулы, велосипедов и маленьких деревянных платформ на низеньких колесиках. Среди детских колясок большинство представляло совершеннейшие развалины, связанные рваными веревками *с восьмерками на колесах*.

Весь этот поток детских колясок катился в сторону Греческого базара. Туда же, грохоча, резво бежали подталкиваемые сзади деревянные платформы. Туда же торопились запыхавшиеся люди с узлами и чемоданами. Туда же тащили настольные лампы и швейные машины, грудастые портновские манекены и зубоврачебные кресла.

Могучее это движение происходило в тишине. Особенно удивительно было полное молчание детей в колясках. Все дети, очевидно, спали богатырским сном. Никто из них ни разу не заплакал, не вскрикнул. Кроме того, все эти наглухо закрытые и закутанные в колясках дети были, очевидно, будущими исполинами: коляски прогибались под их невероятной тяжестью. Колеса скребли по ободранным кузовам.

Стихийное движение колясок длилось весь день. Служащие Опродкомгуба наблюдали за ним из окон. Малейшая остановка или замедление вызывали у зрителей беспокойство. Люди, высунувшись из окон, тревожно окликали людей, толкавших коляски:

– Что там? Не пропускают? Тогда заворачивайте на Пересыпь. Туда придут в последнюю очередь.

– Да нет, пропускают, – неохотно отвечали с улицы. – Тут только одна коляска развалилась и всех задерживает.

– А что в ней? – с живым интересом спрашивали из окон.

– Да банки с халвой, – отвечали с улицы. – Там ее пудов пять, этой халвы. Целое депо!

Как только я пришел в Опродкомгуб, Торелли мне объяснил смысл происходящего в городе передвижения людей и колясок из одного квартала в другой.

Этой ночью изъятие излишков было произведено в районе Греческого базара. Поэтому жители других районов, скажем, Вокзального, где изъятия еще не было, свозят к Греческому базару, как в безопасное убежище, свои ценные вещи. А завтра, если очистится Вокзальный район, весь этот поток колясок и людей хлынет обратно, чтобы освободить место для вещей с Французского бульвара.

– Это как на войне, – сказал Торелли, *потирая руки*. – Вы же знаете, что снаряд редко попадает два раза в одно и то же место. Поэтому, чтобы спастись, лучше всего прятаться в свеженькую воронку. Так вот, наш Греческий базар и оказался такой воронкой.

Всю ночь мы с Яшей не могли уснуть. За окнами шмыгали, как летучие мыши, владельцы вещей, сваленных в саду. При малейшем шуме они будто проваливались сквозь землю.

Не могли мы уснуть еще и потому, что каждую минуту ждали появления отряда, производящего обыски. Никто из нас не знал, когда дойдет наконец очередь до нашей Черноморской улицы.

Поэтому мы с Яшей лежали, прислушиваясь к *ясным* шумам, долетавшим с улицы и из сада, и развлекались тем, что старались найти причину каждого звука. *Мы установили, что старухи, проскальзывая мимо окон, издают трескучий шелест, а старики – какой-то царапающий звук, рождавшийся, должно быть, у них в бронхах.*

Из главного дома слышался тихий гул. То был слитый встревоженный шепот жильцов всех четырех квартир. Но в этом гуле все же выделялись нудные жалобы товарища Гаварсаки. Ему все не удавалось сбить с рук свои сулеи с неизвестной взрывчатой жидкостью.

– Не к добру мы развеселились, – говорил Яша Лифшиц. – Я на вашем месте вытащил бы из вещей в саду эту табуретку с золочеными ножками и выкинул ее к чертям. Забросил бы в соседний двор, что ли? Вы понимаете, что из-за нее вы рискуете головой? Как вы докажете, что она не ваша?

– Так встаньте и выкиньте сами, – спокойно ответил я. – Будете иметь дело со всей оравой владельцев. А мне теперь все равно.

Яша промолчал, но по его сопению я понял, что он начинает злиться.

– Эй вы, представители имущих классов! – вдруг вспыхив, прокричал он в окно, за которым испуганно метнулась чья-то грузная тень. – Губернаторы и статс-дамы! Перестанете вы мельтешить у нас под окнами или нет? Спать не даете с вашим кодлом!

У Яши от гнева поднялся, как всегда, хохолок темных волос на затылке. В саду и в доме после Яшиного крика «воцарилась», как говорится, испуганная тишина. Я начал хохотать, уткнувшись лицом в подушку.

– Вы чего? – накинулся на меня Яша.

– Во-первых, – ответил я, – вы не знаете значения слова «кодло», а во-вторых...

Но я не успел досказать. В комнату без стука вошел со двора товарищ Гаварсаки. Он молча, но с укоризненным видом остановился в дверях. Он даже скрестил на груди руки.

– Вам что угодно, молодой человек? – спросил его Яша. – «Спокойной ночи!», как говорят в таких случаях хамам.

Но Гаварсаки даже не посмотрел на Яшу. Надо кстати сказать, что Гаварсаки обладал наружностью, которая могла смутить самого невзыскательного человека. Его длинное землистое лицо с вытянутым и несколько отогнутым в стороны черным носом, его маслянистые глаза, обведенные желтыми скорбными кругами, его заплетающиеся ноги и бубнящий голос выдавали неудачника, привыкшего безропотно сносить удары судьбы. Соображал Гаварсаки очень туго, и никогда нельзя было поручиться, что он понял все, что ему говорят.

Гаварсаки продолжал молчать и долго и внимательно, приоткрыв рот, осматривать дворницкую. Потом он наконец произнес:

– Можно бы поставить вот тут, за дверью... Так туда влезет только одна сулея. А их у меня три.

В глазах у Яши я увидел испуг.

– Что он говорит? – спросил Яша. – Чего он хочет?

– Или засунуть их в шкаф? – спокойно спросил самого себя Гаварсаки. – Вещи у меня аккуратные. Чистый эфир.

– Какой эфир? – с ужасом спросил Яша и сел у себя на койке.

– Я же вам говорю – чистый. «Этер сульфурикус». Вы что, шутите? За каждую сулею дают три пуда муки и бутылку лампадного масла. Это вам не жук начихал на скатерть. Если найдут, ну, тогда, конечно, вас под ноготь и к стенке! Но в дворницкую к вам они не зайдут. Клянусь жизнью. Это же нежилое помещение, подсобное. На что оно им сдалось! А у меня сулеи стоят прямо посерединке комнаты, как на сцене. У меня от этого нервозность разыгрывается. Я, товарищи, теряюсь до головной боли.

Яша вскочил, вплотную подошел к Гаварсаки и сказал шипящим, неслыханно злым голосом:

– Вон отсюда, иначе я вышвырну вас за дверь, как щенка. Вон!

Гаварсаки с удивлением посмотрел на Яшу, поскреб в затылке и неохотно вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Перед этим он спросил меня:

– Он что у вас? Сильно психический?

Яша запер дверь на ключ, задул коптилку, лег, долго ворочался в темноте и проклинал себя за то, что нелегкая принесла его на Черноморскую улицу.

Я начал засыпать. Станный, несколько резкий запах доходил до меня из глубокой дремоты. Я внезапно почувствовал, что теряю вес и у меня медленно, но верно останавливается сердце.

Оно ударило едва слышно в последний раз, потом затихло совсем без всякой боли и страха, и волна теплой, блаженной свежести окутала меня. Я даже засмеялся от наслаждения.

Тотчас я услышал, как будто из глубины вселенной раздался громоподобный рев Яши Лифшица:

– Вставайте! Скорее! Эфир!

Яша дернул меня за ногу. Я тяжело сел на койке и снова упал на нее. Яша схватил меня за плечи и, шатаясь, подтащил к низенькому оконцу дворницкой.

– Вылезайте в сад! – кричал он и толкал меня в спину. – О, проклятый, сукин сын! Чертов пиндос Гаварсаки! Скорее! Мы пропадем! Скорее!

Я с трудом высунулся в окно. Оттуда кто-то подхватил меня и выволок в сад. Это был Торелли. За мной вылез в окно Яша. В дворницкой стоял сильный неприятный запах.

– Заклинаю всех господом богом! – рыдающим голосом кричал Просвирняк, воздевая руки к небу. – Не курите здесь и не зажигайте огня! Покорнейше умоляю! Иначе дом взлетит на воздух. Не подходите к канализационным колодцам. Это смертельно!

Я пришел в себя. Чуть светало. Сад был полон испуганных жильцов. Все они жались к каменной ограде.

Под старой акацией лежала на подостланном одеяле сестра Торелли.

– В чем дело? – спросил я, озираясь. – Был обыск?

– Как бы не так! – ответил мне Торелли фальшивым бодрым голосом. – Бог вместо обыска предпочел сотворить чудо.

Тогда все жильцы вдруг начали, как по команде, смеяться. Женщины качались от смеха, прикрывая рты платками. Мужчины беззвучно тряслись. Торелли хихикал и взвизгивал, а Просвирняк похохатывал, приглаживая бороду. Даже Яша кашлял от смеха и отплеывался.

Мне стало страшно.

– Перестаньте! – крикнул я. – Что случилось?

Оказалось, что в два часа ночи отряд, производивший обыск, дошел до соседнего дома. Тогда обезумевший от страха Гаварсаки схватил свои сулеи с эфиром, вылил их в отлив в уборной и тотчас исчез в неизвестном направлении.

Тяжелые ядовитые волны эфира хлынули в дом, ворвались по трубам в дворницкую, в соседний дом, начали сочиться сквозь фланцы и расползаться из канализационных колодцев по улице и дворам.

Все население нашего и соседнего дома успело бежать. Сестру Торелли едва вынесли на руках. Отряд отступил, обошел зараженные эфиром дома и, явно торопясь, чтобы не угореть, начал обыскивать дальние дома. К утру он ушел, грозя найти Гаварсаки хотя бы на дне морском и оторвать ему голову.

В тот же день вещи из сада рассосались по владельцам. Они исчезли удивительно быстро и незаметно. Расстрига подмел сад, потом прошел дождь, прибил пыль, смыл все следы ночного смятения, и снова синяя приморская тишина плотно окружила дворницкую и больше уже не исчезала.

Яша вернулся к себе в город. Вместо него ко мне на Черноморскую переехал Володя Головчинер.

Такова уж во все времена человеческая благодарность. Гаварсаки возвратился домой через неделю невредимый, но иссохший и очумелый. В квартирах еще пахло эфиром.

И несмотря на то что Гаварсаки спас жильцов дома от обыска, все они дружно обрушились на него. Почти не было дня, чтобы они не рассказывали о нем всяческих смехотворных и глупых историй.

Гаварсаки скреб затылок и безуспешно пытался найти у жильцов хоть каплю сочувствия. Но ее не было. Только Володя Головчинер терпеливо выслушивал его. Но когда Гаварсаки уходил, он тоже вздыхал и безнадежно качал головой.

– Нет, такой гражданин, конечно, керосина не выдумает!

Австрийский пляж

Карантинную гавань защищала от моря высокая стена из бетонных плит. Стена эта переходила в рейдовый мол.

Сильные зимние штормы пробили в этой стене широкую брешь и намыли под стеной со стороны моря небольшой песчаный пляж. Первыми начали пользоваться этим пляжем во время интервенции австрийские солдаты. Поэтому этот очень уютный, теплый и пустынный пляж и получил название «Австрийского».

До этого пляжа идти из города было дальше, чем до большого Ланжероновского. Поэтому на Австрийский пляж ходили только любители безлюдья. А может быть, и любители той морской старины, какая сохранилась главным образом на градюрах в пожелтевших журналах. Потому что на Австрийский пляж надо было идти через порт, мимо вросших в землю разряженных шарообразных мин и окрашенных в желтый и красный цвет буйев, мимо каменных трапов к воде и сигнальных мачт, старых шаланд и бухт истлевшего каната, наконец, мимо загадочного маленького дома на молу с белой башенкой и проржавленным балконом. Первый этаж этого дома был глухой, без окон. Это придавало ему некоторое сходство с фортом или блокгаузом.



Австрийский пляж. 1918 г.

Дом покрывала марсельская черепица. Вокруг его флагштока часто пел ветер, а в окне второго этажа за плохо задернутой занавеской виднелись выцветшие карты на стене и сваленные на подоконнике книги. В этом морском доме никто не жил. Если бы мне разрешили поселиться в нем, то я, конечно, счел бы себя счастливейшим человеком на свете.

Я украсил бы этот дом не только новыми картами и книгами, но просквозил бы его морским воздухом, прогрел бы солнечным светом, казавшимся розовым среди сплошной синевы, залегшей вокруг.

Австрийский пляж был местом, как бы созданным для чтения тех книг, какие нужно читать медленно, часто откладывая их, чтобы порыться в песке и невзначай найти осколок горного хрусталя.

Он был прекрасным местом для дремоты. Ветер открытого моря щекотал глаза, и солоноватый кислород долго не уходил из легких, вызывая слабое опьянение.

На Австрийском пляже среди немногих его завсегдатаев я встречал Илью Ильфа (тогда у него не было псевдонима, и все звали его Илюша Файнзильберг). Мне нравилось его спокой-

ное и грустное лицо. Всегда казалось, что какие-то полусны-полурассказы владеют им и потому он часто засыпает на пляже и его приходится будить на закате.

Много лет спустя я прочел в «Записных книжках» Ильфа несколько записей. С тех пор я не могу избавиться от мысли, что все это пришло ему в голову именно тогда, в 1921 году, на Австрийском пляже. Приведу здесь одну такую запись.

«Раньше перед сном являлись успокоительные мысли. Например, выход английского флота, кончившийся Ютландским боем. Я долго рассматривал пустые гавани, и это меня усыпляло. Несколько десятков тысяч людей находилось в море. А в гаванях было тихо, пусто, тревожно».

«Я долго рассматривал пустые гавани». Тогда в Одессе не было, пожалуй, более привычного и грустного занятия, чем рассматривание пустых гаваней со множеством их подробностей. Они были особенно милы, эти подробности. Спокойный свет, жар полуденного солнца и близость тугой играющей волны придавали им живописность крайнего юга.

В жизни мне пришлось много действовать. Действие все время передвигало жизнь из одного положения в другое, вело ее по разным руслам и поворачивало под разными, подчас причудливыми углами.

Но в этом не было ни суеты, ни лишних разговоров, ни беспорядочного общения с любыми людьми.

Наоборот, действие соединялось с жаждой наблюдений, разглядыванием жизни вблизи, как сквозь лупу, и стремлением придавать жизни (в своем воображении) гораздо больше поэтичности, чем это было на деле.

Я невольно поддвечивал и подсвечивал жизнь. Мне это нравилось. Она от этого наполнялась в моих глазах добавочной прелестью.

Даже если бы я очень захотел, то не мог бы уничтожить в себе это свойство, ставшее, как я понял потом, одной из основ писательской работы. Может быть, поэтому писательство делалось для меня не только занятием, не только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним моим состоянием.

Я часто ловил себя на том, что живу как бы внутри романа или рассказа.

Вот это желание рассматривать жизнь сквозь увеличительное стекло сильно захватило меня в Одессе и было, безусловно, связано с шатанием по порту и с безмятежными часами, проведенными на Австрийском пляже.

Время сгладило острые, как зазубрины, горести и беды того времени. Память неохотно обращается к ним. Она предпочитает вспоминать прошлое в его светлом виде, сквозь тогдашние редкие радости. Они стали на протяжении дальнейших лет значительными и вескими. Нашу веру в счастливую долю своего народа не могли разрушить ни тиф, ни голод, ни обледенелая каморка, ни полная неуверенность в завтрашнем дне.

Молодость была непобедима. Она могла превратить Дантов ад в захватывающее зрелище. Опухая от голода, мы все же чувствовали слабый запах первого цветка за окном дворницкой и радовались этому.

Я воспринял и запомнил те грозные годы вместе со многими своими сверстниками как великую и неоспоримую надежду. *Это ощущение отодвигало в сторону и зеленых сыпнотифозных – их тогда навалом вывозили в бараки, – и трупную вонь из подъездов, и воющих без слез женщин, молящих о хлебе для своих детей.*

Эта надежда присутствовала всегда и во всем. Она проникала в сознание, как отблеск солнца сквозь тяжелые тучи зимнего одесского неба. И какой-нибудь замерзший, посыпанный солью мороза стебель лебеды во дворе вдруг освещался неизвестно откуда теплым светом, и в этом освещении уже чувствовалось сияющее приближение весны.

Однажды на Австрийском пляже ко мне и Володе Головчнеру подсел маленький картавый человек с томными глазами. В руке у него была выгоревшая морская фуражка, потерявшая всякую форму.

В фуражке этот человек носил целую грудку абрикосов, которыми и стал нас угощать.

Когда мы сообща съели абрикосы, неизвестный человек назвал себя бывшим сотрудником газеты «Русское слово» Евгением Ивановым.

– Вы, наверное, уже слышали про меня, про Женьку Иванова? – спросил он, улыбаясь и показывая мелкие острые зубы. – Я заработал славу авантюриста. Но все это чистая одесская брехня! К вам у меня два предложения. И не с кондачка, а на полном серьезе.

Он лихо надел на затылок морскую фуражку и похлопал меня по плечу.

– Первое, – сказал он, – состоит в том, что через две недели в Одессе начнет выходить морская газета «Моряк». Вы видите перед собой технического редактора этой газеты. Идите работать ко мне. Я знаю вас понаслышке. Мы завинтим такую газету, что перед ней померкнут романы Дюма-отца и Буссенара. Мы будем печатать ее на специально заказанной бумаге из саргассовых водорослей. Мы зажмем вот в эту жменю, – он сжал в кулак маленькие пальцы, – все моря земного шара и выдавим из них, как сок из ананаса, столько великолепного материала, что через пятьдесят лет за каждый номер «Моряка» коллекционеры будут платить по сто рублей золотом.

Это было, конечно, неслыханное вранье. Я смотрел на него. Он так увлекся, что в уголках его губ начала пузыриться, как у детей, слюна.

– Я не шучу, – сказал он, засмеявшись. – Хотите быть секретарем редакции? Согласны?

– Согласен, – ответил я не задумываясь. Но Володя Головчинер отказался работать в «Моряке», сославшись на то, что он не журналист и к тому же заведует отделом в Опродкомгубе.



Евгений Иванов (1886-1956)

– Ну и сидите в вашем Опродкомгубе, – пренебрежительно сказал Иванов. – Там вы не сможете достать даже бутылку патоки, чтобы устроить торжественный чай с кукурузными сухарями по случаю открытия редакции. Ведь не сможете! Ну, а второе предложение гораздо проще. Пока то да се, не раздеться ли нам с вами, не пойти ли вон на те скалы и не наколупать ли побольше мидий на ужин? Орудие производства у меня есть.

Он вытащил из-за пазухи зазубренный австрийский штык.

Володя не захотел лезть в воду. Он был великолепным пловцом, но на пляже его всегда разбирала лень.

Мы с Ивановым разделись и пошли к соседним скалам.

– Мидии, – сказал Иванов, – мы будем складывать в мою фуражку.

Ловля мидий свелась к тому, что я, раздирая себе в кровь руки, отковыривал мидий от скал тупым штыком, а Иванов складывал их в свою мокрую фуражку.

Но ловля длилась недолго. Довольно грубый женский голос закричал с пляжа:

– Женька! Куда полез? Выходи сейчас же!

– Маринушка, – закричал в ответ Иванов льстивым голосом, – да я же только...

– Долго я буду тебя ждать, босьяк? – снова закричала женщина, и я наконец увидел ее. – Вылазь, говорю! Хочешь схватить воспаление легких? Себя не жалеешь, так хоть бы о детях подумал.

– Моя жена, – сказал мне доверительно Иванов, – Марина. Приперлась-таки, стерва. Необыкновенная стерва! Но чудная женщина. Придет-ся идти.

Марина оказалась волоокой и смуглой, как цыганка, огром-



Марина Иванова с дочерью Евгенией

ной женщиной с черными усиками. Она потрясла руку мне и Володе и сказала:

– Приходите сегодня до нас вечером. Я достала шматок свинины. Зажарим ее и слопаем с мамалыгой. А Женька у меня шкодливый, как кот. Его с глаз спускать нельзя. Даром что такой маленький и изящный, как балерина, а бабник первостатейный. Журналист он, правда, замечательный, у него к этому настоящий талант, но любит бросаться во всякие аферы и комбинации.

– Замолчи! – сказал Женька, прыгая на одной ноге и натягивая парусиновые штаны. – Лезешь не в свое дело, а хлястик на брюках оторван.

– Если он вас уже пригласил в «Моряк», – продолжала Марина, не обратив внимания на слова Женьки, – то вы вдвоем сделаете чудесную газету. Но только смотрите, чтобы он не зарпортовался. Характер у него кошмарный.

Так на Австрийском пляже я стал сотрудником газеты «Моряк» и до сих пор считаю, что мне повезло. Доказать это я смогу только дальнейшим рассказом.

Глицериновое мыло

За две недели, что остались до начала моей работы в «Моряке», случилось несколько событий. Самое печальное из них – смерть сестры Торелли.

Ее звали Рахилью. Она заболела новой в то время болезнью «испанкой». Это был жесточайший грипп с осложнениями.

Торелли перестал ходить в Опродкомгуб. Он сам ухаживал за сестрой, как санитар. Мы с Володей часто заходили проведать Рахиль, хотя Торелли каждый раз пугался и пытался выгнать нас, боясь, что мы заразимся.

Володя Головчинер достал где-то кусок старого глицеринового мыла и подарил его Рахили. Несмотря на жар и слабость, Рахиль всплеснула руками от радости и так покраснела, что веснушки на ее лице превратились в бледные пятнышки.

Не только Рахиль, но и мы рассматривали на просвет кусок этого чудесного мыла. Оно поблескивало золотистыми слоями и издавало тончайший, хотя и несколько усохший запах.

Однажды Торелли надо было пойти в город, некоего было оставить с Рахилью, и он попросил меня посидеть с ней, но только держаться у самой двери.

Я к тому времени уже ушел из Опродкомгуба и потому весь день был свободен.

Рахиль лежала с закрытыми глазами и улыбалась. Кусок глицеринового мыла она положила себе на грудь и сжимала его сильными пальцами скрипачки. Рахиль училась играть на скрипке у одесской музыкальной знаменитости – Наума Токаря.

«Знаменитость» прекрасно «ставила руку» своим ученикам и «делала им пальцы», но была человеком практическим и лишенным возвышенности.

«Как вы играете эту вещь! – кричал Токарь какому-нибудь ученику. – Где мягкость? Где файность? Где сладость? Представьте себе, что ваша мама Розалия Иосифовна сварила свое знаменитое варенье из черешен и вы ожидаете, что сейчас будете его кушать. У вас даже текут слюнки. Вот как надо играть эту вещь! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая!»

При этом маэстро сердито отбивал такт ногой.

Рахиль редко упоминала о своей скрипичной игре.

Сейчас она открыла воспаленные глаза и сказала мне:

– Не говорите ничего Абраму, но я знаю, что скоро умру. И он похоронит меня на еврейском кладбище, где лежат отец, мама и брат Аркаша. Оно очень скучное, это кладбище. Ради бога, не уверяйте меня, что я поправлюсь, что щеки у меня сделаются красными, как помидоры, и я еще, может быть, выйду замуж за кудрявого мо-



Урок на квартире П.С. Столярского

лодого человека в рубашке «апаш» и с серебряной цепкой от часов. Все это я уже сто раз слышала от Абрама. А вы лучше скажите мне, где остров Майорка.

– Зачем это вам?

– Нам читали лекцию про Шопена и сказали, что он там жил. Но потом я ни разу и не вспомнила про этот остров, а сегодня почему-то увидела его во сне. Там с холмов стекают мелкие-мелкие речки с очень чистой и теплой водой и такие широкие, как отсюда до Карантина. Они текут по зеленой траве, но над травой выше воды стоят всякие цветы и все время качаются от течения. Я шла через эти реки босиком, и мне было так приятно, что под ногами мягкая трава.

Рахиль открыла глаза, повернула голову и посмотрела за окно. Над акациями неслись по небу белые ядра маленьких облаков. Было похоже, что невидимые корабли выбрасывали их из старинных бронзовых пушек.

– Здесь, в Одессе, – сказал я Рахили, – живет сейчас поэт Георгий Шенгели. Еще во время войны я слышал в Москве, как он читал свои стихи на одном вечере. Я запомнил из них всего три строчки: «Есть острова, далекие, как сон, и нежные, как тихий голос альта, – Майорка, Минорка, Родос и Мальта...». Дальше я не помню. А Шопен действительно жил на Майорке с Жорж Санд. В заброшенном монастыре. Шопен тогда уже был смертельно болен, и потому его раздражало слишком яркое солнце этого испанского острова.

Я замолчал.

– А дальше? – спросила Рахиль и, не дожидаясь моего ответа, жалобно сказала: – Зачем я только родилась в этой семье, где рано или поздно у всех отнимаются ноги? Рыжая уродка! А разве такой я хотела быть? Мне бы качаться на палубе, чтобы ветер хватал меня за колени. Мне бы хохотать и петь. Вам не противно, что я так говорю? Я бы вам и сейчас спела, но грудь у меня стянута, как свивальником.

Она замолчала, перебирая в руках кусок глицеринового мыла.

– Сделайте мне одолжение, – тихо попросила она, – пока нет Абрама. Налейте вон в то блюдечко воды, взмывьте ее этим мылом, а на комодке стоит сухой букет. Достаньте из него пустую соломинку и дайте все это мне.

Я сделал, как просила Рахиль. Она расщепила кончик соломинки, окунула соломинку в мыльную воду и медленно выдула большой мыльный пузырь.

Он оторвался от соломинки, чуть взлетел к потолку и остановился в воздухе, в немного пыльном солнечном луче, переливаясь бледным радужным блеском.

Рахиль прикрыла рот рукой, чтобы не потревожить своим дыханием легкий шар. Я тоже старался почти не дышать.

– Сейчас он золоченый, – сказала Рахиль. – А только что он был красный, как пожар.

Она осторожно пустила второй пузырь, третий, четвертый... Я тоже взял соломинку, начал выдувать пузыри, и вскоре вся комната замерцала от их мимолетных красок и блеска.

Часть пузырей опускалась на пол и лопалась, но большинство их играло с солнцем, летая по комнате и соединяясь иногда в разноцветные созвездия.

Внизу громыхнула на пружине парадная дверь. Дом слегка затрясся. Все пузыри сразу лопнули. На пол посыпалась мельчайшая водяная пыль.

– Спрячьте все! – быстро сказала Рахиль и закрыла глаза. – Я устала и хочу спать. Я ее никогда не увижу, никогда.

– Кого? – спросил я.

– Да эту Майорку. Идите. Спасибо вам. Мне что-то плохо.

В дверях я столкнулся с Торелли. Он узнал, что сестра засыпает, и на цыпочках вернулся в кухню, чтобы вскипятить воду.

А вечером он пришел к нам в дворницкую, сел на порог и неожиданно заплакал. И мы узнали, что Рахиль умерла внезапно, должно быть от разрыва сердца.

Торелли плакал, не вытирая слез, глядя на нас круглыми красными глазами, и сморкался в рваную наволочку.

Я нашел в книжном шкафу у Швиттау наполовину высохший пузырек с валерьянкой. Она почти не пахла. Я накапал ее в банку от консервов (она заменяла мне в то время стакан), сел на порог рядом с Торелли и дал ему выпить.

Он покорно выпил ее, потом упал головой на руки, и плечи его затряслись. Он со свистом втягивал воздух, прижимал к глазам наволочку и прерывающимся шепотом извинялся за беспокойст-

во и за то, что закапал своими слезами мои пыльные рваные брюки из коричневого вельвета.

Врач, установивший смерть, сказал, что если бы не «испанка», то Рахиль могла бы выжить. Торелли рассказал, что она только сильно вскрикнула и сразу же перестала дышать.

Мы все: Яша, Володя Головчинер и я – пошли на похороны. В углу комнаты, где лежала Рахиль, стоял Гаварсаки и мял в руках замасленную кепку. Глаза его не выражали ничего, кроме горестной попытки понять, что происходит.

К выносу пришел Просвирняк. Он зло посмотрел на Рахиль, на ее стройные ноги в деревяшках и вполголоса сделал какое-то замечание синагогальному служке – распорядителю похорон. Служка подобострастно закивал в ответ и крикнул что-то несколькими безобразными старухам, шмыгавшим вокруг черного облезлого гроба. Очевидно, этот гроб, взятый «напрокат», уже сотни раз перевозил на расшатанных дрогах покойников из города на еврейское кладбище.

Старухи принесли откуда-то рваную коричневую шаль и завернули в нее ноги Рахиль. Тогда расстрига с видом человека, исполнившего свой долг, торжественно вышел из комнаты.

– Наглец! – довольно явственно сказал ему вслед Яша. – Распрягается, как у себя дома.

Но Просвирняк сделал вид, что не слышит Яшиных слов.

– Умоляю вас, – прошептал Торелли, – не трогайте его. Я опасаюсь скандалов.

Я впервые был на еврейских похоронах. Меня поразила их судорожная спешка. Приехали дроги, запряженные траурной пыльной клячей. Седой болтливый возница вошел в комнату, постучал кнутовищем по крышке гроба и сказал:

– А ну, герои, кто помоложе! Взяли! Подняли! Разом. Понесли! Осторожнее на поворотах. Того, кто строил эту лестницу, надо заколотить в гроб вместо этой девицы, чтобы ему икалось на том свете. Разве это лестница! Это головоломка, накажи меня бог!

Потом мы долго шли по булыжным мостовым, и дроги перед нами подсакивали и неожиданно сильно дергались из сторо-



Еврейское кладбище. Начало XX века

ны в сторону, будто хотели сбросить гроб на землю, как норовистая лошадь сбрасывает надоевшего седока.

Кладбище лежало в степи за городом. Степь уже выгорела, несмотря на раннее лето. Вдоль высокой кладбищенской ограды ветер нес теплую пыль.

Дроги зацепились колесом за ворота кладбища. Их надо было немного осадить, но кляча не хотела переступить назад, и возница начал бить ее по морде кнутовищем.

Торелли закричал на него. Возница сплюнул и сказал:

– Если вы такие нежные, так плакали бы лучше по сестре, чем по худой скотине.

Глаза у Торелли налились слезами. Он затопал узконосыми туфлями цвета апельсиновой корки и начал кричать на одной ноте пронзительным, доходившим до визга голосом:

– Мерзавец! Живодер! Молдаванский гицель!

Торелли был жалок в своем горе и гневе.

Возница только презрительно пожал плечами, поднял задок у дрог, освободил колесо, сел на козлы и поехал крупной рысью, нахлестывая лошадь и не оглядываясь, по длинной аллее кладбища к могиле. Вокруг не было ни одного дерева. Должно быть, их

все порубили на дрова. Только одинаковые могильные памятники желтели по сторонам на грязной, неподметенной земле.

Могила была далеко. Мы бежали за дрогами вместе с толпой спотыкающихся кладбищенских нищих.

Гроб опустили в могилу. В ней валялось почему-то много битого стекла.

Торелли роздал нищим подавание – по тысяче рублей каждому (в то время деньги уже поднялись в цене). Нищие брали деньги неохотно и не скрывали своего недовольства. Старуха с гноящимися глазами швырнула деньги на могилу Рахили и закричала:

– Что мне купить на ваши деньги? Дырку от бублика? Так покупайте ее сами, богачи!

Мы ушли подавленные. Торелли не мог успокоиться и всю дорогу до дома время от времени плакал. А синагогальный служка ковылял рядом и говорил:

– *Время лопнуло вдребезги, и я уже не узнаю людей, месье Блюмкис. Чем так хоронить, так лучше самому лечь в могилу, клянусь матерью.*

Несколько дней после похорон Рахили я никуда не выходил, только по утрам вылезал через окно в сад. Просвирняк держал сад на запоре, и потому там никогда никого не было. Изредка появлялся только сам Просвирняк, но, увидев меня, тотчас поворачивал и уходил, причем даже спина его выражала негодование.

После похорон Рахили мы с Володей Головчинером перестали считаться с Просвирняком. Да и никто с ним уже не считался, даже как с бывшим домовладельцем. Это для него казалось тягчайшим оскорблением. Примерно с тех пор он уже кипел жаждой мести, и его вначале скрытые мечты о перевороте и падении советской власти приобрели характер мании, тяжелой душевной болезни. Чем меньше было надежд на перемену, тем расстрига все больше ссыхался, чернел, и в запавших его глазах появлялся диковатый блеск.

Встречаясь с нами, он не здоровался и что-то бормотал о «жидовствующих интеллигентах» и расплате за невинную кровь Христа.

Безумие его с каждым днем усиливалось. Даже его работница Неонила, безгласная женщина, боялась оставаться с ним одна в квартире и переселилась в маленький чулан при дворницкой. Каждый день она плакала и рассказывала нам, что Просвирняк грозит убить ее за то, что она «перекинулась к евреям и еретикам».

Она же рассказала нам, что вдовец Просвирняк расстригся после Февральской революции, чтобы второй раз жениться (это священникам было запрещено) на богатой греческой негоциантке. Но гречанка перед самой свадьбой испугалась расстриги, раздумала и уехала со своими капиталами в Грецию.

Однажды ночью я проснулся от звука, будто рядом со мной кто-то тихо скребет железом о железо. Звук шел из кухни. Дверь из чулана, где спала работница, выходила в кухню.

Я неслышно встал и подошел к стеклянной двери в кухню. В саду перед низким окном сидел на корточках Просвирняк и пытался открыть стамеской оконную задвижку.

Он был так поглощен этим занятием, что не заметил меня. Он хитро ухмылялся и что-то бормотал.

Мне стало страшно, и я неожиданно и громко вскрикнул. Просвирняк вскочил и, не оглядываясь, в несколько прыжков выскочил из сада во двор, а оттуда бросился в свою квартиру. Старый подрясник развевался за его спиной, как черные крылья.

Я разбудил Володю. Мы вышли в сад к окну, которое хотел открыть расстрига. На земле около окна лежала ржавая пятифунтовая гиря и немецкая бритва с костяной ручкой.

Володя пошел в милицию. Через два часа за Просвирняком приехала санитарная карета из психиатрической больницы. Два здоровых санитаров связали Просвирняку руки и увезли его. Просвирняк только тихо стонал.

Испуганная работница уехала к родственникам в Тирасполь. Она боялась, что расстрига убежит из сумасшедшего дома и тогда непременно ее убьет.

Вскоре от нас съехал Торелли. Ему неприятно было оставаться в комнате, где умерла Рахиль. Потом по неизвестной причине, должно быть из-за истории с эфиром, арестовали Гаварсаки. А как-то ночью бежал из Одессы вместе со своей семьей не-

кий профессор церковного права, приятель Просвирняка, занимавший две квартиры. К лету дом совсем опустел. *Мы поселили в нем для охраны* сотрудника «Моряка» боцмана Миронова, рыжего молчаливого человека родом из Херсона. Миронов ломал на пари одной рукой железные прутья из садовых решеток. Он завел в доме, во дворе и в саду корабельный порядок.

До начала работы в «Моряке» оставалось всего несколько дней. Я прожил их беззаботно, *стараясь уверить себя, что я родился на пороге золотого века, и дыхание этого века якобы дошло уже до Одессы.*

Я прочел в энциклопедическом словаре все, что было там напечатано об острове Майорка, Шопене и Жорж Санд, попытался вспомнить все, что я читал об этом раньше, и решил, что если что-либо и украшает наше прошлое, то это отдаленность во времени.

Жизнь Шопена и Жорж Санд на Майорке была неустроенной, трудной, недоброй. Жорж Санд в то время уже теряла любовь к смертельно больному музыканту. Он был одинок. Его мучили ветреные ночи и дожди, боли в груди и кашель. Он понимал, что жизнь его сочтена по неделям, и он уже не успеет написать ту поразительную музыку, какую он считал единственно достойной своего таланта.

Он думал, что жизнь его насильственно оборвана болезнью. Этого могло бы и не быть. Он тщательно искал в своем прошлом тот день, когда произошла роковая ошибка. О, если бы человеку дано было понимать эти ошибки не задним числом, когда ничто уже не поможет!

Но это не дано никому. Почти каждый уходит из жизни, не свершив и десятой доли того, что он мог бы свершить.

В позеленевших от сырости стенах старого монастыря, где в каждой комнате-келье висело чугунное распятие, он роптал на бога. Он боялся высказать свои мысли вслух, но его приводили в смятение рабы человеческие молитвы, вызывавшие к богу о прощении грехов. Что значили эти ничтожные и жалкие человеческие грехи перед великим грехом кровопролития, обмана и ненависти, выпавшим на долю людей по милости божьей!

И его, этого бога, он воспевал в величественных звуках, в раскатах органа, в пряном дыхании роз, в нежных, как небесные струны, голосах причастниц.

Из монастырских коридоров тянуло плесенью, тленом. Черный лес шумел за решетчатыми окнами. И внезапно вся эта нарочно отысканная им и Жорж Санд романтика вдруг оборачивалась тоской по самой простой, даже бедной, но теплой – обязательно теплой – литовской комнате с невзрачным на вид роялем. Оборачивалась тоской по простой, деревянной, но удобной постели и жаждой покоя.

Он устал быть гением. Ему это было совсем ни к чему. Он носил это звание или эту кличку, как обузу, приятую только для его близких и окружающих.

Но вот прошло какое-то время, и из его жизни с Жорж Санд на острове Майорка оно тщательно отобрало и выбросило все горькое и превратило эту жизнь в восхитительную поэму о самоотверженности любящих.

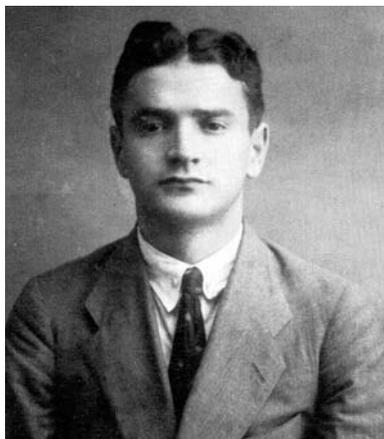
Поэма эта коснулась многих сердец, в том числе сердца рыжей еврейской девушки из Одессы, не видевшей в жизни ничего лучшего, чем воздушные пузыри из глицеринового мыла.

Я всюду возил с собой начатую еще в Таганроге повесть «Романтики». Писал я ее с большими перерывами и вообще считал чудом, что до сих пор не потерял рукопись.

Сейчас, в Одессе, я начал писать последнюю часть этой повести. Обычно, когда я втягивался в работу, я дичал: избегал людей, бродил сам по себе, вставал в два часа ночи и писал при копилке, боясь, что Володя Головчинер проснется и тогда мне не избежать ненужных расспросов.

И еще я заметил за собой одну странность, появившуюся во время работы: когда я писал о печальном, я искал горьких и резких впечатлений и таких же обстоятельств, как будто они могли помочь мне писать.

Поэтому однажды с раннего утра я ушел на еврейское кладбище, но вскоре сбежал оттуда, оглохнув от женских воплей, истерик и причитаний, испуганный видом желтых старушечьих пальцев, цеплявшихся за края гробов с такой силой, что их не могли



Исаак Леопольдович Лифшиц (1892-1978)

оторвать даже несколько человек, потрясенный беззвучно кричащими и рвущими на себе волосы женами, пытавшимися броситься в открытые могилы мужей. Я вернулся в смятении от зрелища ничем не украшенного человеческого горя.

Я дописывал «Романтиков», когда однажды вечером ко мне вошел худой и несколько вертлявый юноша и назвал себя выпускающим будущей газеты «Моряк» Исааком Лившицем.

– Только не «ф», а «в», – сказал он. – Не Лифшиц, а Лившиц.

Простят не смешивать с Яковом Лифшицем.

– Вы его не любите? – спросил я.

– Нет, почему же, – ответил Лившиц. (С первого же дня знакомства я начал звать его, как и все, Изей.) – Но он недолго проживет в наше время.

– Почему?

– В нем мало юмора.

Изей принес мне записку от Иванова с просьбой прийти завтра в редакцию «Моряка» – пора было готовиться к работе.

С Изей пришел высокий и неправдоподобно худой человек в обмотках, с профилем менестреля и прядью красивых каштановых волос, свисавшей на лоб. Он подал мне широкую дружжелюбную руку и щелкнул по-военному каблуками. Потом он подошел к шкафу с профессорской энциклопедией, вынул первый том, перелистал его и выбрал все листки папиросной бумаги, которыми в книге были переложены цветные рисунки и карты.

– Эдя! – предостерегающе сказал Изей, но человек с профилем менестреля даже не взглянул на него. Он вынул второй том энциклопедии и вытащил из него всю папиросную бумагу.

– Вот теперь покурим! – сказал он с удовольствием.

– Эдя, это некрасиво, – заметил Изей.

Высокий человек молча оторвал от папиросной бумаги короткую полоску, как-то особенно ловко зажал ее между пальцами, поднес ко рту, и вдруг в дворницкой раздалась тоненькая, как колокольчик, но вместе с тем громоносно-звонкая трель какой-то безусловно трогательной птицы.

– А это, по-вашему, красиво или некрасиво? – спросил высокий человек.

Это было необыкновенно. Я слышал, как в крошечном и горячем горле этой птицы пересыпался поющий бисер.

– Простите, – вдруг спохватился Изей, – я забыл познакомиться вас. Это наш одесский поэт и птицелов Эдуард Багрицкий.

– Вы, как всегда, напутали, Изей, – сказал нарочито хриплым басом Багрицкий. – Следует произносить: «Багратион-Багрицкий, последний потомок княжеского кавказско-польского рода из иудейского колена Дзюба». Пошли купаться на Ланжерон!



Эдуард Багрицкий (1895-1934). 1919 г.

Рубка мебели

В этой главе придется немного отступить от последовательного описания событий, чтобы дать некоторое представление об удивительном редакторе газеты «Моряк» Евгении Иванове и той обстановке, которая сложилась в редакции.

Должен оговориться, что Союз моряков назначил ответственным редактором газеты капитана дальнего плавания партидца Походкина. Иванов был только техническим редактором, но своим напором, изобретательностью и размахом он так сокруши-

тельно действовал на уже одряхлевшего капитана, что тот почти отстранился от редатуры и предпочел сидеть у себя на даче в Аркадии.

У Иванова, ходившего, как я уже упоминал, в мятой морской фуражке, заштопанной кавалерийской шинели и в деревяшках на босу ногу, был вид прожженного портового жлоба. Но вместе с тем никто так не очаровывал людей, как этот картавый мальчик с невинными глазами. На вид Иванову было лет двадцать, тогда как на самом деле ему было уже под сорок.

Он был превосходным рассказчиком. Юмор не покидал его во всех, даже отчаянных, случаях жизни. Кроме того, Иванов был очень учтив.

Он не боялся в те годы целовать женщинам руку. Говорили, что однажды его чуть не расстреляли за это в городе Рыбнице на Днестре. Город этот славился красавицами молдаванками.

Иванов действительно работал репортером в «Русском слове» у Сытина. Бывший директор этой газеты Благов, богобоязненный и прижимистый старик, бежавший из Москвы в Одессу, подтверждал это обстоятельство из бурной жизни Иванова. При этом он добавлял, что Иванов обслуживал для «Русского слова» московские бега и крупно играл в тотализатор.

Иванов взял Благова к себе в «Моряк» старшим корректором. Благов оказался возмутительно придирчивым к орфографии. Достаточно было кому-нибудь из сотрудников сделать пустяковую ошибку, чтобы заслужить его вечное презрение. Его боялся сам Иванов, не говоря о наборщиках. Когда в типографию входил Благов, на них жалко было смотреть. Они теряли самообладание, как гимназисты на выпускном экзамене.

Иванов принадлежал к тому типу журналистов, которые разыщут интересный материал даже в сточной канаве или на заседании общества по страхованию мелкого рогатого скота.

Он не только умел найти и украсить материал (в то время «материалом» называли в газетах всякую интересную новость), но даже предвидел его. Он знал, где его искать, и часто догадывался по известным только ему приметам о том, что может вскоре произойти.

Точно так же он судил о возможных поступках людей по таким ничтожным признакам, что на них никто, кроме Иванова, не обращал внимания. Он знал, от каких мелочей зависят подчас людские побуждения и поступки. Он не боялся настойчиво рыться в этих мелочах, как в корзинке с мусором. И часто находил на дне этой корзины «алмаз или кинжал, заржавевший от крови», или, наконец, «бесстрашное человеческое сердце». Так любил выражаться наш метранпаж, старик Суходольский.

Экспансивный Суходольский кричал во весь голос Изе Лившицу и мне, секретарю редакции, верстая в типографии газету:

– Что могло бы получиться из нашего Женьки Иванова? Не знаете? Бальзак, чтоб вы так жили! Бальзак! Или Ломброзо!

Иванов подбирал для газеты сотрудников по своей системе. Их он оценивал по трем качествам. Прежде всего, он брал молодых и при этом талантливых, потом опытных, так называемых «тертых», и, наконец, явных авантюристов и вралей.

Последняя категория людей привлекала Иванова, быть может, потому, что он сам являл хрестоматийный, но мирный тип прожектера, того самого, что хотел разбогатеть от одной курицы с яйцом.

Иванов всегда был в дыму проектов. Некоторые из них он осуществил у нас в «Моряке». Это сопровождалось то удачей, то более или менее крупным скандалом. Но большая часть проектов жила всегда несколько часов. Иванов с удивительной легкостью от них отрекался.



Заголовок газеты «Русское слово»



Федор Иванович Благов (1866-1934)

нее за день проходило множество народа, и потому у кроткого абиссинца быстро создалась обширная клиентура.

Старшиной всех переводчиков в «Моряке» был знаток английского языка, бывший фрагтовщик и стивидор одесского порта, изысканно вежливый, сияющий от благодушия круглый человек по фамилии Мозер. То был великий знаток хитроумного фрагтового дела, всяческих крючковатых морских договоров и законов, знаток торговых флотов всего мира и морских традиций.

Он донашивал свои элегантные английские костюмы и среди нас, оборванных и отощавших, выглядел как настоящий лорд адмиралтейства.

Переводчицей на французский язык была жена Мозера – высокая и сухая, как англичанка, несколько чопорная и вполне светская дама, что в те годы производило на нас музейное впечатление.

Переводила она необыкновенно добросовестно. От каждой опечатки она заболела, но тоже по всем правилам светско-



Сотрудники редакции газеты «Моряк». Сидят (слева направо): К. Паустовский, Е. Иванов, боцман Миронов, Сухов, машинистка Е. Эйбер. Стоят: корректор Н. Подорольский, репортер И. Горелик, выпускающий И. Лифшиц. 1921 г.

го тона. Она лежала, стелая, весь день в своей комнате на старой софе, нюхала последние остатки выдохшейся ароматической соли и прижимала к виску кружевной платочек, смоченный под краном в коммунальной кухне. Там с утра до ночи властвовала некая тучная соседка «мадам» Зофер.

Эта почтенная матрона по несколько часов подряд оглушительно развивала свои взгляды. Каждую фразу «мадам» Зофер начинала одними и теми же любимыми словами: «Во время оно...».

– Во время оно, – говорила она, – я в рот бы не взяла эту мамалыгу, когда я имела каждый день пшеничный арнаутский хлеб.

Через минуту снова гремел ее голос, но тема ее речи отличалась от только что высказанной сентенции «на сто восемьдесят градусов».

– Во время оно, – говорила она, – мы таки рожали нормальных детей, а вы, моя дорогая, рождаете бог знает кого – просто котят.

Мозер в первое время нашего знакомства стеснялась этих громовых и грубых речей «мадам» Зофер. Но освобождение от условностей происходит быстро, и вскоре Мозер совершенно спокойно говорила, нюхая соль:

– Опять она завела свою шарманку, эта хипесница!

А через месяц после работы в «Моряке» «мадам» Мозер уже свободно изъяснялась на одесско-морском жаргоне.

В «Моряке» мы печатали все, что имело отношение к морю и морской профессии. Погоня за морским материалом всех времен и народов приобрела среди сотрудников характер бешеного соревнования.

Одно время чемпионкой оказалась Мозер. Она перевела прекрасные стихи полузабытого французского поэта-матроса Тристана Корбьера. Мы напечатали их целым циклом, предварив статьей Жюля Лафарга и биографической справкой. В ней было указано, что Тристан Корбьер с юных лет работал матросом, всегда ходил в клетчатом плаще и сабо, успел напечатать в 1873 году в Париже единственную книгу своих стихов и вскоре умер совсем молодым.

В своей статье Лафарг писал с французским изяществом, что стихи Корбьера «полны дерзости, сухой крепости, каламбуров,

живости, нервной отрывистости слога и глубоко жалящей и иронической тоски».

Но вскоре боцман Миронов, наш сосед по Черноморской улице, вырвал пальму первенства из слабых рук Мозер. Он достал на старом грузовом английском пароходе, носившем необъяснимо нежное имя – «Сердце Елены» (пароход был обшарпанный, с пятнами сурика на бортах и с неистребимым запахом птичьего помета – гуано), рукописную книгу, которая называлась «Библия моряка».

Она была написана на австралийско-английском морском жаргоне и являлась, по нашему общему мнению, фольклором, не имеющим равного в мире.

В руки к Миронову попало несколько глав этой книги. Их надо было быстро переписать, так как пароход «Сердце Елены» через два дня уходил в Эдинбург. Это случилось, конечно, уже после снятия блокады. Перепиской книги под руководством супругов Мозер и Миронова занималась вся редакция.

Начиналась «Библия моряка» главой «Большая молитва». Так звали на парусных кораблях плиту песчаника, которой скоблили палубу. Кроме того, были еще камни поменьше. Они назывались по молитвам: «Патер ностер» («Отче наш»), «Аве Мария» («Здравствуй, Мария»), «Матер долороза» («Скорбящая богоматерь») и «Мизерере» («Помилуй нас, господи!»).

Чистить палубу «Большой молитвой» матросов заставляли в виде наказания.

В «Библии моряка» была изображена тяжелая доля матросов на старых парусных кораблях, плававших главным образом между портами Европы и Австралии вокруг мыса Горн.

Отдельные разделы были посвящены несвежей пище, «собачьим вахтам», болезням, гнилому воздуху трюмов и способам борьбы с этим бедствием в тропических водах.

Была глава «О хитростях океана» – обо всем неприятном, что могло ждать моряка в Атлантике и Тихом океане, главным образом в проклятых «грохочущих» сороковых широтах. То были не общие, расплывчатые описания, а рассказы об отдельных случаях, памятных для целых поколений моряков: об ураганах, смерчах, «цунами» – исполинских волнах во время подводных зем-

летрясений, грозах, кораблекрушениях. И конечно, о зловещих предвестниках опасности, в которых верили парусные (да и не одни парусные) моряки: огнях святого Эльма на верхушках мачт, кровавых радугах и «Летучем Голландце». Говорили, что его снасти, несмотря на штормовые ветры, всегда были затянуты паутиной.

Рядом с этим были напечатаны «Предупреждения матросам» – имена капитанов, к которым нельзя было поступать на корабли из-за зверского их нрава (при этом точно перечислялись все преступления этих капитанов против матросов), списки «грязных собак», так называемых «шанхайеров» – вербовщиков (они работали главным образом в портах Латинской Америки и Китая). Они спаивали матросов и заставляли их в пьяном виде подписывать кабальные контракты с капитанами; список недобросовестных татуировщиков, адреса пивных в главных портах земного шара, где принимали в залог матросские вещи, адреса «бордингаузов» (дешевых гостиниц для моряков), где постояльцам не давали покоя «братья» и «сестры» из Армии спасения.

Знакомство с этой «Библией» несколько разрушало наивные и романтические представления о морском труде.

В самой жестокости этого материала чувствовался накопленный десятилетиями матросский гнев. «Библия моряка» принадлежала к так называемым взрывчатым книгам, хотя и не содержала в себе никаких лозунгов и призывов.

Боцман Миронов несколько затрудняет меня. Я хотел бы сейчас рассказать о нем – здесь это было бы кстати. Но, к сожалению, я уже напечатал рассказ об этом боцмане, а повторять себя по литературным законам нельзя.

Я попытаюсь рассказать о Миронове с такой же точностью, как и в рассказе, но несколько по-иному.

Самыми резкими отличительными чертами Миронова были глубокая молчаливость и дружелюбно-насмешливый взгляд. Взгляд этот он применял только к тем людям, кого считал «стоящими чудаками».

Миронов много плавал на Тихом океане. С биографией его вряд ли справился бы даже такой писатель, как Стивенсон. Да,

пожалуй, никто даже из самых настойчивых писателей ее бы не осилил потому, что выпытать у Миронова что-либо о нем самом было невозможно.

Я все же выудил у Миронова некоторые черты его биографии. Она была революционной в самом ясном значении этого слова. Прежде всего, Миронов никогда не давал спуска собакам-капитанам и их прислужникам – боцманам. Он верил во всемогущее братство трудящихся и считал, что для революционной работы морская профессия самая подходящая.

– Возможности большие! – говорил он. – Как пароходный дым швыряет по ветру, так и мы разносим по всему миру слово «интернационал». Это понимать надо.

Потом я бился два месяца, пока установил, что, во-первых, Миронов видел первый пароход, сделанный из стекла, что, во-вторых, он два месяца просидел в тюрьме в Нью-Орлеане за то, что вступился за негров и устроил драку с полицией («Полисменов мы выворотили наизнанку», – скромно говорил он по поводу этой драки), и что, в-третьих, он был на архипелаге Кергуелен, носившем у моряков название «Островов Отчаяния».

Больше высосать из Миронова ничего не удалось. Я махнул на него рукой.

Его воспоминания, если можно так выразиться, носили преимущественно климатический характер.

– Вы были на Новой Гвинее? – спрашивал я Миронова.

– А как же! – меланхолично отвечал Миронов. – Конечно, был. Когда там плаваешь («там» – это значило в Меланезии), так эту Гвинею никак не обойдешь. Она всюду торчит поперек дороги.

– Ну и как?

– Что – как?

– Какие там места?

– Места вроде подходящие, – сообщал Миронов с некоторым сомнением. – Только там до того жарко – чистая парильня! Вам бы определенно не понравилось.

– А в республике Перу вы были? – спрашивал я его в другой раз.

– Бывал, понятно.

– Ну и как?

– Что – как?

– Какие там места?

– Гроб! – отвечал Миронов. – Солнце шпарит, как в топке. Дышать абсолютно нечем. А вода в океане, между прочим, холодющая, как лед. Хрен искупаешься!

Миронов долго ждал назначения на пароход и потому прижился в редакции «Моряка». Там он был своего рода справочным бюро по части знания множества пароходов и парусников.

В этом деле никто не мог соперничать с ним, даже сам Мозер. Поэтому Иванов взял Миронова в штатные сотрудники, но долго ломал голову над тем, как его наименовать, пока наконец Изя Лившиц не посоветовал наделить Миронова пышным званием «консультанта по мировому тоннажу».

По вечерам на Черноморской улице «консультант по мировому тоннажу» любил сидеть на скамейке во дворе, курить и, поглядывая на звезды, петь вполголоса совершенно сухопутную украинскую песню:

Распрягайте, хлопцы, коней

Та лягайте спочивать!

Он пел, покуривал, благодушевствовал, ничего не подозревая и не догадываясь, что уже близок день его славы.

Редакция «Моряка» получила из Москвы, кажется от народного комиссара по иностранным делам, запрос по поводу уведенного белыми торгового флота. Списки уведенных судов составить было легко, но комиссариат просил сообщить ему все сведения о дальнейшей судьбе этих судов: где они сейчас и под каким флагом плавают.

Вызвали Мозера. Он развел руками. Кто мог знать, что сейчас происходит с этими пароходами? Пожалуй, из случайно попавших в Одессу иностранных газет можно было выяснить судьбу двух-трех пароходов, не больше. Да и то вряд ли.

Мозер предложил созвать в редакции бывших пароходных агентов, капитанов и вообще многоопытных морских людей и выяснить, что удастся, путем перекрестных расспросов.

Так и сделали. Табачный дым из комнаты, где шло это «заседание», вытягивался через окно на бульвар, как из трубы

парохода. Многоопытные морские люди сидели в расстегнутых кителях и мокрых тельняшках, вытирали пот, лысины их сверкали, как надраенная медь, голоса охрипли, но пока что была выяснена, и то лишь приблизительно, судьба только одного парохода.

В это время в редакции появился Миронов. Цепляясь за стулья и густо краснея, он подошел к Иванову и сказал ему таким шепотом, что было слышно в соседних комнатах:

– Вы это бросьте, Евгений Николаевич! Так у вас ни фига не получится. Пусть кто-нибудь записывает, а я буду рассказывать. При первой возможности можете проверить. Жизнью своей отвечаю за каждую ошибку.

Морские люди переглянулись, усмехнулись и пододвинулись ближе к столу. Выжидательная тишина повисла в прокуренной комнате.

Миронов взял стул, сел немного поодаль от стола, крепко смял в кулаке свою потрепанную кепку и, глядя в угол комнаты, где дрожала на стене в свете заката нежная тень акации, сказал:

– Пишите! Пароход «Великий князь Алексей Николаевич». Принадлежал РОПиТу. Продан фирме «Мессажери Маритим» во Францию. Переименован в «Тулузу». Приписан к порту Марсель. Регулярно ходит под французским флагом из Марселя в Геную и на Корсику. Котлы почищены. Ремонт французы сделали, конечно, слабый. Команда французская, хлипкая, но старший помощник прежний, Григорий Павлович Мостовенко.

Среди морских людей произошло движение. Потом пронесся глубокий вздох.

– Пишите дальше, – невозмутимо оказал Миронов. – Пароход «Кострома». Океанский. Добровольного флота. Плавает под итальянским флагом из Бриндизи в Массову и Сомали с заходом до Александрии. Перекрашен в белый цвет и называется сейчас «Базиликата». Котлы никак не чищены. Поэтому полный тихход. Держат его на несрочных рейсах, можно сказать, на задворках. Команда – все до одного негры.

Когда Миронов кончил перечисление пароходов, перламутровый рассвет уже просыпался над морем, осторожно запевали в платанах на бульваре птицы и сильно пахло из окна маттиолой.

Почти никто из морских людей не ушел. Все сидели бледные от усталости и рассвета. Он лился в окна холодноватой волной.

Это было поразительно и непонятно. Память у Миронова, очевидно, работала с феноменальной точностью.

Морские люди только качали головами, подходили к нему, крепко трясли ему руку и неохотно расходились по домам: хотелось еще поговорить «за родное море и за наши пароходы», знакомые до последней нагретой солнцем заклепки и царапины на дубовом планшире.

Слух о Миронове прокатился по Черноморью. Возможно, что он дошел до Турции, а может быть, даже и до Греции.

Есть у моряков своя загадочная и быстрая почта.

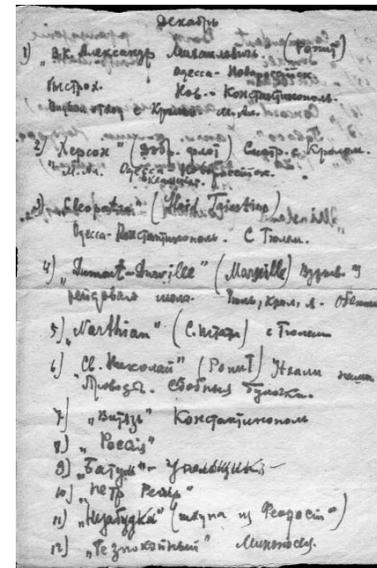
Комиссариат по иностранным делам прислал Миронову благодарность.

Смущенный своим триумфом, Миронов сбежал в родной Херсон, чтобы, как он выразился, прощаясь со мной и Володей Головчинером, «не дурить самому себе голову».

Чтобы закончить разговор об Иванове, необходимо было бы рассказать много всяких историй, связанных со строптивым нравом этого человека. Но пока что я расскажу только одну такую историю.

Большая часть поступков Иванова, считавшихся дерзкими и своевольными, объяснялась его фанатической любовью к газете. Для него выше «Моряка» не было ничего на свете.

Он заразил этой любовью не только нас, сотрудников, но и свою жену Марину (она только по привычке сильно кричала и ругала мужа, но никто не обращал на это внимания) и двух



Рукопись К. Паустовского. Список пароходов. 1920-1921 гг.

своих девочек. Не было таких лишений, на какие он сам не пошел бы ради любимой газеты и какие не перенесла бы безропотно его семья.

Зима 1921 года выдалась в Одессе нордовая, штормовая. Холод ощущался тяжелее, чем, скажем, в Москве, потому что ноздреватый камень «дикарь», из которого был построен город, легко пропускал пронзительную сырость морской зимы. Дома и мостовые покрылись пленкой льда и блестели, как эмалированные. Ветер гудел в улицах, обращенных к северу, и нагонял тоску. Только в поперечных переулках он сбавлял свой напор, и там можно было еще отдышаться.

Снова у всех начали опухать и кровоточить суставы на пальцах. Море замерзло до Большефонтанского маяка. Льды затерли у входа в порт болгарский пароход «Варна».

Среди книг профессора Швиттау я нашел нетронутый отрывной календарь на 1916 год и повесил его на стенке: все-таки он давал представление о движении времени.

А движение это казалось все более медленным. Время как бы оцепенело от стужи. Между этой стужей и первыми теплыми днями лежал толстый слой пожелтевших и пыльных листков календаря.

В «Моряке» было холоднее, чем дома. Редакция помещалась в большом особняке рядом с Воронцовским дворцом. Стены особняка, расписанные бледными фресками, и разноцветные стекла в окнах, особенно синие, усиливали нашу морозную дрожь.

Все сбились в одну комнату, где стояла железная «буржуйка» с выведенной за окно закоптелой трубой. Из трубы изредка капал на головы и рукописи жидкий зловонный деготь.

Около «буржуйки» сидела неунывающая и шумная машинистка Люсьена Хинсон. О ней все говорили, что она «красивая, как итальянка», и все завидовали ей из-за лучшего места в комнате. Но вскоре и Люсьена тоже нахохлилась и скисла.

Заведующий хозяйством крикливый румын Кынти, ходивший в толстой черной шинели, как в чугунной броне, не достал ни охапки дров. В свое оправдание он распахивал шинель, бил себя по карманам старого френча и кричал, что от Одессы до самой Винницы нет ни одного полена дров, – пусть его повесят рядом с памятником Дюку, если это не так.



Мальвина Клементьевна Хинсон (Люсьена)
1920-е гг.



Здание редакции газеты «Моряк» (слева)
на Приморском бульваре. 1910-е гг.

– Перестаньте пылить своим френчем! – небрежно сказала ему Люсьена. – И вообще прекратите вашу шмекерию!

Никто из нас, даже сама Люсьена, не знал значения румынского слова «шмекерия». Кынти пришел от этого слова в иступление. Даже стоять около него представлялось опасным: он весь трещал, хрипел, вертелся, плевался, грозился и каждую минуту, казалось, мог взорваться с оглушительным громом и свистом.

Только через несколько дней мы узнали значение слова «шмекерия». Оно было совершенно невинным. В переводе на русский язык оно означало «жульничество».

Наконец пришел день, когда жизнь редакции вот-вот должна была оборваться и умереть: нельзя уже было держать в пальцах ручку.

Тогда Иванов приказал притащить из подвала особняка огромный, как готический собор, буфет из черного дуба и разрубить его на дрова.

Когда я вошел в редакцию, то услышал еще из обледене-

лого вестибюля веселый стук топоров, треск дерева, крики, смех и гудение огня в раскаленной «буржуйке».

Вдохновенный, бледный от гнева, Иванов командовал стремительной рубкой мебели. Он был разъярен тем, что непосред-

венный хозяин газеты – Одесский районный комитет водников – не позаботился о топливе для редакции. Иванов шел напропалую и играл ва-банк.

В самый разгар рубки в редакцию вбежал взъерошенный Кынти, воздел руки к небу и закричал, что сейчас созвано внеочередное, чрезвычайное, экстренное, срочное и пленарное заседание райкомвода, которое обсуждает вопрос о рубке мебели на топливо в редакции «Моряка».

Рубка пошла быстрее. Заседание продолжалось два часа и окончилось, когда весь буфет и вдобавок разошедшийся посудный шкаф были порублены на мелкие дрова. Они лежали у стены в кабинете редактора, а «буржуйка» гудела, как эскадрилья самолетов.

Райкомвод вынес Иванову строгий выговор с требованием, чтобы этот выговор был обязательно опубликован в очередном номере «Моряка».

У нас в «Моряке» работал под псевдонимом «Боцман Яков» одесский сатирический поэт-фельетонист Ядов.

Иванов заказал Ядову фельетон о рубке мебели, поместил его в очередном номере, а постановление райкомвода напечатал пепитом в виде эпиграфа к этому фельетону.

Я запомнил только один куплет из этого фельетона:

Печать в стране – могучий фактор.
Блюсти ее – мой долг прямой.
Не допущу я как редактор,
Чтоб замерзал сотрудник мой.

После рубки мебели, или, как говорили по Одессе, «лихой рубки лозы в редакции «Моряка», одесские морские власти начали относиться к Иванову с опаской и почти не вмешивались в дела газеты.

Полотняные удостоверения

До революции «Моряк» был маленькой нелегальной газетой. Печаталась она в Александрии, в Египте. Оттуда ее рассылали с верными людьми, главным образом с пароходными кочегарами, по разным русским портам.

Выходил «Моряк» редко и больше напоминал листовку, чем газету. Один из работников «Моряка» еще старого, александрийского периода, седоусый старец, слегка повредившийся на конспирации, уговорил Иванова выдать постоянным сотрудникам «Моряка» удостоверения, напечатанные на тонком полотне. Их можно было в случае надобности зашить под подкладку пиджака или пальто.

Мы, сотрудники «Моряка», не видели в этом смысла. Мы знали, что никто из нас не будет послан за границу ни с какими заданиями. Кроме того, мы не допускали мысли, что нам когда-нибудь придется уходить с этими полотняными удостоверениями в подполье.

Посмеиваясь, мы получили эти необыкновенные удостоверения, длинные, как детская игрушка «тещин язык», с печатью. На ней перекрещивались большие адмиралтейские якоря.

Пользоваться этими удостоверениями в обычных условиях было нельзя. Во-первых, нелегко было развернуть и прочесть мягкие тряпочки, а во-вторых, они вызывали полное недоверие у всех, кому бы мы их ни показывали.

В конце концов мы спрятали их на память, а для работы нам выдали обыкновенные удостоверения, отстуканные на машинке Люсьеной.

Вообще с «Моряком» были связаны некоторые странности. Начать хотя бы с того, что газета печаталась не на обыкновенной бумаге, а на обороте разноцветных чайных бандеролей. Бумаги в Одессе не было. Во всяком случае, скудных ее запасов хватало только на главную газету – «Одесские известия».

Выход «Моряка» был разрешен, но печатать газету оказалось не на чем. К счастью, Иванов узнал, что на одесской таможне лежат большие запасы никому сейчас не нужных царских чайных бандеролей.

Эти бандероли были отпечатаны на листах тонкой, просвечивающей бумаги размером в развернутую газету. Одна сторона этих глянцевитых листов была совершенно чистая. От краски бандерольная бумага не промокала.



Удостоверение сотрудника газеты «Моряк». 1921 г.

Бандероли были разных цветов, в зависимости от сорта чая. Цвета почему-то выбирались бледные: сиреневые, желтоватые, серые и розовые.

В дореволюционное время бандерольные листы разрезались на узкие полоски. Их и наклеивали на пачки с чаем. На каждой такой полоске был обозначен сорт чая, его вес и отпечатан русский государственный герб – маленький двуглавый орел.

Вот из-за этих-то орлов нам долго не соглашались выдать бандероли. Иванов терял голос, доказывая, что печатание газеты на бандеролях ни в какой мере не является монархической пропагандой.

Мы старались выпускать газету разного цвета, в соответствии с разными днями недели. Например, по вторникам всегда сиреневую, а по средам – всегда розовую и так далее. Это довольно хорошо нам удавалось.



Лист чайных бандеролей

В исключительных случаях, для так называемых праздничных номеров, нам выдавали белую бумагу. Белой ее можно было назвать только в полном мраке. То была серая, рыхлая, очень толстая бумага, похожая на оберточную, прослоенная широко и тонкими древесными стружками (даже со следами годичных слоев).

Краска на такую стружку почти не ложилась, и потому праздничные номера выглядели рябыми. Буквы на этой бумаге не отпечатывались, а выдавливались, как в книгах для слепых.

Но нас не пугала ни серая бумага, ни плохая краска, из-за этого мы любили свою газету больше, чем если бы она была прилизанной и нарядной.

Мы вкладывали в работу много пыла, труда и выдумки. Поэтому лучшим вознаграждением для нас, сотрудников «Моряка», была его популярность. Газета расходилась мгновенно. Номера «Моряка» буквально рвали из рук.

Кроме полотняных удостоверений и бандерольной бумаги у «Моряка» была еще третья особенность – множество преданных газете сотрудников, не получавших ни копейки гонорара. Они охотно довольствовались ничтожными выдачами натурой.

Выдавали все, что мог достать Кынти: твердую, как булыжник, синьку, кривые перламутровые пуговицы, заплесневелый кубанский табак, ржавую каменную соль (она тут же, в редакции, таяла, выпуская красный едкий тузлук) и обмотки из вельвета.

Эти блага распределяла между нами бурная Люсьена. В ответ на жалобы она только насмешливо пела, подражая каскадной певице и отбивая лихой такт деревяшками:

Терпи немного,
Держи на борт!
Ясна дорога
И близок порт!

Все, конечно, терпели и не роптали, даже на вельветовые обмотки.

Иванов выдал шестьдесят полотняных удостоверений постоянным сотрудникам газеты.

Кроме постоянных сотрудников у «Моряка» было множество рабочих корреспондентов и друзей газеты – тех людей, что в наше время зовутся «болельщиками».

Рабочих корреспондентов сначала было больше всего в Одессе и в ближайших портах – Очакове, Николаеве, Херсоне, Овидиополе, Збурьевке и Станиславове. Но по мере освобождения от белых Черноморского побережья число рабочих корреспондентов росло. Вскоре они появились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Бердянске, потом в Новороссийске и по Кавказскому побережью, наконец, в Крыму.

Одесские рабочие корреспонденты – от капитанов дальнего плавания до кочегаров и гальюнщиков – собирались в редакции, как в своем клубе. Весь день бурлил кипятильник, весь день Люсьена заваривала морковный чай, и гул голосов, густой кашель курильщиков и зычный смех раскачивали волнами дымно-табачный воздух.

Что касается постоянных сотрудников, то они представляли шумное, пестрое, насмешливое и живописное общество.

Иногда в этот редакционный «клуб» заходили старики (так мы называли всех, кому было больше сорока лет). Заходил знаменитый подпольщик во времена французской оккупации Одессы, старый большевик Ачканов, друг «Моряка» и его придирчивый покровитель; заходил седой и утомительно вежливый писатель Семен Юшкевич; но главным образом в «клубе» собирались моряки и журналисты – народ нетерпеливый и горячий.

«Научитесь работать и ждать, – говорил нам изредка Ачканов, прислушиваясь к нашим разговорам. – Социализм не упадет вам прямо в карман, как финик с пальмы».

Мы прекрасно понимали, что для революционных преобразований нужно время, но все равно нам хотелось, пропуская трудные и напряженные годы, говорить о конечном результате революции, о победе и счастье.

Иногда мы досиживались в «клубе» до утра, и золотое свечение неба на востоке невольно казалось нам, поэтически настроен-

ным юношам, отблеском приближающихся прекрасных времен, как бы отблеском недалекого золотого века.

Золотое свечение неба сливалось с золотым блеском утреннего моря. Даже степи по ту сторону Одесского залива, за Дофиновкой, светились от солнца и, казалось, готовились к празднику.

О чем только не говорили в «клубе»! О восстании «Потемкина» на Тендре, о расстреле революционного крейсера «Очаков» в Севастополе, об «Острове казненных» – Березани, о свойствах херсонских шхун-«дубков», о знаменитых бахчах за Санжейкой, о лучшем способе протиранья маячных стекол, о ходе кефали, о греко-турецкой войне, о дошедшей до Одессы книге Барбюса «Огонь», о ремонте плавучего дока, о том, как делать брынзу и как стрелять из трофейных австрийских винтовок системы Манлихера.

Эти разговоры за морковным чаем были своего рода революционной, литературной, морской и бытовой энциклопедией. Но она была богаче любого, самого лучшего энциклопедического словаря, потому что мы слышали живой, образный, просмоленный и точный язык со множеством его великолепных интонаций.

То были россыпи языка, и потому, очевидно, молодые одесские писатели, ставшие со временем знаменитыми, почти все время проводили в этом революционном «клубе». Особенно часто там бывал Эдуард Багрицкий.

Невозможно рассказать здесь обо всех сотрудниках, хотя они этого и заслуживают. Придется остановиться только на некоторых, почти наугад, без выбора.



Семен Соломонович Юшкевич (1868-1927)

В «Моряке» было два фельетониста: бойкий одесский поэт Ядов («Боцман Яков») и прозаик Василий Регинин.

Ядов, присев на самый кончик стула в редакции, торопливо и без помарок писал свои смешные песенки. На следующий день эти песенки уже знала вся Одесса, а через месяц-два они иной раз доходили даже и до Москвы.

Ядов был по натуре человеком уступчивым и уязвимым. Жить ему было бы трудно, если бы не любовь к нему из-за его песенок всей портовой и окраинной Одессы. За эту популярность Ядова ценили редакторы газет, директора разных кабаре и эстрадные певцы. Ядов охотно писал для них песенки буквально за гроши.

Внешне он тоже почти не отличался от портовых людей. Он всегда носил линялую синюю робу, ходил без кепки, с махоркой, насыпанной прямо в карманы широченных брюк. Только очень подвижным и грустно-веселым лицом он напоминал пожилого комического актера или, пожалуй, даже клоуна. И голос у него был тонкий, мальчишеский, несколько нарочитый, тоже клоунский.

Его любили, как Сашку-музыканта из «Гамбринуса». Но известность Ядова не выходила за границу «Одессы-мамы», за черту Старопортофранковской улицы.

Ядов в Одессе был не один.

Жил в Одессе еще талантливый поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямпольский.

Самой известной песенкой Ямпольского была, конечно, «Свадьба Шнеерсона»:

Ужасно шумно

в доме Шнеерсона...

Она обошла весь юг. В ней было много выразительных мест, вроде неожиданного прихода на свадьбу Шнеерсона



Яков Петрович Ядов (1875-1940)



Мирон Эммануилович Ямпольский (1892-1953)

(под гром чванливого марша)
всех домовых властей:

Сам преддомком
Абраша Дер-Молочник
Вошел со свитой,
ну прямо словно царь!
За ним Вайншток –
его помощник
И Хаим Качкес – секретарь.

Песенку о свадьбе Шнеерсона, равно как и продолжение ее – «Недолго длилось счастье Шнеерсона», – мог написать только природный одессит и знаток украинного фольклора.

Почти все местные песенки были написаны неизвестными одесситами. Даже всеведущие жители города не могли припомнить, к примеру, кто написал песенку «Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая!» – Жора со Степовой улицы или Абраша Кныш? «Что? Вы его не знаете? Так это тот самый шкет, которого поранили во время налета на почтовое отделение в Тирасполе».

Мода на песенки в Одессе менялась часто. Не только в каждом году, но иной раз и в каждом месяце были свои любимые песенки. Их пел весь город.

Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хронологию одесских событий.

Так, например, песенку «Ростислав» и «Алмаз» – «за республику, наш девиз боевой – резать публику!» пели в 1918 году, а песенку «Выйду ль я на улицу, красный флаг я выкину, ах, Буденному везет больше, чем Деникину!» пели в 1920 году, когда дело Деникина было проиграно.

Я помню, как вся Одесса пела «Мичмана Джонса», потом «Эх, хмурые будни, осенние будни...», «Цыпленка», «С одесского кичмана бежали два уркана», «Дочечку Броню», «Вот Маня входит в залу».

После этого пошли уже более поздние песни, вроде знаменитой бандитской:

Губернский розыск рассылает телеграммы,
Шо город Харьков переполнен из ворами!
Шо наступил критический момент
И заедает вредный элемент.

Эту песенку можно было петь без конца, потому что имена городов менялись в ней по желанию исполнителей – Харьков, Киев, Ялта, Голта, Сочи и почему-то вдруг далекая Вятка.

Поток одесских песенок не прекращался до сороковых годов. Но он заметно иссякал, а перед войной, в 1941 году, совсем высох.

Во время Отечественной войны шумные и легкомысленные одесситы, любители этих песенок, те, кого еще недавно называли «жлобами», спокойно и сурово, но с неизменными одесскими шуточками дрались за свой город с такой отвагой и самоотверженностью, что это поразило даже врагов.

Сражались и старые рыбаки, и морские люди, которым не хватало места на кораблях. Сражались отчаянно потому, что за их спиной была Одесса, город, где труд никогда не чурался веселья, город неугомонный, как шумный раскат черноморской широкой волны.

И естественно, что после войны родились новые песни о героизме одесских людей и их неизменной любви к своему городу.

Весной 1922 года я уехал из Одессы на Кавказ и несколько месяцев прожил в Батуме.



Морская пехота под Одессой. 1941 г.

Однажды я неожиданно встретил на батумском приморском бульваре Ядова. Он сидел один, сгорбившись, надвинув на глаза старую соломенную шляпу, и что-то чертил тростью на песке.

Я подошел к нему. Мы обрадовались друг другу и вместе пошли пообедать в ресторан «Мирамаре».

Там было много народу, пахло шашлыками и лиловым вином «Изабелла». На эстраде оркестр (тогда еще не существовало джазов и мало кто слышал даже про саксофон) играл попурри из разных опереток, потом заиграл знаменитую песенку Ядова:

Купите бублики
Для всей республики!
Гоните рублики
Вы поскорей!

Ядов усмехнулся, разглядывая скатерть, залитую вином. Я подошел к оркестру и сказал дирижеру, что в зале сидит автор этой песенки одесский поэт Ядов.

Оркестранты встали, подошли к нашему столику. Дирижер взмахнул рукой, и развязный мотив песенки загредел под дымными сводами ресторана.

Ядов поднялся. Посетители ресторана тоже встали и начали аплодировать ему. Ядов угостил оркестрантов вином. Они пили за его здоровье и произносили замысловатые тосты.

Ядов был растроган, благодарил всех, но шепнул мне, что он хочет поскорее уйти из ресторана.

Мы вышли. Он взял меня под руку, и мы пошли к морю. Шел он тяжело, прихрамывая. Приближались сумерки. Опускалось солнце. Вдали, над Анатолийским берегом, лежал фиолетовый дым, а над ним огнистой полосой горели облака. Улицы нарядно пахли мимозой.

Ядов показал мне тростью на гряде облаков и неожиданно сказал:

И, как мечты почиющей природы,
Волнистые проходят облака...

Я посмотрел на него с изумлением. Он это заметил и усмехнулся.

– Это Фет, – сказал он. – Поэт, похожий на раввина из синагоги Бродского. Если говорить всерьез, так я посетил сей мир совсем не для того, чтобы зубоскалить, особенно в стихах. По своему складу я лирик. Да вот не вышло. Вышел хохмач. Никто меня не учил, что во всех случаях надо бешено сопротивляться жизни. Наоборот, мне внушали с самого детства, что следует гнуть перед ней спину. *Обыкновенная философия для так называемых «затрушенных евреев»*. А теперь поздно. Теперь лирика течет мимо меня, как река в половодье, и я могу только любить ее и завистливо любоваться ею издали. Но написать по-настоящему не могу ничего. Легкие мотивчики играют в голове на ксилофоне. *Там, в ресторане, они встали, чтобы приветствовать автора. А мне было стыдно. Что сказал бы Блок, и даже не Блок, а, предположим, второстепенный поэт Фофанов, если бы они услышали хотя бы эту единственную строчку? Балаган!*

– Но для себя, – сказал я, – вы же пишете лирические стихи?

– Что за вопрос! Конечно нет. У меня, слава богу, еще хватает ума и вкуса, чтобы понять, что в этом отношении я конченный человек. Вот, говорят, люди сознают свою талантливость и гениальность. А я сознаю беспомощность. Это, пожалуй, тяжелее. Вы не помните, кто из замечательных немецких поэтов в одно прекрасное утро сел к столу и вдруг написал паршивенькие стихи? Мозг иссяк. Оказывается, этот поэт небрежно и просто преступно обращался со своим мозгом. После этого страшного утра он уже не написал ничего годного, даже для бульварной печати. Он переменял профессию и начал варить ядовитую жидкость от клопов. Хоть маленькая польза. Для человечества.

– Грех вам так говорить, Яков Семенович, – сказал я. Я был искренне огорчен его словами.

– Милый мой, это все давно уже обдуманно и передумано. Я не отчаиваюсь. Я раздарил свой талант жадным и нахальным торгашам-антрепренерам и издателям газет. Мне бы дожить без потерь до сегодняшнего дня – я, быть может, написал бы вторую «Марсельезу». А вам спасибо хоть на добром слове.

Мы распрощались. Первые тяжелые капли начали падать из непроглядной темноты. Я быстро пошел к себе, прислушиваясь к ровному шуму подхлотившего с моря дождя.

Больше я не встречал Ядова, но запомнил его лицо печального клоуна с глубокими складками около губ и тоскливыми глазами.

Василия Александровича Регинина, или, как его звали до старости, Васю Регинина, знала вся писательская и журналистская Россия.

Я увидел его впервые в Одессе, в редакции «Моряка». До этого я много слышал о нем от Яши Лифшица, Благова, Евгения Иванова и других старых журналистов.

Рассказы о Регинине казались неправдоподобными, похожими на анекдоты. Судя по этим рассказам, Регинин был журналистом той дерзкой хватки, какая редко встречалась в России. Таким журналистом был Стенли, отыскавший в дебрях Африки Ливингстона из чисто спортивного интереса. Но в России почти не было журналистов такого темперамента, как Регинин. А между тем в повседневной жизни он был человеком благоразумным и даже осторожным.

До революции Регинин редактировал в Петербурге дешевые и бесшабашные «желтые» журналы вроде «Синего журнала» или такие журналы на всеобщую потребу, как «Аргус» или «Хочу все знать». Делал он эти журналы с изобретательностью и размахом. У этих журналов был свой круг читателей.

Серьезный, «вдумчивый» читатель привык к скучноватому, но строго «идейному» «Русскому богатству», к солидному «Вестнику Европы», к «Ниве» с ее прекрасными приложениями, к «Журналу для всех», наконец, к передовой «Летописи». Серьезного читателя раздражала всеядность хотя и хорошо иллюстрированных, но только занимательных регининских журналов.

Число «желтых» журналов росло. Естественно, между ними началась конкуренция и погоня за читателем. Для этого выдумывали разные приемы, более или менее низкопробные, как, например, знаменитый конкурс в «Синем журнале» на лучшую гримасу. Победитель на этом конкурсе должен был получить большую премию.



«Синий журнал»



Конкурс гримас в «Синем журнале»

Желающих участвовать в конкурсе нашлось много. Фотографии гримас печатались в «Синем журнале» из номера в номер.

Тираж журнала сразу поднялся. Но конкурс не мог длиться долго. Пора было давать по нему первую премию и выдумывать какое-нибудь другое, столь же сногшибательное рекламное занятие.

Тогда в петербургских газетах появилось объявление о том, что такого-то числа и месяца во время представления с дикими тиграми в цирке Чинезелли редактор «Синего журнала» Василий Александрович Регинин войдет совершенно один, без дрессировщика и без оружия, в клетку с тиграми, сядет за столик, где будет для него сервирован кофе, не спеша выпьет чашку кофе с пирожными и благополучно выйдет из клетки.

Подробнейший отчет об этом необыкновенном происшествии, в том числе и непосредственные впечатления самого Регинина, будет напечатан в «Синем журнале» в сопровождении большого количества фотографий. При этом исключительное право на печатание этих фотографий закреплено за «Синим журналом».

В день встречи Регинина с тиграми цирк Чинезелли был набит людьми до самого купола. Наряды конной полиции оцепили здание цирка на Фонтанке.

Регинин, густо напудренный, с хризантемой в петлице фрака, спокойно вошел в клетку с тиграми, сел к столику и выпил кофе.

Тигры растерялись от такого нахальства. Они сбились в углу клетки, со страхом смотрели на Регинина и тихо рычали.

Цирк не дышал. У решетки стояли наготове, с брандспойтами, бледные служители.

Регинин допил кофе и, не становясь к тиграм спиной, отступил к дверце и быстро вышел из клетки.

В то же мгновение тигры, сообразив, что они упустили добычу, со страшным ревом бросились за Регининым, вцепились в прутья клетки и начали бешено их трясти и выламывать.

Вскрикивали, падая в обморок, женщины. Цирк вопил от восторга. Плакали дети. Служители пустили в тигров из брандспойтов холодную воду. Конная полиция отжимала от стен цирка бующие толпы.

Регинин небрежно надел пальто с меховым воротником и, играя тростью, вышел из цирка с видом беспечного гуляки.

Я не очень верил этому рассказу о Регинине, пока он сам не показал мне фотографии – себя с тиграми. «Тогда, – сказал он, морщась, – я был мальчишка и фанфарон. Но мы вздули тираж «Синего журнала» до гомерических размеров».

Я был знаком с Регининым в пожилом возрасте и в старости и заметил, что легкий налет буффонады сохранился у него до конца жизни. Он выражался в шутливости, в любви ко всему броскому, яркому, необыкновенному.

После Одессы Регинин переехал в Москву и редактировал там журнал «Тридцать дней», один из интереснейших наших журналов.

Весь свой опыт журналиста Регинин вложил в этот журнал. Он делал его блестяще.

В «Тридцати днях» он первый напечатал «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, тогда как остальные журналы и издательства предпочли «воздержаться» от печатания



Иллюстрированный ежемесячник «30 дней»,
№ 1 за 1928 г.

этой удивительной, но пугающей повести.

В «Тридцати днях» Регинин собрал лучших писателей и поэтов и всю талантливую тогдашнюю литературную молодежь (сейчас это уже все маститые писатели и даже «классики»).

С легкой гордостью Регинин говорил, что сотрудниками «Тридцати дней» были все без исключения писатели и поэты тридцатых годов. В этих словах не было преувеличения. Подобно тому как все дороги ведут в Рим, дороги всех писателей проходили через «Тридцать дней», особенно писателей молодых, начинающих. Недаром до сих пор писатели шутливо говорят:

Старик Регинин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил...

Самая манера работы (или, как принято говорить, «стиль работы») Регинина отличалась живостью, быстротой и отсутствием каких бы то ни было стеснительных правил.

Регинин брал рукопись, быстро просматривал ее, говорил совершенно равнодушным и даже вялым голосом: «Ну что ж! Пишите расписку на триста рублей», – выдвигал ящик письменного стола и отсчитывал из него эти триста рублей. После этого он вздыхал, как будто окончил тяжелую работу, и начинался знаменитый регининский разговор: пересыпание новостей, воспоминаний, анекдотов, литературных сценок, шуток и эпиграмм.



Василий Александрович Регинин (1880-1952)
Одесса, 1920 г.



Адольф Менжу
(1890-1963)

Регинин прожил большую и разнообразную жизнь. Память у него была острейшая, рассказывал он неистощимо, но почти ничего не написал. Досадно, что он не оставил мемуаров. Это была бы одна из увлекательных книг о недавнем прошлом.

Несколько лет назад Регинин умер. Он умирал тяжело, но мужественно. В мужественности его последних дней на земле был итог его жизни, очень беспокойной, кипучей, отданной журналистике и искусству, жизни человека, который больше всего на свете любил сенсацию, литературу, театр, цирк и дружбу с талантливыми людьми.

Каким он был в Одессе, таким оставался и в Москве, через много лет после работы в «Моряке»: сухим, элегантным, очень быстрым в движениях, с лицом знаменитого французского киноактера Адольфа Менжу, со своей скороговоркой, шипящим смехом и зоркими и вместе с тем утомленными глазами.

Похищенная речь

В середине апреля, к вечеру, когда за окном редакции зеленел воздух и мерно мигал красным огнем Воронцовский маяк, ко мне в комнату осторожно вошел Изя Лившиц. Он тихо прикрыл за собой резную дверь (на ней были выточены из дерева тяжелые кисти винограда и гирлянды роз), на цыпочках подошел к столу и сделал классический жест, призывающий к молчанию, – прижал указательный палец к губам.

Изя тяжело дышал и был чрезвычайно взволнован. В редакции уже никого не осталось, все разошлись, кроме абиссинца Варфоломея. Поэтому поведение Изя показалось мне неестественным.

– Ну, выкладывайте! – громко сказал я ему. – Что случилось?

Изя сделал страшные глаза, стиснул меня за плечо и едва слышно, одним только дыханием, прошептал:

– Молчите. И слушайте! – он рассказал мне, изредка откидываясь и глядя на меня победоносно и испытующе, что только что заходил в типографию Одесского губкома и увидел там...

Изя задохся от волнения. Он замолчал, неловко скрутил папиросу, закурил, затянулся и только после этого рассказал о том, что он увидел в типографии губкома.

А увидел он набор недавно произнесенной Лениным в Москве речи о новой экономической политике. Речь была набрана в виде брошюры, но еще не отпечатана. На первой странице перед текстом стояла надпись о том, что речь не подлежит оглашению и печатается на правах рукописи, то есть для небольшого числа посвященных.

Неясный слух об этой речи уже третий день бродил по Одессе. Но никто ничего толком не знал. Мы у себя в редакции знали только одно: что речь была произнесена и, конечно, напечатана во всех газетах Российской Федерации. Но в Одессе ее почему-то скрывали от населения.

Мы были уверены, что в этом виноваты работники Одесского губкома. Очевидно, они не были согласны с основными положениями ленинской речи. Впоследствии так оно и оказалось.

С другой стороны, нам, беспартийным, – Иванову, Изе и мне – в те времена трудно было разобраться в этом. Мы ничего толком не знали. Мы были только глубоко возмущены тем, что от народа прячут ленинские слова. Это мы считали величайшим преступлением. Речь надо было достать и напечатать во что бы то ни стало.

Мы пытались добыть эту речь, но из этого ничего не вышло. В губкоме нам с усмешкой ответили, что мы напрасно интересуемся делами, которые нас не касаются.

И вот Изя Лившиц случайно увидел эту речь. Набор лежал в стеклянной кабине директора типографии. Директор куда-то на минуту отлучился. Прочсть речь Изя не смог: в типографии не было видно ни одного оттиска, да и задерживаться было нельзя. Изя забежал туда договориться с директором насчет клише для «Моряка». Он, конечно, не показал виду, что заметил набор ленинской речи, и тут же ушел.

– Мы должны или напечатать эту речь, – сказал Изя, – или признать себя последними трусами и слякотью. Ни трусом, ни слякотью я быть не хочу. И вы тоже. Поэтому слушайте: есть гениальный план! Наш метранпаж Суходольский три дня в неделю работает у нас, а остальные три дня – в типографии губкома. Там он свой человек. Надо его уломать, чтобы он ночью выдал нам готовый набор ленинской речи часа на два, на три. За это время мы успеем привезти набор в нашу типографию, отпечатать на вкладке к «Моряку», смыть краску и увезти обратно. Пошли к Иванову. Он один может уговорить Суходольского.

Мы тотчас пошли советоваться к Иванову. Он жил далеко, около Французского бульвара. Услышав о речи Ленина, Иванов побледнел и начал заикаться. Это было у него признаком страшного волнения.

С Ивановым мы пошли на квартиру к Суходольскому, в старый дом из выветренного песчаника. Мы с Изей ждали в подворотне. Мне казалось, что секундная стрелка на моих часах была намазана клеем. Она едва тащилась по циферблату, и каждая секунда давалась ей с величайшим трудом.

Время тянулось, и дело казалось проигранным. Разве такой жиревший боров, как Суходольский, согласится на риск! Да ни-

когда! Изя от досады несколько раз бил изо всей силы ногой по стене, стараясь сорвать на ней свое нетерпение.

Наконец Иванов вышел вместе с Суходольским. Глаза у Суходольского блестели, и он сказал нам таинственным шепотом: «Ай, босяки! Ай, умницы!». Такими словами Суходольский всегда выражал свое восхищение.

Оказалось, что сторожем при типографии губкома работает тесть Суходольского, «бриллиантовый старик».

Суходольский охотно взял на себя всю операцию похищения набора.

Все было сделано быстро и бесшумно. Мы вместе с Суходольским и сторожем незаметно вынесли тяжелый свинцовый набор речи, уложили на извозчика и поехали к нашей типографии. Там Иванов уже все подготовил: достал из склада бумагу и задержал на ночь надежных печатников. (Очередной номер «Моряка» уже допечатывался, и все наборщики давно разошлись.)

На общем совете мы решили напечатать речь отдельной вкладкой. Но брошюрный текст был шире нашего, газетного, и потому на вкладке помещалось не шесть колонок, как на странице «Моряка», а четыре, и сбоку еще оставалось большое пустое поле.

Но думать было некогда. Набор заложили в машину. Суходольский набрал заголовок. Машина тихо загремела и зашуршала листами бандеролей, печатая историческую речь.

Мы жадно читали ее при свете кухонной керосиновой лампочки, волнуясь и понимая, что история стоит рядом с нами в темной этой типографии, и мы тоже в какой-то мере участвуем в ней.

Вкладку отпечатали, с набора тщательно смыли краску, отнесли набор на извозчика, и мы с Изей отвезли его обратно в типографию губкома и положили точно на то же самое место, где он лежал.

Никто нас не видел, кроме молчаливого сторожа. Мы не оставили никаких следов.

Домой идти не хотелось: через час должен был начаться рассвет. Мы были взволнованы и потому пошли в редакцию.

Варфоломей открыл нам дверь, обрадовался и поставил на печурку чайник.

Мы пили чай, сидя на кипах бандерольной бумаги. Богиня Аврора едва проступала во тьме своим розовым пыльным хитомом.

Все мы были втайне горды тем, что завтра ленинская речь станет известна всей Одессе. Никто из нас не думал о последствиях дерзкого нашего поступка, хотя мы и понимали, что последствия могут быть для нас очень тяжелыми. Только метранпаж Суходольский качал головой и время от времени говорил, что на всякий случай хорошо бы незаметно смыться из Одессы.

А наутро 16 апреля 1921 года старые одесские продавцы газет – скептики, мизантропы и склеротики – пошли торопливо шаркать деревяшками по улицам и кричать хрипучими голосами:

– Газета «Морак»! Речь товарища Ленина! Читайте все! Только в «Мораке», больше нигде не прочтете! Газета «Морак»!

Как мы ни бились, но за все время существования «Моряка» не могли научить газетчиков кричать правильно. Они считали это требование нашим капризом, просто самодурством редактора, и говорили: «Какая вам разница! Мы же продаем вашу газету, как никакую другую!».

Номер «Моряка» с речью разошелся в несколько минут.

Одесса загудела, как потревоженное гнездо.

Мы ждали неприятностей и были готовы к ним. Но никаких осложнений не случилось, если не считать моей встречи на Греческой улице с секретарем губкома.

Красный от гнева, он мчался навстречу, потрясая номером «Моряка». Поравнявшись со мной, он остановился и крикнул:

– Украли! Наш набор! Бульварные штучки! Вы ответите! До чего вы дошли!

Я сделал невинное лицо. Ничего мы не крали. Это – поклеп! Где доказательства?

Секретарь задохся от возмущения.

– Вам нужны доказательства? – он выхватил из номера «Моряка» вкладку с речью. – Вот! Все опечатки наши! И колонка брошюрная, широкая, – тоже наша! Вот вам доказательства!

Он судорожно засунул номер «Моряка» в рваный портфель и исчез среди отцветающих акаций.

Не знаю – время ли приучило нас ко всяким неожиданностям или наша молодость еще не перебродила и не выветрила из нас остатки мальчишества, но мы были горды своим поступком.

Это ощущение подымало нас в собственных глазах, хотя мы и не говорили об этом.

Мы считали себя уже не простыми газетчиками. Чувство гражданственности, близости своей жизни к жизни страны наполняло нас молчаливой радостью.

Мнимая смерть художника Костанди

Чехов боялся одесских репортеров. Как известно, он неохотно делился своими литературными планами. Все разговоры об этом он заканчивал одной и той же просьбой:

– Только, ради бога, не говорите об этом одесским репортерам.

Я еще застал нескольких одесских репортеров из числа тех, что нагоняли страх на Чехова. Эти репортеры были, конечно, последними «королями сенсации». Их рассадником и надежным убежищем была одесская газета «Одесская почта», а вождем – издатель этой газеты, некий Финкель.

Главным содержанием этой газеты было подробнейшее описание всех пожаров, краж, убийств, мошенничеств и всех прочих уголовных происшествий.

Стиль статей в этой газете был феерический. Я помню, как по поводу какого-то пустякового постановления городской думы Финкель писал в передовой статье, что «следует выкрасить на радостях наше одесское небо в розовый цвет и аплодировать городской думе на крышах домов».

Старые репортеры рассказывали нам, молодежи, *всякие байки о Финкеле как о легендарном человеке, но мы понимали, что если Финкель и был легендарен, то только своим гомерическим невежеством.*

Из тех репортеров, которых боялся Чехов, у нас в «Моряке» застрял только один – Лева Крупник, человек с обманчивой внешностью. Сухонький и кроткий, этот старичок с вкрадчивым голосом ходил в заштопанном чесучовом пиджачке

и в золотом пенсне и распространял старорежимный запах тройного одеколona.

Несмотря на эту идиллическую внешность, Лева был опасен, как ипритовая бомба. Иванов предупреждал меня об этом, но я не верил ему вплоть до одного чрезвычайного случая.

Летом я приходил в редакцию ранним утром. Я любил идти со своей Черноморской улицы до редакции медленно, выбирая любой путь из четырех возможных. Все они одинаково приводили на бульвар, к Воронцовскому дворцу.

Там пышно пылала, зацепившись за старые колонны, настурция и всегда веял – именно веял, а не дул, – портовый ветер, солоноватый и свежий. Он наполнял приморские улицы запахом только что вымытых палуб.

Я садился на парапет над обрывом к порту и некоторое время сидел, закрыв глаза. Так я лучше ощущал на лице дыхание этого ветра. Я различал в нем не только запах палуб, но и акаций, и высохших водорослей, и ромашки, что цвела в трещинах подпорных стен, и, наконец, дегтя и ржавчины. Но все эти запахи по временам смывал особенный послегрозового запах, что налетал с открытого моря. Его ни с чем нельзя было сравнить и ни с чем спутать. Как будто холодноватое от купания матовое девичье плечо прикасалось к моим щекам.



Парапет на Приморском бульваре

Так я просиживал на парапете, теряя представление о времени, погружаясь внутренним взором в мерцающую даль Голконды. Мне хотелось верить, и я в действительности верил, что эта цветущая страна существует на свете. Иногда мне казалось, что она приближается ко мне, наплывает, разгорается и гонит перед собой волны этого ветра, эти потоки легкого воздуха.

Подремав на парапете, я шел в редакцию. Дверь мне открывал абиссинец Варфоломей – наш редакционный парикмахер.

Он ночевал в некогда роскошной гостиной с облезлыми фресками на стенах. Они изображали богиню Аврору в розовом прозрачном хитоне. Она летела по небу среди бежевых облаков и сыпала из рога на землю алые цветы и акантовые листья.

Меня всегда умиляла наивность художника, написавшего позади Авроры в голубой морской дымке одесскую лестницу к морю и памятник Дюку – герцогу Ришелье.

В моей редакционной комнате стоял еще прохладный воздух ночи. Я садился к столу и до появления Люсьены (она всегда приходила вслед за мной) успевал кое-что написать «для себя». Я очень ценил эти два-три часа безлюдья в редакции.

Потом приходили сотрудники и заваливали мой стол исписанными узкими полосками бумаги. Я правил весь день статьи, телеграммы и заметки. Правил до изнеможения, до того, что у меня начинала тупо болеть рука. Примерно половину заметок приходилось мне самому переписывать наново, чтобы убрать из них неистребимый одесско-молдаванский стиль.

В конце концов я полюбил правку. Ее навыки очень помогли мне в работе над своими рукописями.

Я был секретарем редакции, иными словами, должен был делать все: от правки и раздачи заданий репортерам до приема авторов и прекращения молниеносных скандалов, возникавших между молодыми и старыми репортерами.

Кроме того, я почти каждый вечер верстал вместе с Изей Лившицем очередной номер газеты.

Однажды я пришел очень рано и застал в редакции Леву Крупника. Он сидел на подоконнике и плакал, прижимая к глазам клетчатый платок. Пенсне висело на черной тесемке на шее у Левы и качалось от его судорожного дыхания.

Я испугался и спросил, что случилось. Лева только отмахнулся от меня, подчеркивая этим жестом всю неуместность моего вопроса и мою неделикатность. Очевидно, горе его было так велико, что ему было не до расспросов.

Я налил в стакан воды и подал Лева. Он выпил его вместе со своими слезами, снова махнул рукой и сказал:

– Лежит на столе... под простыней... Боже мой, боже мой!.. Вместе учились... восемь лет сидели на одной парте... вместе босиковали на Малой Арнаутской улице, и вот...

Он всхлипнул, высморкался и посмотрел на меня красными, припухшими глазками, ожидая сочувствия.

– Кто же умер? – несмело спросил я. – Кто-нибудь из ваших родных?

– Зачем? Слава богу, у меня нету родных.

– Так кто же?

– Художник Костанди! – воскликнул Лева таким тоном, будто с моей стороны было просто глупо задавать такие вопросы. – Глава южнорусской школы художников, – добавил он уже более спокойно. – Мастер! Бриллиантовая рука! И золотое сердце. Добрее его не было человека на свете.

Лева был безутешен. Мне стало его искренне жаль. Я не знал, как успокоить его. Внезапно у меня блеснула счастливая мысль, и я сказал:

– Возьмите себя в руки, сядьте и напишите некролог о Костанди. Для завтрашнего номера.

Лева поймал качающееся пенсне, криво прицепил его к носу, слез с пыльного подоконника, отряхнул брюки и неожиданно сказал капризным голосом:

– Так дайте же мне, по крайней мере, бумаги. На чем я буду писать? У нас в редакции не допросишься четвертушки на раскурку.

Я дал ему чистые с одной стороны старые гранки, но он презрительно хмыкнул и сказал, что на обороте старых гранок можно мараить все что угодно – хронику происшествий или халтурные фельетоны, – но писать об умершем большом художнике просто неприлично и неуважительно.

Он явно привередничал. Я приписал это, как он сам выразился, его «расстроенным чувствам». Я дал ему несколько листов хорошей бумаги, ценившейся в редакции на вес золота.

Он ушел в соседнюю комнату, долго сморкался там, вздыхал и царапал по бумаге пером.

Потом пришла Люсьена, ахнула, узнав, что умер Костанди, и сказала:



Кириак Константинович Костанди (1852-1921)
с женой. 1910-е гг.

– Такой был здоровущий полнокровный старик, весь лиловый, как баклажан, просто бугай – и вдруг умер.

– Ах! – горестно воскликнул Лева. – Вы разрываете мое сердце, Люсьена Казимировна, своими грубыми выражениями!

– Подумаешь, какой сиреневый принц! – ответила Люсьена. – Нечего прикидываться безутешным, старик.

Потом Лева диктовал Люсьене некролог, и они ссорились из-за того, что старик требовал двух копий, а Люсьена божилась, что у нее осталась последняя копия и с Левы хватит одной копии. Но все-таки Лева до-

бился своего и ушел из редакции, захватив копию, очевидно на память.

Я прочел некролог, выправил его (в том месте, где Лева сравнивал кисть Костанди с божественной кистью Рафаэля) и послал в типографию.

Я вспомнил, как Лева тяжело вздыхал, уходя домой, и сказал Люсьене:

– Как вам не совестно преследовать этого несчастного, беззащитного старикана!

– Это кто несчастный? – спросила Люсьена. – Крупник? И это кто беззащитный, позвольте спросить? Тот же Крупник? Подождите, он еще подложит вам такую свинью, что вы проклянете день своего рождения. Вы все, московские, какие-то сентиментальные.

В это время пришел наш корректор Коля Хаджаев, юный студент Новороссийского университета, знаток левой живописи

и поэзии, ярый защитник футуристов и поклонник Велемира Хлебникова и Осипа Мандельштама.

Колины суждения отличались суровостью, краткостью и были бесспорны. Возражать ему никто не решался, так как ни у кого не хватало той эрудиции, какой обладал Коля.

Всех инакомыслящих Коля презирал и считал «мусорными людишками», чем-то вроде тараканов. Говоря о своих идейных противниках, он громко фыркал, страстно морщился и, по всей видимости, испытывал физическую тошноту.

Из одесских поэтов он терпел только Эдуарда Багрицкого, снисходительно относился к Владимиру Нарбуту, а Георгия Шенгели считал развинченным эстетом не только за стихи, но и за то, что Шенгели ходил по Одессе в пробковом тропическом шлеме.

– Коля! – крикнула ему Люсьена. – Вы слышали? Умер художник Костанди!

– Ваш Костанди не художник, а свиновод! – неожиданно закричал ей в ответ Коля и почернел от негодования. – Как можно так швыряться словом «художник»! Он всю жизнь держался за про-



Николай Иванович Харджиев (Коля Гаджаев), 1903-1996. Одесса, 1928 г.

тертые штаны передвижников. *Можно взбеситься от скуки от каждого его мазка.* Не говорите мне о нем!

Начали собираться сотрудники. Пришел репортер Аренберг, плотный человек со смеющимися глазами.

Он бурно радовался любой новости, будь то приход в порт норвежского парохода «Камилла Гильберт» или землетрясение в Аравии.

Его возбуждал самый ход жизни, все перипетии и подробности ее движения, все ее перемены, независимо от того, что это может принести с собой: беду или счастье. Это было для него вопросом тоже важным, но все же второстепенным.

По поводу смерти Костанди Аренберг высказался в том смысле, что Костанди – это, конечно, не Репин. Это вызвало новый взрыв негодования со стороны Коли Хаджаева, но теперь уже не против Костанди, а против Репина.

– Старый чудак, *обожравшийся* сеном! – сказал Коля о Репине и ушел, даже не глядя по сторонам, очевидно от презрения ко всем нам.

У Репина были свои странности, и одна из них – вера в целебные свойства супа из свежего сена. Эта история с сеном особенно *раздражала* Колю.

Потом пришли Иванов и репортер Ловенгард, седой, высокий, с донкихотской бородкой и с палкой в руке, похожей на короткую пику. Всю жизнь Ловенгард обслуживал в газетах одесский порт, знал его до последней причальной пушки и потому сказал, что о художнике Костанди он судить не может, так как никогда не слышал о его существовании, но вот капитан Костанди с парохода «Труженик моря» – тот был, конечно...



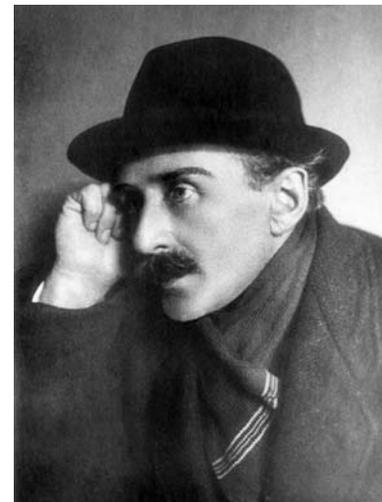
Александр Анисимович Аренберг (1878-1966)

Но тут его перебили. Он сел в угол, положил руки на свою палку, закрыл глаза и так просидел довольно долго, о чем-то размышляя. Это была его обычная поза.

По вечерам я часто заходил в типографию проверить, как верстается очередной номер, поболтать с выпускающим Изей Лившицем и метранпажем Суходольским и вообще подышать воздухом типографии.

Со времени работы в «Моряке» я пристрастился к типографиям. Даже запах краски и свинца был для меня «сладок и приятен». Я полюбил наборщиков, их насмешливость, их обширные, хотя и случайные, познания, их безжалостные оценки и даже самую манеру набирать, покачиваясь около наборных касс, как качаются мусульмане, совершая намаз или читая коран.

Темные, пыльные, низкие типографии, сырые оттиски, гул плоских печатных машин, пачки разноцветных бандеролей, рулоны бумаги, традиционные яростные схватки с корректорами, остывающий чай на подоконниках, вазон с геранью на окне, запах ее шершавых листьев – все это представлялось мне в несколько романтическом ореоле, очевидно потому, что здесь рождались газеты и книги, географические карты и афиши, календари и расписания пароходных рейсов.



Антон Сигизмундович Ловенгардт (1875-1941?)



Типография. Красный переулок, 11

Кажется, я никогда не забуду черный и липкий от краски, грубый деревянный стул у открытого окна типографии. За окном, за железной ржавой решеткой, висели, чуть поникнув от зноя, листья каштанов. Не забуду лиловый блеск на асфальте во дворе и сырую гранку с оттиснутыми на ней строчками стихов неизвестного мне поэта:

Закаты в августе! Плывут издалека
Полей дыхания и ветерки тугие,
И снежные встают над горем облака,
Такие белые, что даже голубые...

На полях корректор написал жирным синим карандашом: «Не над горем, а над морем». Я прочел эту отметку корректора и подумал, что наборщик ошибся не так уж плохо. Почему не могут встать над человеческим горем облака, как образчик умиротворяющей красоты, как отвлечение, врачующее сердце?

Но в тот вечер, о каком идет речь, в типографии было шумно. Еще со двора я услышал негодующий голос Изи Лившица и хохот наборщиков.

Когда я вошел в типографию, Изя Лившиц бросился ко мне, размахивая сырой, только что оттиснутой гранкой с некрологом Костанди.

– Кто дал в газету эту гнусность? – закричал он с такой яростью, что у него побелели даже глаза. – Какой негодяй?!

– Крупник, – растерянно ответил я.

– Я так и знал. Подонок! Шантажист!

– А что случилось?

– Случилась чрезвычайно интересная вещь, – Изя зловеще усмехнулся. – Чрезвычайно интересная. Чтобы его стукнуло брашпилем по башке, этого вашего «короля репортеров»! Случилось одно пустяковое обстоятельство. Я шел сейчас в типографию верстать газету и за два дома отсюда встретил воскресшего Костанди. И даже проводил его до Екатерининской улицы. И даже говорил с ним о будущей выставке его картин. И даже пожал его мужественную руку. И даже заметил пятно от синей мас-

ляной краски на его чесучовом пиджаке. И он несколько не был похож на покойника, уверяю вас.

– Что это значит? – спросил я.

– Это значит, что Крупник гнусно наврал. Хотел заработать на мнимой сенсации лишних пять тысяч рублей. Вы скажете, что это бессмысленно, что за это его могут выгнать из «Моряка». Конечно, могут. Но Финкель за это не выгонял, и Крупник надеется, что и здесь все сойдет. Вранье – это его единственная верная черта. Он ей никогда и ни при каких обстоятельствах не изменяет. А изменяет он всем и всему.

– Давить надо таких, как этот Лева! – сказал метранпаж Суходольский. – Я его видеть не могу. У меня ноги трясутся, когда я его вижу. У меня к сердцу подпирает от его лживого голоса.

Мы с Изей вынули из номера некролог о Костанди. Наутро «Моряк» вышел без некролога, но тотчас же этот некролог был обнаружен нами в «Одесских известиях», тот же самый, до последней запятой, некролог, который мы только что выбросили из «Моряка».

Вскоре в редакцию примчался репортер Аренберг и, сияя от внутренней газетной сенсации, сообщил, что Крупник прямо из «Моряка» двинул в «Известия» и подсунул им некролог с теми же крокодиловыми слезами, какие он проливал у нас в редакции. Лева на всякий случай решил застраховаться.

А днем в редакцию «Известий» ворвался разъяренный Костанди. Он долго не мог выговорить ни слова: от негодования он лишился дара речи и последних сил. Но сил ему, правда, хватило на то, чтобы в течение получаса молча бить своей тяжелой сучковатой палкой по комплектам старых газет, сваленных на стол в кабинете редактора.

Костанди был родом грек и отличался вспыльчивостью.

Говорили, что от избиения старых комплектов поднялась такая пыль, что она реяла вместе со старой бумагой в редакции до самого вечера.

«Известия» принесли Костанди свои глубочайшие извинения, а «Моряк» напечатал об этом случае стихотворный фельетон Ядова. Он кончался словами:

Смотри в газетный номер
И, если что, смирись.
Коль сказано: ты умер, –
Скорее в гроб ложись.

Крупник исчез. Взбешенный Женька Иванов потребовал, чтобы ему доставили Крупника на расправу, живого или мертвого. Но его нигде не могли найти. Дома он не ночевал.

Прошло недели две. Однажды я, как всегда, очень рано пришел в редакцию, вошел в свою комнату и отступил: на пыльном подоконнике опять сидел Лева Крупник и плакал. Пенсне висело на черной тесемке на шее у Левы и качалось от его судорожного дыхания.

– Извиняюсь, – сказал Лева прерывающимся голосом, – но вышла маленькая ошибка.

– Ошибка? – спросил я, чувствуя, как у меня холодеют руки.

– Да, – кротко согласился Лева. – Добросовестная ошибка. Оказывается, умер не художник Костанди, а чистильщик сапог Костанди. Однофамилец. Он жил в подвале того самого дома, где живет и художник. Легко, понимаете, спутать.

– Позвольте, – сказал я, приходя в себя, – вы же своими глазами видели его на столе, под простыней...

– В том-то и дело! – ответил, сморкаясь, Лева. – В подвале, понимаете, темно, а тут еще эта простыня... Кстати, я принес вам заметку о выставке Костанди. Она скоро откроется.

– Надо думать, – сказал я, – что это будет его посмертная выставка?

– Напрасно так шутите, – ответил с упреком Лева. – Это даже неприлично с вашей стороны!

– Знаете что! – сказал я. – Уходите! В «Моряке» вам больше нечего делать.

– Подумаешь! – воскликнул Лева сварливым голосом и встал, – Тоже мне газета! Паршивая свистулька! Я был одесским корреспондентом «Фигаро», а вы мне тычете в нос вашу селедочную листовку.

Я не успел ответить. Дверь распахнулась. На пороге стоял белый от гнева Иванов.

– Вон! – прокричал он ясным, металлическим голосом. – Вон немедленно!

Лева Крупник вскочил и засеменил к выходу, придерживая падающее пенсне.

Потом мы услышали, как он в сердцах плюнул на паркет в зале с богиней Авророй и застучал деревяшками по панели, навсегда удаляясь из «Моряка».

Так исчез из редакции последний из тех одесских репортеров, которых с полным основанием боялся Чехов.

«Что вы хотели, молодой человек?»

Патетический язык почти забыт. Современная жизнь требует простых выражений.

Но каким же языком описать то по существу неопишное одесское торжище, которое в двадцатых годах нашего века носило название «Новый базар»?

Как изобразить этот базар нам, отвыкшим от приподнятых слов? Как рассказать о вчерашних сыпнотифозных, толпившихся около раскаленных сковородок, где скручивались, потрескивая и жарясь в собственном жиру, куски домашней украинской колбасы с чесноком – первого детища нэпа?

Как передать множество клятв, завываний, возгласов, жалоб, истерики, проклятий и ругани, смешанных в слитный гул, внезапно прерываемый пронзительным свистком милиционера? И как описать тяжеловесное бегство спекулянтов, обвешанных вещами, по потрясенной их топотом брусчатой мостовой? Как описать потерянные в этом бегстве пожелтевшие лифчики, бязевые солдатские кальсоны и пересохшие резиновые грелки цвета печени, покрытые шрамами трещин?

Поскольку патетический язык нам чужд, придется говорить об одесском базаре обыденными словами.

Прежде всего нужно упомянуть о нескольких правилах, без знания которых нечего было и соваться на Новый базар.

Первое правило состояло в том, чтобы, толкаясь по базару, обязательно сохранить на лице бесстрастное и даже суч-



Корпуса Нового базара. 1910-е гг.

ное выражение и ни в коем случае не показывать вида, что вы хотите что-нибудь купить. Потому что в этом случае десятки людей начинали цепко хватать вас за рукава или сильно дергать сзади за гимнастерку, или, наконец, тянуть за хлястик шинели и кричать почти трагически, с выражением отчаянной надежды:

– Что вы хотели купить, молодой человек?

Никто не спрашивал, что вы хотите продать. Спрашивать об этом было бессмысленно: все, что человек хотел продать, он таскал на руках или вешал себе на шею.

Если же человек ничего не нес с собою, но глаза его подозрительно бегали, ища покупателей, то базарные завсегдатаи тотчас догадывались, что он торгует фальшивыми драгоценностями, и насмешливо кричали ему в спину:

– Бриллиантовые розы из навоза! Кораллы из крахмала! Халцедоны из бердичевской короны!

Но все же бывали и исключения, когда нельзя было сразу догадаться, чем человек торгует. Так было, например, с одним довольно потрепанным французским матросом по прозвищу Лева.



Площадь Нового базара. 1910-е гг.

Он отстал от военного корабля, застрял в Одессе и был совершенно уверен, что в те феерические времена гражданской войны и ниспровержения международного права никто его не выдаст как дезертира французскому правительству.

Низенький, всегда небритый и недовольный, с длинным черным носом и яростными презрительными глазами, в синей грязной шинели, в берете с алым помпоном, в рваном фиолетовом кашне, он молча бежал по Дерибасовской, энергично засунув руки в карманы шинели, и вдруг неожиданно, совершенно внезапно кричал, не останавливаясь, пронзительным фальцетом, слышным за несколько кварталов:

– Сами лучши! Сами крепки! Сами вечный!

Он никогда не называл свой товар. Его пробежка по Дерибасовской была похожа на смерч. Толпа завивалась вокруг него и потом шарahalась, прижимаясь к стенам. «Что он продает?» – растерянно спрашивали приезжие. Одеситы в ответ насмешливо пожимали плечами. Мальчишки восторженно свистели вслед матросу. С ближайшего поста навстречу матросу торопливо шел милиционер, держа в руке роговой черный свисток.

Увидев милиционера, матрос наконец выкрикивал свой товар:
– Сами лучши камешка! Для зажигалка! Сами длинный! Для зажигалка!

Под этот победный клич он исчезал в глубине Садовой улицы, где тлел в седом чаду постного масла Новый базар, прибежище мешочников, старых генеральш и карманных воров.

Он был очень скульптурной фигурой, этот матрос, весь как бы вылепленный из терракоты и подкрашенный яркими красками.

Второе базарное правило заключалось в том, чтобы соглашаться на первую же цену, какую вам давали за ваши вещи. Пренебрежение этим правилом могло окончиться катастрофой, как это и случилось со мной.

У Васи Регинина тяжело заболела жена, хрупкая и грациозная женщина, совершенно беспомощная во всяческих практических делах.

Кроме жены у Регинина была еще маленькая дочь Кира, тихая девочка лет шести.

Регинин совершенно раскисал из-за частых болезней жены. Он растерянно носился по городу. Он глох от волнения, стараясь достать немного денег и какое-то фантастическое в то время лекарство (кажется, горчичник), а меня слезно упросил загнать на базаре его великолепный ватин.

То был добротный, легкий, как пух, ватин. По моим понятиям, он представлял огромную ценность.

Я не знал, почему Регинин попросил продать этот ватин именно меня. Насколько помню, он упоминал о моей находчивости и ссылался на собственную негодность для этого дела. Он льстил мне, и я поверил ему.

Я зашел к Регинину, взял ватин, свернул его рулоном и пошел на базар. Это было глупо с моей стороны, но тогда еще я не подзревал, куда иду. Я спокойно шел по Садовой улице, не зная, что это – прямая дорога в ад.

Сначала никто даже не хотел смотреть на мой великолепный ватин. Все вели себя так, будто впервые слышали о ватине. «Это что? – спрашивали меня. – Материал на обивку кушетки? Или теплая обертка для недоношенных младенцев?»

Я оскорблялся, но молчал даже в тех случаях, когда нахальные женщины отщипывали от ватина кусочки, раздергивали их по отдельным волокнам и нюхали неизвестно зачем.

Наконец добродушный старик с сантиметром на шее (из этого я заключил, что это портной) дал мне за ватин сто тысяч рублей. Это были хорошие деньги. Но я решил продать ватин не меньше чем за двести тысяч рублей и этим осчастливить Регинина.

– У вас есть мозги в голове? – удивленно спросил меня портной. – Берите деньги и не разыгрывайте из себя барона Нобеля. Ваше счастье, что вы попали на честного человека.

Я отказался. Портной потоптался, потом сплюнул и ушел, покрикивая:

– Брюки галифе! Шьем перед глазами заказчика за два часа и с его материалом! Будут лежать как вылитые! Брюки галифе! Задаром! За триста тысяч рублей без приклада!

Следующий покупатель, маленький полупьяный грек, дал мне семьдесят тысяч. После него плаксивая женщина дала пятьдесят тысяч.

Время подходило к четырем часам, базар начинал пустеть. Грек снова вернулся откуда-то и предложил мне уже тридцать пять тысяч рублей.

Я послал его к черту. Тогда ко мне подошел босой парень в старой казацкой фуражке, сунул мне в руку десять тысяч рублей, сильно потянул у меня из-под локтя ватин и сказал:

– На, бери и катись с базара до своей Люсечки!

Я вырвал у него ватин и швырнул ему обратно его десяти тысячную бумажку.

– Ах, ты так, зараза! – сказал парень и полез за пазуху.

В это время взвизгнула в шляпе старуха с бархатными анютиными глазками. Она доторговывала последним, свернувшимся в жгут малокровным пирожком с картошкой. В ответ на визг старухи засвистел милиционер. Парень независимо и медленно пошел прочь, шевеля лопатками под линиялой рубахой.

– Уходите скорее, – сказала мне старуха. – У него нож за пазухой. Я уже не могу видеть крови на базаре и вечно попадать в свидетели.

Уже смеркалось. Мой базарный день был бесславно окончен. Так я думал тогда по своей непроходимой наивности.

Я ушел с базара. Я шел и вдруг вспомнил, что и грека, и плаксивую старуху, и парня в казацкой фуражке я видел в самом начале базарного дня в толпе за рундуком – всех троих вместе. Только сейчас до моего сознания дошло, что около меня работала одна и та же шайка «маравихеров». Так в Одессе звали шпану, занимающуюся сбиванием цен и, при удобном случае, базарными кражами и грабежами.

В базарных воротах мне встретился полупьяный грек. Он курил козью ножку и не обратил на меня внимания.

Я шел, и какой-то едкий пакостный запах преследовал меня до ближайшего перекрестка. На перекрестке меня окликнула торговка семечками.

– Вы же горите, молодой человек! – крикнула она мне. – С вас дым идет, как с паровоза.

Я оглянулся. Из свернутого ватина шел белый едкий дым.

Я развернул рулон. По нему расползлся, чадя и вспыхивая, огненный узор.

Я хотел затоптать этот ползучий огонь, но напрасно: он извивался, как десятки маленьких змей, и расползлся по ватину все дальше. Единственное, что мне оставалось сделать – это отшвырнуть ногой горящий ватин на мостовую.

– Я думаю, – сказала торговка, – что у вас была на базаре крупная неприятность с «маравихерами», молодой человек. И они по злобе подожгли вам сзади ватин. Папироской.

Я вспомнил полупьяного грека в воротах базара. Это была его работа.

Вокруг горящего ватина собралась толпа. Торговка семечками рассказывала всем, крича и возмущенно жестикулируя, мою горестную историю.

Я не пошел к Регинину. Меня душили отвращение, гнев, стыд. Я проклинал всех, кто считал, будто в воровском и бандитском мире есть следы какой-то романтики. Сплошная чушь! Рассказни для слюнтяев и доверчивых дураков.

Я поклялся себе страшной клятвой, что больше ни разу не пойду на базар.

Наутро мне надо было достать где-нибудь не меньше двухсот тысяч рублей – за эти деньги я обещал Регинину продать его ватин. Я ломал себе голову над этим, наконец решился и пошел к Мозеру. Он слыл среди нас человеком вполне состоятельным.

Мозер и его жена очень жалели меня, охали, возмущались, напоили чаем и дали два больших листа денег (каждый по сто тысяч рублей). Я свернул их в рулон и пошел к Регинину. Казалось, никогда еще в жизни я не испытывал такой легкости на душе, как в тот день.

Из этого случая с ватином вытекало третье базарное правило: никогда не носить вещей у себя за спиной. Не потому, конечно, что их прожигали – *такие случаи бывали редко*, а потому что их незаметно разрезали лезвием безопасной бритвы, а потом эти испорченные вещи шли за бесценок.

Но избавиться навсегда от базара, несмотря на клятвы, мне, конечно, не удалось. Государственных товаров в городе почти не было, если не считать бязи, некоторого количества шапок-ушанок и ватников.

Эти шапки-ушанки с искусственной серой мерлушкой привозились почему-то спрессованными в огромные тюки. Тюки эти лежали в магазинах, их никто не распаковывал, и они распространяли запах гниения.

На базар приходилось ходить за всем, особенно за лесками и рыболовными крючками.

Каждый раз после базара я возвращался в глухом раздражении, подавленный и униженный. Униженный зрелищем бесстыдной алчности, беспомощной нищеты, глумления над людским достоинством, животной грубости и обмана.

Особенно много было жульничества – мелкого, шмыгающего глазами и наглого.

В тени под всеми рундуками играли в «три листика», в «узелок», в «кости», передергивались и дрались. Испитые шулера рыдали в голос, размазывая по лицу кровь и грозясь рассчитаться с обидчиками такими изощренными способами, что от них холодела кожа на голове.

Бродячим сумасшедшим привязывали сзади, к отрепьям, пуки газет и поджигали их.

Иногда в укромных углах базара неожиданно собирались плотные толпы. Люди молча, с яростным любопытством продирались вперед, к середине толпы, где слышались тупые удары и заглушенные крики: там, зверея, били вора или обыскивали, раздевая догола, женщину, заподозренную в краже, под визгливый хохот деревенских простоволосых кулачек.

Иной раз невозможно было понять, что происходит, Вор вырывался и, кривляясь, избитый, весь в кровоподтеках, начинал изображать какой-нибудь похабный танец под дружный и одобрителный рев толпы, и раздетая женщина вцеплялась в волосы обкраденной и обе они долго катались в пыли.

До одесского базара я никогда не видел такого скопления в одном месте человеческой скверны и злобы. И это было тем удивительнее и тяжелее, что рядом сверкало теплое море, шумел нарядный город, цвели акации, солнечный свет придавал золотой оттенок зданиям, на улицах, несмотря на голод, было много смеющихся людей, пахло цветами и низко горели в морских далях чистые звезды, похожие на огни бакенов.

Но и на базаре попадались хорошие люди. Все это были чудачки или люди с изломанной, пустой жизнью, но здесь они казались образцами человечности.

Помню подслеповатого старика. Он торговал фотографиями для стереоскопа. Его постоянно окружали дети. Весь день он бесплатно показывал им виды Парижа и Рима, Москвы и острова Мадейра. Совершенно невозможно было понять, чем он живет. В то время ни единая живая душа (кроме Изи Лившица) не покупала фотографий для стереоскопа. Да и Изя покупал их только из жалости к этому старику.

Рядом с этим стариком стоял на мостовой выцветший пыльный глобус. За пятьдесят рублей каждый желающий мог повертеть этот глобус и поискать на нем разные заманчивые страны и города, вроде острова Пасхи, реки Замбези или города Каракаса.

Невдалеке от этого старика поместился гадалщик-графолог. Гадал он по почерку. Весь день он сидел на скамейке и изучал в огромную лупу письма и конверты.

Гадал он сердито, выговаривая гадающим, и даже кричал на них. Но, несмотря на это, клиенты его любили, особенно женщины.

А кричал он вещи удивительные.

– Я же вам три раза уже нагадал, гражданочка, – кричал он заморенной женщине, – чтобы вы бросили этого вашего сожителя, если не хотите попасть вместе с ним в арестантские роты.

– Оно и верно, надо бы бросить, – неуверенно соглашалась женщина.

– Бросай, Верка! Видишь же, человек тебе желает добра, – уговаривали ее подруги.

– Выходит, – обиженно кричал гадалщик, – что я, как паразит, деньги с вас высасываю и получаю каждый раз по триста рублей. А все через вашу нерешительность! Это что за безобразие! Раз не хотите меня слушать, так и не ходите до меня. Я вам больше гадать не буду. Хватит!

В другой раз он кричал:

– Судя по начертанию букв, очень много об себе понимаете, отрок. Ходите таким фон-бароном и фон-трезвоном. А правильное соответствие жизни достигается только путем науки и терпения, а не нахальства и гавканья. Я давно замечаю, что вы все крутитесь в компании с Витькой «Десятка трэф», вместо того чтобы честно работать и радовать престарелых родителей.

Но самым трогательным оказался старый торговец кепками Зусман, державший на задворках базара крошечную лавчонку с вывеской «Парижские кепы».

Он весь день сидел в лавочке вместе с подручным – унылым болезненным мальчиком Милей. Мальчик спал, похрапывая, а старик, нацепив очки, медленно читал газету, вздыхал и недовольно поглядывал на редких покупателей.

Мы как-то зашли к нему в кепочную вместе с Яшей Лифшицем.

– Зачем вам новая кепка? – сердито спросил Зусман Яшу. – У вас же еще вполне приличная.

– Это уж мое дело! – так же сердито ответил Яша.

– Привыкли разбрасываться кепками? – иронически спросил Зусман. – Ваше дело! Миля, дай этому товарищу какую-нибудь кепочку. А мне надо зайти до соседа.

Он ушел. Яша, посапывая от гнева на странного продавца, начал примерять кепки. Миля держал перед ним зеркало и два раза чуть не уронил его, засыпая.

Яша колебался. Он надел коричневую кепку и спросил меня, идет ли она ему.

Я не успел ответить. Вошел Зусман, мельком взглянул на Яшу и спросил:

– Миля, где же тот покупатель, который только что заходил до лавки?

– Так вот он, – уныло ответил Миля и показал на Яшу.

– Нет! – вскричал Зусман, отступил, всплеснул руками, и бородастое его лицо расплылось в счастливую улыбку. – Нет! Что ты выдумываешь, Миля! Это же передо мной стоит лорд в шотландской кепке, настоящий лорд Чемберлен. А тот покупатель был, извините, совершенно затрушенный и смахивал на босяка.

– Так это же он, – так же уныло подтвердил Миля. – Только он в новой кепке.

– Ай-ай-ай! – закричал Зусман. – Что может сделать с человеком такая дешевая кепка за сто тысяч рублей! Если она, конечно, сшита хорошим мастером! Она может сделать чудо!

Яша не выдержал и расхохотался. Зусман тоже хохотал до слез, довольный своей выдумкой, и дружески похлопал Яшу по плечу.

– Торговля с нас делает артистов, – говорил он сквозь смех. – Из меня бы вышел комик, честное слово! Будем знакомы. Приходите когда до меня поговорить, а то можно пропасть в этой пустой лавке. Я вам сошью такую летнюю кепку, что сам Ллойд-Джордж не имел и не будет иметь такой кепки никогда в жизни. Абы только достать хороший материал.

Все были очень довольны, а Миля снова уже сидел на табурете за прилавком, клевал носом и всхрапывал.

– Сами можете убедиться, – сказал со вздохом Зусман и кивнул на Милю, – какой у меня собеседник. Это же только сойти с ума и умереть!

«Что вы хотели, молодой человек?» – спрашивали меня каждый раз на одесском базаре. Что я хотел? Я хотел одного: чтобы это капище нищеты и грязи было сожжено, развеяно по ветру. В конце концов так и случилось.

Да, кстати, Регинин поверил, что я продал его ватин за двести тысяч рублей. Обман обнаружился только через двадцать лет в Москве, и Регинин торжественно вернул мне эти двести тысяч рублей в виде двух 10-рублевых бумажек выпуска 1939 года. При этом он по своей манере бесшумно трясся от смеха.

«Мопассанов я вам гарантирую»

В одном из номеров «Моряка» был напечатан рассказ под названием «Король». Под рассказом стояла подпись: «И. Бабель».

Рассказ был о том, как главарь одесских бандитов Бенцион (он же Бенья) Крик насильно выдал замуж свою увядшую сестру Двойру за хилого и плаксивого вора. Вор женился на Двойре только из невыносимого страха перед Бенею.



Рассказ И. Бабеля «Король» в газете «Моряк», 1921 г.

То был один из первых так называемых «молдаванских» рассказов Бабеля.

Молдаванкой в Одессе называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи одесских налетчиков и воров.

Чтобы лучше узнать жизнь Молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время у старого еврея Циреса, доживавшего свой век под крикливым гнетом жены, тети Хавы.

Вскоре после того как Бабель снял комнату у этого кроткого старика, похожего на лилипута, произошли стремительные события. Из-за них Бабель был вынужден бежать очертя голову из квартиры Циреса, пропахшей жареным луком и нафталином.

Но об этом я расскажу несколько позже, когда читатель свыкнется с характером тогдашней жизни на Молдаванке.

Рассказ «Король» был написан сжато и точно. Он бил в лицо свежестью, подобно углекислой воде.

С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как колдовство. После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым.

В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского, – напев размеренный и пышный.

Это было ново, необыкновенно. В этой прозе звучал голос человека, пропыленного в походах Конной армии и вместе с тем владевшего всеми богатствами прошлой культуры – от Боккаччо до Леконта де Лиля и от Веермера Дельфтского до Александра Блока.

В редакцию «Моряка» Бабеля привел Изя Лившиц. Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти без шеи из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым

блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Его можно было принять за коммивояжера или маклера. Но, конечно, только до той минуты, пока он не начинал говорить.

С первыми же словами все менялось. В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония.

Многие люди не могли смотреть в прожигающие глаза Бабеля. По натуре Бабель был разоблачителем. Он любил ставить людей в тупик и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным.

Бабель пришел в редакцию «Моряка» с книгой рассказов Киплинга в руках. Разговаривая с редактором Женей Ивановым, он положил книгу на стол, но все время нетерпеливо и даже как-то плотоядно посматривал на нее. Он вертелся на стуле, вставал, снова садился. Он явно нервничал. Ему хотелось читать, а не вести вынужденную вежливую беседу.

Бабель быстро перевел разговор на Киплинга, сказал, что надо писать такой же железной прозой, как Киплинг, и с полнейшей ясностью представлять себе все, что должно появиться из-под пера. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. Его следует писать тем же твердым и прямым почерком, каким пишутся приказы и чеки. Такой почерк был, между прочим, у Киплинга.

Разговор о Киплинге Бабель закончил неожиданными словами. Он произнес их, сняв очки, и от этого лицо его сразу сделалось беспомощным и добродушным.

– У нас в Одессе, – сказал он, насмешливо поблескивая глазами, – не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут свои Мопассаны. Потому что у нас много моря, солн-



Исаак Эммануилович Бабель (1894-1940)
Одесса, 1920 г.

ца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мопассанов я вам гарантирую.

Тут же он рассказал, как был в последней парижской квартире Мопассана. Рассказывал о нагретых солнцем розовых кружевных абажурах, похожих на панталоны дорогих куртизанок, о запахе бриллиантина и кофе, о комнатах, где мучился испуганный их обширностью больной писатель, годами приучавший себя к строгим границам замыслов и наикратчайшему их изложению.

Во время этого рассказа Бабель со вкусом упоминал о топографии Парижа. У Бабеля было хорошее французское произношение.

Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я понял, что это человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий все видеть, не брезгующий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму, а на деле верящий в наивную и добрую человеческую душу. Недаром Бабель любил повторять библейское изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца».

Я видел из своего окна, как Бабель вышел из редакции и, сутулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он медленно, потому что, как только вышел из редакции, тотчас раскрыл книгу Киплинга и начал читать ее на ходу. По временам он останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них.

И встречные обходили его, с недоумением оглядываясь, но никто не сказал ему ни слова.

Вскоре он исчез в тени *тех* платанов, *что были давным-давно привезены из Франции* и трепетали в текучем черноморском воздухе своей бархатистой листвой.

Потом я часто встречал Бабеля в городе. Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошкара, так называемые «одесские литературные мальчишки». Они ловили на лету его острые слова, тут же разносили их по Одессе и безропотно выполняли его многочисленные поручения.

За нерадивость Бабель взыскивал с этих восторженных юношей очень строго, а наскучив ими, безжалостно их изгонял. Чем

более жестоким бывал разгром какого-нибудь юноши, тем сильнее гордился этим разгромленный. «Литературные юноши» просто расцветали от бабелевских разгромов.

Но не только «литературные мальчишки» боготворили Бабеля. Старые литераторы – их в то время собралось в Одессе несколько человек, – равно как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно.

Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, что он только что вернулся из легендарной Конармии Буденного и, наконец, он был в то время для нас первым подлинно советским писателем.

Нельзя забывать, что в то время советская литература только зарождалась, и до Одессы еще не дошла ни одна новая книга, кроме «Двенадцати» Блока и переводной книги Анри Барбюса «Огонь».

И Блок, и Барбюс произвели на нас потрясающее впечатление: в этих вещах уже явственно сверкали зарницы новой поэзии и прозы, и мы заучивали наизусть и стихи Блока, и суровую прозу Барбюса.

Вплотную я столкнулся с Бабелем в конце лета. Он жил тогда на 9-й станции Фонтана. Я был в отпуску и снял вместе с Изей Лившицем полуразрушенную дачу недалеко от Бабеля.

Одна стена нашей дачи висела над отвесным обрывом. От нее часто откалывались куски яркой розовой штукатурки и весело неслись вприпрыжку к морю. Поэтому мы предпочитали спать в террасе, выходящей в степь. Там было безопаснее.

Сад около дачи зарос по пояс сероватой полынью. Сквозь нее пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие, величистой с ноготь, маки.

С Бабелем мы виделись часто. Иногда мы вместе просиживали на берегу почти весь день, таская с Изей на самолеты зеленух и бычков и слушая неторопливые рассказы Бабеля.

Рассказчик он был гениальный. Устные его рассказы были сильнее и совершеннее, чем написанные.

Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на Фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала наша молодость, а печальным оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроницаемых южных ночей. Они опускали свой полог совсем рядом с нами, за первой же каменной ступенью нашей террасы.

Стоя на террасе, можно было протянуть в эту ночь руку, но тотчас отдернуть ее, почувствовав на кончиках пальцев близкий холод мирового пространства.

Веселье было собрано в пестрый клубок наших разговоров, шуток и мистификаций. Тогда уже в Одессе мистификации называли «розыгрышами». Потом это слово быстро распространилось по всей стране.

А печаль воплощалась для меня почему-то в ясном огне, неизменно блиставшем по ночам на морском горизонте. То была какая-то низкая звезда. Имени ее никто не знал, несмотря на то, что она все ночи напролет дружелюбно и настойчиво следила за нами.



Средний Фонтан. 1910-е гг.

Непонятно почему, но печаль была заключена и в запахе остывающего по ночам кремнистого шоссе, и в голубых зрачках маленькой дикой вербены, поселившейся у нашего порога, и в том, что тогда мы очень ясно чувствовали слишком быстрое движение времени.

Горести пока еще властвовали над миром. Но для нас, молодых, они уже соседствовали со счастьем, потому что время было полно надежд на разумный удел, на избавление от назойливых бед, на непременно цветение после бесконечной зимы.

Я в то лето, пожалуй, хорошо понял, что значит казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта».

Присутствие Бабеля делало это лето захватывающе интересным. Мы все жили в легком отблеске его таланта.

До этого почти все люди, встречавшиеся мне, не оставляли в памяти особенно заметного следа. Я быстро забывал их лица, голоса, слова, их походку. А сейчас было не так. Я жадно зарисовывал людей в своей памяти, и этому меня научил Бабель.

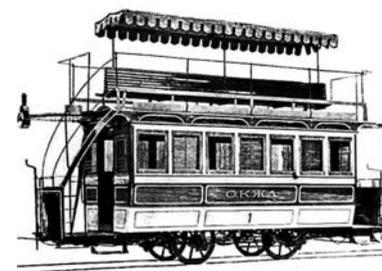
Бабель часто возвращался к вечеру из Одессы на конке. Она сменила начисто забытый трамвай. Конка ходила только до 8-й станции и издавала уже дребезжала всеми своими развинченными болтами.

С 8-й станции Бабель приходил пешком, пыльный, усталый, но с хитрым блеском в глазах, и говорил:

– Ну и разговорчик же заварили в вагоне у старух! За «куриные яички». Слушайте! Вы будете просто рыдать от удовольствия.

Он начинал передавать этот разговор. И мы не только рыдали от хохота. Мы просто падали, сраженные этим рассказом. Тогда Бабель дергал то одного, то другого из нас за рукав и крикливо спрашивал голосом знакомой торговки с 10-й станции Фонтана:

– Вы окончательно сказались, молодой человек? Или что?



Вагон одесской конки. 1910-е гг.

Стоило, слушая Бабеля, закрыть глаза, чтобы сразу же очутиться в душном вагоне одесской конки и увидеть всех попутчиков с такой наглядностью, будто вы прожили с ними много лет и съели вместе добрый пудовик соли. Может быть, их вовсе и не существовало в природе, этих людей, и Бабель их начисто выдумал. Но что за дело нам было до этого, если они жили во всей своей конкретности, хрипящие, кашляющие, вздыхающие и выразительно подмигивающие друг другу на «месье» Бабеля, о котором уже говорили по Одессе, что он такой же умный, как Горький. Гораздо раньше, чем из его напечатанных рассказов, мы узнали из устных его рассказов о старике Гедали, вздыхавшем «об интернационале добрых людей», о происшествии с солью на «закоренелой» станции Фастов, о бешеных кавалерийских атаках, об ослепительной усмешке Буденного и услышали удивительные казачьи песни.



Станция Фастов, 1910-е гг.

Особенно одна песня поразила Бабеля, и потом в Одессе мы ее часто напевали, каждый раз все больше удивляясь ее поэтич-

ности. Сейчас я забыл слова этой песни. В памяти остались только первые две строки:

Звезда полей над отчим домом
И матери моей печальная рука...

Особенно томительной и щемящей была эта «звезда полей». Часто по ночам я даже видел ее во сне – единственную тихую звезду в громадной высоте над сумраком родных и нищих полей.

Вообще Бабель рассказывал охотно и много об Алексее Максимовиче Горьком, о революции и о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Аничковом дворце в Петербурге, спал на диване в кабинете Александра III и однажды осторожно заглянул в ящик царского письменного стола, нашел коробку великолепных папирос – подарок царю Александру от турецкого султана Абдул Гамида.

Толстые эти папиросы были сделаны из розовой бумаги с золотой арабской вязью. Бабель очень таинственно подарил мне и Изе по одной папиросе. Мы выкурили их вечером. Тончайшее благоухание распростерлось над 9-й станцией Фонтана. Но тотчас у нас смертельно разболелась голова, и мы целый час передвигались как пьяные, хватаясь за каменные ограды.

Тогда же я узнал от Бабеля необыкновенную историю о безответном старом еврее Циресе.

Бабель поселился у Циреса и его мрачной медлительной жены, тети Хавы, в центре Молдаванки. Он решил написать несколько рассказов из жизни этой одесской окраины с ее пряным бытом. Бабеля привлекали своеобразные и безусловно талантливые натуры таких бандитов, как ставшие уже легендарными Мишка Япончик (Беня Крик). Бабель хотел получше изучить Молдаванку, и, конечно, удобным местом для этого была скучная квартира Циреса.

Она стояла как надежная скала среди бушующих и громогласных притонов и обманчиво благополучных квартир с вязаными салфеточками и серебряными семисвечниками на комодах, где под родительским кровом скрывались налетчики.



Дом на Екатерининской, 25, в котором жил И. Бабель в 1921 г.

Квартира Циреса была забронирована со всех сторон соседством дерзких и хорошо вооруженных молодых людей.

Бабель посвятил Циреса в цель своего изучения Молдаванки. Это не произвело на старика приятного впечатления. Наоборот, Цирес встревожился.

– Ой, месье Бабель! – сказал он, качая головой. – Вы же сын такого известного папаша! Ваша мама была же красавица! Поговаривают, что к ней сватался племянник самого Бродского. Так чтобы вы знали, что Молдаванка вам совсем не к лицу, какой бы вы ни были писатель. Забудьте думать за Молдаванку. Я вам скажу, что вы не найдете здесь ни на копейку успеха, но зато сможете заработать полный карман неприятностей.

– Каких? – спросил Бабель.

– Я знаю каких! – уклончиво ответил Цирес. – Разве догадешься, какой кошмар может вбить себе в голову один только *Мишка Япончик*. Я не говорю за таких нахалов, как Люська Кур и все остальные. Лучше вам, месье Бабель, не рисковать, а вернуться тихонько в папашин дом на Екатерининской улице. Скажу вам по совести, я сам уже сожалею, что сдал

вам комнату. Но как я мог отказать такому приятному молодому человеку!

Бабель иногда ночевал в своей комнате у Циреса и несколько раз слышал, как тетя Хава шепотом ругала старика за то, что он сдал комнату Бабелю и пустил в дом незнакомого человека.

– Что ты с этого будешь иметь, скупец! – говорила она Циресу. – Какие-нибудь сто тысяч в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Лазарь Бройде со Степовой улицы обдурит тебя и будет смеяться над тобой. Они все перекинутся к Бройде, клянусь покойной Идочкой.

– Легаши только ждут твоего Бройде, чтобы его захватить, – неуверенно отбивался Цирес.

– Как бы тебя не захватили раньше. Ты будешь пустой через того жильца. Никто не даст тебе и одного процента. С чего мы тогда будем доживать свою старость?

Цирес сокрушался, ворочался, долго не мог заснуть.

Бабелю не нравились эти непонятные ночные разговоры старухи.

Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Он тоже долго не засыпал, стараясь догадаться, о чем шепчет тетя Хава.

Ночи на Молдаванке тянулись долго. Мутный свет дальнего фонаря падал на облезлые обои. Они пахли уксусной эссенцией. Изредка с улицы слышались быстрые деловые шаги, тонкий свист, а иной раз даже близкий выстрел и женский истерический хохот. Он долетал из-за кирпичных стен. Казалось, что этот рыдающий хохот был глубоко замурован в стенах.

Особенно неприятно было в дождливые ночи. В железном желобе жидко дребезжала вода. Кровать скрипела от малейшего движения, и какой-то зверь всю ночь спокойно жевал за обоями гнилое трухлявое дерево.

Хотелось встать и уйти к себе на Екатерининскую улицу. Там за толстыми стенами на четвертом этаже было тихо, темно, безопасно, а на столе лежала десятки раз исправленная и переписанная рукопись последнего рассказа.

Подходя к столу, Бабель осторожно поглаживал эту рукопись, как плохо укрощенного зверя. Часто он вставал ночью и при коптилке, заставленной толстым, поставленным на

ребро фолиантом энциклопедии, перечитывал три-четыре страницы. Каждый раз он находил несколько лишних слов и со злорадством выбрасывал их. «Ясность и сила языка, – говорил он, – совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить».

Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью (а увидеть его в этом состоянии было трудно; он всегда писал, прячась от людей), были поражены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя.

Бабель много бы дал в эти скудные молдаванские ночи за то, чтобы сейчас же вернуться к своим рукописям. Но в литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все: и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя.

В одну из таких ночей Бабеля вдруг осенило: очевидно, Цирес был обыкновенным наводчиком! Цирес жил этим. Он получал за это свой процент – «карбач», и Бабель был для старика действительно неудобным жильцом.

Он мог отпугнуть от старого наводчика его отчаянных, но вместе с тем и осторожных клиентов. Кому была охота глупо нарезаться на провал из-за скаредности Циреса, польстившегося на лишние сто тысяч рублей и пустившего в самое сердце Молдаванки какого-то фраера.

Да к тому же этот фраер оказался писателем и потому был вдвое опаснее, чем если бы он был простым сутенером или шулером из пивной.

Наконец-то Бабель понял намеки Циреса насчет кармана, полного неприятностей, и решил через несколько дней съехать от Циреса. Но несколько дней ему еще были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог рассказать интересного. А Бабель знал за собой это сильное свойство – выпытывать людей до конца, потрошить их жестоко и настойчиво, или, как говорили в Одессе, «с божьей помощью вынимать из них начисто душу».

Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого Циреса душу. Бабеля опередил *Мишка Япончик*, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова.

Как-то днем, после того как Бабель ушел в город, Цирес был убит у себя на квартире ударом финки.

Когда Бабель вернулся на Молдаванку, он застал в квартире милицию, а у себя в комнате – начальника угрозыска. Он сидел за столом и писал протокол. Это был вежливый молодой человек в синих галифе из диагонали. Он мечтал тоже стать писателем и потому почтительно обошелся с Бабелем.

– Прошу вас, – сказал он Бабелю, – взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я не могу гарантировать вам личную безопасность даже на ближайшие сутки. Сами понимаете: Молдаванка!

И Бабель бежал, содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы. Она призывала проклятия на голову *Мишки Япончика* и всех, кто, по ее соображениям, был замешан в убийстве Циреса.

Эти проклятия были ужасны. Вежливый начальник угрозыска даже посоветовал Бабелю.

– Не слушайте эти психические крики. Утром она была еще в уме и дала показания. А теперь она бесноватая. Сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома на Слободке-Романовке.

А за перегородкой тетя Хава равномерно вырывала седые космы волос из головы, отшвыривала их от себя и кричала, раскачиваясь и рыдая:

– Чтоб ты опился, *Бенцион* (она называла *Мишку Япончика* его настоящим именем), водкой с крысиной отравой и сдох бы на блевотине! И чтобы ты пинал ногами собственную мать, старую гадюку Мириам, что породила такое исчадие и такого сатану! Чтобы все мальчишки с Молдаванки наточили свои перочинные ножички и резали тебя на части двенадцать дней и двенадцать ночей! Чтоб ты, Сенька Вислоухий, горел огнем и лопнул от своего кипящего сала!

Вскоре Бабель узнал все о смерти Циреса.

Оказалось, что Цирес сам был виноват в своей гибели. Поэтому ни единая живая душа на Молдаванке не пожалела его, кроме тети Хавы. Ни единая живая душа! Потому что Цирес оказался бесчестным стариком, и его уже ничто не могло спасти от смерти.

А дело было так. Накануне дня своей гибели Цирес пошел к *Мишке Япончику* – *Бене Крику*.

Беня брился в передней перед роскошным трюмо в черной ви- тиеватой раме. Скосив глаза на Циреса, он сказал:

– Спутались с фраером, месье Цирес? Поздравляю! Знаете новый советский закон: если ты пришел к бреющемуся человеку, то скорее кончай свое дело и выматывайся. Даю вам для объяснения десять слов. Как на центральном телеграфе. За каждое излишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на двести тысяч рублей.

– Или вы с детства родились таким неудачным шутником, *месье Крик*? – спросил, сладко улыбаясь, Цирес. – Или сделались им постепенно, по мере течения лет? Как вы думаете?

Цирес был трусоват в жизни и даже в делах, но в разговоре он мог позволить нахальство. Недаром он считался старейшим наводчиком в Одессе.

– А ну, рассказывайте, старый паяц, – сказал *Беня* и начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке. – Рассказывай- те, пока у меня не выкипело терпение.

– Завтра, – очень тихо произнес Цирес, – в час дня в артель «Конкордия» привезут четыре миллиарда.

– Хорошо! – так же тихо ответил *Беня*. – Вы получите свой кар- бач. Без вычета.

Цирес поплелся домой. Поведение Бени ему не понравилось. Раньше *Беня* в серьезных делах не позволял себе шуток.

Цирес поделился своими мыслями с тетей Хавой, и она, конечно, закричала:

– Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак! Что ты отворачиваешься и смотришь на портрет Идочки? Я тебя спрашиваю, а не ее! Понятно, что *Беня* не пойдет на такое дело. Будет он тебе мараться из-за четырех паскудных миллиардов. Ты на этом заработаешь дулю с маком – и все!

– А что же делать? – застонал Цирес. – Они сведут меня с ума, эти налетчики!

– Пойди до *Сеньки Вислоухого*. Может, он польститесь на твои липовые миллиарды. Так по крайности не останешься в идиотах.

Старый Цирес надел люстриновый картузик и поплелся к *Сеньке Вис- лоухому*. Тот спал в садочке около дома, в холодке от куста белой акации.

Сеня выслушал Циреса и сонно ответил:

– Иди! Можешь рассчитывать на карбач.

Цирес ушел довольный. Он чувствовал себя как человек, за- страховавший жизнь на чистое золото.

«Старуха права. Разве можно положиться на *Беню*! Он каприз- ный, как мотылек, как женщина в интересном положении. Что ему стоит согласиться, а потом, поигрывая бритвой, отказаться от дела, если оно представляется ему чересчур хлопотливым?»

Но старый, тертый наводчик Цирес ошибся в первый и в по- следний раз в жизни.

Назавтра в час дня у кассы артели «Конкордия» сошлись *Беня Крик* и *Сенька Вислоухий*. Они открыто посмотрели друг другу в глаза, и *Беня* спросил:

– Не будешь ли ты так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?

– Старый Цирес. А тебя, *Беня*?

– И меня старый Цирес.

– Итак? – спросил *Сеня*.

– Итак, старый Цирес больше не будет жить! – ответил *Беня*, и налетчики мирно разошлись. По правилам, если два налетчика сходятся на одном деле, то дело отменяется.

Через сорок минут старый Цирес был убит у себя на кварти- ре, когда тетя Хава вышла во двор вешать белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме *Бени Крика* или его людей, не смог бы этого сделать. *Беня никогда не прощал обмана: он считал- ся хранителем молдаванской морали.*

«Тот» мальчик

На даче у *Бабеля* жило много народу: сам *Бабель*, его тихая и строгая мать, рыжеволосая красавица жена *Евгения Борисов- на*, сестра *Бабеля Мери* и, наконец, теща со своим маленьким вну- ком. Все это общество *Бабель* шутливо и непочтительно называл «кодлом».

И вот в один из июльских дней в семье *Бабеля* произошло уди- вительное событие.



Фаня Ароновна Бабель (1864-1942),
мать И. Бабеля



Евгения Борисовна Гронфайн (1897-1957),
жена И. Бабеля. 1920-е гг.

Для того чтобы понять всю, как говорят, «соль» этого происшествия, нужно сказать несколько слов о женитьбе Бабеля.

Отец Бабеля, суетливый старик, держал в Одессе небольшой склад сельскохозяйственных машин. Старик иногда посылал сына Исаака в Киев для закупки этих машин на заводе у киевского промышленника Гронфайна.

В доме Гронфайна Бабель познакомился с дочерью Гронфайна, гимназисткой последнего класса Женей, и вскоре началась их взаимная любовь.

О женитьбе не могло быть и речи. Бабель, студент, голодранец, сын среднего одесского купца, явно не годился в мужа богатой наследнице Гронфайна.

При первом же упоминании о замужестве Жени старик Гронфайн расстегнул сюртук, засунул руки за вырезы жилета и, покачиваясь на каблуках, испустил пренебрежительный и всем понятный звук: «П-с-с-!». Он даже не дал себе труда выразить свое презрение словами: слишком много чести для этого невзрачного студента!

Влюбленным оставался только один выход – бежать в Одессу.

Так они и сделали.

А дальше все разыгралось по ветхозаветному шаблону: старик Гронфайн проклял весь род Бабеля до десятого колена и лишил дочь наследства. Случилось, как в знаменитых стихах Саши Черного «Любовь – не картошка». Там при одинаковых обстоятельствах папаша Фарфурник с досады раскокал семейный сервиз, рыдающая мадам Фарфурник иссморкала десятый платок, а студент-соблазнитель был изгнан из дома и витиевато назван «провокатором невиннейшей девушки, чистой, как мак».

Но время шло. Свершилась революция. Большевики отобрали у Гронфайна завод. Старый промышленник дошел до того, что позволял себе выходить на улицу небритым и без воротничка, с одной только золотой запонкой на рубашке.

Но вот однажды до дома Гронфайна дошел ошеломляющий слух, что «этот мальчишка» Бабель стал большим писателем, что его высоко ценит (и дружит с ним) сам Максим Горький – «Вы только подумайте, сам Максим Горький!» – что Бабель получает большие гонорары и что все, кто читал его сочинения, почтительно произносят: «Большой талант!». А иные добавляют, что завидуют Женечке, которая сделала такую хорошую партию.



Эммануил Исаакович Бабель (1865-1924)
с сыном и дочерью Мэри (1897-1987). Одесса, 1910-е гг.



Дом Бориса Вениаминовича Гронфайна
в Киеве, ул. Саксаганского
(бывш. Мариинско-Благовещенская), 33-35

Очевидно, старики просчитались и настало время мириться. Как ни страдала их гордость, они первые протянули Бабелю, выражаясь фигурально, руки примирения. Это обстоятельство выразилось в том, что в один прекрасный день у нас на 9-й станции неожиданно появилась приехавшая для примирения из Киева преувеличенно любезная теща Бабеля – старуха Гронфайн.

Она была, должно быть, не очень уверена в успехе своей щекотливой задачи и потому захватила с собой из Киева для разрядки внука – восьмилетнего мальчика Люсю. Лучше было этого не делать.

В семье Бабеля тещу встретили приветливо. Но, конечно, в глубине души у Бабеля осталась неприязнь к ней и к заносчивому старику Гронфайну. А теща, пытаясь загладить прошлую вину, даже заискивала перед Бабелем и на каждом шагу старалась подчеркнуть свое родственное расположение к нему.

Мы с Изей Лившицем часто завтракали по утрам у Бабеля, и несколько раз при этом повторялась одна и та же сцена.

На стол подавали вареные яйца. Старуха Гронфайн зорко следила за Бабелем и, если он не ел яиц, огорченно спрашивала:

– Бабель (она называла его не по имени, а по фамилии), почему вы не кушаете яички? Они вам не нравятся?

– Благодарю вас, я не хочу.

– Значит, вы не любите свою тещу? – игриво говорила старуха и закатывала глаза. – А я их варила исключительно для вас.

Бабель, давясь, быстро доедал завтрак и выскакивал из-за стола.

Мальчика Люсю Изя Лившиц прозвал «тот» мальчик. Что скрывалось под этим южным термином, объяснить было почти невозможно. Но каждый из нас в первый же день появления Люси испытал на собственной шкуре, что это действительно был «тот» мальчик.

У Люси с утра до вечера нестерпимо горели от любопытства тонкие уши, будто кто-то долго и с наслаждением их драл. Люся хотел знать все, что его не касалось. Он шпионил за Бабелем и нами с дьявольской зоркостью. Скрыться от него было немис-

лимо. Где бы мы ни были, через минуту мы замечали в листве тамарисков или за береговой скалой насквозь просвеченные солнцем Люсины уши.

Очевидно, от снедавшего его любопытства Люся был невероятно худ и костляв. У него с неестественной быстротой шныряли во все стороны черные, похожие на маслины глаза. При этом Люся задавал до тридцати вопросов в минуту, но никогда не дожидался ответа.

То был чудовищно утомительный мальчик с каким-то скачущим характером. Он успокаивался только во сне. Днем он все время дергался, прыгал, вертелся, гримасничал, ронял и разбивал вещи, носился с хищными воплями по саду, падал, катался на дверях, театрально хохотал, дразнил собаку, мяукал, вырывал себе от злости волосы, обидевшись на кого-нибудь, противно выл всухую, без слез, носил в кармане полудохлых ящериц с оторванными хвостами и крабов и выпускал их во время завтрака на стол, попрошайничал, грубил, таскал у меня лески и крючки и в довершение всех этих качеств говорил сиплым голосом.

– А это что? – спрашивал он. – А это для чего? А из этого одеяла можно сделать динамит? А что будет, если выпить стакан чаю с морским песком? А кто вам придумал такую фамилию Паустовский, что моя бабушка может ее правильно выговаривать только после обеда? Вы могли бы схватить конку сзади за крюк, остановить на полном ходу и потащить ее обратно? А что, если из крабов сварить варенье?

Легко представить себе, как мы любили этого мальчика. «Исчадие ада!» – говорил о нем Бабель, и в глазах его вспыхивал синий огонь.

Самое присутствие Люси приводило Бабеля в такое нервическое состояние, что он не мог писать. Он отдыхал от Люси у нас на даче и стонал от изнеможения. Он говорил Люсе «деточка» таким голосом, что у этого лопухого мальчика, если бы он хоть что-нибудь соображал, волосы должны были бы зашевелиться на голове от страха.

Жаркие дни сменяли друг друга, но не было заметно даже отдаленных признаков отъезда тещи.

– Все погибло! – стонал Бабель и хватался за голову. – Все пропало! Череп гудит, как медный котел. Как будто это исчадие ада с утра до вечера лупит по мне палкой!

Все мы ломали голову над тем, как избавить Бабеля от Люси и его медоточивой бабушки. Но, как это часто бывает, Бабеля спас счастливый случай.

Как-то ранним утром я зашел к Бабелю, чтобы, как мы условились с вечера, вместе идти купаться.

Бабель писал за небольшим столом. У него был затравленный вид. Когда я вошел, он вздрогнул и, не оглядываясь, судорожно начал запихивать рукопись в ящик стола и чуть не порвал ее.

– Фу-у! – вздохнул он с облегчением, увидев меня. – А я думал, что это Люська. Я могу работать, только пока это чудовище не проснется.

Бабель писал химическим карандашом. Я никогда не мог понять, как можно писать этим бледным и твердым, как железный гвоздь, карандашом. По-моему, все написанное химическим карандашом получалось хуже, чем написанное чернилами.

Я сказал об этом Бабелю. Мы заспорили и прозевали те несколько секунд, безусловно спасительных для нас, когда Люся еще не подкрался по коридору. Если бы мы не спорили, то могли бы вовремя скрыться.

Мы поняли, что пропали, когда Люся победоносно ворвался в комнату. Он тут же кинулся к письменному столу Бабеля, чтобы открыть ящик (там, как он предполагал, были спрятаны самые интересные вещи), но Бабель ловко извернулся, успел закрыть ящик на ключ, выхватить ключ из замка и спрятать его в карман.

После этого Люся начал хватать по очереди все вещи со стола и спрашивать, что это такое. Наконец он начал вырывать у Бабеля химический карандаш. После недолгой борьбы это ему удалось.

– А-а! – закричал Люся. – Я знаю, что это такое! «Карандаш-барабаш, все, что хочешь, то и мажь!»

Бабель задрожал от отвращения, а я сказал Люсе:

– Это химический карандаш. Отдай его сейчас же Исааку Эммануиловичу! Слышишь!

– Химический, технический, драматический, кавыческий! – запел Люся и запрыгал на одной ноге, не обратив на меня никакого внимания.

– О боже! – простонал Бабель. – Пойдемте скорее на берег. Я больше не могу.

– И я с вами, – крикнул Люся. – Бабушка мне позволила. Даю слово зверобоя. Хотите, дядя Изя, я приведу ее сюда и она сама вам скажет?

– Нет! – прорыдал Бабель измученным голосом. – Тысячу раз нет! Идемте!

Мы пошли на пляж. Люся нырял у берега, фыркал и пускал пузыри. Бабель пристально следил за ним, потом схватил меня за руку и сказал свистящим шепотом, как заговорщик:

– Вы знаете, что я заметил еще там, у себя в комнате?

– Что вы заметили?

– Он отломил кончик от химического карандаша и засунул себе в ухо.

– Ну и что же? – спросил я. – Ничего особенного не будет.

– Не будет так не будет! – уныло согласился Бабель. – Черт с ним. Пусть ныряет.

Мы заговорили о Герцене, – Бабель в то лето перечитывал Герцена. Он начал уверять меня, что Герцен писал лучше, чем Лев Толстой.

Когда мы, выкупавшись, шли домой и продолжали вяло спорить о Герцене, Люся забежал вперед, повернулся к нам, начал приплясывать, кривляться и петь:

Герцен-Мерцен сжарен с перцем!

Сжарен с перцем Герцен-Мерцен!

– Я вас умоляю, – сказал мне Бабель измученным голосом, – дайте этому байструку по шее. Иначе я за себя не отвечаю.

Но Люся, очевидно, услышал эти слова Бабеля. Он отбежал от нас на безопасное расстояние и снова закричал, паясничая:

Герцен перцем рот набил!

Герцен перцем любил!

– У-у-у, зараза! – стиснув зубы, прошептал Бабель. Никогда до этого я не слышал такой ненависти в его голосе. – Еще один день, и я или сойду с ума, или повешусь.

Но вешаться не пришлось. Когда все сидели за завтраком и старуха Гронфайн готовилась к своему очередному номеру с «яичком» («Бабель, так вы, значит, не любите свою тещу»), Люся сполз со стула, схватился за ухо, начал кататься по полу, испускать душераздирающие вопли и бить ногами обо что попало.

Все вскочили. Из уха у Люси текла мерзкая и темная жижа.

Люся кричал без перерыва на одной ужасающей ноте, а около него метались, вскрикивая, женщины.

Паника охватила весь дом. Бабель сидел, как бы оцепенев, и испуганно смотрел на Люсю. А Люся вертелся винтом по полу и кричал:

– Больно, ой, больно, ой, больно!!

Я хотел вмешаться и сказать, что Люся врет, что никакой боли нет и быть не может потому, что Люся нырлял, набрал себе в уши воды, а перед этим засунул себе в ухо...

Бабель схватил мою руку под столом и стиснул ее.

– Ни слова! – прошипел он. – Молчите про химический карандаш. Вы погубите всех.

Теща рыдала. Мери вытирала ватой фиолетовую жидкость, сочившуюся из уха. Мать Бабеля требовала, чтобы Люсю тотчас везли в Одессу к профессору по уху, горлу и носу.

Тогда Бабель вскочил, швырнул на стол салфетку, опрокинул чашку с недопитым чаем и закричал, весь красный от возмущения на невежественных и бестолковых женщин:

– Мамаша, вы сошли с ума! Вы же зарежете без ножа этого мальчика. Разве в Одессе врачи? Шарлатаны! Все до одного! Вы же сами прекрасно знаете. Коновалы! Невежды! Они начинают лечить бронхит и делают из него крупозное воспаление легких. Они вынимают из уха какого-нибудь комара и устраивают прободение барабанной перепонки.

– Что же мне делать, о господи! – закричала мадам Гронфайн, упала на колени, подняла руки к небу и зарыдала. – О господи, открой мне глаза, что же мне делать!

Люся бил ногами по полу и выл на разные голоса. Он заметно охрип.

– И вы не знаете, что делать? – гневно спросил Бабель. – Вы? Природная киевлянка? У вас же в Киеве живет мировое светило по уху, горлу и носу. Профессор Гринблат. Только ему можно довериться. Мой совет: везите ребенка в Киев. Немедленно!

Бабель посмотрел на часы.

– Поезд через три часа. Мери, перевяжи Люсе ухо. Потуже. Одевайте его. Я вас провожу на вокзал и посажу в поезд. Не волнуйтесь.

Теща с Люсей и Бабелем уехала стремительно. Тотчас же после их отъезда Евгения Борисовна начала без всякой причины хохотать и дохохоталась до слез. Тогда меня осенило, и я понял, что история с киевским светилом была чистой импровизацией. Бабель разыграл ее, как первоклассный актер.

С тех пор тишина и мир снизошли на 9-ю станцию Фонтана. Все мы снова почувствовали себя разумными существами. И снова вернулось потерянное ощущение крепко настоящего на жаре и запахе водорослей одесского лета.

А через неделю пришло из Киева письмо от тещи.

«Как вы думаете? – писала она возмущенно. – Что установил профессор Гринблат? Профессор Гринблат установил, что этот негодяй засунул себе в ухо кусок химического карандаша. И ничего больше. Ничего больше, ни единой соринки. Как это вам нравится?»

Каторжная работа

После происшествия с Люсей все ходили умиротворенные, в том настроении внутренней тишины, какое приносит выздоровление от тяжелой болезни. Изя называл это наше состояние «омовением души после трагедии».

Бабель начал много работать. Он теперь выходил из своей комнаты всегда молчаливый и немного грустный.

Я тоже писал, но мало. Мной овладело довольно странное и приятное состояние. Про себя я называл его «жаждой рассмат-

ривания». Такое состояние бывало у меня и раньше, но никогда так сильно оно не завладевало почти всем моим временем, как там, на Фонтане.

У Изи отпуск окончился. Он начал работать в «Моряке» и приезжал на дачу только к вечеру. Иногда он ночевал в Одессе. Я был, пожалуй, даже рад этому. Я бы, конечно, стеснялся заниматься при Изе постоянным и медленным разглядыванием того, что окружало меня, и тратить на какой-нибудь пустяк – колючую ветку или створку раковины – целые часы.

Никогда я еще не испытывал такого удовольствия от соприкосновения с мельчайшими частицами внешнего мира, как в то лето.

Чуть желтеющие от засухи июльские дни сливались в один протяжный успокоительный день. Я часто лежал у себя в саду в скользящей тени акации и рассматривал на земле все то, что падалось на глаза на расстоянии вытянутой руки.

Но чаще я уходил на берег, подальше от жилья, переплывал на большую скалу метрах в сорока от пляжа и лежал на ней до сумерек. В скале была ниша. В ней можно было наполовину спрятаться от солнца, и до нее не доходила волна. С берега меня никто не мог заметить.

Я брал с собой книгу, но за весь день прочитывал только три-четыре страницы. Мне было некогда читать. Интереснее было ловить бычков или смотреть на старого краба.

Он часто выглядывал из-за выступа скалы и играл со мной в прятки. Как только мы встречались глазами, он тотчас же начинал сердито пятиться в шершавые красноватые водоросли, похожие на еловые ветки. Когда же я делал вид, что не замечаю его, он угрожающе подымал растопыренную клешню и осторожно подбирался ко мне, не спуская глаз с морковки, лежавшей рядом со мной. (Тогда мы питались преимущественно морковью и помидорами.)

Однажды, когда я зачитался, он успел схватить морковку, упал с ней в воду и исчез, как камень, на дне. Через минуту морковка вынырнула. Краб всплыл вслед за ней и снова пытался ее схватить, но я щелкнул его бамбуковым удилищем по панцирю, и он боком помчался в глубину. Мне даже показалось, что он вскрик-

нул от испуга. Во всяком случае, он с ужасом оглядывался на меня и вращал глазами.

Краб исчез, но волна принесла к скале сломанную ветку цветущего дрока. Я опустил руку в воду, чтобы взять эту ветку, и удивился: ладонь моя была под водой, но солнце заметно согревало ее, хотя между ладонью и поверхностью моря был слой воды в несколько сантиметров.

Мне трудно передать удивительное ощущение солнечного жара, смягченного морской водой, прикосновения солнечной радиации к моим пальцам, между которыми переливалась зеленоватая упругая вода.

Это было ощущение, очевидно близкое к счастью. Я не ждал ничего лучшего. Вряд ли окружающий мир мог мне дать что-либо еще более прекрасное, чем это легкое и дружеское его рукопожатие.

Я вытащил ветку дрока, лег плашмя на нагретый камень и положил ветку у самых своих глаз.

На Фонтанах дрок цвел по обрывистым берегам. Но особенно богато он разрастался около дачных оград, сложенных из ноздреватого песчаника. Дрок дружил с этим камнем. Он, очевидно, любил жару. Горячие струйки воздуха вылетали из крошечных пор песчаника и создавали около оград уголки теплого, защищенного пространства.

Там дрок укреплялся и выбрасывал в вышину, как большой дикобраз, свои темно-оливковые стрелы-стволы.

Цветы дрока, рождаясь, тотчас же вбирали в себя, как кусочки нежнейшей мелкопористой губки, золотой цвет солнца.

Они хранили этот цвет, не ослабляя его яркости до поздней осени. Тогда его цветы наконец догорали над обрывами, подобно десяткам крошечных приморских маяков с золотым, далеко видимым огнем.

Так постепенно я накапливал наблюдения. Все это были факты внешнего мира, но они быстро становились частицами моей собственной внутренней жизни.

Действительно, они ни на секунду не существовали вне моего сознания. Они тут же обрастали образами, густо покрывались каплями выдумки, как растение покрывается мельчайшей росой.

За этой росой уже не видно самого растения, но все же ясно угадывается его форма.

Как-то мы разговорились об этом с Бабелем.

Мы сидели вечером на каменной огаде над обрывом. Цвел дрок. Бабель рассеянно бросал вниз камешки. Они неслись огромными скачками к морю и щелкали, как пули, по встречным камням.

– Вот вы и другие писатели, – сказал Бабель, хотя тогда я еще не был писателем, – умеете обволакивать жизнь, как вы выразились, росой воображения. Кстати, какая приторная фраза! Но что делать человеку, лишенному воображения? Например, мне.

Он замолчал. Снизу пришел сонный и медленный вздох моря.

– Бог знает что вы говорите! – возмущаясь, сказал я. Бабель как будто не расслышал моих слов. Он бросал камешки и долго молчал.

– У меня нет воображения, – упрямо повторил он. – Я говорю это совершенно серьезно. Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз – «подлинность»! Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое там, к черту, моцартианство, веселье над рукописью и легкий бег воображения! Я где-то написал, что быстро старею от астмы, от непонятного недуга, заложенно в мое хилое тело еще в детстве. Все это – вранье! Когда я пишу самый маленький рассказ, то все равно работаю над ним, как землекоп, как грабарь, которому в одиночку нужно скрыть до основания Казбек. Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам. Бывает даже, что я плачу от усталости. У меня от этой работы болят все кровеносные сосуды. Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы!

– Но у вас же литая проза, – сказал я. – Как вы добиваетесь этого?

– Только стилем, – ответил Бабель и засмеялся, как старик, явно кого-то имитируя, очевидно Москвина. – Хе-хе-хе-с, молодой человек-с! Стилем-с берем, стилем-с! Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может быть, будет звучать как проза Юлия Цезаря. Все дело в языке и стиле. Это я как будто умею делать.

Но вы понимаете, что это же не сущность искусства, а только добротный, может быть, даже драгоценный строительный материал для него. «Подкиньте мне парочку идей, – как говорил один одесский журналист, – а я уж постараюсь сделать из них шедевр». Пойдемте, я покажу вам, как это у меня делается. Я скаред, я скупец, но вам, так и быть, покажу.

На даче было уже совсем темно. За садом рокотало, стихая к ночи, море. Прохладный воздух лился снаружи, вытесняя полынную степную духоту. Бабель зажег маленькую лампочку. Глаза его покраснели за стеклами очков (он вечно мучался глазами).

Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше чем сто страниц.

– Знаете, что это?

Я недоумевал. Неужели Бабель написал наконец большую повесть и уберег эту тайну от всех?

Я не мог в это поверить. Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Мы знали, что рассказ больше чем в десять страниц он считал раздутым и водянистым.



Исаак Бабель, 1930-е гг.

Неужели в этой повести заключено около ста страниц густой бабелевской прозы? Не может этого быть!

Я посмотрел на первую страницу, увидел название «Любка Казак» и удивился еще больше.

– Позвольте, – сказал я. – Я слышал, что «Любка Казак» – это маленький рассказ. Еще не напечатанный. Неужели вы сделали из этого рассказа повесть?

Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня смеющимися глазами. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки.

– Да, – ответил он и покраснел от смущения. – Это «Любка Казак». Рассказ. В нем не больше пятнадцати страниц, но здесь все варианты этого рассказа, включая и последний. А в общем, в рукописи сто страниц.

– Все варианты?! – пробормотал я.

– Слушайте! – сказал Бабель уже сердясь. – Литература не липа! Вот именно! Несколько вариантов одного и того же рассказа. Какой ужас! Может быть, вы думаете, что это – излишество? А вот я еще не уверен, что последний вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Такой отбор, дорогой мой, и вызывает самостоятельную силу языка и стиля. Языка и стиля! – повторил он. – Я беру пустяк: анекдот, базарный рассказ – и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской голыш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человеческой удаче. Я осмеливаюсь говорить об удаче потому, что здесь, кроме нас, никого нет. Пока я жив, вы никому не разболтаете об этом нашем разговоре. Дайте мне слово. Не моя, конечно, заслуга, что неведомо как в меня, сына мелкого маклера, вселился демон или ангел искусства, называйте, как хотите. И я подчиняюсь ему, как раб, как вьючный мул. Я продал ему свою душу и должен писать наилучшим образом. В этом мое счастье или мой крест. Кажется, все-таки крест. Но отберите его у меня – и вместе с ним изо всех моих жил, из моего сердца схлынет вся кровь, и я буду стоять не больше, чем изжеванный окуроч. Эта работа делает меня человеком, а не одесским уличным философом.

Он помолчал и сказал с новым приступом горечи:

– У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им. Помните, у Блока: «Я вижу берег очарованный и очарованную даль». Блок дошел до этого берега, а мне до него не дойти. Я вижу этот берег невыносимо далеко. У меня слишком трезвый ум. Но спасибо хоть за то, что судьба вложила мне в сердце жажду этой очарованной дали. Я работаю из последних сил, делаю все,

что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда.

Слеза блестела за выпуклыми стеклами его очков. Он снял очки и вытер глаза рукавом заштопанного серенького пиджака.

– Я не выбирал себе национальности, – неожиданно сказал он прерывающимся голосом. – Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму – причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом.

Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится и у него перестанут дрожать руки.

– Еще в детстве во время еврейского погрома я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?.. Лишь бы не вошла Евгения Борисовна, – сказал он вполголоса, – закройте тихонечко дверь на крючок. Она боится таких разговоров и может плакать потом до утра. Ей кажется, что я очень одинокий человек. А может быть, это и действительно так?

Что я мог ответить ему? Я молчал.

– Так вот, – сказал Бабель, близоруко наклонившись над рукописью, – Я работаю, как мул. Но я не жалуясь. Я сам выбрал себе это каторжное дело. Я как галерник, прикованный на всю жизнь к веслу и полюбивший это весло. Со всеми его мелочами, даже с каждым тонким, как нитка, слоем древесины, отполированной его собственными ладонями. От многолетнего соприкосновения с человеческой кожей самое грубое дерево приобретает благородный цвет и делается похожим на слоновую кость. Вот так же и наши слова, так же и русский язык. К нему нужно приложить теплую ладонь, и он превращается в живую драгоценность.

Но давайте говорить по порядку. Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись у меня выглядит отвратительно, просто ужасно! Это – собрание нескольких более или менее удачных кусков, связанных между собой скучнейшими служебными связями, так называемыми «мостами», своего рода грязными веревками. Можете прочесть первый вариант «Любки Казак» и убедитесь в том, что это – беспомощное и беззубое вяканье, неумелое нагромождение слов.

Но тут-то и начинается работа. Здесь ее исток. Я проверяю фразу за фразой, и не однажды, а по нескольку раз. Прежде все-

го я выбрасываю из фразы все лишние слова. Нужен острый глаз, потому что язык ловко прячет свой мусор, повторения, синонимы, просто бессмыслицы и все время как будто старается нас перехитрить.

Когда эта работа окончена, я переписываю рукопись на машинке (так виднее текст). Потом я даю ей два-три дня полежать – если у меня хватит на это терпения – и снова проверяю фразу за фразой, слово за словом. И обязательно нахожу еще какое-то количество пропущенной лебеды и крапивы. Так, каждый раз наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи.

Но это еще не все. Погодите! Когда мусор выброшен, я проверяю свежесть и точность всех образов, сравнений, метафор. Если нет точного сравнения, то лучше не брать никакого. Пусть существительное живет само в своей простоте.

Сравнение должно быть точным, как логарифмическая линейка, и естественным, как запах укропа. Да, я забыл, что прежде чем выбрасывать словесный мусор, я разбиваю текст на легкие фразы. Побольше точек! Это правило я вписал бы в правительственный закон для писателей. Каждая фраза – одна мысль, один образ, не больше. Поэтому не бойтесь точек. Я пишу, может быть, слишком короткой фразой. Отчасти потому, что у меня застарелая астма. Я не могу говорить длинно. У меня на это не хватает дыхания. Чем больше длинных фраз, тем тяжелее одышка.

Я стараюсь изгнать из рукописи причастия и деепричастия и оставляю только самые необходимые. Причастия делают речь угловатой, громоздкой и разрушают мелодию языка. Они скрежещут, как будто танки переваливают на своих гусеницах через каменный завал. Три причастия в одной фразе – это убийство языка. Все эти «преподносящий», «добывающий», «сосредоточивающийся» и так далее и тому подобное. Деепричастие все же легче, чем причастие. Иногда оно сообщает языку даже некоторую крылатость. Но злоупотребление им делает язык бескостным, мяукающим. Я считаю, что существительное требует только одного прилагательного, самого отобранного. Два прилагательных к одному существительному может позволить себе только гений.

Все абзацы и вся пунктуация должны быть сделаны правильно, но с точки зрения наибольшего воздействия текста на читателя, а не по мертвому катехизису. Особенно великолепен абзац. Он позволяет спокойно менять ритмы и часто, как вспышка молнии, открывает знакомое нам зрелище в совершенно неожиданном виде. Есть хорошие писатели, но они расставляют абзацы и знаки препинания кое-как. Поэтому, несмотря на высокое качество их прозы, на ней лежит муть спешки и небрежности. Такая проза бывала у *Андрея Соболя*, да и у самого Куприна.

Линия в прозе должна быть проведена твердо и чисто, как на гравюре.

Вас запугали варианты «Любки Казак». Все эти варианты – прополка, вытягивание рассказа в одну нитку.

И вот получается так, что между первым и последним вариантами такая же разница, как между засаленной оберточной бумагой и «Первой весной» Боттичелли.

– Действительно каторжная работа, – сказал я. – Двадцать раз подумаешь, прежде чем решишься стать писателем.

– А главное, – сказал Бабель, – заключается в том, чтобы во время этой каторжной работы не умертвить текст. Иначе вся работа пойдет насмарку, превратится черт знает во что! Тут нужно ходить как по канату. Да, так вот... – добавил он и помолчал. – Следовало бы со всех нас взять клятву. В том, что никто никогда не замарает свое дело.

Я ушел, но до утра не мог заснуть. Я лежал на террасе и смотрел, как какая-то сиреневая планета, пробив нежнейшим светом неизмеримое пространство неба, пыталась, то разгораясь, то угасая, приблизиться к земле. Но это ей не удалось.

Ночь была огромна и неизмерима своим мраком. Я знал, что в такую ночь глухо светились моря и где-то далеко за горизонтом отсвечивали вершины гор. Они остывали. Они напрасно отдали свое дневное тепло мировому пространству. Лучше бы они отдали его цветку вербены. Он закрыл в эту ночь свое лицо лепестками, как ладонями, чтобы спасти его от предрассветного холода.

Утром приехал из Одессы Изя Лившиц. Он приезжал всегда по вечерам, и этот ранний приезд меня удивил.

Не глядя мне в глаза, он сказал, что четыре дня назад, 7 августа, в Петрограде умер Александр Блок.

Изя отвернулся от меня и, поперхнувшись, попросил:

– Пойдите к Исааку Эммануиловичу и скажите ему об этом... я не могу.

Я чувствовал, как сердце колотится и рвется в груди и кровь отливает от головы. Но я все же пошел к Бабелю.

Там на террасе слышался спокойный звон чайных ложечек.

Я постоял у калитки, услышал, как Бабель чему-то засмеялся, и, прячась за оградой, чтобы меня не заметили с террасы, пошел обратно к себе на разрушенную дачу. Я тоже не мог сказать Бабелю о смерти Блока.

Близкий и далекий

Я видел, как ты сошел в тесное жилище, где нет даже снов.

И все же я не могу поверить этому.

Делакруа

На побережье долго стояли молчаливые дни. Литое море тяжело лежало у порога красных сарматских глин. Берега прямо и пыльно пахли давно перезревшей и осыпавшейся лебедой. Изя Лившиц вспоминал стихи Блока:

Тишина умирающих знаков –
Это светлая в мире пора.

В те дни мы без конца говорили о Блоке. Как-то к вечеру приехал из города Багрицкий. Он остался у нас ночевать и почти всю ночь читал Блока. Мы с Изей молча лежали на темной террасе. Ночной ветер потрескивал в ссохшихся листьях винограда.

Багрицкий сидел, поджав по-турецки ноги, на старом и плоском, как лепешка, тюфяке. У него начинался приступ астмы. Он задыхался и курил астматол. От этого зеленоватого порошка пахло горелым сеном.

Багрицкий дышал с таким напряжением, будто всасывал воздух через соломинку. Воздух свистел, гремел и клокотал в его больших бронхах.

Во время астмы Багрицкому нельзя было разговаривать. Но ему хотелось читать Блока, несмотря на стиснутое болезнью горло. И мы не отговаривали его.

Багрицкий долго успокаивал самого себя и бормотал: «Сейчас пройдет. Сейчас! Только не разговаривайте со мной». Потом он все же начал читать, и случилось нечто вроде желанного чуда: от ритма стихов одышка у Багрицкого начала постепенно утихать, и сквозь нее все яснее и крепче проступал его мужественный и романтический голос.

Читал он самые известные вещи, и мы были благодарны ему за это.

Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном – туман...
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан?

Багрицкий замолчал и долго сидел неподвижно и осторожно, чтобы успокоить судорожное дыхание. Мы ждали. Через полчаса из темноты опять возник его рвущийся из пут болезни, задыхающийся голос:

*Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илестом дне.
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине.*

И эти стихи, и этот голос Багрицкого почему-то казались мне непоправимо трагическими. Я с трудом сдерживал слезы.

Снова вернулась тишина, тьма, непонятное мерцание звезд, и опять из угла террасы послышался торжественный напев знакомых стихов:

Предчувствую тебя. Года проходят мимо.
Все в облике одном предчувствую тебя.

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо.
Я молча жду, тоскуя и любя...

Так прошла вся ночь напролет. Багрицкий читал, почти пел «Стихи о России», «Скифы», Равенну, что «спит у сонной вечности в руках». Только ближе к рассвету он уснул. Он спал сидя, прислонившись к стенке террасы, и тяжело стонал в невыразимо утомительном сне.

Лицо у него высохло, похудело, на беловато-лиловых губах как будто запеклась твердая корочка полынного сока, и весь он стал похож на большую включенную птицу.

Через несколько лет в Москве я вспомнил эту белую корочку на губах Багрицкого. Я шел за его гробом. Позади цокал копытами по булыжнику кавалерийский эскадрон.

Больной, тяжело дышащий Самуил Яковлевич Маршак медленно шел рядом, доверчиво опираясь на мое тогда еще молодое плечо, и говорил:

– Вы понимаете? «Копытом и камнем... испытаны годы... бес- смертной полынью... пропитаны воды – и горечь полыни... на наших губах». Как это... великолепно!

Пыльное небо висело над скучной и душной Якиманкой. Во дворах кричали дети, играя в «палочку-выручалочку». Оркестр вполголоса заиграл траурный марш. Кавалерийские лошади, послушные звукам музыки, начали медленнее перебирать ногами.

А в то далекое утро в 1921 году Багрицкий уехал в Одессу первой же конкой, даже не напившись чаю и не заходя к Бабелю. Ему нездоровилось. Он тяжело кашлял, свистел бронхами и молчал. Очевидно, ночью он натрудил себе легкие.

Мы с Изей проводили Багрицкого до конки и зашли к Бабелю. Как всегда, во время несчастий нас тянуло на люди.

Бабель писал в своей комнате. Он тотчас отодвинул рукопись и положил на нее тяжелый серый голыш.

Изредка в комнату залетал вкрадчивый морской ветер, и тогда все вокруг, что могло легко двигаться: занавески на окнах, листки бумаги, цветы в стакане, – начинало биться, как маленькая птица, запутавшаяся в силке.

– Ну что ж, сироты, – с горечью сказал Бабель, – что же теперь мы будем делать? Второго Блока мы не дождемся, живи мы хоть двести лет.

– Вы видели его? – спросил я Бабеля.

Я ждал, что Бабель ответит «нет», и тогда мне станет легче. Я был лишен чувства зависти. Но всем, кто видел и слышал Блока, я завидовал тяжело и долго.

– Да, видел, – сказал Бабель. – И даже был у него на квартире на углу Пряжки и Офицерской улицы.

– Какой он?

– Совсем не такой, как вы себе представляете.

– Откуда вы знаете, что я о нем думаю?

– Потому, что я думал наверняка так же, как и вы. Пока его не увидел. Он вовсе не падший ангел. И не воплощение изысканных чувств и размышлений. Это седеющий, молчаливый, сильный, хотя и усталый, человек. Он очень воспитан и потому не угнетает собеседника своей угрюмостью и своими познаниями. Мы разговаривали с ним сначала в столовой и сидели друг против друга на гнутых венских стульях. Такие стулья нагоняют зевоту. Комната была унылая, совсем непохожая на жилище светлого рыцаря в снежной маске. А в кабинете его вовсе не пахло нильскими лилиями и опьяняющим черным шелком женских платьев. Пахло только книжной пылью. Обыкновенная квартира в обыкновеннейшем доме. Ну вот! У вас уже вытянулись лица. Вы уже недовольны и будете потом говорить, что я скептик, циник и у меня ничего не горит на сердце. И еще обвините меня



Дом в Петербурге, где жил Александр Блок

в том, что я вижу только серую заgroundовку, которая лезет из-под великолепных красок. А самих красок я не замечаю. Все это у вас розовый гимназический бред! Красота духа, такая, как у Блока, обойдется без золоченых рам. И без рыданий органа, и без всяческих благовоний. Блок был по натуре пророком. У него в гла-

зах была даже пророческая твердость. Он видел роковую судьбу старого мира. Семена гибели уже проросли. Ночь затягивалась, и казалось, что ей не будет конца. Поэтому даже неудобный, резкий свет нового революционного утра он приветствовал как избавление. Он принял революцию в свой поэтический мир и написал «Двенадцать». И он был, конечно, провидец. И в своих видениях, и в той потрясающей музыке, какую он слышал в русской речи.

Он умел переносить увиденное из одной плоскости жизни совсем в другую. Там оно приобретало для нас, полуслепых людей, неожиданные качества. Мы с вами видим цветы, скажем – розы, в разгар лета в скверах, в садах, но Блоку этого мало. Он хочет зазечь на земле новые, небывалые розы. И он делает это:

И розы, осенние розы
Мне снятся на каждом шагу
Сквозь мглу, и огни, и морозы
На белом, на легком снегу...

Вот вы жалеете, что не видели Блока. Это понятно. А я, если бы у меня было даже самое ничтожное воображение, пытался бы представить себе с конкретностью, какая только возможна, все, что сказал Блок хотя бы в этих четырех строчках. Представить себе ясно, точно, и тогда мир обернулся бы одной из своих скрытых и замечательных сторон. И в этом мире жил бы и пел свои стихи удивительный человек, какие рождаются раз в столетие. Он берет нас, ничтожных и искалеченных «правильной» жизнью, за руку и выводит на песчаные дюны над северным морем, где – помните? – «закат из неба сотворил глубокий многоцветный кубок» и «руки одна заря закинула к другой». Там такая чистота воздуха, что отдаленный красный бакен – грубое и примитивное сооружение – горит в сумерках, как «драгоценный камень фероньеры».

Я подивился хорошей памяти Бабеля: он всегда читал стихи на память и почти не ошибался.

– Вот, – сказал Бабель, подумав, – Блок знал дороги в область прекрасного. Он, конечно, гигант! Он один отзовется в сердце таким великолепным звоном, как тысячи арф. А между тем боль-

шинство людей придает какое-то значение тому, что в столовой у него стояли гнутые стулья и что во время мировой войны он был «земгусаром». Люди с охотой бегут на смрадный огонек предрассудков и невежественного осуждения.

Я впервые слышал от Бабеля такое сравнение, как «звон тысячи арф». Бабель был суров, даже застенчив в выборе разговорных слов. От всего цветистого в быденном языке и блестящего, как золотая канитель, он досадливо морщился и краснел. Может быть, поэтому каждое слово из ряда так называемых приподнятых в его устах теряло искусственность и «било» наверняка. Но произносил он такие слова чрезвычайно редко, а сказав, тотчас спохватывался и начинал высмеивать самого себя. Этим своим свойством он иногда раздражал окружающих. В частности, Изя Лившиц не выносил этих подчас цинических нападений Бабеля на самого себя. И у меня тоже все столкновения с Бабелем – правда, довольно редкие – происходили из-за его глумления над собой и наигранного цинизма.

Но свой «звон тысячи арф» Бабель не высмеял. Я догадался из отрывистых его высказываний, что иногда он читал Блока наедине, по ночам, для самого себя. Тогда он сбрасывал маску.

Окончательно выдал Бабеля Багрицкий, любивший иногда с совершенно детским простодушием повторять чужие слова, если они ему нравились. Однажды, когда мы говорили о Блоке, Багрицкий откашлялся и не совсем уверенно произнес:

– Вы понимаете, мелодия только на арфах в унисон с глухим голосом поэта. Такой голос был у Блока. Я мог бы под звуки арф читать по-разному все его стихи. Честное слово! Я вытягивал бы, как тянут золотую нитку из спутанного разноцветного клубка, напев каждого стиха. Люди слушали бы и забывали, что есть время, жизнь и смерть, движение вселенной и бой собственных сердец. Какой-то чувствительный немецкий виршеплет, склонный к поэтическому насморку, написал-таки неплохие стишки. Я забыл, как его звали, этого многообещающего юношу. Стихи о том, что прекрасные звуки заключены внутри каждого человеческого слова. И звуки эти подчиняются только воле великих поэтов и музыкантов. Они одни умеют извлекать их из тугой сердцевины слова.

– Эдя, – сказал Изя Лившиц, – не повторяй и не искажай Бабеля. Я слышу дикую путаницу из его речей.

– Я так думаю сам, – скромно ответил Багрицкий.

– Да? – притворно удивился Изя. – С каких это пор ты стал такой красноречивый?

– Отстань! – сердито ответил Багрицкий. – Довольно с меня мальчиков с иронией и отроков, умных, как белые крысы. Дайте мне наконец дышать, черт побери! Что вы все бегаєте за мной и стараетесь доказать мне самому, что я не такой умный, как вам хочется!

Мне удалось потушить ссору, но Багрицкий еще долго ворчал на «интеллигентных выкрестов» и «вундеркиндов с Привоза».

Он был обижен тем, что Изя не понял всей прелести начатого разговора и влез в него, как скучный черт из сказки.

Багрицкий жестоко оскорблялся недостаточно уважительным отношением к поэзии. Из-за этого он иногда вступал даже в драки.

Вообще одесская литературная молодежь, кроме Бабеля и нескольких поэтов, отличалась *драчливостью*.

Иногда она пыталась решать литературные споры, даже такие отвлеченные, как спор о дольнике или александрийском стихе, тумачами, а то и хлесткими оплеухами.

Скандал с благородной целью

В городе появились афиши цвета жидкого помидорного сока. Они сообщали, что на днях на Пушкинской улице в каком-то пустующем зале состоится феерический вечер всех одесских поэтов.

Наискось через всю афишу большими буквами была оттиснута черная надпись:

«В конце вечера будут бить поэта
Георгия Шенгели!»

Внизу в скобках кто-то чернилами приписал: «Если он осмелится прийти».

Билеты на этот вечер стоили дорого. Их распродали в течение трех часов.

Изя предполагал, что надпись на афише об избиении была напечатана с ведома и согласия самого Шенгели.

Поэт Георгий Аркадьевич Шенгели был добрый человек, но с несколько экзотической внешностью. Я никак не мог понять ту легкую неприязнь, с какой относились к нему некоторые одесские поэты. На мои расспросы Багрицкий отвечал невразумительно. В конце концов я пришел к мысли, что вражда к Шенгели была литературной игрой. Она вносила добавочное оживление в поэтическую жизнь Одессы.

Шенгели, по-моему, охотно участвовал в этой игре и больше изображал из себя спокойного, как истый римлянин, противника, чем был им на самом деле.

Тонкое лицо Шенгели во время схваток с одесскими поэтами бледнело и казалось выточенным из мрамора. Изя говорил, что бюст Шенгели был бы украшением римского Форума.

– Или, может быть, Пантеона? – неуверенно спрашивал он меня, и в глазах его появлялась тревога.

Шенгели был высок, глаза его по-юношески сверкали. Он ходил по Одессе в тропическом пробковом шлеме и босиком. При этих внешних качествах Шенгели обладал эрудицией, писал изысканные стихи, переводил французских поэтов и был человеком, расположенным к людям и воспитанным.

Эти свойства Шенгели делали его чужаком для многих одесских поэтов – юношей нарочито развязных, гордившихся тем, что они не заражены никакими «штучками», в особенности такими смертными грехами, как чрезмерная интеллигентность и терпимость.



Георгий Аркадьевич Шенгели (1894-1956)

Я впервые увидел Шенгели в Москве в начале мировой войны на поэзо-концерте Игоря Северянина. Он читал свои стихи в перерывах между чтением самого Северянина. То были стихи о его родной щебенчатой Керчи, о древнейшей земле, где «в глине одичалой спят сарматы, скифы, гунны, венды, – и неоглядные легенды неувядаемо томят».

Он сказал о себе:

Несу в себе дыхание приливов,
И кровь моя, как некогда, нагрета
Одною с южным морем теплотой...

Мне всегда казалось, что я мог бы с таким же увлечением, как и писательством, заниматься некоторыми другими вещами: мореплаванием, археологией или вторичным географическим открытием давно открытых земель.

Археология была наукой о древности. Древность с детства была воплощена для меня в беге ветра над ковылем, в спекшихся от зноя, старых, обезлюдивших землях, куда тот же ветер нет-нет да и донесет свежесть близкого взморья, в разбитом изразце, изготовленном худыми сизыми пальцами иранского гончара, наконец, в черной глиняной трубке в виде носа ахейского корабля, потерянной запорожцем вблизи соленых озер Перекопа. Всегда меня привлекал цвет древних земель – ржавый, рудой, суровый.

Такими я всегда представлял себе старые области земли. Когда я впервые увидел эти области, то был радостно поражен тем, что красок, свидетельствующих о баснословном возрасте Земли, было гораздо больше, чем я предполагал.

В этом я окончательно убедился, когда попал в архипелаг, в Грецию и Италию. Там ржавая земля издали проступала сквозь индиговый воздух утренних далей или сквозь величавую и мутную медь вечеров. Древность облекалась во множество красок и оттенков, соединявших киноварь скал с оливковой листвой и темное золото заката с воздухом лилового ионического вечера.

Скупые и резкие краски древности больше соответствуют югу, чем северу. Там они заметнее. Там они чаще встречаются.

Где-нибудь в Риме вы заметите из окна отеля, как по свежим газонам сыплется искусственный дождь из вращающихся никелированных трубок, и тут же увидите стариннейшую землю совсем рядом, хотя бы на мощной арене Колизея.

Он кажется столь же старым, как небо над Римом, над близкими Апенниннами, над перегорелой в цементный прах Калабрией.

Калабрия дымится зноем, как исполинский пожар во время безветрия. Ее берега пахнут кремнем, из которого только что высклели искру. И если бы не густое, фиолетовое, свежее пространство морской воды, омывающей эту сухую страну, то вид ее вызывал бы у нас содрогание, как преддверие ада.

По существу чувство древности ничем не отличается от чувства вечности, от чувства эпох, уже пронесшихся над землей, и чувства будущего. Как бы там ни было, но человек не перестанет размышлять и видеть в своем воображении развороты и прошлых, и будущих времен. Чувство времени с особой остротой возникает почему-то на морских побережьях.

Я отвлекся от постепенности повествования, но сейчас, пожалуй, можно сделать отступление и сказать несколько слов о том, что являет собой ощущение моря и морских побережий.

Море можно увидеть с палубы океанского корабля и с низкой палубы рыбацкой шаланды.

С палубы шаланды вы не только увидите море вблизи, но можете даже услышать совсем рядом крепкий запах морской воды как раз в то время, когда шаланда будет проходить мимо подводных камней. Они на мгновение обнажатся от перекатившей через них воды и откроют косматую мокрую шкуру из густых водорослей.

И вот в это мгновение – от волны до волны – водоросли выдохнут резкий запах, и вы сможете набрать его полные легкие – до головокружения, до темноты в глазах.

С высоких палуб лайнеров запаха моря не слышно. Его заглушают запахи горячего машинного масла, табака и ароматической жидкости для уборных.

Подлинное ощущение моря существует там, где морские запахи окрепли на длительной и чистой жаре. К примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размякшими окурками

и мандариновыми корками, а не раскаленными каменными молами, старыми канатами, чабрецом, ржавыми минами образца 1912 года, валяющимися на берегу, пристанскими настилами, поседевшими от соли, и розовыми рыбачьими сетями.

Так морем пахнет только в таких портах, как Керчь, Новороссийск, Феодосия, Мариуполь или Скадовск.

Есть курортные побережья, застроенные голубыми киосками для мороженого, заставленные гипсовыми статуями спортсменов и пионеров, переполненные тюбетейками, сандалетами, полосатыми пижамами и мохнатыми полотенцами. И есть берега, сожженные тысячелетним солнцем – отблеском огромных южных вод, горячими токами воздуха – чистейшего в мире.

От такого солнца и воздуха берега приобретают суровый цвет – охристый, пепельный и сизоватый, как окалина, – цвет незапамятных времен, цвет вечности. И на эти ржавые берега, на обнаженную окаменелую глину равномерно набегают из столетия в столетие неисчислимы волны.

Запахов, шумов и красок настоящего моря великое множество. Если бы у меня было время и если бы мной не владела ложная боязнь нарушить равновесие прозы, то я охотно расширил бы это внезапное отступление до размеров книги.

Я должен признаться, что я могу с таким же увлечением читать путеводитель по Греции, «Письма из Испании» Боткина и дневники Миклухо-Маклая, как и пересыпать в ладонях морской песок, отдыхая при этом всем существом и чувствуя, как ветер время от времени ласково похлопывает меня своими прохладными сырыми ладонями по щекам. Он как бы радуется, что на пустынном пляже – вплоть до туманно-синеватых мысов, как бы сосущих на горизонте, как медведи, морскую воду, – нет ни одного человека, кроме меня.

Пусть весь день на береговых обрывах шелестит твердая трава. Этот нежный шелест – необъятно старый – слышится на этих побережьях из века в век и приобщает нас к мудрости и простоте.

Мы с трудом прорвались с Изей и Яшей Лифшицем в зал на вечер поэтов. Там среди неистового шума, смеха и легкого свиста поэт Чичерин кричал грубым басом свои стихи.

Шум немного стих, когда на сцену вышел поэт Владимир Нарбут – сухорукий человек с умным желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его.

Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом.

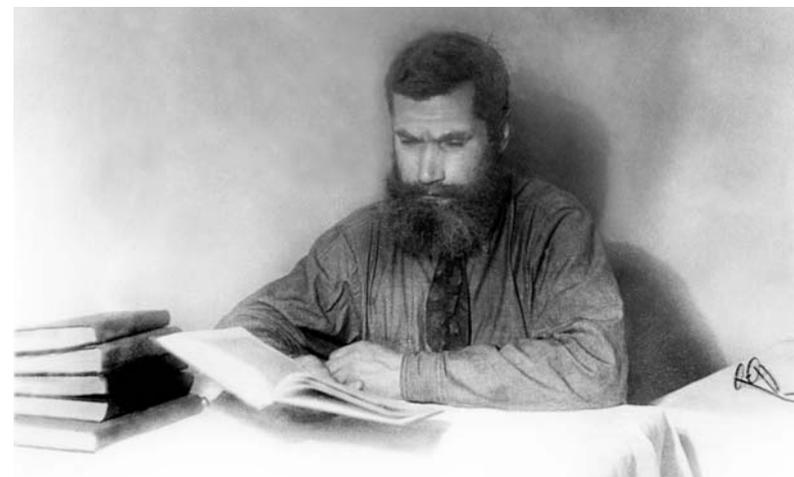
А я, тухлявая колода,
Годами выветренный гроб...

Стихи его производили впечатление чего-то зловещего. Но неожиданно в эти угрюмые строчки вдруг врывается щемящая и невообразимая нежность:

Мне хочется про вас, про вас, про вас
Бессонными стихами говорить.

Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина.

На эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева.



Алексей Николаевич Чичерин (1889-1960)



Владимир Иванович Нарбут (1888-1944). 1918 г.



Валентин Петрович Катаев (1897-1986). 1920-е гг.

Эстрада подозрительно потрескивала, даже покачивалась и, очевидно, собиралась обрушиться.

– Неужели это все поэты? – спросил Яша Лифшиц. У него была склонность задавать наивные вопросы. – Тут их хватит на целое государство среднего европейского размера.

Шенгели сидел около эстрады на кухонной табуретке и держал на коленях пробковый шлем. Так, должно быть, держали свои погнутые в боях медные каски, попав в сенат, запыленные и загорелые римские легионеры.

– Слава богу, – вздохнул с облегчением Изя, – он пришел. Скандал обеспечен.

После Нарбута Катаев хрипло и недовольно прочел свои стихи о слепых рыбах. Дело в том, что рыбаки с Санжейки и Большого Фонтана иногда вылавливали в море слепых дунайских рыб. Рыбы слепли, попав из пресной воды в соленую. Стихи понравились, но не вызвали оваций. Ждали скандала и, очевидно, берегли для него силы.

Кирсанов – тогда еще безусый мальчик, очень задиристый и крикливый – все вре-

мя вскакивал и безо всякой связи с тем, что происходило на эстраде, что-то вызывающе кричал Шенгели. Но Шенгели сидел непоколебимо. Кирсанова это, очевидно, возмущало, и он снова вскакивал и кричал в сторону Шенгели что-то явно оскорбительное.

Позади Кирсанова сидел толстый юноша с заспанным лицом. Он каждый раз дергал Кирсанова сзади за куртку и силой заставлял его сесть. Куртка трещала. Кирсанов отругивался и садился, чтобы через минуту снова вскочить.

Вместе с Кирсановым шумело еще несколько мальчиков.

Скандал никак не разгорался. Бесплодное ожидание скандала вызывало у публики досаду. Она начала недовольно шуметь.

– Я не понимаю, зачем они так ненатурально кипятятся, эти поэты? – спросил Яша Лифшиц. – Что происходит? Выборы короля поэтов? Или раздача Нобелевских премий? Чего они хотят?

Изя, бывший в курсе поэтических схваток, ничего не ответил.

А потом на вечере возникли неожиданные события. Они вконец запутали публику.

Какая-то актриса начала читать, подвывая, стихи Мирры Лохвицкой. Надо признаться, что это было придумано неудачно. Чте-



Семен Исаакович Кирсанов (1906-1972). Одесса, 1924 г.

ние было встречено недовольным гулом. Но очень скоро гул этот перешел в гневный рев.

– К черту бисерные стишки!

– К дьяволу гибкий стан Мирры Лохвицкой!

– Прочтите лучше «Дышала ночь восторгом сладострастья»!

Актриса – пегая блондинка с висевшими, как плети, голубоватыми руками – схватилась за край стола и театрально зарыдала.

Тогда вскочил Шенгели. Старинное рыцарство забушевало в нем. Толпа поэтов с их растрепанными подругами посмела оскорбить ни в чем не повинную женщину! Позор! Шенгели крикнул в зал несколько оскорбительных слов.

Тотчас вскочил Багрицкий. Я был уверен, что он обрушится на своего недруга Шенгели, но Багрицкий обернулся к публике и сделал бурное движение, будто хотел нанести всей этой толпе страшный нокаутирующий удар. Он сильно замахнулся правой рукой, дико вскрикнул, потерял сознание и рухнул на пол.

Зал бушевал в смятении. Трудно было сообразить, что произошло. Вызвали скорую помощь. Нарбут, не дрогнув ни одним мускулом на лице, закрыл вечер.

У выхода завертелись людские водовороты около спорящих с пеной у рта и насакивающих друг на друга юношей и девушек. Поощрительные выкрики и оскорбления носились, как теннисные мячи, из конца в конец взъерошенного зала.

Санитары раздвинули толпу и провели к машине белого от боли Багрицкого. Он уже пришел в себя и сказал нам, криво улыбаясь:

– Я, кажется, сломал себе руку в плече. Или вывихнул... Эти сопляки не сумели даже устроить скандала.

Его увели. Мы с Яшей Лифшицем прорвались через поэтов и их приверженцев и вышли на просторную Пушкинскую улицу.

– Что, собственно говоря, произошло? – снова спросил Яша. – Бедлам? Кабак? Или просто мальчишество? Да еще в такое трудное время! Глупо!

Он был возмущен. Мы увидели Изю и окликнули его.

Вид у него был удрученный.

– Драка не вышла, – сказал он растерянно. – Не надо было им затевать эту галиматью и хвататься, что они действительно бу-



Карета одесской станции скорой медицинской помощи. 1910-е гг.

дут бить Шенгели. Наше счастье, что публика не догадалась потребовать деньги обратно.

– В чем же дело, Изя? – спросил я его.

Тогда Изя рассказал по секрету, что вечер был устроен для помощи беспризорным. Этой помощью в то время ведала особая Детская комиссия при ВЦИКе. Ее уполномоченный договорился с одесскими поэтами об этом вечере. Было решено, чтобы обеспечить полный сбор, устроить какую-нибудь сенсацию. Долго ломали голову над тем, что бы такое придумать позабористей.

Кто-то из поэтов предложил разыграть литературный скандал с избиением Шенгели. Это показалось новым и оригинальным.

Шенгели охотно согласился стать героем скандала со столь благородной целью.

Скандала не получилось потому, что далеко не все поэты были посвящены в этот замысел. Но все равно билеты были раскуплены нарасхват, и уполномоченный Деткомиссии пребывал в полном восторге. Он даже мечтал повторить такой вечер.

На Гаванной улице был открыт игорный дом. Вся выручка из этого дома шла на помощь беспризорным. В доме играли в особую рода рулетку – игрушечные бега – «Пти шво».

Я как-то зашел туда вместе с Торелли. Табачный дым провисал, как слоистое небо. Остатки светлого пива в мутных кружках настаивались на раскисших окурках. Бледные юноши в морских фуражках-капитанках играли зловеще и молча.

Крупье – старик с пробритым в скудных сединах английским пробором – говорил как заводной, не делая пауз, жестяным голосом:

– Игра сделана! Ставок больше нет! Гражданин, уберите вашу пятерню со стола. Она мне определенно мешает. Уберите! Пока не поздно. И не позволяйте себе нецензурных изречений. Вы в заведении, а не в борделе. Граждане играющие! Я прекращаю игру, пока этот уркан не уберется отсюда. Воздействуйте на него словами! Или я вызову милицию. Все! Кончено! Игры не будет! Забирайте ваши ставки обратно! Казино закрывается!

Тогда вставал какой-нибудь здоровенный парнюга в клетчатой «мальчиковой» кепочке и мохнatom кашне, с папироской во рту, подходил к уркану, молча хватал его за грудь, срывал со стула (при этом стул обязательно с грохотом падал), толкал к двери на вытянутой руке и вышвыривал на улицу. Над дверью каждый раз испуганно вскрикивал сохранившийся еще с дореволюционных лет колокольчик. Во время всей этой сцены было слышно только тяжелое двойное сопение – парнюги и уркана.

Парнюга возвращался к столу. Крупье говорил ему:

– Мерси боку, молодой человек! Ценю ваше мужество. Игра продолжается. Ставьте смелее. Чем дольше будете думать, тем вернее собьете с толку свою счастливую судьбу-индейку. Или копейку? Как это там у вас говорится?

А вышвырнутый стоял на тротуаре, хватал за руку входивших в казино и проникновенно говорил им:

– Наплюйте мне в очи, пусть я буду подлюгой, если я не кокну того Юрку с Арбузной гавани, а этому крапчатому крупье не разобью сопатку! Куда вы?! Я вас прошу, молодой человек, быть моим свидетелем. Ах, вам некогда? А я вас все-таки покорнейше прошу-у!

При этом он расстегивал пиджак и начинал угрожающе наваливаться на прохожего могучей хрипящей грудью.

– Дайте тогда хоть пять тысяч, – говорил он пьяным доверительным шепотом. – Я сделаю из них миллион. Половина ваша. Не доводите человека до крайности.

Отвязаться от него было трудно. Все предпочитали от него откупиться.

Мы с Торелли тоже откупились от него. Оставшиеся у нас деньги мы проиграли с одного раза. При этом крупье, морщась от злого дыма сигарки, холодно сказал:

– Не вижу с вашей стороны риска. Макаронная работа, пижоны!

Мы ушли оскорбленные. Потом я несколько раз заходил в казино, но не играл. Я следил за крупье. Меня интересовало в нем органическое слияние наглой вежливости, презрения к людям и невероятной грубости. Я хотел узнать, кем был этот старик в прошлом. Торелли рассказал мне, что это бывший оперный бас. Однажды Торелли даже слышал его в роли Мефистофеля.

Замедленное время

В августе я получил отпуск в «Моряке» и решил провести его в Овидиополе.

Степной этот городок на берегу Днестровского лимана, погруженный в захолустную летаргию, считался местом ссылки и смерти великого римского поэта Овидия Назона. За это городок и был назван Овидиополем.

На самом же деле Овидий умер гораздо южнее, около устья Дуная, в поселке римских каторжан. Перед смертью он жаловался на скифский холод и бурное и угрюмое Черное море.

Я не понимал, как Овидий мог считать Черное море угрюмым. Это было одно из самых ярких и веселых морей. И о каком скифском холоде можно говорить в тех местах, где снег выпадал не каждую зиму? А если и выпадал, то лежал всего несколько дней, потом таял, и оттаявшая земля слабо пахла весной.

В тот 1921 год осень стояла перегоревшая и высушенная до сердцевины. Идти пешком до Овидиополя было трудно – не столько от жары, сколько от косматой пыли. Она носилась шумящими смерчами по шляхам. От этой несмываемой пыли люди сразу же делались бурыми, как кафры.

Поэтому я не пошел к Днестровскому лиману, а решил идти вдоль морского берега по заброшенным Фонтанам до последней станции трамвая. Эта станция называлась «Дача Ковалевского». По своей привычке никогда не ездить вслепую я достал книгу «Старая Одесса» и прочел в ней все, что относилось к даче Ковалевского.

Делал я это из тех соображений, что даже небольшое предварительное знание тех мест, где мы собираемся жить, заставляет нас относиться к ним гораздо внимательнее, чем если бы ничего о них не знали.

В «Старой Одессе» я вычитал, что некий одесский одинокий богач Ковалевский купил кусок сухой прибрежной степи, построил над морем дом и рядом с ним – высокую круглую башню, похожую на маяк. У башни этой не было никакого назначения. Ковалевский построил ее, как говорят дети, «просто так», из прихоти. Он несколько раз пил на верхней площадке этой башни чай, а потом наконец бросился с башни и разбился насмерть.

Дом быстро превратился в руины. Никто не хотел покупать громоздкое и мрачное сооружение, а башня сохранилась и упоминалась во всех лоциях-руководствах для плавания по Черному морю. Оказывается, эта башня была хорошим ориентиром при подходе к Одессе. Поэтому башню охраняли и не позволяли разбирать по камням.



Александр де Рибас. «Старая Одесса», 1911 г.

Я знал, что рядом с башней Ковалевского было несколько пустующих дач, и решил поселиться на любой из них, какая мне больше понравится.

Я шел из Одессы до дачи Ковалевского медленно и долго. Вышел я с Черноморской, как только начало светать.

Хотя по пути ничего не случилось, но я запомнил дорогу от города до дачи Ковалевского так подробно, что потом в любой день и час мог проследить ее по памяти шаг за шагом.

Я полюбил эту дорогу и много раз после этого в разные годы добирался туда из Одессы пешком, хотя уже ходили трамваи и автобусы, и даже носились, пыля, такси.

Вся прелесть этой дороги, вся ее власть надо мной объяснялась близостью моря. Нигде эта дорога не отходила от берегового обрыва настолько далеко, чтобы не было слышно шума волн и запаха водорослей.

Стоило мне нагнуться, поднять на дороге белый камень и сдуть с него пыль, чтобы, даже не глядя, сказать, что это горячий от полуденного зноя морской зернистый гольш, и почувствовать досаду оттого, что невозможно описать жизнь этого куска камня, длившуюся много тысячелетий.

Все на этой дороге пахло морем и солнцем, даже пустые ларьки, где в какие-то баснословные времена торговали квасом. Краска на этих ларьках потрескалась, отваливалась плоскими ромба-



Башня Ковалевского, начало XX века (не сохранилась)



Дорога на Дачу Ковалевского, 1910-е гг.

ми и пахла солнечным жаром. Пустой цинковый прилавок позеленел от пылицы лебеды и полыни. И вся дорога тоже была зеленоватой от этой пылицы.

От оград, будто сложенных из каменной губки, тоже пахло морем. В камень оград вросло бесчисленное количество мелких морских ракушек. Они поблескивали изломом перламутра и царапали руки.

Иногда густую дорожную пыль пересекал след от рыбацкой сети. Ее протащили здесь на рассвете. Сеть пригладила пыль и оставила на ней клубки шершавых водорослей и уже успевших засохнуть фиринок, как бы вырезанных из свинцовой бумаги. Водоросли были мокрые и горячие внутри, пахли рассолом, и от них шел пар.

Ящерицы бегали по крышам, по оранжевой марсельской черепице. Мне представлялось, что изготовление этой черепицы (конечно, где-то на юге Франции, около Марсея или Тулона) – занятие неторопливое, связанное с древними ремесленными секретами и потому довольно романтическое. Я был уверен, что заводы марсельской черепицы обязательно строились вблизи морских берегов.

Мне хотелось изучить производство этой черепицы и написать об этом небольшую книгу. Не знаю, получили бы читатели от такой книги какие-либо полезные сведения, но, во всяком случае, я постарался бы заразить их поэзией этого производства.

Марсельская черепица нравилась мне еще и потому, что была связана с югом и морем. Как только за окнами поезда Москва – Одесса возникали в стекленеющей дали красные черепичные крыши, я знал, что море уже недалеко.

Кроме того, морской прибой всегда выбрасывал отполированные черепки марсельской черепицы. Я никогда не уставал любоваться ее сочным морковным цветом и тонкой зернистой фактурой.



Марсельская черепица

Кое-где в садиках большефонтанских рыбаков висели пыльные кисти винограда. Продолговатые ягоды пахли мускатным орешком и просвечивали розовым соком. Я выменял одну такую кисть на три закурки табака.

За Большим Фонтаном дорога отклонилась в степь. Дачи остановились позади, не решаясь выдвигаться в слепящий жар. По сторонам большака шелестели невесомые листья кукурузы. Початки были выломаны, собраны, и сколько я ни смотрел, я не увидел ни одного забытого початка.

Звенели подземные цикады, плыл зной, изредка начинали тихонько трещать все сухие стебли. Я радовался этому потрескиванию: оно означало, что с моря задувает хотя и слабый, но освежающий ветерок.

Вот небольшая часть того, что я видел и о чем я думал по пути к башне Ковалевского. И все время бок о бок со мной играло, как расплавленная ляпис-лазурь, великолепное море – бездна свежести и успокоительного шума.

Я дошел до башни Ковалевского, когда жара уже начала спадать. Я увидел над морским обрывом несколько дач, окруженных садами. Все окна и двери на этих дачах были выломаны. Сады заросли высокой высохшей травой.

Я выбрал себе дачу с дощатой вышкой. Наверх вела винтовая чугунная лестница. Она не была сломана.

Наверху каким-то чудом сохранилась дверь на балкон и ставня на единственном окне, самого окна уже не было. Главное, сохранился деревянный пол.

Вблизи стояло еще пять полуразрушенных дач. Там никто не жил, кроме ласточек и серых ящериц.

Я решил поселиться в комнате на вышке. Я чувствовал себя в ней, как на маяке.

Редко я испытывал такую полную свободу и сознание, что я вправе жить так, как хочу, что я целиком предоставлен себе, что я одновременно и Робинзон, и отшельник, и мне подчинено все мое время и все будущие дни. И то, чем люди обыкновенно тяготятся – житейские заботы и мелкие хозяйственные поделки, – казалось мне занятием легким и даже приятным.

Мне приятно было наломать сухой полыни и чернобыла и сделать большой пышный веник, чтобы подмести дачу.

Еще засветло я спустился на берег и собрал там много сухих, свалывшихся в мягкий войлок водорослей. Я выбирал только старые водоросли, выветренные и потерявшие лекарственный запах. Это была прекрасная подстилка для спанья на полу.

Давно уже известно, что чем меньше у человека вещей, тем они милее, тем крепче каждая вещь связана с биографией и тем большее значение она приобретает при любых обстоятельствах.

Я разобрал свой рюкзак. С чувством благодарности я вытащил из него коптилку, пузырек с бензином, две пачки табака, сухари, сахарин, сушеный чай из моркови, грубую красную соль, крупу и еще кое-какие продукты. Со дна рюкзака я достал тельняшку, тетради, самодельные чернила из химического карандаша и несколько книг.

Все остальное надо было добывать на месте – в «степу» или в море.

Я взял с собой самоловы и большой запас посеребренных крючков. Одесские рыбаки считали, что морская рыба охотнее берет на белые крючки, чем на черные или бронзированные. Помоему, это был совершеннейший предрассудок, но благодаря ему я выменял в рыбацьем поселке на 16-й станции на посеребренные крючки бутылку мутного подсолнечного масла и с тех пор почувствовал себя крезом.

Первую ночь я провел в томительном, но приятном состоянии неполного сна и неполного бодрствования. Я спал, но ясно слышал шум волн, стрекотание цикад, шорох осыпей и нежный скрип старого электрического провода. Он качался весь день на столбе около чугунной калитки.

Иногда все звуки внезапно исчезали, и только через несколько минут кто-то вдруг вздыхал в степи, как огромный зверь, укладываясь поуютнее спать.

Я закрывал глаза, а когда через мгновение открывал их, то синий полусвет уже заливал комнату до самого потолка. Его нельзя было отличить по цвету от неба. Небо виднелось за окном сплошной и мглистой бездной. В его синеве рождались полосы багровых туч. Должно быть, приближался рассвет. Но я не сра-

зу сообразил это и продолжал дремать, просыпаясь через каждые десять минут, и каждый раз удивляясь, что из мрака, как фотографическая пленка, все яснее и подробнее проявлялась моя комната.

Окончательное утро наступило, когда на перила балкона сел маленький «птичник» и сказал, присвистывая:

«Осы спят, осы спят, осы спят, ты не спи!»

«Не спи, не спи!» – повторил он настойчиво, и я увидел, как желтый хохолок на его голове загорелся, как пушистое пламя, от первого солнечного луча.

Солнце казалось чрезмерно огромным для того, чтобы, вставая над тысячами километров земных пространств, осветить в первую очередь только один-единственный хохолок птицы, похожий на маленький моток шерсти.

Я встал и пошел купаться к морю. Берег был крутой, в иных местах почти отвесный. Спускаться было просто опасно.

В то же утро я залез в люк под террасой и нашел там заржавленную лопату и еще несколько очень нужных вещей – молоток, кучу погнутых гвоздей, моток проволоки и большую жестяную банку с надписью «Монпансье Ландрин».

Я забрал все эти вещи. Они мне оченьгодились, «пришлились впору», и – такова человеческая забывчивость – через несколько дней я уже был уверен, что если бы не нашел этих вещей, то не смог бы прожить на даче и одного дня. Например, в чем бы я держал пресную воду из ключа, чуть сочившегося под кустом тамариска на обрыве, если бы не жестяная банка? Или чем бы я расплющивал свинец на грузила, если бы не нашел молотка?

Но самой дорогой находкой после жестяной банки от монпансье была, конечно, лопата.

Я не спеша работал три дня и прокопал в самой отвесной



Монпансье «Ландрин»

части береговой кручи ущелье-тропу со ступеньками – своего рода узкую земляную лестницу.

Эта земляная, «грабарская» работа мне нравилась. На срезах от лопаты глина блестела янтарным лаком. В этих же срезах были видны невероятно длинные и мощные корни какого-то растения, подымавшегося над землей всего только на пять сантиметров.

Все это было прекрасно. Но лучше всего было ошеломившее меня в первое же утро открытие, что весь этот сухой берег с его колючками, осыпями, золотым дроком, ветрами, зернистым пляжем, грудями водорослей, небом и облаками, все это жаркое и лиловое побережье не принадлежит никому или, вернее, принадлежит только мне одному.

Я не встретил за неделю ни души.

Если бы я захотел, я мог бы вырыть в обрыве замечательную пещеру. Или запрудить родник и устроить на берегу озерцо. Или сложить на пляже пирамиды из седых от соли обломков дерева, старых шлюпочных шпангоутов и деревянных поплавков от сетей. Или срезать ветки туи и разбросать их по полу в своей комнате, чтобы дышать смоляным запахом. Никто не мог запретить мне этого.

В конце концов я так и сделал. Жилище мое обросло случайными, но интересными вещами. На соседних брошенных дачах я нашел железный фонарь, песочные часы и китайский зонтик. Все это я забрал в свою комнату.

Дни шли медленно. Солнце никуда не торопилось.

Время как бы замирало, замедляя шаг. Ему, должно быть, хотелось совсем остановиться.

Но я знал, что на смену утру взойдет новый неизменный день – настолько неизменный, что все эти дни вот уже в течение недели представлялись мне одним сплошным и нескончаемым днем.

Я привык к жаркой непрерывности этого сплошного дня (ночи казались созданными только для передышки от жестокого дневного света), к его монотонному гудению, как будто в глубине земли звучала медная струна, к тому, что воздух, накаляясь, терял прозрачность и походил на твердеющее стекло, и, наконец,

к тому, что синева неба была неравномерна. Она то сгущалась, то бледнела под нажимами ветра.

Говорят, что человеку время от времени полезно пожить в одиночестве.

На опыте своей жизни я знал, что есть много видов одиночества. Перечислять их я не буду, но знаю, что есть одиночество в толпе и одиночество лесное, есть одиночество, сопутствующее горю, и есть, наконец, морское одиночество, зачастую близкое к постоянной безмолвного душевного подъема.

Это тот безмолвный подъем, когда человек даже враждебен всякому разговору. Он предпочитает молчать. Да что скажешь на нашем плоском языке, когда твое перегретое за день темное тело вдруг захлестнет и охладит взбитая предвечерним прибоем и ветром морская нежнейшая пена. Она будет таять на тебе, покалывая кожу пузырьками душистого газа, и прикасаться к воспаленной коже свежо и осторожно, как ветер с тех островов, где до сих пор еще, может быть, спят в земле бронзовые девственные Дианы.

А может быть, это прикосновение больше напоминает влажные после купания девичьи косы.

В морском одиночестве, в этой встрече с глазу на глаз с роко-чущим простором, всегда присутствует сознание если не бессмертия, то, во всяком случае, длительных лет, которые всегда дарит нам море.

Я проводил на берегу все дни до заката. Я часто засыпал в тени большой скалы. Я читал по строчкам книги и по целым часам мог смотреть на свитки летучих облаков. Очевидно, в состав счастья входит и состояние беззаботности, отсутствие самых ничтожных тревог.

Очевидно, это именно так, потому что я был счастлив тогда. Чистый, первобытный, ничем не оскверненный свет спускался на землю, и я совершенно забыл, что такой нечаянный и огромный душевный покой, по словам людей суеверных, никогда не остается безнаказанным.

И возмездие, конечно, пришло.

Как-то я лежал на берегу, глядя сквозь прищуренные ресницы на разноцветные огненные шары, – они вертелись передо мной

в каком-то сиреновом пространстве. Я соображал, что это за пространство – воздух ли над морем или, может быть, это небо, изменившее по капризу фиолетово-черный цвет и пожелавшее немного поблестать серебряным свечением и легкой желтизной.

Пока я размышлял над этим, с высокого обрыва донесся слабый человеческий крик. Я обернулся и увидел на краю спокойной небесной синевы человека, махавшего кепкой. Человек этот держал за руку маленькое существо в красном выгоревшем сарафане. Существо тоже нерешительно махало мне тонкой, как соломинка, лапкой.

– Привет! – кричал человек с обрыва. – Рад видеть вас в добром здравии, Константин Георгиевич! Поднимитесь к нам на минутку!

У меня екнуло сердце. Так я и знал, что кто-нибудь застигнет меня в этом уединении и вдребезги разобьет редчайший сон, в котором я пребывал последние дни. Даже хорошее слово «привет» прозвучало фальшиво и пошло среди сурового зноя степей, шелеста сарматских трав и шума понтийских вод.

Я нехотя встал и полез на обрыв, стараясь догадаться, что это за человек с девочкой и что ему от меня нужно.

– Вы молодец! – кричал между тем незнакомец. – Отшельник! Схимник! Робинзон! Матрос Селькирк! Симеон Столпник! Жан-Жак Руссо!

Я лез на кручу, сдерживая закипавшую ярость, и молчал, чтобы не выругаться, а человек продолжал насмешничать надо мной на границе рыжей земли и густого великолепного неба. Он кричал:

– Одиссей! Миклухо-Маклай! Флибустьер! Ифигения в Тавриде! Великий немой!

Я наконец поднял голову, чтобы одернуть этого фигляра, и узнал в нем Васю Регинина. Он держал за руку свою шестилетнюю девочку Киру и смеялся.

– А ловко я разыграл идиота на берегу этого моря, воспетого академиком Айвазовским? – спросил он меня и протянул руку, чтобы помочь мне одолеть последнюю крутую ступеньку. (Это были те ступеньки, которые я сам недавно выкопал и очень ими гордился.) – Сознайтесь, что вы обозлились. Я просто чудом вас

нашел. Торелли сказал, что вы должны жить где-то здесь, около башни Ковалевского.

Девочка исподлобья смотрела на меня темными, очень синими глазами и держалась за локоть отца.

– Пойдемте на мою виллу, – предложил я. – Ну, как в городе? Ничего не случилось?

– Да нет, особенного ничего, – ответил Регинин, и на глазах у него вдруг появились слезы. Они как-то внезапно наполнили его глаза. Несколько капель скатились по щекам и упали на измятую застиранную рубаху.

– Перестань, папа, – строго сказала маленькая девочка, – Я здесь останусь. Я не боюсь.

Регинин, вытирая слезы дырявым носовым платком, рассказал, что жена его заболела сыпным тифом, лежит дома в бреду и он в полном отчаянии и смятении привел девочку ко мне, так как в городе ее некуда устроить. Держать ее в одной комнатухе с матерью нельзя. Друзей у него в Одессе нету, и вот... Голос его осекся. Губы у девочки вдруг опустились, задрожали, и она снова сказала:

– Хорошо, я останусь здесь с дядей...

– Костей, – подсказал Регинин. – Оставайся. Как только мама выздоровеет, я приду за тобой. Вы ведь здесь еще долго пробудете? – спросил он меня.

Я смешался.

– Да, – ответил я. – Сколько нужно, конечно.

– Ну, оставайся, мое доброе маленькое сердце, – Регинин наклонился и прижался губами к голове девочки. – Люби дядю Костю. И слушайся его. Он наш большой друг.

Он протянул мне руку и, не глядя на меня, пробормотал:

– Ну, я пойду. А то Мария Ивановна лежит одна. У нее бред.

Он повернулся и ушел, а я, растерянный, остался рядом с девочкой в пустой жаркой степи. Я даже не заметил, что Регинин ничего не принес с собой для девочки, никакого, даже самого маленького, узелка с вещами. Она пришла в том, в чем была. Я смотрел вслед Регинину, как вдруг почувствовал, что горячая и потная маленькая рука взяла меня за палец, и девочка сказала:

– Давайте будем здесь жить, как в игре.

Трудно было понять, что она хотела сказать этими словами, но с тех пор жизнь в степи действительно пошла, как в игре, – то как явь, то как сон.

С тех пор страх за жизнь этого хрупкого, как стрекоза, существа держал меня за горло и за сердце и не отпускал, пока наконец Регинин не прислал за нами Торелли. Но это случилось, насколько я помню, не раньше чем через три недели.

Так я и жил в состоянии страха, отчаяния, жалости и умиления. Все эти чувства слились в одно, не имевшее имени. Оно то ослабевало, то захлестывало болью даже от такого пустяка, как вытаскивание занозы из худенького и дрожащего пальца.

Но в конце концов у меня на руках была маленькая доверчивая жизнь, и я взял себя в руки. Тем более что у меня осталось очень мало продуктов, совсем не было мыла и, кроме моей потрепанной кожаной куртки, ничего не нашлось, чем бы укрыть девочку. А ночи уже холодели, и запах осени все чаще проникал на рассветах в комнату.

До сих пор я не понимаю, почему я в те дни не поседел от отчаяния. Я боялся всего: палящего солнца (мне все время чудились солнечные и тепловые удары у девочки), обрыва над морем (ей ничего не стоило сорваться с него и разбиться насмерть, и потому я благословлял ступеньки, выкопанные мной в твердой глине), холодных ночей (девочка наверняка должна была простудиться), штормов с их ветрами, голода (я подсчитал, что продуктов нам хватит всего на семь дней).

Все книги, все созерцания и счастливые мысли вылетели у меня из головы. Их как будто и не было. И, должно быть, от чрезмерного страха я даже не замечал в первые дни, что девочка все время мне помогает – собирает щепки и сухой бурьян для очага, подметает дачу и сад полынным веником и приносит в жестянке от консервов воду из родника. Правда, она несла ее почти час, чтобы не расплескать ни капли.

Она редко меня о чем-нибудь спрашивала и предпочитала догадываться обо всем сама без моей помощи.

Она почти не плакала. Но однажды, когда с обрыва сорвался камень и поранил ей ногу, она рыдала так отчаянно, как может

рыдать брошенный ночью на пустыре ребенок. Она вся дрожала и цеплялась за мою шею, когда я перевязывал ей чистой тряпочкой горячую окровавленную ногу.

Я, конечно, понимал, что плачет она не оттого, что камень ушиб ее и поранил, а от непомерного горя, что накопилось в ее жизни за последние дни.

Самое ужасное заключалось в том, что нельзя было зарыться мокрым от слез, горячим лицом на маминой груди и, всхлипывая и несвязно жалуясь, понять, что во всем мире есть только один человек, который может отдать ей всю свою ласку, любовь и защиту. И этот человек – мама.

Но мама лежала в тяжелой горячке в Одессе. Мама, может быть, даже умерла. Об этом нельзя было подумать, чтобы не умереть самой. И обе они – и мама, и она – жалели теперь о каждом часе, когда разлучались в прошлом. Потому что им оставалось на час меньше любви друг к другу, и на час ближе подходила та черная ненужная пропасть, какую люди зовут смертью.

Я был уверен, что именно такое состояние было у девочки, и не знал, что сделать, чтобы заставить ее хотя бы изредка засмеяться. Пока она только чуть-чуть улыбалась, но я был уверен, что она это делала, только чтобы меня успокоить.

Тот, у кого нет детей, никогда не поймет, как близко от нас, где-то совсем рядом, лежит бессмысленный мир трагических случайностей. И вряд ли поймет, что такое всепоглощающая любовь.

Надо было жить, конечно. Жизнь наша была суровой. Но я так был поглощен заботами, что не замечал этого.

А забот появилось столько, что я, пожалуй, не смогу их все перечислить.

Во-первых, умывание. Купались мы в море, но после этой необъятной чаши воды, брызжущей в лицо едкой солью, надо было обмыться пресной и ледяной водой из родника.

Мыла не было. Приходилось оттирать лицо и руки мелким песком. Но через несколько дней я заметил в обрыве у самого пляжа вкрапленную в известняк полоску синеватого окаменелого ила.

Я с детства помнил бруски мыла «Кил». Оно прекрасно мылилось в морской воде и делалось из какой-то синей крымской глины. Я даже помню этикетку севастопольского мыловаренного завода Харченко с рисунком якоря и портретом пышноусого дяди – владельца завода, который осчастливил человечество изготовлением мыла «Кил».

Я отковырял несколько кусочков синей глины и попробовал потереть ею мокрые руки. Руки покрылись слизью. Я смыл слизь и увидел под ней совершенно чистую кожу.

– Это кил! – крикнул я Кире.

– Кил, кил, кил! – впервые закричала она, прыгая около меня на здоровой ноге.



Реклама мыла «Кил»

Молодая рыбачка с пышным именем Кларисса – ей первой я предложил свой чудодейственный кил – долго, посмеиваясь, с ужасным укором смотрела на меня и говорила:

– Ой, не смешите меня! Ой, не дурите меня, молодой человек! Здравствуйте, пожалуйста, я ваша тетя. Так то же обыкновенный

Кира собирала кил, размачивала его, месила, как тесто, лепила из этого теста маленькие бруски и сушила их на солнце. Наконец-то я выстирал с величайшими предосторожностями свою рубашу и единственный Кириный красный сарафан. Тут же мы высушили все это на песке.

Правда, половина ниток в сарафане приобрела после стирки чистый серый цвет, и кое-где появились дыры, но зато от сарафана долго пахло морем.

Я обнаглел до того, что пошел с Кириной на 16-ю станцию Фонтана и захватил с собой несколько брусков самодельного мыла. Я надеялся обменять его на продукты.

кил. Его тут – как морской воды. А вот дочка ваша правда красивенькая, как абрикос.

Я объяснил Клариссе, кто такая Кира.

– Пойдите тут! – приказала Кларисса, вытерла потные губы короткой рваной юбкой и ушла на огород. Она принесла оттуда в кошелке помидоры, баклажаны, морковь, перец и две большие кисти винограда.

– Ну, годи! – сказала она по-украински. – Давайте, так и быть, ваш кил и забирайте все это себе вместе с кошелкой.

Я начал ее благодарить.

– Здравствуйте, пожалуйста, я ваша тетя! – сказала она удивленно. – Что это вы? Сказались? Сегодня я уеду до своего батьки. Он рыбалит на Санжейской косе. А когда ворочусь недельки через две, вы приходите до меня, Непременно. Будем с вами знакомы. Я же знаю, вы живете около башни Ковалевского.

Она протянула мне шершавую маленькую руку. Мне почему-то захотелось подольше задержать эту руку в своей. Она, смеясь, вырвала руку и сказала:

– Не годится так со мной жартовать! А то я возьму да и поверю. Ступайте, только разок оглянитесь. Из вежливости.

Я ушел. Один раз я оглянулся, увидел смеющиеся глаза и зубы Клариссы и решил больше сюда не приходиться.

Прошло всего несколько дней, и жизнь как-то сама по себе улеглась, устоялась. Я снова мог читать и начал рассказывать Кире на пляже все, что приходило мне в голову.

Нельзя сказать, что это были сказки. Нет, то были совершенно реальные и ни в какой мере не оторванные от действительности рассказы по любому случаю. Если нужны примеры, то беру первый попавшийся.

Кира находила в песке осколки бутылочного стекла, обкатанные морем. Она принимала их за драгоценные камни. Она никак не хотела поверить, что это простое стекло, которым на окраинах Одессы завалены все пустыри.

В какой-то мере она была права. Если бы стекла было на земле так же мало, как алмазов, и наоборот, если бы алмазов было так же много, как стекла, то, конечно, стекло бы ценилось на вес золота.

Однажды Кира спросила меня, где люди выкапывают стекло, и мне пришлось рассказать ей, что стекло не выкапывают, а делают из песка. Я начал рассказывать ей об этом и через полчаса с ужасом поймал себя на том, что рассказываю совершенно не то.

Я рассказал ей, как внутрь стеклянного шара запаяли единственное семечко редчайшего черного тюльпана и привезли его на корабле в страну Голландию, и как из-за этого семечка началась кровавая война между цветоводами, и как она окончилась только потому, что двухлетний мальчик незаметно ушел от заболтавшейся няньки и сорвал выращенный из этого семечка черный тюльпан, в то время когда часовой, охранявший цветок, спрятался за полосатую будку, чтобы закурить на ветру трубку. Через много лет голландские женщины поставили этому мальчику памятник за избавление от братоубийственной войны. Потому что как только мальчик уничтожил единственный цветок, причина для войны исчезла. На этом памятнике мальчик был изображен разрывающим на части в непонятном детском азарте царственный черный тюльпан.

Я не заметил той черты, где рассказ о стекле вдруг превратился в вымысел. Отрезвление у меня пришло после первого же делового замечания Киры.

– Тюльпан растет не из семян, а из луковицы, я знаю, – сказала она. – У нас дома был тюльпан. Если его сорвать, то через год вырастет другой. А они были дурные, голландцы, и не знали об этом. Зря затеяли эту войну.

Она помолчала, вздохнула и добавила:

– А еще цветоводы!

Я покраснел. Никогда еще я так глупо не попадался со своими выдумками, даже в детстве. Кира смотрела на меня смеющимися прищуренными глазами.

Действительно, война между цветоводами не могла начаться из-за семян тюльпана. В крайнем случае, она могла вспыхнуть из-за луковицы.

С тех пор я твердо усвоил себе неписанный закон сказок и выдумок. Закон этот говорит, что в каждой, даже самой волшебной сказке, должна заключаться реальная основа.

Через каждые два-три дня мы ходили с Кирой за пять километров на Сухой лиман. Я сажал Киру в ничтожной тени от сухих кустов акаций на берегу, сам же переходил на плоские прибрежные камни и удил оттуда бычков. Эта ловля не имела ничего общего с развлечением, – бычки были нашей единственной рыбной пищей.

В Сухом лимане они плавали тучами. Мне надо было наловить каждый раз не меньше сорока бычков, так у меня было заранее рассчитано.

Я ловил, а Кира, безропотно сидя в тени, пыталась считать пойманных бычков. Считать дальше десяти она не умела, и потому после каждого десятка клала рядом с собой пустую ракушку. Когда набиралось четыре ракушки, она мне кричала об этом, а дальше счет вел уже я сам.

Кире, очевидно, нравилось это занятие. Но безропотно она сидела еще и потому, чтобы не выдвигаться из крошечной тени на все еще палящее августовское солнце.

Потом мы сообразили, что гораздо легче и приятнее ходить на лиман перед вечером. Особенно хорошо было возвращаться по бесконечным закатным пляжам, по самой кромке прибоя, где песок на минуту твердел после каждого наката волны. Хорошо было идти в бесконечную вечернюю мглу. Над ней в вышине горело розово-золотым лепестком одинокое облако.

У меня было немного муки. Я пек из нее пресные лепешки. Мука кончалась, и леденящий ужас уже закрадывался ко мне в сердце.

Я пошел на 16-ю станцию к Клариссе, но она еще не вернулась от отца. Ее сосед, пожилой рыбак, только засмеялся в ответ, когда я спросил, нет ли у него продажной муки.

Я собирался уйти, но он остановил меня.

– А ну, постойте, – сказал он, взял меня за рукав рубашки и пощупал материю. – Что это на вас за рубашка? Не иначе английская?

На мне действительно была надета английская солдатская рубаха табачного цвета. Я ее выменял на базаре на пайковый чай.

– А что? – спросил я.

– Так вот, слушайте, – таинственно сказал рыбак. – Идите в степ по шляху на Кляйн-Лебенталь. Там будет у самого шляха расти дикая груша, а за ней вправо – балочка. Вы сойдите в ту балочку и там увидите стежку. Идите той стежкой и достигнете до паровой мельницы, до млына. Вся та мельница не больше, як моя хата. Вам за эту рубаху отсыплют на той мельнице пять фунтов муки.

– Что-то много, – ответил я, сомневаясь.

– Там мельник особенный, – так же таинственно сказал рыбак. – Идите. Сами побачите. А вы, часом, не слышали ничего нового за политику? Живем сейчас, как кроты, – газету ухватишь раз в месяц.

В тот же день мы с Кирой пошли на мельницу.

Киру, конечно, не надо было бы брать с собой, но я побоялся оставить ее одну. И потому мы пошли вместе.

Пыль завивалась над шляхом. Пришлось идти по шляху, по этой пыли, чтобы не пропустить дикую грушу на повороте в балку. Раскаленная глиняная пудра жгла ноги даже сквозь подметки.

Кира шла медленно, потом начала хромать. Я взял ее на руки. Она обхватила черными, как у маленькой цыганки, руками мою шею и тяжело дышала.

Я с тоской смотрел по сторонам. Нигде до самого горизонта не было ни единого клочка тени, если не считать короткой и узенькой тени от телеграфных столбов с порванными проводами. Мы несколько раз немного отдохали в этой тени. Вокруг пылало белое пламя засухи.

Кира ни разу не пожаловалась. Она молчала, положив подбородок ко мне на плечо, и устало смотрела на степь. Там шли, сгибаясь под ярмом, сивые волы. Языки их были высунуты до самой земли. Они тяжело хрипели и часто останавливались. Возница с отчаянием и со слезой в голосе кричал им «цоб-цобе» и бил их по пыльным бокам корявой палкой. На потной воловьей коже палка оставляла следы, похожие на ассирийскую клинопись.

Под грушей отдохали долго. Ее листья трещали на ветру, как жесткие надкрылья жуков.

По сухой известковой балке мы наконец дошли до мельницы, вошли во двор, обнесенный высокой стеной из «дикаря», и сразу

же сели в тени этой стены и так просидели, может быть, час, а может быть, и два в каком-то оцепенении.

Двор был пуст. Никто к нам не вышел. Над черепичной крышей мельницы дымила жестяная труба, и где-то осторожно шипел пар.

Потом во двор вышел удивительный мельник. То был старик, весь в муке, со старомодной чеховской бородкой и в пенсне. Стекла его были захватаны белыми от муки пальцами.

Старик подошел к нам, снял пенсне и долго разглядывал меня и Киру.

Потом, ничего не спросив, ушел и вынес нам кувшин холодной воды. Мы пили, закрыв глаза, чувствуя, как свежесть разливается до самых кончиков ногтей.

Старик дожидался, пока мы опростаем кувшин, равнодушно смотрел на нас и молчал.

– Вы мельник? – спросил я его, окончив пить.

– Нет, – ответил старик. – Я винодел.

– Почему вы ничего меня не спрашиваете? – сказал я и подумал, что передо мной, должно быть, душевнобольной человек.

– Потому что я знаю, чего вы хотите, – ответил старик, и в глубине его глаз вдруг засветилась медленная лукавая улыбка.

– Как же это сделать? – спросил я и показал на свою английскую рубашку. – Больше у меня ничего нет.

– А в чем же вы пойдете обратно? На солнце больше пятидесяти градусов.

– Я посижу здесь до вечера. Дома у меня есть еще одна рубаха, но только рваная.

– Почему же вы ее не надели?

– Не знаю, – безразлично ответил я. – Я устал. Четыре дня не ел хлеба.

– А девочка?

– У девочки до вчерашнего вечера были сухари.

– Сидите здесь! – сказал старик и снова ушел.

Его долго не было. Зной, очевидно, достиг предела. Я судил об этом по глухому звону, стлавшемуся над степью. Как будто зудели миллионы жуков, попавших в мед.

Вместо старика вышла старая женщина – тоже вся в муке – и принесла нам шесть помидоров, соль в тряпочке и два куска свежего хлеба. Мы съели все это до последней крошки за несколько минут и уснули.

Я проснулся, когда тени от солнца, длинные, как изнуренные руки, лежали на сизой земле. Солнце гасло в пыли. Из балки потянуло слабой прохладой и даже как будто запахло водой.

Около меня стояла старая женщина.

– Вставайте, – сказала она. – И разбудите девочку. На закате спать вредно. Можете схватить лихорадку. Это вам от Казимира Петровича.

Она опустила на землю рядом со мной тяжелый мешочек муки.

Я вскочил.

– Спасибо! – сказал я, расстегнул свою рубаху и начал торопливо стаскивать ее через голову.

– Не надо, – сказала женщина. – Мы не обедняем. Потом отдадите. Что это вы? Бог с вами!

Я, сам не ожидая этого, обнял старую женщину и поцеловал ей руку. Я хотел поблагодарить старика, но женщина сказала, что он куда-то ушел. Куда он мог уйти в этой степи, плоской, как исполненное блюдо!

Кира долго молчала, никак не могла окончательно проснуться. На шляхе мы встретили мажару. Она везла на мельницу два мешка с пшеницей. Очевидно, из-за жары мельница работала ночью.

Потом Кира почувствовала под сожженными пятками нежащую остывающую пыль на шляхе и засмеялась.

– А воробьи, – сказала она, – купаются в пыли. Я сама видела. Я бы тоже выкупалась, но только вы не позволите.

Она, конечно, хитрила, и это было видно по ее прищуренным глазам.

Жаркие дни медленно сменялись, но ни Регинин, ни Торелли не приходили за мной и за девочкой. Я начал уже всерьез беспокоиться, не случилось ли чего-нибудь с матерью Киры. Кира тоже заскучала и начала просить меня, чтобы я отвел ее домой, в Одессу. Я же всячески заминал разговор о возвращении и прикидывался беспечным и веселым.

Наконец я сдался и совсем уже выбрал время, чтобы возвращаться в город, но случилось довольно глупое обстоятельство. Оно разрушило мои планы.

Дело в том, что, несмотря на кражу дров в Аркадии с Яшей Лифшицем, я вовсе не вор, никогда им не был и вряд ли им буду.

Но на 16-й станции мне пришлось еще раз своровать, на этот раз не дрова, а самые обыкновенные помидоры.

У меня не осталось ничего, что бы поменять на продукты. Про свою старую рубаху я старику мельнику соврал. Почему – сам не знаю. Слабую надежду на то, что Кларисса еще раз сжалится над девочкой и даст немного овощей, пришлось отбросить. Во-первых, Кларисса до сих пор не вернулась от своего батьки, а во-вторых, я понимал, что при возможных женских надеждах Клариссы на меня одалживаться у нее нельзя.

Воровать помидоры я пошел ночью и, понятно, ничего не сказал об этом Кире. И получилась чепуха. По своей близорукости я споткнулся в темноте, старый сторож по прозвищу Будка-Халабудка вскрикнул, выстрелил и всадил мне в спину пониже лопаток заряд куяльницкой грязной соли.

Старый сторож был так удручен своим метким выстрелом, что решил загладить вину и подарил мне корзину отборных помидоров. Выходило, что я пострадал совершенно зря.

Соль, разлетаясь веером, задела меня очень слабо. Но все равно боль была адская. Битых два часа я примачивал ранки пресной водой из родника, закидывая себе за спину мокрую тряпку. Я не перевязал ранки: не было ни кусочка бинта, – а только сидел два дня в тени без рубахи, пока ранки не затянулись. Кире я сказал, что сорвался с обрыва и исцарапал спину.

Через несколько дней после этого происшествия на 16-ю станцию пришли Торелли и Изя Лившиц.

Торелли пришел за Кирой. Жена Регинина уже поправилась и только капризничала и плакала от голода и оттого, что ей сбрили темные матовые косы. А Изя Лившиц пришел сообщить мне, что пора возвращаться в «Моряк».

Я вернулся в Одессу с тем же чувством тоски, с каким возвращался в гимназию после вольного и короткого лета. Я врался об-

ратно, на 16-ю станцию, на свое побережье, и если бы не было стыдно, то я наверняка бы втихомолку всплакнул.

Так окончилась эта маленькая история. Но, пожалуй, полный конец наступил позже, в 1947 году, на книжном базаре в Доме писателей в Москве.

Регинин подвел ко мне высокую женщину, очень сдержанную и спокойную, и сказал.

– Вот! Пожалуйста! Это та самая Кира, из-за которой вам вlepили в зад добрый заряд соли.

Кира покраснела и протянула мне руку.

– Вы помните, как мы жили на Фонтанах? – спросил я.

– Да, – неуверенно ответила она. – То есть если говорить по правде, то помню едва-едва. А ваше лицо я совсем забыла.

Мне стало почему-то немного грустно, и я, чтобы не молчать, спросил:

– А что вы делаете теперь?

– Я окончила институт и состою в аспирантуре. Я замужем. Походите, я познакомлю вас со своим мужем.

Она отошла от меня. Я подождал несколько минут, но она не возвращалась. Тогда я тихо ушел из Дома писателей и потом не мог самому себе объяснить, почему я исчез, стараясь быть незамеченным.

«Прощай, моя Одесса, славный карантин!»

Я стремился обратно на Фонтаны потому, что наступала уже осень. Вторая осень в моей одесской жизни.

Я был тогда уверен (да, пожалуй, и сейчас готов согласиться с этим), что из всех осенних времен, пережитых мною, одесская осень была одной из самых лучезарных. И не только в степи и на дачах, на Фонтанах с их опустелыми садами, но и в самом городе.

Точное описание одесской осени я нашел в стихах (теперь я не помню, где читал их):

Осенний воздух тонок и опасен,
Иной напев, иной порядок дней.

И милый город осенью прекрасен
И шум его нежней...

По утрам запах вянущих левкоев стоял на улицах, еще погруженных в тень. Но ни в садах, ни в палисадниках я не видел левкоев. Очевидно, это пахли не левкои, а просто утренние тени, или только что политые мостовые, или, наконец, слабый ветер. Он задувал с открытого моря. Он прилетал со стороны Большефонтанского маяка, пробежал крадучись через степные бахчи, наполнялся сладковатым ароматом вянущей ботвы, потом с трудом просачивался через пышные заросли Французского бульвара и пробирался вдоль пригородных берегов, где на крышах рыбацких лачуг сушились дынные корки и дозревали помидоры.

Все это сообщало ветру тот запах, о каком я здесь упоминаю, – освежающий и чистый. Воздух был действительно тонок и опасен. Но не потому, что от этого воздуха легко было простудиться, а потому, что, вдохнув его, уже нельзя было избавиться от желания, чтобы такая осень стояла, не иссякая, над Одессой с ее мягким уличным говором и смехом.

В южных городах люди не стесняются улицы, как это бывает на севере. Поэтому на юге улицы простодушнее и лиричнее. Там они легко делаются ареной для проявления человеческой доброты, шутильвости и любопытства.

Я назвал одесскую осень лучезарной. Я слышал это слово еще в юности («лучезарные вечера» Тютчева), но долго не знал его точного смысла.

Только в пожилом возрасте я узнал, что это слово обозначает спокойный, бестрепетный, все озаряющий свет солнечных лучей и чаще всего применяется к свету вечернему или осеннему.

Одесская осень была лучезарна в полном значении этого слова. Тихий розовеющий свет наполнял улицы. Этот розовеющий свет происходил не только от постоянной дымки в воздухе, но еще и оттого, что солнце шло все ниже над горизонтом, свет его постепенно терял силу и окрашивался уже с самого утра в красноватые оттенки заката.

Но вскоре ясная осень сменилась туманами. Свет иссякал. Это печальное время совпало с неожиданным закрытием «Моряка».

У Союза моряков якобы не хватило денег на издание газеты. Деньги, конечно, можно было добыть – газета пользовалась необыкновенной популярностью. Секрет заключался в том, что официальный ее редактор, сивоусый и вечно кашляющий от нерешительности отставной морской капитан Походкин, боялся собственной газеты, как чумы, боялся всех нас, ее сотрудников, всячески старался избавиться от газеты и искал поводов для того, чтобы ее прикрыть.

Походкин не мог придумать ничего лучшего, чем устроить по случаю закрытия «Моряка» поминки по газете у себя на даче в Аркадии.

Мы пришли на этот небольшой банкет раздраженные, взвинченные, с подсознательной целью устроить скандал.

Для этого нам была нужна любая, хотя бы пустяковая придирка. И она, конечно, нашлась, и к тому же оказалась совсем не пустяковой.

Наше раздражение усилилось, как только мы вошли в дачу: во всех комнатах стоял слабый, но ядовитый керосиновый чад.

Оказалось, что капитан Походкин занимался разведением цыплят. Он с гордостью показал нам шеренгу инкубаторов, стоявших на теплой террасе. Керосиновые лампы под ними потрескивали и чадили.

Мы все, влюбленные в море, в портовую жизнь, в корабли, в колдовство мореплавания, встретили известие об инкубаторах и цыплятах как тяжкое оскорбление морской профессии, оскорбление нашей мечты.

Вместо первого тоста Багрицкий прокричал яростную речь против «липовых» моряков, против обывателей, против людей, ушедших в тухлый мир инкубаторов от морской вольности, от шума ветра в вантах, похожего на шум пространства в створках раковин, от великолепной по своей неожиданности жизни.

Тогда вскочил Женька Иванов, опрокинул стул и закричал, брызгая слюной от возмущения:

– Товарищи! Эта росомаха в морском кителе (он гневно ткнул пальцем в сторону капитана Походкина), этот тещин тюфяк закрыл нашу замечательную газету! Ради чего? Ради того, чтобы спокойно высиживать на продажу рахитичных цыплят. Я считаю это не только безобразием! Это позор, требующий возмездия! Поэтому я призываю всех: бейте инкубаторы! Вдребезги! В дым! В пороховую пыль! Я один отвечаю за все!

Нельзя объяснить только нашим опьянением то обстоятельство, что мы за несколько минут переломали и разбили почти все инкубаторы. Из керосиновых ламп столбами валила жирная копоть. Капитан Походкин бил себя в грудь, рвал с мясом золотые пуговицы на кителе и покаянно кричал:

– Правильно! Заслужил! Отрекаюсь!

Жена его, коротышка, вся в мелких рыжеватых кудряшках, хватала нас за руки, ломала нам в бессильной злобе пальцы и яростным шепотом говорила:

– Шпана! Всех засажу! Вы у меня сухими из воды не выйдете! Зарубите у себя на носу!

Неизвестно, чем бы окончилась эта нелепая история, если бы не вмешалось море. Дача капитана стояла вблизи береговых скал. На эти скалы накатывался в тот вечер шторм. И вот у одной из скал раздался раскатистый взрыв, дом дрогнул и затрясся, с веселым звоном вылетели все стекла, и капитан, подняв руки к небу, закричал:

– Тихо! Без паники! Мина взорвалась у скалы. Заслужил! Правильно! Эта квочка, – он затопал ногами на жену, – сделала из меня вермишель.

После взрыва мины мы тотчас разошлись. Мы почти бежали, стараясь поскорее отойти от ненавистного дома, зиявшего выбитыми стеклами и все еще распространявшего керосиновую вонь и копоть.

К зиме я остался на Черноморской совершенно один. Пока стояла сухая осень, в дворницкой было тепло, даже уютно, но в первые же сильные дожди она вся отсырела, как плохо отжатая губка. По ее стенам ползли темные мокрые разводы. Запахло сы-

рой известкой и мелом, и откуда-то начали вылезать толпы хилых, едва двигавшихся пауков.

Надо было переселяться в сухое место. Но куда? Выручила меня машинистка из «Моряка» Люсьена. После закрытия газеты она поступила в художественную артель, где шила из холстины дамские шляпы. Артель занималась чем угодно, лишь бы за это платили деньги: изготавливала шляпы, деревянные зажималки, шила дамские лифчики, рисовала вывески для учреждений и плакаты на фанере для кино, делала таинственный порошок, вполне заменявший дрожжи.

Артель помещалась в первом этаже бывшего магазина готового платья «Альшванг и Компания». Второй этаж магазина, где в старые времена были закройная и примерочные, стоял пустой и холодный.

Люсьена надоумила меня поселиться во втором этаже явочным порядком. Артель против этого не возражала: если в магазине кто-нибудь ночевал, то было больше шансов, что артель не обворуют.

У Альшванга было сухо, но холод стоял такой же, как на улице. А зима в том году началась с упорных ледяных нордов. Город быстро заледенел, и каждое утро его посыпало твердой снежной крупой.

Я переехал к Альшвангу. Дворницкую я запер и ключ взял с собой – до весны, до первых теплых дней.

В примерочной я приспособил к вентиляции свою заслуженную «буржуйку». Спал я на широкой зеркальной двери, снятой с петель. Я клал ее на ящики со стружками. Старый тюфяк сползал со скользкого зеркала по несколько раз за ночь, и я падал вместе с ним на каменный пол.

После закрытия «Моряка» я начал работать в газете «Станок». От того времени у меня осталась память о темной, как подвал, промозглой редакции и о множестве мальчишек-курьеров, которым совершенно нечего было делать. Добрейший редактор газеты Курс (он изображал из себя непреклонного и беспощадного комиссара) набирал этих мальчишек без счета и давал всем им хлебные карточки.

Мальчишки за полным отсутствием работы все дни напролет играли в крестики и в «подкидного дурака». Но они хоть не голодали.

Да, зима была угрюмая. Порт замерз. За маяком стоял во льду болгарский пароход «Варна», доставивший в Одессу груз маслин. Маслины тоже замерзли.

Своих пароходов еще не было. С корабельного кладбища привели в судоремонтные мастерские два старых парохода и начали их восстанавливать. Один пароход назывался «Димитрий», другой – «Пестель».

Что это была за работа, можно судить по тому, что на «Димитрии» надо было поставить три сотни заклепок, но за два месяца в Одессе не нашлось ни одной заклепки. По этому поводу в «Станке» было напечатано жирным шрифтом письмо в редакцию одного из рабочих судостроительных мастерских под укоризненным заголовком: «Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем!».

У меня появилось ясное ощущение, что жизнь в Одессе исчерпана. Такое чувство бывало у меня уже несколько раз в жизни и никогда не обманывало, – значит, надо было уезжать. Но никаких возможностей для этого не представлялось: ни денег, ни командировок.

Однажды в серый и унылый зимний денек в редакцию «Станка» ворвался мимо мальчишек, азартно игравших около чугунной печурки в «свои козыри», Изя Лившиц. Он крикнул, что «Моряк» возобновляется и что через неделю уже надо выпустить первый номер.

Оказалось, что старые моряки-подпольщики и большевики добились возобновления газеты.

Этому предшествовали некоторые удивительные обстоятельства.

Женька Иванов так затосковал без «Моряка», что слег, два месяца лежал без движения и даже отказывался разговаривать.



Газета «Станок». 1921 г.

Марина билась изо всех сил, чтобы прокормить его и девочек. «Психопат! – говорила она о муже, но слезы гордости за него тотчас появлялись в ее черных глазах. – Поищите такого второго чудака во всем мире. Вы знаете, что он сказал? «Такие газеты, как наш «Моряк», не умирают».

Мы на радостях расцеловались с Изей. Разъяренный редактор Курс выскочил из своего кабинета в коридор. Мальчишки бросились врассыпную.

Курс кричал, что не отпустит меня, что это саботаж, вредительство, подвох и, наконец, контрреволюция. Мы с Изей только хохотали в ответ. Курс махнул рукой и покорился.

Сколько раз я уже убеждался, что ничто хорошее не повторяется. Если и следует ждать хорошего, то каждый раз, конечно, не похожего на пережитое. Но человек так неудачно устроен, что все-таки ждет прекрасных повторений, ждет воскрешения своего собственного прошлого, которое, смягченное временем, кажется ему пленительным и необыкновенным.

Я вернулся в «Моряк». Но он уже был другим. Что-то изменилось. Уловить это изменение я сразу не мог, но газета стала суше, а жизнь редакции – чуть скучнее.

Поэтому я был счастлив, когда Иванов предложил мне поехать корреспондентом от «Моряка» по всем портам Черного моря, от Одессы до Батуми. Дело в том, что семьдесят заклепок где-то разыскали, пароход «Димитрий» вышел наконец из ремонта, и его послали на Кавказское побережье. То был первый рейс пока что единственного советского парохода от Одессы до Батуми, по местам, недавно очищенным от белых.

«Димитрий» вез мины, кое-какие продукты для Крыма и моряков, которые должны были налаживать работу в только что отбитых голодных и полуразрушенных портах.

Кроме того, «Димитрий» взял несколько пассажиров и около двухсот мешочников, ехавших в Крым за солью. В те времена это никого не удивляло.

«Димитрий» отваливал от Одессы в первых числах января.

Напоследок Одесса показала мне удивительное зрелище, вряд ли возможное в другом городе. Я говорю о похоронах знаменитого «Сашки-музыканта», так великолепно описанного Куприным в его «Гамбринусе».

В Одессе я привык перечитывать в газетах все, вплоть до объявлений. Никогда нельзя было знать, где встретятся перлы одесского стиля.

Я помню, как ошеломило меня одно похоронное объявление и своим содержанием и своим умелым набором. Выглядело оно так:

Рухнул дуб

ХАИМ ВОЛЬФ СЕРЕБРЯНЫЙ

и осиротелые ветви низко склоняются в тяжелой тоске.

Вынос тела на 2-е еврейское кладбище тогда-то и там-то.

Это было очень живописное объявление. Можно было довольно ясно представить себе этот «могучий дуб», этого биндюжника или портового грузчика – Хаима Серебряного, привыкшего завтракать каждый день фунтом сала,

«жменей» маслин и полбутылкой водки. Но всех особенно умиляли эти «осиротелые ветви» – сыновья и дочери могучего Хаима.

И вот однажды в «Одесских известиях» было напечатано объявление о смерти Арона Моисеевича Гольдштейна. Кажется, покойного звали именно так. В точности не помню. Никто не обратил бы внимания, на это объявление,



Хаим Серебряный (1856-1919)



если бы внизу, под фамилией «Гольдштейн», не было напечатано в скобках: «Сашка-музыкант» из «Гамбринуса».

До тех пор я был убежден, что почти все литературные герои вымышлены. Жизнь и литература в моем представлении никогда не сливались неразрывно. Поэтому объявление о смерти Сашки-музыканта несколько смутило меня.

Я перечитал «Гамбринус». Все в этом рассказе было точно, как протокол, и вместе с тем рассказ был гуманен до слез и живописен, как летний вечер на Дерибасовской.

Что же придавало этому рассказу то свойство, какое я не знал, как назвать – подлинностью искусства или благородной чувствительностью? Очевидно, благородная чувствительность и человечность самого Куприна сообщали этому рассказу черты большого искусства.

Мне было трудно поверить, что Сашка-музыкант, с детства бывший для меня литературным героем, действительно жил рядом, в мансарде старого одесского дома.

Мне посчастливилось. Я видел подлинную концовку рассказа «Гамбринус» – похороны Сашки-музыканта. Эту концовку донесла вместо Куприна сама жизнь.

Сашку-музыканта провожала на кладбище вся рабочая, портовая и окраинная Одесса.



Александр Иванович Куприн (1870-1938)

Худые лошади, часто останавливаясь от одышки и свистя бронхами, тащили черные дроги с гробом. Каждый раз толпа терпеливо ждала, когда лошади наконец отдышатся. Отдохнув, они сами, без понуканий со стороны рыжего возницы, влегали в постромки и, низко наклонив головы, тащили гроб дальше. Мутные слезы старости стояли в прекрасных глазах этих замученных лошадей.

Рядом со мной шел репортер «Моряка» старик Ловенгард. Он вспоминал, глядя на похоронных лошадей, как изредка Сашка-музыкант играл старинный цыганский романс «Пара гнедых, запряженных с зарею», а уличная певица Вера по прозвищу Марафет пела его так, что некоторые посетители «Гамбринуса» плакали навзрыд.

Рыжий возница курил махорку и виртуозно сплевывал на мостовую. Рваная кепка была надвинута у него на один глаз. Всем своим видом этот старик свидетельствовал, что жизнь уже не та, что была при Саше. «Какая жизнь, когда подковать этих несчастных коняг стоит чуть ли не миллион рублей! Раньше за миллион можно было купить все Ближние Мельницы со всеми их садочками, абрикосой, борщами и конями!».

За гробом шла большая толпа. Переваливаясь, брели старухи в теплых платках – те, что хорошо знали Сашу, когда были еще задорными красотками. Молодых женщин в толпе почти не было.

Женщины шли тотчас за гробом, впереди мужчин. По галантным правилам нищего одесского люда («То ж вам Одесса, а не какая-нибудь затрушенная Винница») женщин всегда пропускали вперед. За женщинами шли сизые от холода товарищи Сашки-музыканта.

Около входа в заколоченный «Гамбринус» процессия остановилась. Музыканты вытащили из-под подбитых ветром пальто инструменты, и неожиданная и грустная мелодия старомодного романса поплыла над притихшей толпой:



Здание «Гамбринуса». Преображенская, 32

Не для меня придет весна,
Не для меня Буг разольется...

Люди в толпе начали снимать шапки, сморкаться, кашлять и утирать слезы. Потом кто-то крикнул сзади сиплым и неестественно веселым голосом:

– А теперь давай Сашкину! Любимую!

Музыканты переглянулись, кивнули друг другу, бурно ударили смычками, и по улице понеслись игривые, скачущие звуки:

Прощай, моя Одесса,
Славный Карантин!
Нас завтра угоняют
На остров Сахалин!



Оркестр «Гамбринуса». Слева направо: пианист Игнат Вересковский, Сашка музыкант, баянист Константин Вересковский. 1910 г.

Я смотрел на толпу. Это были все бывшие завсегдатаи «Гамбринуса»: матросы, рыбаки, контрабандисты, кочегары, рабочие, биндюжники и грузчики – крепкое, веселое забубенное одесское племя. Что с ними случилось теперь? «Жизнь нас сильно погнула», – покорно соглашались престарелые морские люди. «Да и то сказать, жизнь никак не обдурит. Жизнь надо выдюжить, скинуть с горба в трюм, как пятипудовый тюк. Вот и скинули, а счастья пока что маловато. Да и не дождешься его – не тот уже возраст. Вот и Саша лежит в гробу, белый, сухой, как та обезьянка! А счастье пойдет молодым. Им, как гово-

рится, и штурвал в руки. Нехай живут вольно и по справедливости. Мы для прихода той вольной жизни тоже немало старались».

Ловенгард осторожно взял меня за локоть и сказал:

– Я первый привел Александра Ивановича Куприна в «Гамбринус». Он сидел, щурил монгольские глаза, пил водку и посмеивал-

ся. И вдруг через год вышел этот рассказ. Я плакал над ним, молодой человек. Это шедевр любви к людям, жемчужина среди житейского мусора.

Я не знал, что Ловенгард был знаком с Куприным, но с тех пор мне всегда казалось, что Куприн просто не успел написать о Ловенгарде.

Единственной страстью этого одинокого опустившегося старика был одесский порт. В газетах ему предлагали выгодную работу, но он всегда отказывался и оставлял за собой только одесский порт.

С утра до заката, в любое время года и в любую погоду он медленно обходил все гавани, подымался на пароходы и опрашивал моряков обо всех подробностях рейса. Он в совершенстве говорил на нескольких языках, даже на новогреческом. С одинаковой изысканной вежливостью он беседовал с капитанами и портовыми босяками. Разговаривая, он снимал перед всеми старую шляпу.

В порту его прозвали «Летописцем». Несмотря на нелепость его старомодной фигуры среди грубого на язык населения гаваней, его никогда не трогали и не давали в обиду. Это был своего рода Сашка-музыкант для моряков.

Одиннадцать баллов

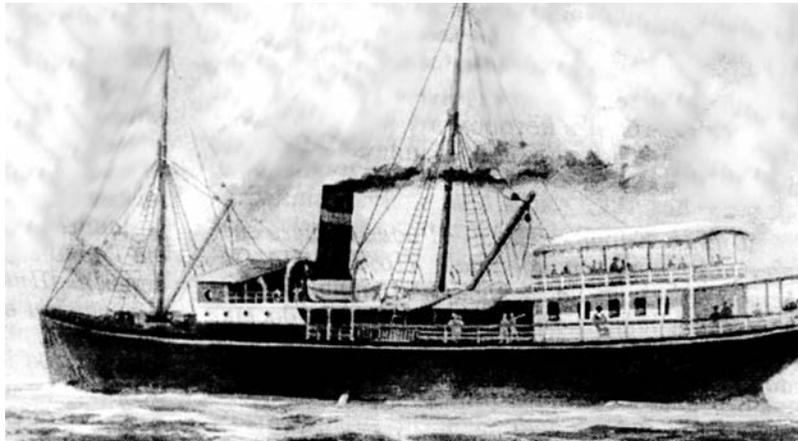
«Димитрий» погрузил в трюм корпуса плавучих мин для Севастополя, взял на палубу двести мешочников, ехавших в Крым за солью, и отошел из Одессы.

Провожал меня только Изя Лившиц.

Стоял холодноватый и тихий зимний день. На молах на месте вчерашних луж хрустели тонкие, как слюда, ледяные корки. Перепархивал редкий снег. Казалось, можно было пересчитать все снежинки.

Чайки, взлетая, били красными озябшими лапками по воде, будто для того, чтобы согреть их.

«Димитрий» стоял у мола, сильно накренившись. Вблизи он оказался меньше, чем представлялся сверху, с бульвара. Изю всех



Пароход «Димитрий». Начало XX века

щелей «Димитрия» сочился и зловеще шипел пар. От парохода тянуло запахом бани и прачечной.

Палуба была завалена мешками. На них сидели и лежали мешочки – замотанные по глаза платками женщины и мужчины в пахнувших дегтем сапогах.

Меня устроили в четырехместной каюте. В ней разместилось восемь человек. Четверо лежали на койках, трое – на полу, а один человек – речник с Волги – сидел в раковине умывальника, так как все равно воды в умывальнике не было.

Там он и спал. На ночь мы привязывали волгаря полотенцем к вешалке, ввинченной в стену, чтобы он не свалился на спящих. Но волгарь не роптал. Он чувствовал себя среди моряков стеснительно и старался оставаться в тени.

Все остальные обитатели каюты, кроме меня и волгаря, были военные моряки. С двумя – самыми молодыми – я спал на полу.

Лежавший рядом со мной бывший мичман, капитан Санжейского плавучего маяка, в первый же вечер нашего плавания сказал в пространство:

– Чистосердечно советую гражданским товарищам в случае каких-либо происшествий не отставать от нас, моряков.

Я промолчал, а волгарь расхрабрился и спросил:

– Вы думаете, будет опасный рейс?

– По всем данным, – с явным удовольствием ответил мичман, – «Димитрий» идет, как говорят французы, прямо в открытый гроб.

Мичмана резко одернул комиссар николаевского порта.

Но никаких признаков опасности пока что не было. Мы отвалили в легком морозящем тумане. Амфитеатр города, купол оперного театра, дворец Воронцова, потом Фонтаны и знакомая башня Ковалевского – все это, покачиваясь, медленно уходило во мглу и вскоре совсем исчезло. Тихо шумели, подгоняя друг друга, бесконечные волны.

В камбузе нашелся кипяток, и мы, сидя на полу, со вкусом напились чаю с сахаринном.

Вечером волны начали шуметь сильнее, но мирный запах пара и каменноугольного дыма и мерное качание парохода успокоило всех.

Я крепко уснул. Сколько времени прошло, я не знаю, но когда я проснулся, то мутно и далеко, будто за километр от меня, горела над умывальником лампочка, волгарь раскачивался и держался за края раковины, меня било плечом о дверь каюты, и все вокруг трещало на разные голоса. Было слышно, как «Димитрий» с тяжелым вздохом проваливался в воду и с трудом из нее вылезал.

– Ишь, штормяга! – неодобрительно сказал кто-то из моряков. – За час развел волну до семи баллов.

Но моряки были спокойны, и это подбадривало и нас, обыкновенных смертных.

В каюте было тесно и душно. Каюта внезапно толкалась, стараясь свалить нас всех в одну кучу, потом начинала дергать нас из стороны в сторону, вытирая нами, как швабрами, пол.

Молодой мичман приоткрыл дверь и заглянул в коридор. Там уже вповалку густо лежали мешочки, сбежавшие с палубы. Среди них стоял, упершись дрожащими ладонями в стены узкого коридора, старый еврей в длинном лапсердаке.

– Чего вы стоите? – сказал мичман. – Укачаетесь. Надо лечь.

– Разве вы не видите, пане, – ответил еврей, – что мне негде лечь?

Куда ехал этот местечковый старик, непонятно. Во всяком случае, он выглядел совершенно дико на морском скрипучем пароходе во время качки и ночного шторма.

Мичман вышел в коридор, растолкал спящих мешочников и очистил место для старика.

– Библейский персонаж из всемирного потопа! – сказал мичман, возвратившись в каюту.

Я лежал у стены и слушал, как валы, сотрясая пароход, ударяли в тонкий железный борт. Мне становилось не по себе. Странно было сознавать, что в четырех миллиметрах от твоего разгоряченного лица несутся во мраке горы ледяной осатанелой воды. И в каком мраке!

Я посмотрел на иллюминатор. Непроницаемая, как бы подземная тьма простиралась там, в первобытном хаосе непонятно огромных водных пространств.

Никто не спал. Все прислушивались. «Димитрий» резко потрескивал. Нельзя было понять, почему до сих пор не раскрошились в щепки трухлявые стены кают, полы и потолки, тогда как качка корезила, гнула и расшатывала все винты, болты, скрепы и заклепки.

Каждый раз, когда раздавался сильный треск, я взглядывал на моряков. Они были спокойны, но часто курили. Я тоже много курил, убеждая себя в том, что запас плавучести у нашего престарелого «Димитрия» гораздо больший, чем я, гражданский невежественный товарищ, предполагаю.

Все мы ждали утра. Но оно скрывалось еще страшно далеко в плотном, охватившем полмира, завывающем мраке.

Качка усиливалась. Пароход уже стремительно и сильно клало то на один, то на другой борт. Винт все чаще выскакивал из воды на воздух. Тогда «Димитрий» яростно трясся и гудел от напряжения.

– А не может нас выбросить таким штормом на берег? – неожиданно спросил волгарь, стараясь удержаться на умывальнике.

Моряки пренебрежительно промолчали. Только минут через десять суровый и вместе с тем добродушный комиссар николаевского порта ответил:

– Шторм уже погибает до десяти баллов. Конечно, все может быть. Но не надейтесь на берег. Чем дальше от него, тем спокойнее.

– Почему? – спросил волгарь.

– Потому что у берега пароход непременно подымет волной и разобьет о дно. Или о скалы. И никто не спасется.

А я-то, поглядывая каждые десять минут на часы в ожидании рассвета, мечтал, что мы сможем подойти к берегам северного Крыма и высадиться на них – на эту скудную щебенчатую и спасительную землю.

Среди ночи молодой мичман встал, натянул сапоги, надел кожаный плащ с капюшоном и небрежно сказал:

– Пойти посмотреть, что там у них делается наверху.

Он ушел, но скоро вернулся, весь мокрый, от капюшона до пят.

Никто его ни о чем не расспрашивал, но все напряженно ждали, когда он заговорит сам.

– Речь – серебро, а молчание – золото, – насмешливо промолвил мичман. – Ну, так слушайте. Волна валит через палубу. Смыло две шлюпки из четырех. Погнуло планшир. Дошло до одиннадцати баллов. Но это пока еще пустяки.

– Хороши пустяки! – пробормотал комиссар николаевского порта и сел на койке. – Рассказывайте! Что еще?

– Волнами повредило форпик, и у нас открылась некоторая течь...

– Донки работают? – тихо спросил комиссар.

– Работают. Пока справляются. Но машина сдает.

– Двигаемся?

– В том-то и дело, товарищ комиссар, что не выгребаем.

– Сносит?

– Так точно!

– К берегам Румынии?

– Так точно!

Комиссар встал и схватился за верхнюю койку.

– Так там же... – начал он и осекся. – Пойду-ка я к капитану и выясню.

Он ушел. Мы долго молчали.

– Весь анекдот в том, – сказал один из моряков, – что у этих самых берегов Румынии немцы во время войны разбросали огромные, просто роскошные букеты мин. Они там стоят до сих пор. Если нас тянет на эти мины...

Он не досказал, что тогда будет с нами, но и без него мы прекрасно это знали.

Комиссар возвратился и, не снимая кожаного пальто, сел на койку и закурил.

Снаружи с пушечным гулом била и шипела волна и пронзительно, все время набирая высоту, свистели снасти. От этого свиста леденела кровь.

– Дали SOS, – вдруг сказал комиссар и помолчал. – Бесполезно! В наших портах судов нет. А из Босфора в такой шторм никто носа не высунет, даже «Сюперб». Дошло до одиннадцати баллов. Так-то, приятели!

Все угрюмо молчали. Было слышно, как в коридоре плескалась вода. Ее налило с палубы через комингсы – высокие железные пороги.

Так прошел день, пришла в гуле урагана окаянная вторая ночь. Но шторм не стихал, и казалось, не стихнет до последнего дня этого мира.

На третий день наступило какое-то всеобщее оцепенение. Всех, даже старых моряков, очевидно, замотало.

На четвертую ночь я сидел с закрытыми глазами, упершись ладонями в пол, и считал размахи парохода. Иногда они делались слабее, и тогда я торопливо закуривал. Но это обманчивое затишье длилось недолго, сердце снова срывалось, замирая, и каюта взлетала и косо падала в невидимую пропасть.

А потом страшно медленно, останавливаясь и как бы раздумывая, не вернуться ли ей обратно, за потным иллюминатором начала наливаться сизая и скверная заря. Свист снастей дошел до осатанелого визга.

Дул норд-ост, «бич божий», как говорили моряки. От них я узнал, что норд-ост дует или три дня, или семь, или, наконец, одиннадцать дней.

В коридоре зашевелились и заговорили хрипылыми головами мешочники, заплакали измученные женщины. Какая-

то старуха все время исступленно бормотала за дверью каюты одну и ту же молитву: «Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас!». При сильных размахах парохода старуха, очевидно, пугалась, обрывала молитву и только быстро говорила: «Крепкий, помилуй нас! Крепкий, помилуй нас!».

Я решил впервые выйти на палубу. Моряки говорили, что в каюте гораздо тяжелее, чем снаружи.

Комиссар николаевского порта пошел вместе со мной.

– Вам одному нельзя, – сказал он. – Без меня вас просто не пустят на палубу. И, опять же, вас может смыть.

По косточку в воде, в тошнотворном запахе блевотины мы добрались среди лежавших прямо в воде и стонавших мешочников до узкого трапа. Он выходил на верхнюю рубку, а оттуда – на палубу.

Комиссар сильно нажал плечом на дверь рубки. Она распахнулась. Струей воздуха нас вышвырнуло наружу.

Я схватился за обледенелый канат и увидел то, что предчувствовал в темной каюте, – зрелище исполинского, небывалого шторма. Оно наполнило меня обморочным ощущением отчаяния и ужасающей красоты.

Я стоял перед штормом лицом к лицу – жалкая, теряющая последнее тепло человеческая пылинка, – а он гремел, нес стремительные железного цвета валы, рушил их в темные бездны, швырял в набухшее небо извержения брызг и холодного пара, накачивался тысячетонными холмами, рвал воздух и лепил с размаху в лицо липкой пеной.

Корма «Димитрия» то взлетала к облакам, то уходила в воду. Длинные и крутые волны вздымались и неслись от горизонта до горизонта. Они гнали перед собой буруны и открывали в провалах величественную и мучительную картину движения свинцовых водных громад – той ураганной обители, через которую мы должны были прорваться, чтобы остаться в живых.

– Смотрите! – крикнул комиссар и показал на море. Я ничего не понял и взглянул на него с недоумением.

– Смотрите, какие испарения! – снова прокричал он.

И тогда я увидел, как между гудящих валов вырываются из серо-зеленой воды, как пороховой дым из дула тысячи орудий, быстрые и злые струи пара.

Позже, в каюте, комиссар объяснил мне, что эти столбы пара всегда бьют из воды во время вторжения ледяных штормов в теплые морские пространства.

Потом я увидел впереди исполинскую стену разъяренного моря, катившуюся на нас с космическим гулом во весь разворот горизонта. Комиссар схватил меня за руку и втащил в рубку. Дверь захлопнулась намертво сама по себе.

– Держитесь! – прокричал комиссар.

В рубке стало темно. «Димитрий» треснул, понесся вверх по срезу водяной горы, потом остановился и ушел, дрожа, в воду по самый капитанский мостик. «Конец! – подумал я. – Лишь бы не закричать от страха».

Пароход глухо взвыл, повалился набок, и я увидел сквозь иллюминатор, как вода широкими водопадами сливается с палубы обратно в море.

– Что это было? – бессмысленно спросил я комиссара.

– Еще две-три таких волны, и прощай! – ответил он громко и посмотрел на меня отсутствующими белыми глазами.

Но ни вторая, ни третья такая волна не пришли. Море все так же ревело как бесноватое, но размахи «Димитрия» стали как будто меньше и спокойнее.

Мы отдышались и вернулись в каюту. Ветер уже не визжал, как недавно, а ровно гудел в снастях и трубе парохода. В неистовстве бури произошел неожиданный перелом.

В каюту заглянул боцман с обваренным от норд-оста лицом и сказал, что машина опять выгребает и мы, правда, медленно, но все же пошли против шторма.

Моряки повеселели. Они даже начали вытаскивать из своих кошелок и чемоданов кое-какие скудные продукты.

Я с наслаждением жевал кусок ячневой хлеба, когда вдруг с палубы сквозь шум бури, отплевываясь и задыхаясь, завыл пароходный гудок.

Моряки побледнели и вскочили. Вокруг на сотни миль бушевало только одно штормовое море. Что мог означать этот гудок?

Торопливо застегивая шинели, моряки бросились наверх, на палубу. Я тоже поднялся вслед за ними. Я приготовился увидеть воочию гибель «Димитрия», весь тот медленный ужас, что воплощен в одном коротком слове «кораблекрушение».

Но ничего страшного на палубе не случилось. Все так же остервенело ходило горами море. По юту бежали матросы в штормовых плащах, волоча канат.

– Почему гудим? – крикнул им комиссар.

– Земля открылась! – ответил один из матросов. – Тарханкут!

Комиссар выругался от неожиданности и пошел на мостик к капитану. Я вскарабкался вслед за ним по крутому скользкому трапу.

С капитаном я познакомился еще в Одессе. То был совершенно седой, необыкновенно худой и необыкновенно спокойный старик.

– Извините, – сказал он нам, – за беспокойство с гудком. Мой помощник стоял на вахте вместе со мной, увидел берег и на радостях дал гудок. Переполошил всех. Ему это, пожалуй, простиительно: он первый раз попал в такую штормягу.

– А вам, – спросил я, – часто приходилось бывать в таких передрягах?

– Где? – спросил капитан и отогнул угол брезентового капюшона на плаще, чтобы лучше слышать. – На Черном море?

– Да, здесь.

– Раз двадцать, – ответил капитан и застенчиво улыбнулся.

Его серые старческие глаза сильно слезились от ветра. Рука, лежавшая на планшире, дрожала.

– До войны, – сказал он, – в штормовую погоду не в пример было спокойнее плавать. А теперь море нашпиговано минами. Шторм их посрывает с якорей и носит как попало. Вот и жди, когда он подкинет тебе мину под днище.

– А я берега что-то никак не найду, – смущенно пробормотал комиссар, опуская бинокль. – Одна бешеная вода.

– Да сейчас вряд ли и увидите, – согласился капитан. – Он еще далеко. Вы смотрите на небо. Вон замечаете над самым горизонтом темную полоску на облаках? Там земля. Это своего рода отражение земли на пасмурном небе.

На мостик поднялся старший механик – человек с красным, как перец, гневным лицом.

– Аристарх Петрович, – сказал он умоляющим голосом капитану, – идите к себе в каюту и отдохните. Ветер падает. Машина пока что тянет нормально. В вашем возрасте не сходить третьи сутки с мостика и не спать – это, знаете, похоже на самоубийство. Команда хочет радио послать в управление пароходством и Марии Никитичне. С жалобой на вас.

– Ну, это положим, – капитан усмехнулся. – Без моего разрешения радист не передаст. А я, пожалуй, правда пойду прилягу. Часа через три войдем в бухту Караджи. Вот она, – он показал нам на карте полукруглую маленькую бухту к северу от мыса Тарханкут. – Там будем отстаиваться, переждать шторм. Так что до Караджи я, пожалуй, посплю. Извините меня, товарищи, – он подошел к трапу, но обернулся и спросил комиссара: – Это ваш матросский отряд у нас на пароходе? Шесть человек.

– Нет, не мой, – ответил, насторожившись, комиссар. – Они из Одессы. А что?

– Головорезы! Едут нахрапом, документов не показывают. У одного серебряный браслет на ноге. Следовало бы проверить.

– Проверю обязательно, – успокоил его комиссар.

– Жоржики! – добавил старший механик. – Сачки! Переодетая шпана. Оружие обвешаны до пупа. Только, спасибо, штормом их здорово стукнуло по башке, а то бы они галдели наперебой и резались в кости.

Механик ушел. Мы с комиссаром еще несколько минут постояли на мостике рядом со старшим помощником, заступившим вместо капитана на вахту.

Мы смотрели на бледно-свинцовое небо на востоке, на темную полосу на нем, похожую на струю неподвижного черного дыма. Если это было отражение земли, то до нее было еще далеко.

Хотелось еще побыть на мостике, но правила морской вежливости не позволяли нам этого, и мы спустились в каюту.

Внизу, в коридорах и каютах, стоял возбужденный шум. Все уже знали, что открылся берег и что нас меньше качает именно потому, что отдаленная и благословенная земля уже прикрывает нас своим крылом от ледяного норд-оста.

Среди ночи раздался длинный, убегающий грохот якорной цепи. Грохот этот повторился два раза. Это «Димитрий» становился на якоря в бухте Караджи около Тарханкута.

Мыс Тарханкут с давних пор пользовался дурной славой среди моряков. Море у Тарханкута никогда не бывало спокойным, очевидно, от столкновения в этом месте разных морских течений. Вода у мыса бурлила, и судорожная, хотя и недолгая, качка выматывала пассажиров и раздражала моряков.

Кроме того, у Тарханкута берега были предательские – низкие, опоясанные мелями и почти не видные с палубы, особенно в пасмурную погоду. Во время парусного флота здесь случались частые кораблекрушения, и это место получило зловещее прозвище «кладбища кораблей».

Мы стали на якоря. Нас уже качало спокойно и мягко, а по временам качка и совсем затихала. Тогда все вздыхали полной грудью.



Мыс Тарханкут

Я вышел на палубу. Ветер сек по лицу снежной крупой. Вокруг лежала чугунная тьма. В этой тьме на много миль к северу и югу гремел где-то рядом, не захлестывая в бухту, прибой. Потом вдруг медленной молнией загорелся огонь на Тарханкутском маяке, обвел седым лучом бурлящее море и погас до новой вспышки.

Я вернулся в каюту. Весь пароход уже спал непробудно и тяжело. Только молодой мичман открыл глаза, пробормотал, пытаясь и сейчас острить наперекор всему: «Мертвый сон на мертвых якорях», но тут же, кажется, упал головой на свой тощий чемодан и уснул. Я пишу «кажется» потому, что этого не видел: на последнем слове мичмана я как бы впал в бесконечную летаргию.

Утром мы увидели совсем близко от лязгавшего якорными цепями «Димитрия» красноватый берег. Очень возможно, что не было на всей земле более скудного места, чем эта спасительная для нас бухта Караджи.

Нагая солончаковая степь в редких пучках почернелой травы поблескивала полосками снега. Он слежался в углублениях и бороздах.

Даль, ровная, как натянутый шнур, уходила в глинистую муть. Над мутью косо неслись, сбрасывая заряды снежной крупы, низкие тучи. Ни человека, ни птицы, ни развалин лачуги, ни колодца, даже ни одного камня, похожего хотя бы на могильный, не было видно на этой коричнево-черной земле.

Людей обвиняют в неблагодарности, и большей частью не зря. Но тогда, после жестокого шторма, у меня появилось искреннее чувство благодарности к этой бухте и к ее убогой земле.

По библейским понятиям, она была проклята богом отныне и до века. Но она закрыла нас своим иссохшим и бесплодным телом от беспощадной стихии. Волны, обезумев от ярости, били совсем рядом в берега с такой силой, что они сотрясались.

Комиссар николаевского порта одолжил мне морской бинокль. Прячась за каким-то теплым железным кожухом, я долго рассматривал берега, надеясь увидеть людей. Но ни людей, ни других признаков жизни нигде не было видно.

Невозможно было поверить, что это действительно крымская земля, Таврида, что в каких-нибудь ста километрах отсюда благоухающее солнце греет листву буковых лесов.

В бухте Караджи мы простояли четыре дня. Шторм упорствовал, не стихал, и каждый раз при виде оловянного моря, ревущего без всякой надобности и смысла, начинала саднить на сердце тоска.

«Димитрий» за эти четыре дня стал похож на брандвахту – общежитие для всякого портового люда и отставных моряков, где они ютятся со своими замызганными и бранчливыми семьями.

Такие брандвахты существовали почти во всех больших портах. Под них отводили устаревшие, изношенные пароходы. Их ставили на причал в самом отдаленном уголке порта, чтобы они не портили своим видом современный пейзаж.

Брандвахты мигом обрастали принадлежностями сухопутного, главным образом кухонного быта – жестяными трубами от печурок, веревками для просушки белья и самим бельем – разноцветным, почему-то главным образом фиолетовым и мутно-розовым, – цинковыми погнутыми корытами, решетчатыми ящиками, где почмокивали кролики с глазами, как из красной смородины, престарелыми котами, что мылись на салингах с видом отставных адмиралов, щенками, лаявшими на чаек, что подбирали вокруг брандвахты отбросы.

За четыре дня стоянки «Димитрий» сразу же оброс стиранным бельем. Стирали его без мыла, забортной водой. Поэтому оно было покрыто желто-серыми пятнами и разводами. Отовсюду уже тянуло густым запахом жилья.

Во время шторма мешочники безучастно смотрели, как бесценное их добро летело в море. Иные мешочники даже помогали матросам.

Но сейчас, когда страх смерти прошел, мешочники начали роптать и обвинять капитана в самоуправстве. К тому же нечего было есть.

Капитан, пользуясь правилом «об аварии на море», приказал открыть трюм, где мы везли для Крыма немного ячневой крупы. Крупу роздали пассажирам. Варить ее было нельзя: камбуз из-за шторма не работал. Кроме того, уже не хватало пресной воды.

Крупа была густо перемешана с мышиным пометом. Пассажиры занимались тем, что перебирали эту крупу, а потом съедали ее сухой, как едят семечки.

Воду на «Димитрии» берегли. На каждого в сутки выдавали только по литру этой пахнувшей железом, мутноватой воды со дна цистерны.

Еще гимназистом я читал о традиционных бунтах на парусных кораблях, о пистолетном дыме и капитанах, выброшенных в море мятежной командой. Но никогда, ни при каких обстоятельствах и ни при какой погоде, я не мог вообразить, что буду свидетелем такого бунта в двадцатом веке, на нашем мирном Черном море, у берегов благословенного Крыма.

Начали бунт шесть «жоржиков» – матросов в широченных брюках-клеш. К ним присоединилась часть мешочников.

– Почему стоим четвертые сутки? – кричали матросы.

Им объясняли, что шторм еще не стих, что между Тарханкутом и Севастополем тянутся оставшиеся после войны обширные минные поля и по ним идти в такой шторм – безумие.

Матросы и мешочники послали к капитану делегатов, но капитан, выслушав их, сказал, что пароход все равно будет отставаться сколько нужно и незачем пассажирам соваться не в свое дело.

– А с голоду подышать – наше дело? – зашумели матросы. – Другие капитаны напролом по минам идут, ничего не боятся! А нам что ж, давать дуба из-за этого тютя капитана! Пусть подымает пары и снимает. А то разговор у нас с ним будет короткий. За борт – и амба! Даем полчаса на размышление. За свою шкуру дрожит, старый хрыч, на нас ему начихать! Сами поведем пароход! Подумаешь, большое дело!

Мешочники, бегая злыми глазами, поддакивали матросам, хотя и побаивались, поглядывая на море. Оно все еще несло в небольшом отдалении от нас вереницей стремительных пенных валов.

На третий день стоянки в Караджи к нам в каюту постучал боцман «Димитрия». Он вполголоса сказал, что матросы и часть мешочников собрались около каюты капитана, шумят, ломаются в дверь каюты и грозятся выбросить старика капитана в море.

Комиссар николаевского порта встал, натянул шинель, взял маузер, приказал нам без нужды до его выстрела не подыматься на палубу и вышел вместе с боцманом. По лицу у комиссара ходили железные желваки: он был взбешен.

Мы ждали выстрела, но его все не было. Вскоре до нашей каюты дошли дикие слухи. По словам матросов с «Димитрия», комиссар якобы сразу же стал на сторону «жоржиков». Он вошел в каюту капитана, и было слышно, как он кричал на старика. Потом вышел, сказал «жоржикам», что капитан – старая рухлядь и контра, но от того, что его выбросят в море, толку все равно не будет. Надо выбрать из своей среды человека, который мог бы заменить капитана. Дело это серьезное, потому что придется отвечать потом перед правительством. Поэтому его следует тщательно обсудить без вмешательства гражданских пассажиров и без продажных душ – мешочников.

– Пошли в трюм! – сказал комиссар. – Обсудим и выберем капитана. Айда, братишки!

Как только братишки с комиссаром спустились в трюм, матросы с «Димитрия» по приказу капитана с непостижимой быстротой закрыли трюм толстыми деревянными досками, закрутили их болтами, а сверху еще навалили разный груз с палубы. Очевидно, дело это было рискованное, потому что матросы с «Димитрия» хотя и посмеивались, но руки у них тряслись.

В трюме гремели заглушенные проклятия, потом раздались выстрелы. Матросы стреляли вверх. Это было совершенно бессмысленно: выйти из трюма они не могли.

Наша каюта тотчас сообразила, что комиссар сговорился с капитаном и нарочно увел матросов в трюм. «Как Сусанин!» – радостно сказал молодой мичман. Все были взволнованы тем, что в трюме нет продуктов и воды, и радовались, что комиссар себя не выдал. Иначе ему был бы верный конец.

– Эй, подальше от трюма! Полундра! – на всякий случай покрикивал боцман.

К вечеру шторм начал стихать. «Димитрий» снялся с якорей и, медленно работая машиной, вышел из бухты. Его тотчас начало качать, но эта качка по сравнению с недавней, штормовой, казалась просто колыбельным баюканьем.

Утром я проснулся оттого, что в иллюминатор свободно лилось солнце. Стекло иллюминатора заросло солью. Но даже через ее серую пленку сияла густейшая синева. Качки не было, «Димитрий» только тихо вздрагивал от вращения винта.

Я выскочил на палубу и зажмурился. Слезы потекли у меня из глаз. Прошло несколько минут, пока я снова начал различать все окружающее.

«Димитрий» шел в густой и глубокой синеве. Трудно было уловить ту черту, где синева моря переходила в синеву неба. Крутым откосом, отлитым из золота, сверкал с левого борта мыс Лукулл.

Со снастей срывались оттаявшие сосульки и разбивались о палубу, превращаясь в зернистый снег.

За кормой стояла чернильная стена уходящего тумана.

И в тишине бухт, в сиянии зимнего бережливого солнца, в ясности и приморской живописной прелести открылся Севастополь, как некий русский величественный Акрополь.

Акрополь Таврический

При входе в Северную бухту к «Димитрию» подошел катер с вооруженными матросами. Они поднялись на палубу, открыли трюм и крикнули вниз:

– С легким паром, сачки! Вылезай по одному! Живо! Начальник выходит последним!

Грязные «сачки» вылезли на палубу. Их обыскали, отобрали оружие, арестовали и увели. А комиссару николаевского порта вежливо сказали:

– За вами приедет сам комендант порта.

Но комендант, конечно, не приехал, и комиссар только посмеивался в прокуренные усы.

«Димитрий» отшвартовался у пассажирской пристани в Южной бухте. Пассажирам объявили, что дальше «Димитрий» не пойдет. Течь на «Димитрии» усилилась, швы в обшивке разошлись, машина была почти сорвана с фундамента, и потому пароход уведут прямо на корабельное кладбище.

Мне было жаль «Димитрия», особенно когда к нему подошел буксир, и «Димитрий», давая прощальные гудки, поплелся вслед за буксиром на свалку.

Все-таки этот благородный и дряхлый корабль сделал последнее напряжение, прорвался через ледяной шторм и спас всех нас.

Я вышел на берег. Попутчики мои незаметно исчезли. Я остался один.

Куда было идти? И я пошел, конечно, на Графскую пристань, чтобы посмотреть на Севастополь, погруженный в желтоватую древнюю дымку, и решить, что делать дальше. Знакомых у меня в Севастополе не было, если не считать девушки-поэтессы. Но я забыл ее адрес и даже имя.

Я сидел на скамье, греясь на слабом солнце, и дремал от тишины и успокоения, наступившего после недавнего бурного плаванья.

Сидел я, должно быть, долго, пока желтоватая дымка не начала приобретать багровый оттенок и с моря, где заунывно мычал звуковой буй на Константиновском рифе, не дохнуло холодным ветром.

Я решил идти в единственное для меня, сотрудника «Моряка», убежище – в Севастопольский союз моряков.

Секретарь союза – пожилой моряк с грустными украинскими глазами – выслушал меня и потом долго смотрел на меня, не говоря ни слова. Я решил, что он забыл обо мне, и осторожно кашлянул.

– Я об вас сейчас все время и думаю, – сказал секретарь. –



Графская пристань



Союз моряков. Здание не сохранилось

Значит, хлеба нет? Ничего нет? И вдобавок нет крыши над головой? Получается хреново!

Он опять надолго замолчал, потом тяжело вздохнул, потянул к себе блокнот из бурой оберточной бумаги и что-то начал долго писать, тщательно проверяя написанное и расставляя знаки препинания. После старика Благова это был второй в моей жизни ревнитель препинаний.

– Вот, – сказал он, – с этой бумажкой пойдете на Садовую улицу, в бывший дом адмирала Коланса. Дадите эту бумажку вдове-адмиральше. Только вы ее не пугайтесь, вы же красный беззаветный моряк. Живет она во флигеле со своими недобитками, а в главном доме на улицу мы устроили вроде как детский сад. Для моряцких детей. Подтапливаем изредка и кое-как подкармливаем. По сути дела, никакого сада нет. Так вот, там можете ночевать, но только с пяти часов дня до восьми утра, пока нету детей. Только, смотрите, ночью не замерзните. А то получится неприятность.

Он протянул мне вторую бумажку – распоряжение в морскую пекарню выдать мне буханку хлеба.

– Ешьте по крошкам, – посоветовал секретарь. – Это вам в виде исключения. Вы надолго в Севастополь?

– Не знаю. Нас высадили с «Дмитрия». Придется сидеть здесь и дожидаться, когда из Одессы придет второй пароход.

– «Пестель»? – спросил секретарь.

– Да, «Пестель».

– А если не придет? – неожиданно спросил секретарь.

– Как так не придет?

– А очень просто! Такая же дырявая коробка, как и ваш «Дмитрий»! Чтобы прийти, нужно дойти. Вот задача!

Это была непреложная истина, и я не мог с ней не согласиться.

– «Пестель», – сказал я уныло, – должен был выйти из Одессы через неделю после нас.

Секретарь вздохнул.

– Ну, в общем, – заметил он неуверенно, – если хлеба не хватит... может быть, дадим еще малость. Подумаем.

Я поблагодарил его и пошел в пекарню. Было три часа дня, и до пяти мне все равно некуда было податься.

Пекарня помещалась на третьем дворе, в закоулке. У входа в третий двор стоял вооруженный человек. Он посмотрел мою записку и пропустил меня.

Пекарь вынес мне буханку хлеба, но, не давая в руки, спросил:

– Во что вы ее завернете? И в чем понесете?

У меня не было ни газеты, ни кошелки.

– Э-э-э! – укоризненно протянул пекарь. – У вас его уже в подворотне отнимут. Как же я вам выдам хлеб? Нету никакого смысла мне его вам выдавать.

– Неужели так уж и вырвут? – спросил я.

Пекарь рассердился.

– Вы что, с луны свалились! Вырвут и раздерут по клочкам. Они у ворот дежурят целые сутки. Юрка! – позвал он.

Из задней комнаты вышел мальчик лет десяти. Он был так худ, что казалось, от него остались одни глаза.

– Юрка, – приказал мальчику пекарь, – выведи этого чудака с хлебом на Мичманский бульвар фарватером «Ижица». Только чтобы все было в акурате. Хлеб, товарищ, спрячьте под пальто. И не вздумайте есть его на улице. Ни-ни! Увидят – тогда вас уже ничто не спасет. Они... – сказал он значительно и повторил: – Они беспощадно следят за каждым.

– Кто это «они»? – спросил я.

– Ей-богу, товарищ, неначе вы свалились с Марса. Как – кто? Голодные, конечно.

Мальчик провел меня через пекарню в узкий проход между высоких стен. В одной стене была пробита калитка. Мальчик открыл ее громадным медным ключом, и по внешней чугунной лесенке, заставленной вазонами с высохшими фуксиями, мы поднялись на второй этаж старого дома.

Мальчик ловко открыл гвоздем резную дубовую дверь с изображением мечей и знамен, и мы вошли в чью-то квартиру.

– Идите тихо, не пугайтесь, – сказал мальчик, – Только ни с кем не разговаривайте. Можете только поздороваться, если хотите.

Он толкнул первую дверь. Мы вошли в гостиную с роялем, портретами важных адмиралов с длинными баками и пустым аквариумом. В него доверху была навалена черная картофельная шелуха. Она уже дурно пахла. На

софе лежала маленькая и желтая, как птичка, пожилая женщина.

– Болтаются тут целый день, – сказала женщина, – и еще вежливость разводят! Здравуются! Никто вас не просил здороваться!

Я смущенно проскочил за Юркой в следующую комнату, должно быть бывшую столовую.

Из-за китайской шелковой ширмы высунулась сонная всклокоченная голова красивого молодого человека. Он посмотрел на Юрку и погрозил ему кулаком.

– Видал миндал?

– Вы не очень показывайте! – сказал, задираясь, Юрка. – Ходил и буду ходить. Вы что ж думали, мы вам задарма хлеб выдаем? За какие такие ваши заслуги перед революцией? Паразиты!

Голова тут же скрылась. Потом мы прошли через заросшую паутиной кухню. Там сидела молодая миловидная женщина без единой кровинки в лице. Подняв платье, она неподвижно смотрела на свои опухшие колени, растирала их ладонями и плакала.

Из кухни мы вышли в сухой сад, перелезли через невысокую ограду и очутились в конце пустынного Мичманского бульвара. Юрка попрощался со мной и пошел обратно.

– Вот это и есть фарватер «Ижица», – сказал он напоследок. – Самый надежный. Для женщин и безоружных. Ну, счастливо вам донести. Только, упаси бог, на улице хлеб не отщипывайте. И не ешьте.

До пяти часов я просидел на поломанной скамейке на Мичманском бульваре. Могильная тишина звенела над Севастополем.

Только один раз беспорядочно прогремела где-то рядом по булыжнику ручная тележка. Я увидел ее в просвете между высокими ветками туи.

Тележку тащили две молодые женщины. На тележке лежал лицом вниз босой человек, голый до пояса. Я не сразу догадался, что он мертвый. *А когда сообразил, то как-то сразу понял, что сохранить здесь жизнь мне поможет только эта единственная буханка, впившаяся сухой коркой в мою грудь.*

Я пошел на Садовую улицу.

Я шел по окостенелому городу. Изредка из глубины дворов тянуло слабым трупным запахом. Сухой плющ тихо скрежетал на выветренных подпорных стенках. Не верилось, что на эти червивые каменные стенки падал хоть когда-нибудь теплый свет солнца.

Время сразу же отодвинуло меня на два-три года назад. В облике умирающего и скудного Севастополя я узнавал и Киев, и Одессу времен сыпняка и голода.

Пока я шел, задул жесткий, режущий ветер, очевидно норд. Тотчас вдоль всех улиц закрипели на крышах покоробленные листы железа. Ветер искоса нес снег, совсем не похожий на наш русский. Он был серый и тотчас смешивался на мостовых с ворохами сухой акациевой листвы, размолотой в крошку. Грифельного цвета небо волочилось в сторону открытого моря, унося с собой, казалось, последний свет, тепло и последние ласковые человеческие голоса.

Я шел мимо зияющих выломанных оконниц в подвалах, боясь заглянуть внутрь. Туда, очевидно, сволакивали мертвых.

Но Садовая улица, расположенная в верхней части города, показалась мне даже в свинцовом свете иссякшего дня уютной и тихой, какими часто бывают заросшие отдаленные тупики.

Я нашел одноэтажный дом вице-адмирала Коланса. На воротах были изображены железные якоря, а во дворе стоял флагшток. Он был деревянный, но его почему-то не спилили на дрова и не сожгли.

В глубине двора виднелся флигель, густо обросший диким виноградом.

Я постучал. Низкий женский голос спросил меня из-за двери, кого мне нужно. Я ответил. Тогда дверь распахнулась, и я увидел на пороге высокую, как гренадер, старуху с копной белых волос на голове и с несколько со-



Улица Садовая. Дом адмиральши Коланс (не сохранился). Фото И. Комарова

гнутой кочергой в руках. Она опиралась на кочергу. Глаза ее металы огонь.

– Да! – сказала она вызывающе, – Вот именно! Я вдова вице-адмирала Цезаря Платоновича Коланс. Но среди его знакомых я, кажется, не видела вас, молодой человек. Зрительная память у меня феноменальная. Поэтому говорите, что вам нужно, но коротко, ясно и грамотно.

Вместо ответа я протянул ей записку от секретаря Союза моряков. Она взяла ее двумя пальцами, встряхнула в воздухе, как бы вытряхивая из нее мусор, и сказала, обернувшись:

– Мария, прочти!

В темную переднюю вышла с тоненькой церковной свечкой в руке худющая, бледная, как бы неземная девица с синими кругами около глаз. Она была похожа на сомнамбулу или лунатичку. Ни разу не взглянув на меня, она прочла записку, обернулась и, в свою очередь, позвала:

– Андре, иди сюда и проводи этого господина в детский сад! Он будет там ночевать.

– У вас есть хлеб? – вдруг спросила меня адмиральша.

– Мало.

– Это не важно! – адмиральша сильно стукнула кочергой по полу. – Я предлагаю вам честный обмен. Вы дадите нам немного хлеба, а я каждый день буду давать вам козье молоко. Я держу козу! – она второй раз стукнула кочергой по полу и повернулась к молодому человеку по имени Андре. Он вошел в переднюю и скромно стоял в темноте. – Что из этого? В таких обстоятельствах – запомни, Андре! – сама покойная императрица держала бы козу и доила бы ее собственноручно. Собственноручно! – прокричала адмиральша и в третий раз стукнула кочергой по полу. – Вы согласны?

– С чем? – спросил я. – С тем, что императрица...

– Да нет же! – резко оборвала меня адмиральша. – Императрица была феноменальная дура и наркоманка! Гессенская муха! из-за нее и произошла эта революция. Я спрашиваю: вы согласны на обмен?

– Согласен, – ответил я торопливо.

– Фунт хлеба, и все! – адмиральша в последний раз ударила кочергой по полу и приказала Андре: – Возьми ключ и впусти этого человека в главный дом.

Она обернулась ко мне и добавила:

– Но чтобы без глупостей! Не курить махорку, не заворачиваться на ночь в ковер во избежание вшей (девица Мария ахнула и всплеснула руками) и не пить одеколон и всякую мерзость! Пока что бог дает мне силы, и я справлюсь с каждым, будь он хотя бы сам архикомиссар. Сам Сатана или сам Вельзевул. Прощайте.

Она повернулась и пошла в глубину темной передней, стуча кочергой. Девица подняла свечу повыше, осветила меня, вскрикнула, уронила свечу на пол. Свеча погасла, а девица бросилась вслед за адмиральшей и закричала:

– Мама! Боже мой! Да это же, кажется, он! Боже мой! Мама!

– Пойдемте! – сказал мне Андре. – Терпеть не могу истеричек! Извините, я не представился: бывший мичман, а ныне козопас у своей мамы Андрей Цезаревич Коланс, бывший минный офицер с бывшего военного транспорта под бывшим названием «Ратмир».

В детском саду не было ничего, на чем бы можно было сидеть или лежать. Стояли только маленькие креслица и столики. Сидеть приходилось на подоконниках или просто на полу. Спал я тоже на полу, заворачиваясь, несмотря на запрещение адмиральши, в лысый пыльный ковер.

Я сворачивал ковер длинной трубой, обвязывал обрывком телеграфного провода, чтобы ночью он сам по себе не развязался, и заползал в эту шерстяную трубу головой вперед. А утром я выползал из ковра точно так же, головой вперед, но только в другую сторону. За ночь я проползал ковер насквозь.

Эта шерстяная труба стала для меня надежным и даже уютным убежищем во время тогдашней севастопольской жизни. Шатаясь без цели по промерзшему до седины городу, я ждал только вечера, той минуты, когда наконец залезу в ковер, немного согреюсь, и мне начнут сниться очень связанные и почти одинаковые сны. Должно быть, такие сны снились мне из-за духоты.



Максимилиан Волошин (1877-1932)

А снились мне преимущественно маленькие города среди скал, садов, около шумных речек или на морских берегах, где буковые леса подходят к самым пляжам.

Все эти города были населены любимыми людьми или знакомыми. Я несколько раз встречался там с Лелей и дедом Нечипором, со своим отцом и художником Врубелем, гардемаринном с учебного корабля «Азимут» и латинистом Субочем, с поэтом Волошиным и санитаром Анощенко, «маленьким рыцарем» Гронским и профессором Гиляровым, с наборщиком из типографии Сытина и Иваном Буниным, с Люсьеной и Амалией Кностер. С каждым из этих людей возникали во сне крепкие связи и необыкновенные, щемящие сердце отношения. Часто я, впадая в отчаяние, искал в этих снах знакомых людей. Я знал, что они в это же время ищут меня и что наша встреча могла бы быть ознаменована какими-то чудесными, ликующими событиями, но встречи этой никогда не будет.

После таких снов я начинал понимать, что моя жизнь непомерно длинна, тогда как до тех пор она представлялась мне



Михаил Врубель (1856-1910)

быстролетной и не оставляющей заметного следа. Просыпаясь и перебирая в памяти эти сны, я повторял про себя стихи Фета:

Жизнь пронеслась без явного следа.
Душа рвалась – кто скажет мне куда?
С какой заране избранною целью?

Все в этих стихах сейчас уже было неверным и неправильным для меня, но я повторял их с наслаждением. Должно быть, потому, что они составляли резкую противоположность всему, что происходило около.

Они не умирали, все эти слова, все эти напевы, начиная от Жуковского и Пушкина. Они жили среди голода, болезней, перестрелок, среди энтузиазма, казней, самопожертвования, гнева, невообразимой нищеты и непоколебимой веры в будущее и утверждали для меня простую истину, что сердце народа не повреждено, и народ этот не может быть уничтожен ни физически, ни морально. Я уже понимал, что будущее прекрасно, и верил в него. Я уже понимал, что горести этих лет лишь умножают величие народного подвига того времени – времени больших ожиданий.

Но приходилось прекращать все эти замыслы, воспоминания стихов и удивительные сны и вылезать из ковра в изморозь серых стен и ледяного дня. Как только я вылезал из ковра, тотчас начинала зябнуть и болеть голова.

Я шел к адмиральше, выпивал стоя чашку теплого козьего молока и уходил.

Иногда мы выходили из дома вместе с мичманом и грязной козой Мартой. Она была серого жирного цвета, каким бывает залежавшийся стеарин или прогорклое свиное сало.

Мичман тащил козу на веревке на Исторический бульвар. Там коза объедала сухую траву на месте героических бастионов времен Севастопольской обороны.

Во время этих выходов мичман сообщил мне, что его сестра Мария – «маньякальная дура», что у нее религиозное помешательство и она через день заказывает в соборе панихиду по адмиралу Колчаку. Почти всех невысоких мужчин она считает пе-



Исторический бульвар

реодетыми Колчаками, спасшимися от расстрела. Меня она тоже приняла за скрывающегося Колчака, о чем и кричала матери в вечер нашего знакомства.

Целые дни я проводил на Историческом бульваре, беседуя с мичманом. Деваться все равно было некуда. Мы долго грызли по небольшому куску черствого хлеба. Он был покрыт коркой известки. Мне казалось тогда, что весь Севастополь покрывала эта белая известковая кора. Она отваливалась от домов и трескала под ногами.

Потом я шел в столовую Союза моряков, где мне давали тарелку затирухи. В столовой я ухитрился писать и передал в «Моряк» по портовому радио несколько корреспонденций о Севастополе. Одна из корреспонденций была посвящена героической борьбе «Дмитрия» и его команды с ледяным штормом, а вторая – случаю, на наш теперешний взгляд, незначительному, но просто ошеломившему меня в ту севастопольскую зиму.

Невдалеке от Артиллерийской бухты начали строить школу. Это строительство казалось мне тогда просто фантастическим.

Покрытые морозной пылью, шатающиеся от слабости люди копали фундамент, били кирками неподатливую каменистую землю, тяжело, со свистом дышали и часто присаживались передохнуть на глыбы желтого инкерманского камня, вытирая рукавами красные, слезящиеся от непрерывного морского ветра глаза.

Каждый удар киркой давался людям с великим трудом. Но, несмотря на это, фундамент с каждым днем углублялся, а потом в траншею легли первые тяжелые плиты известняка.

В то время это по существу обыкновенное явление показалось мне чудом. И оно действительно было чудом мужества. В нем как бы материализовалась великая надежда людей на будущее.

Из столовой я шел или на берег Южной бухты, где гремела непрерывная ружейная пальба по бакланам, или на базар. Там шел обмен хлеба на золото и лекарства. Но ни золота, ни лекарств почти ни у кого не было.

Один раз я пошел в Херсонес, но не дошел до него. Такая отпетая печаль была заключена в аспидных, как дым, степных далах, так жестко, как маленькие трещотки, хрустела под ветром трава и так заунывно стонало море, накатывая на берега траурную пену, что сердце у меня сжалось от одиночества и я вернулся в Севастополь.

Проходила уже вторая неделя моего сидения в Севастополе. В Союз моряков пришло радио, что «Пестель» на днях выходит из Одессы, но его все не было. Может быть, он вообще не вышел из Одессы, а может быть, просто погиб. Никто ничего толком не знал.

Я продолжал бродить по городу, заходя время от времени в знаменитую Панораму, где не было ни души. Огромное полотно художника Рубо сотрясалось от ледяных сквозняков.



Артиллерийская бухта

Я искал по городу теплых мест и зашел как-то в собор. Там холд просверливал насквозь худые подошвы сапог, от дыхания клубился густой пар, но около алтаря горело пять-шесть тоненьких свечей, и привычное представление о тепле, возникавшее от огня, чуть согревало меня. Но все равно озноб бил меня все дни напролет.

Наконец из Одессы пришло радио, что «Пестель» вышел в Батум и будет в Севастополе через сутки. Тогда я перебрался на пристань. Нас было несколько человек, ожидавших «Пестеля». Нам разрешили ночевать на пристани, в каморке, заклеенной пожелтевшими расписаниями пароходных рейсов.

Я с радостью переселился хоть на несколько часов в эту каморку. В ней стояла в углу еще теплая чугунная печка.

Это тепло показалось всем нам истинным чудом, таким неслыханным счастьем, что одна пожилая женщина, сидя около печки, даже расплакалась.



Пароход «Пестель». 1910-е гг.

«Пестель» пришел утром. Из совершенно мертвого моря вдруг возникли далекие и красивые очертания старинного парохода с острым носом и бушпритом. Он весь еще был окутан туманом, лежащей на горизонте загадочной желтоватой мглой и медленно приближался к Севастополю. Город

тоже лежал в красноватой дымке, позолотевшей от солнца.

Свежий морской день, созданный из легкого холода и легкой синевы, был прекрасным. Но еще более прекрасным, любимым и незаслуженно покидаемым показался мне Севастополь, когда над его бухтами, онемевшими от безветрия, раздался требовательный гудок «Пестеля». Он как бы разбил на сотни осколков застоявшуюся тишину. И осколки эти, звеня, полетели вдоль туманно-синих прибрежий, чтобы упасть с последним жалобным звоном у мыса Айя, Ласпи, у Фороса, Меганомы и Карадага – у всех мысов и накатанных пляжей еще не пробужденной от полусмерти, изголодавшейся, но всегда волшебной Тавриды.



Мыс Меганом



Карадаг

В день отъезда Севастополь снова предстал передо мной величественным, простым, полным сознания своей доблести и красоты, предстал русским Акрополем – одним из лучших городов на нашей земле.

В глубине ночи

Из Севастополя «Пестель» отвалил сырым и теплым утром.

Серая прозрачная вода лизала обшарпанные борта парохода, стараясь замкнуть на них окаменелые потеки соли.

Но это было бесполезно: «Пестель» мало уступал «Димитрию» по своей заржавленности и тесноте.

Я прошел на корму. Скрежетали от натуги железные шкворни, вращающие руль. Каждый поворот руля вызывал широкий льющийся шум пены за кормой, и бушприт начинал, как говорят моряки, «катиться» то в одну, то в другую сторону.

Пепельный свет падал на город сквозь облака. В этом мягком освещении чувствовалось близкое присутствие солнца. Иногда мне даже казалось, что мое лицо теплеет от невидимых солнечных лучей.

Всем существом я ощущал в этот январский день ласковость юга, мягкость его воздуха, его приятную сырость.

Севастополь! Я был в нем в детстве, потом во время первой мировой войны и вот сейчас, в пору голода и опустошения. Каждый раз он являлся передо мной совершенно новым, непохожим на прежний.

Я загадывал, каким увижу Севастополь еще через недолгое время. В том, что увижу, я был уверен. И действительно, я потом приезжал в него много раз, жил в нем и полюбил его, как свою вторую родину. С ним было связано много воспоминаний, много горя и радости.

Если бы не Севастополь, то вряд ли так остро и, пожалуй, безошибочно я видел бы выдуманные, но безусловно существующие в пределах вселенной гриновские города, такие, как шумный Зурбаган и зарастающий травами Лисе.

Меня поражало то обстоятельство, что даже легкое прикосновение человеческой руки к благословенной севастопольской земле создавало привлекательные вещи: причудливые переулки, каменные лестницы, тонущие в глициниях, уютные повороты дорог, стремительную игру солнечных вспышек в стеклах домов, балконы, где греются маленькие зеленые ящерицы, полумрак и полусвет кофеен, их вывески, похожие на детские картинки, намазанные густой акварелью.

Севастополь никогда не был для меня городом вполне реальным и будничным.

Иногда мне казалось, что он скучнеет, сереет и теряет живописные приметы. Но тут же размах морского горизонта за окнами или запах копченой султанки возвращали меня к действительности – к Севастополю, разбросанному, как пожелтевшая от древности мраморная россыпь на берегах индиговых бухт, к шуму его флагов, к магниевым искрам маслянистой волны, запаху роз и помидоров, к пришедшему издали навещать Севастополь ветру Эгейского моря с его свитой розовых высоких облаков.

Я долго смотрел с кормы вслед Севастополю. Потом «Пестель» медленно обогнул башню Херсонесского маяка, и впереди по левому борту открылась стена сиреневых Крымских гор.

Перед отъездом из Севастополя я сутки не спал из-за холода и волнения. Поэтому глаза у меня сейчас слипались. Я нашел себе спокойное, темное место в салоне, под трапом, лег на полу и мгновенно уснул.

Проспал я долго. Когда я проснулся, под трапом было уже темно. В салоне слепо светила электрическая лампочка и пахло кислой капустой.

Судорога свела мне живот. Нестерпимо захотелось есть, и я, ужасаясь предстоящей полной своей нищеты, заказал на последние деньги тарелку тушеной кислой капусты. Я съел ее с черствой коркой от моей единственной севастопольской буханки хлеба.

Проснувшись, я решил, что уже наступила ночь, но оказалось, что еще только садится солнце. Как бы залитый темной кровью, отвесный обрыв Крымских гор медленно и грозно двигался за окнами салона. На палубе задувал с востока неприятный ветер. Глухие воды цвета тины бежали навстречу «Пестелю». Рыжие от сухого дубняка обрывы Яйлы кое-где еле тлели последним огнем.

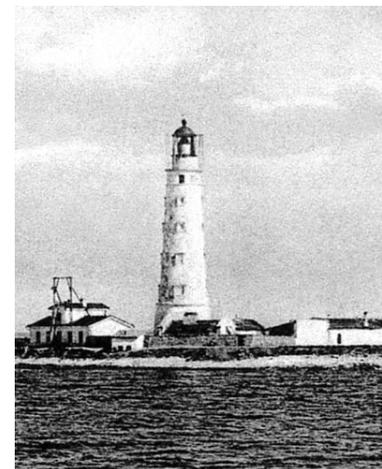
Далеко впереди помаргивал красным глазом огонь Ялтинского портового маяка. И ни единого огня больше не было на всем протяжении берега. Весь Крым был брошен, пуст, выметен зимними ветрами. Он окоченел от стужи.

Я долго всматривался в берега, отыскивая хотя бы жалкий тлеющий свет, хотя бы язычок свечи, как свидетельство, что кто-то еще жив в этой пустынной стране. Но, кроме мрака, быстро гасившего один за другим зубцы гор, ничего вокруг я не видел.

В Ялту «Пестель» пришел в девять часов вечера. Город был тих и черен. С окраин долетали одиночные винтовочные выстрелы.

На молу было пусто. Лужи рябили от ветра, валялись разбитые бочки от кислой капусты, и бродили, закинув винтовки за плечо, озябшие часовые в обмотках.

Пассажирам объявили, что «Пестель» простоит в Ялте до утра, так как ночью идти из-за мин опасно. Желаящие могут спуститься на мол, чтобы размять ноги, но в город выходить рискованно.



Херсонесский маяк



Ялта. Начало XX века

Нет света, и к тому же на первом перекрестке могут остановить и раздеть, а то и убить бандиты.

– А не бандиты, – заметил часовой, стоявший у трапа, – так беляки подстрелят. Бежать не успели, ховаются теперь

по горам, по гнездам. Их паяльником надо выжигать из тех гнезд.

Капитан приказал отвести пароход от причала и стать на якорь в нескольких метрах от берега, чтобы никто не мог незаметным проникнуть на пароход.

Я успел спуститься по шаткому трапу на мол и пошел к воротам в город. Около ворот я остановился. На них висел, моргая, керосиновый фонарь «летучая мышь». Под фонарем сидел на ящике старик в приплюснутой морской фуражке и держал между колен винтовку.

За воротами лежала тьма. Изредка из нее доносился шелест сухих листьев.

Я сделал несколько шагов в эту темноту и остановился. Сторож равнодушно взглянул на меня и отвернулся. Ему было все равно, убьют ли меня или нет. Ему только хотелось, чтобы я его ни о чем не спрашивал и не мешал ему думать о своих домашних делах. Убитых он видел много, больше чем достаточно, и они уже не вызывали у него даже простого любопытства.

Я оглянулся. Можно было еще вернуться на пароход, но непонятное возбуждение охватило меня. Я стоял как будто на краю пропасти.

Я посмотрел на тусклые лампочки на палубе «Пестеля» и вдруг понял, что не могу противиться зову темноты, что она тянет меня, что мне уже страшнее возвращаться через плотную полосу темноты на бледно освещенный мол, чем раствориться в этой темноте и даже погибнуть в ней.

Я понимал, что испытываю свою судьбу, что делаю глупость, что идти ночью в город безрассудно. Но тьма уже безраздельно владела мной. Сердце билось веско, медленно, и я убеждал себя

в том, что не могу вернуться на пароход, пока не узнаю, что кроется в этом настороженном мраке.

Часто бывает, что человек не может вспомнить какое-нибудь название или фамилию и, пока не вспомнит, становится как одержимый, как помешанный. Он думает только о разгадке своей тайны, гложет, немеет и ничего не видит вокруг. Примерно такое же состояние было со мной. Ночь хранила какую-то тайну, и я не мог жить, пока ее не узнаю.

Тьма втягивала меня, как тянет к себе французских колониальных солдат Сахара. Мне рассказывал об этом Бабель. Солдаты уходят в пустыню, дезертируют и никогда не возвращаются обратно.

Я не испытывал страха. Наоборот, желание, чтобы сейчас случилось нечто внезапное и решило мою судьбу, охватило меня. Эта ночь казалась мне пределом моей жизни, за ней должна была быть гибель или ослепительный свет.

Сейчас я думаю, что это мое состояние в Ялте было вызвано севастопольским голоданием. Но тогда я жил внутри этого состояния и не мог оценить его со стороны.

Холодно и спокойно я решил, как надо себя вести в этой темноте. Прежде всего – двигаться совершенно бесшумно, красться, вжимаясь в стены, чтобы не выдать себя даже малейшим вздохом. Темнота скрывала меня, и только две вещи грозили мне гибелью – предательский шум, будь то шарканье подметок, дыхание, кашель, свист в бронхах, треск сухого листа под ногой, или, наконец, прямое столкновение с человеком в темноте.

Но, пройдя до моста через пересохшую речку Учан-Су, я понял, что меня спасают от опасности не все эти предосторожности, а безошибочное ощущение близости притаившегося, как я, человека. Каждый из этих невидимых людей был врагом. Каким-то неназванным, но существующим во мне шестым или двенадцатым чувством – не знаю – я определял, что в нескольких шагах от меня стоит и прислушивается человек. Я ощущал так же, как и этот человек, теплую от руки сталь затвора, хотя у меня в руках ничего не было.

И еще одно преимущество – и притом огромное – было в том, что враги, скрытые от меня кромешной ночью, не знали,

что главный закон сохранения жизни в такую ночь – это полная бесшумность. Поэтому они часто выдавали себя, и я их вовремя обходил.

И наконец я убедился, что человек издает гораздо больше шумов, чем мы думаем. Даже поворот головы, а в особенности всего туловища бывает иногда ясно слышен.

Существовала еще одна опасность. Это спички. Электрических фонариков в то время не было, но спичка могла вспыхнуть в любую минуту и выдать меня врагам на внезапную смерть.

Куда я шел? Я не знал этого, пока не зашел в тупик.

Я шел долго, иногда сходил на мостовую, если тротуар мне казался почему-то опасным. Изредка возникал ветер, шумел в кипарисах, и тогда я шел смелее.

Я избегал обочин. На них были колодцы для стока дождевой воды.

Когда я зашел в тупик – я не помню. Должно быть, уже была самая поздняя пора ночи. Я уперся в каменную стену. Направо к ней примыкала такая же каменная стена. Я поднял руку и ощупал ее, но нигде не мог дотянуться до верха. Она была достаточно высокой, и перелезть через нее было невозможно.

Налево тоже тянулась стена. Она прерывалась воротами. Рядом с воротами в стене была прорезана узкая калитка, а около нее я нащупал вывеску.

Третья стена – та, где были калитка и вывеска, – оказалась низкой, на уровне моих плеч. За ней чувствовался внизу густой сад, хотя он и не шумел.

Я вынул спички и зажег сразу три, чтобы вспышка огня была ярче обыкновенной. Я решил прочесть вывеску.

Желтый огонь осветил ее, и я успел прочесть только три слова: «Дом Антона Павловича...».

Ветер задул спичку. Тотчас где-то выше по Аутскому шоссе хлопнул выстрел. Пуля низко пропела над оградой и с легким треском сбила ветку на дереве.

Вторая пуля пропела выше и ушла во мрак, где лежало онемевшее море.

Я вжался в нишу калитки. Я сразу все забыл: свое странное состояние, похожее на душевную болезнь, весь напряженный, как по канату, путь через зловещий город сюда, к дому Чехова.

Я был в этом доме еще мальчиком в 1906 году, на второй год после смерти Чехова, шестнадцать лет назад.

Я не понимал, да и сейчас не понимаю, почему я пришел на Аутку, именно к этому дому. Я не понимал этого, но мне уже, конечно, казалось, что я шел к нему сознательно, что я искал его, что у меня было какое-то важное дело на душе и оно-то и привело меня сюда.

Какое же дело?

Я вдруг почувствовал глубокую горечь и боль всех утрат, настигавших меня в жизни. Я подумал о маме и Гале, о двойной, где-то далеко горящей и не заслуженной мною любви, о Лене, о внимательном и утомленном взгляде Чехова сквозь пенсне. Тогда я прижался лицом к каменной ограде и, стараясь изо всех сил сдержаться, все же заплакал.

Мне хотелось, чтобы калитка скрипнула, открылась, вышел бы Чехов и спросил, что со мной.

Я поднял голову. Горы смутно белели в темноте магическим и неподвижным светом. Я догадался, что на горах выпал снег, сухой, хрустящий, горный снег, какой потрескивает под ногами, как гравий.

И внезапное чувство близкого и неперемного счастья охватило меня. Почему – я не знаю. Может быть, от этого чистейшего снежного света, похожего на отдаленное сияние прекрасной страны, от долго сжатого в глубине сознания и невысказанного ощущения своей сыновности перед Россией, перед Чеховым. Он любил свою страну по-разному, но любил ее и как застенчивую невесту, о которой написал свой последний рассказ. Он твердо верил, что она идет к неизбежной справедливости, красоте и счастью.



Дом А.П. Чехова на Аутке

Я верил, что оно придет, это счастье, для моей страны, для годовалого ледяного Крыма, наконец, для меня.

Это ощущение было стремительным и ликующим, как порывистый любящий взгляд. Оно согрело мне сердце и высушило слезы усталости и одиночества.

Обратно я шел не скрываясь. В меня два раза стреляли. Наконец в глухой темноте я опять прошел мимо старика с винтовкой у ворот порта. Он так же равнодушно посмотрел на меня, как и несколько часов назад.

Потом я долго сидел на молу, прислонившись к бетонному квадратному массиву (из таких массивов был сложен ялтинский мол), смотрел, как серела ночь, и ждал, когда «Пестель» опять подтянется к причалу. Тогда я заберусь под лестницу в салоне и усну. И даже во сне буду ждать, как всегда ждал наяву, счастливых неожиданностей и перемен.

Таруса на Оке 1958. Осень

Ростислав Александров

Что было – то было,
или
Хождение внутри книги

«Я полюбил эту маленькую окраинную улицу...»

Одесситы любят читать о своем городе – есть такая слабость, благо «количество рассказов и стихов <...> об Одессе неисчислимо», как справедливо утверждал Константин Паустовский. Он и сам приложил к этому благодатному делу перо и сердце – одесская тема прошла через все его творчество от юношески восторженного стихотворения «У Ланжерона прибои пели» до сверкающей гранями зрелого таланта повести «Время больших ожиданий».

Весной 1959 года она была напечатана в журнале «Октябрь», осенью следующего года вышла отдельным изданием в Москве, но одесситам хотелось иметь «своего Паустовского». Во исполнение этого желания весной 1961 года одесское издание повести с изображением заснеженной бульварной пушки на обложке стотысячным тиражом выплеснулось на книжные прилавки, и пожилая киоскерша на Дерибасовской на вопрос, покупают ли Паустовского, смачно ответила: «Или его берут!». В то время Одесса все-таки больше «была Одессой», нежели теперь. И немудрено, что новую книгу «за Одессу», стоившую пятьдесят копеек «теми деньгами», запоем читал весь город. Молодые мамы, восседавшие на Куликовом поле с причаленными к скамейкам колясками. Пассажиры трамваев и кондуктора этих же трамваев. Первые купальщики в Аркадии. Продавщицы газированной воды с сиропом, двойным сиро-

пом и вовсе без оною, которую называли «чистой». Старые моряки, «заседавшие» на Приморском бульваре, и сухопутные их ровесники в Городском саду...

Потом старожилы, неоднократно и шумно обсудив, оценив и еще раз обсудив подробности, факты, детали, страсти, слухи, радости и неприятности тех лет, которые Паустовский с отдающим горечью разочарования подтекстом назвал «временем больших ожиданий», к удовольствию автора забросали его письмами, подсказывая, о ком и о чем он «таки да» должен был написать. Не мог написать, а именно должен! Но «Время больших ожиданий» – художественное произведение, в котором правда и вымысел переплетены так тесно, что вымышленные персонажи и ситуации не вызывают и тени сомнения в своей подлинности, а многие реалии представляются столь фантастичными, что их вполне можно отнести на счет творческого воображения автора.

Одним из примеров тому похоронное объявление:

РУХНУЛ ДУБ
Хаим Вольф Серебряный
и осиротелые ветви низко склоняются
в тяжелой тоске.

Вынос тела на 2-е еврейское кладбище тогда-то и там-то.

«Это было очень живописное объявление, – писал Паустовский. – Можно было довольно ясно представить себе этот «могучий дуб», этого биндюжника или портового грузчика – Хаима Серебряного, привыкшего завтракать каждый день фунтом сала, «жменей» маслин и полбутылкой водки».

Кстати, полбутылка упоминается и в рассказе «Фроим Грач» Исаака Бабеля: «В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию...». И это вовсе не значит, что упомянутые граждане имели обыкновение выпивать за один присест только половину бутылки, а вторую предусмотрительно оставлять для другого раза. Полбутылка, которую в народе называли «косушкой», «четвертинкой», «мерзавчиком», «маленькой», «лампадкой», – от коей произошло и дожило до наших дней выражение «залампадить», то есть выпить, на самом деле была полной бутылкой, но вмещала четвертую часть штофа, то есть око-

ло 300 грамм водки, а если быть точным, как того требует упомянутый напиток, то 308 грамм. Метафора же «рухнул дуб» и другие, близкие к ней, не такая уж редкость. К примеру, когда в апреле 1911 года хоронили редактора газеты «Одесский листок» Василия Васильевича Навроцкого, то несли огромный венок в виде дуба с крупной надписью на ленте «Дуб сломался!». Но в объявлении метафора получила свое развитие и, как написал Паустовский, «всех особенно умилили эти «осиротелые ветви» – сыновья и дочери могучего Хаима».

Я думал, что Паустовский сочинил этот одесский перл, пока не обнаружил его в местных «Известиях» за 8 мая 1919 года рядом с объявлениями типа «Еду в Киев, беру письма и поручения...» или «Прошу вора, ограбившего у меня портмоне позавчера вечером на Колонтаевской, вернуть документы, а деньги оставить себе...». Отыскавшееся объявление существенно не отличается от приведенного Паустовским, но дополняет его. «Рухнул дуб Хаим Гешель Серебряный и осиротелые ветви его – жена, дети и внуки – поникли в жуткой тоске», – оттиснуто на плотной ломкой бумаге, а дальше – прозаичные слова о том, что «похороны из дома № 1 по Базарной».

Так появился не только точный адрес «рухнувшего дуба», но и, выражаясь бессмертным языком анкет, состав семьи. Более того, в этом же номере газеты сообщалось, что «педагогическая коллегия гимназии Д.Н. Ставской выражает свое соболезнование товарищу Фанни Ефимовне Серебряной». Но если принять во внимание, что Хаим – это не кто иной как Ефим, становилось очевидным, что речь идет о дочери покойного Хаима Гешеля. А потом фотознтузиаст краеведения Одессы Георгий или, как его ласково именуют друзья, Жорик Гергая наткнулся на 2-м еврейском кладбище на могилу Серебряного и предусмотрительно сфотографировал ее, потому что вскоре кладбище бессмысленно и безжалостно снесли. Так сквозь толщу лет начала проступать фигура «человека из объявления».

Только никаким, даже самым счастливым газетным, архивным, кладбищенским находкам никогда не заменить воспоминаний участников или, по крайней мере, свидетелей событий. Первой рассказала мне о Серебряном девятиностодухлетняя Ф.Г. Новак, которая в пору своей невообразимо далекой юности училась в гимназии у его дочери. Потом поэтесса Галина Шмульян вывела меня на внучек Хаима, а те – на своего двоюродного брата. В результате всех этих хождений, поездок, встреч

и бесед несколько в ином свете, чем в повести Паустовского, предстала личность Серебряного.

Уроженец небольшого местечка в Белоруссии, он с незапамятных времен жил на Базарной улице в Одессе и преподавал двойную итальянскую бухгалтерию, что есть занятие непростое, требующее здравого ума и трезвой памяти, почему, не в обиду биндюжникам сказано, даже такой скромной дозы водки, как помещавшейся в полбутылке, не выпивал. Серебряный вырастил детей, дождался внуков и 63-х лет от роду умер тревожной весной 1919 года. Король одесских фотографов Розвал запечатлел седобородого патриарха на смертном одре, а сын Йоня сочинил объявление и отнес его в редакцию «Известий». Подобно многим одесским юношам тех лет, он имел пристрастие к изящной словесности, но так уж получилось, что объявление о смерти отца оказалось его единственным напечатанным произведением. В годы войны Йоня погиб под Киевом.

Но ничего этого Константин Паустовский не знал, а безотказное воображение, подогретое милой его сердцу одесской экзотикой, помогло ему «довольно ясно представить себе этот «могучий дуб». Многочисленные и читающие потомки Серебряного, конечно, возрадовались появлению его «у самого Паустовского», но не пришли в восторг от его трактовки образа интеллигентного предка. И сын Йони долго не решался, но потом все же написал Паустовскому, только письмо опоздало... И пополнила повесть семейный архив, хранителем которого по единодушному решению родственников был определен внук Ефим Йониевич, поскольку он наречен именем деда и, проживая в Киеве, относился к его памяти с совершеннейшим благоговением. Я видел этот архив, в котором семейные фотографии соседствовали с обветшалым номером «Известий», копией письма Паустовскому и визитной карточкой «могучего дуба», рухнувшего когда-то на Базарной улице в Одессе.

Вся эта история вызывает один-единственный вопрос: откуда Паустовский узнал об объявлении, напечатанном за полгода до его приезда в Одессу? Возможно, кто-то из коллег-журналистов потом показал ему газету с необычным объявлением. Теперь уже ни у кого не спросишь, потому что одесскими современниками Константина Паустовского остались лишь архивные документы, старые газеты и улицы, которые живут дольше людей...

Наши земляки с детства знают, а остальным из песни ведомо, что «вся Одесса очень велика». Может быть, поэтому авторы книг об Одессе зачастую ограничивались каким-нибудь одним ее районом, выписывая его с блеском таланта и теплом воспоминаний. Валентин Катаев писал об Отраде, Александр Куприн – о Большом Фонтане, Юрий Олеша – об округе Строгановского моста. Исаак Бабель – о Молдаванке. А в повести «Время больших ожиданий», по словам Эммануила Казакевича, «Одесса – не бабелевская, а паустовская». И в этой Одессе центральной улицей стала Черноморская. В 1928 году в романе «Блистающие облака» Паустовский поселил на этой улице старого капитана Кузнецова: «Он жил на Черноморской, в темной комнате с окнами на море. <...> Буйная зелень Черноморской шумела и качалась, гоня по земле тысячи маленьких солнц». Пройдет без малого тридцать лет – и Черноморская появится в повести «Начало неведомого века», еще через два года – во «Времени больших ожиданий». Но до всего этого она появилась в жизни Паустовского.

Черноморская обрела название лишь в феврале 1904 года, когда городская Дума постановила «наименовать вновь образовавшиеся улицы, не имеющие до сих пор официального названия: улицу от Лидерсовского бульвара до Обсерваторного переулка – Черноморской улицей...». Была она самой молодой улицей Одессы и... больше всех других пострадала от времени, стихии, войны и перепланировок. Начинаясь когда-то от Александровского, нынешнего парка имени Тараса Шевченко, она утратила первый квартал, от которого остался только своеобразной архитектуры дом в красном кирпиче, декорированный светлым камнем и цветными майоликовыми вставками с рельефными изображениями виноградной лозы, плотоядно вззирающих на сказочный цветок змей, жар-птицы, увенчанной короной. Декоративностью и изящной орнаментальностью они напоминают работы художников группы «Мир искусства», что, по-видимому, не случайно. Хозяином дома был инженер Михаил Васильевич Брайкевич, председатель местного отделения Императорского Русского технического общества и одно время городской голова. В то же время он состоял вице-президентом Общества изящных искусств, потому как слыл утонченным коллекционером живописи, отдававшим предпочтение именно художникам «Мира искусства». В 1919 году Брайкевич уехал в Англию, часть его коллекции осталась в Одессе, и сам он остался в ее истории.

А Черноморская быстро обрела собственную историю, многослойную, многоликую, полную неожиданных имен и забавных совпадений вроде цепочки чисел тринадцать: летом 1913 года в доме № 13 гостила 13-летняя внучка Л.Н. Толстого Софья – будущая жена Сергея Есенина. Она остановилась у родственников матери – Дитрихштейнов, один из которых, Владимир, был участником литературного кружка «Зеленая лампа», и через много лет его вспомнил Валентин Катаев в книге «Трава забвения». Числовая цепочка стыкуется с генеалогической: одна из одесских родственниц Толстых вышла замуж за врача и художника-любителя Г.Ф. Цомакиона, а мать Цомакиона Анна Ивановна была давней приятельницей В.Г. Короленко и во время пребывания писателя в Одессе встречалась с ним в квартире своей невестки на Черноморской, 21.

Позже в этом двухэтажном окруженном садом доме располагалась «Приморская санатория для нервных больных» доктора Якова Ушеревича Ландесмана. «На маленькой и пустынной Черноморской улице, тянувшейся по обрыву над морем, был частный санаторий для нервных больных доктора Ландесмана», – сообщает Паустовский в повести «Начало неведомого века». Такая осведомленность понятна, поскольку в конце 1919 года он перебрался с улицы Нежинской, 48, в пустовавший тогда санаторий.

Ему отвели высокую, просторную, с большими окнами, а потому холодную комнату, вернее, палату № 6. Можно представить, сколько шуток, настоянных на ассоциациях с чеховским рассказом, вызвала эта палата у молодых и насмешливых сослуживцев Паустовского по Продкомгубу, как сокращенно именовалась Особая губернская продовольственная комиссия по снабжению Красной Армии, которая в пору военного коммунизма снабжала и население. «Честно говоря, я до семидесятих годов – до тех пор, пока сам не увидел блеклые фотокопии документов, – находился в полной уверенности, что эта аббревиатура целиком выдумана отцом, чтобы подчеркнуть особую специфику того времени и моду на умопомрачительные, нелепые сокращения», – вспоминал Владимир Паустовский. Таких сокращений было великое множество, от леденящего кровь одним только своим звучанием ГубЧК до состоявшего из двадцати пяти букв Помчусоснабармюгзапфронта, включая часто упоминаемый Паустовским Райкомвод, то есть районный комитет Всероссийского союза работников водного транспорта. А Старпродгуб остался

в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» в хвастливом монологе архивариуса Старкомхоза: «Все здесь, – сказал он, – весь Старгород! Вся мебель! У кого когда взято, кому когда выдано. <...> Шифоньер – в горвоенком, гардеробов три штуки – в детский интернат «Жаворонок»... И еще один гардероб – в личное распоряжение секретаря Старпродкомгуба».

В этой палате № 6 и произошел трагичный по тем временам случай, когда одолженный у академика Овсянко-Куликовского термометр «вдруг начал медленно катиться к краю стола. <...> Термометр медленно докатился до края стола, упал на пол и разбился». Нынешнему читателю уже не понять, как это могло произойти. А дело в том, что термометры изготовляли тогда из стеклянной трубки, и только потом чья-то умная голова придумала делать их овального сечения, почему они уже никак не могут покатиться.

Житье-бытье Паустовского в санатории Ландесмана закончилось, скорее всего, весной 1920 года. «Незадолго до прихода советских войск Яша сказал мне, что надо выметаться от Ландесмана, – писал Паустовский, – так как большевики, когда войдут в Одессу, санаторий национализуют, а нас все равно выкинут. – Возможны крупные неприятности! – произнес Яша роковым голосом». Упомянутый Яша как в темную воду глядел. Приказом губревкома было объявлено, что «перечисленные местности, дачи и строения включены в район одесского курортного управления со всеми вытекающими отсюда законами и последствиями: санатория Ландесмана, Лермонтовский курорт, дача Марзли на Французском бульваре...». Санаторий национализировали, другими словами, попросту отобрали, и бывший владелец работал там по вольному найму. Паустовскому же, не дожидаясь возможных неприятностей, из санатория пришлось уходить: «Мы с Яшей сняли по соседству с санаторием дворницкую у оборотистого домовладельца, священника-расстриги Просвирняка. Дворницкая стояла в заглошшем саду, окруженном высокой оградой из камня «дикаря». Со стороны улицы ее защищал двухэтажный дом».

Что касается санатория Ландесмана, то с ним все было ясно, поскольку он располагался на нечетной стороне улицы, от которой осталось лишь несколько старых фотографий. Ее разрушение началось страшным оползнем 1912 года в районе Ланжерона и Черноморской улицы, который потряс одесситов неотвратимостью и мощью стихии. Как написал

тогда очевидец, «молодые вспоминали скамью, которая стояла под этим покосившимся фонарем, вспоминали инициалы на ее спинке и то, ради чего они были вырезаны. Старые вспоминали навесы дач, где так хорошо было спать после обеда. А те, коим вспоминать не о чем, с грустью думали о старой доброй пивной, которая тоже «разъехалась» со всеми своими тяжелыми бочками». Но этой бедой дело не кончилось, и оползни продолжались. А во время оккупации люди растащили из полуразрушенных домов все, что могло гореть: оконные рамы, подоконники, ставни, филенчатые двери, деревянные ступени, добротные доски полов, даже толстые балки межэтажных перекрытий и длиннющие стропила. Как такие вещи проделывают, Паустовский описал со знанием дела и многими подробностями. После войны уже снесли то, что еще оставалось, – памятное многим одесситам здание райвоенкомата на Черноморской, 15, и другие дома нечетной стороны улицы.

А где стоял дом священника-расстриги и сохранился ли он, неизвестно было, но очень хотелось узнать. Только как понимать слова «по соседству» – рядом, напротив, неподалеку?

Все, в том числе искомый дом, стало на свои места, когда отыскалась анкета Паустовского, заполненная им при очередной перерегистрации журналистов 1 апреля 1921 года. Это была суббота, обычный по тем временам рабочий день – и никакого тебе Дня смеха, о котором еще древний римлянин Апулей писал: «Забавы эти, которые мы каждый год устраиваем в честь Смеха, всегда имеют какие-либо выдумки». Но о каких выдумках могла идти речь, когда сама жизнь казалась неудачной выдумкой, бланк анкеты был отпечатан не на бумаге, а на желто-сером полукартоне, чернила бледные, не раз разбавленные водой. К тому же, они вдруг закончились, и несколько последних строк, подпись и дату Паустовскому пришлось написать карандашом, и лишь потом он или кто другой навел их чернилами.

Анкеты, которые обычно заполняют без особой охоты, со временем позволяют многое узнать о давно ушедшем человеке, что называется, из первых уст. Не была исключением и найденная анкета, из которой явствует, что Паустовский Константин Георгиевич родился в 1892 году, образование получил среднее, ни в каких партиях не состоял и не состоит, до революции был студентом, теперь – «сов. служащий», профессиональным журналистом стал в 1918 году, тогда же работал в московском кооперативном издательстве и газете «Власть народа», в 1919-м –

служил в Киеве в управлении государственных театров, которое издавало журнал «Театр», иностранными языками не владеет, состоит секретарем редакции газеты «Моряк» и сотрудником информотдела Опродкомгуба, женат, имеет неизданные литературные труды, при перемещении места работы предпочитает остаться в Одессе, а если переезжать, то в «южные приморские города вследствие болезни». А на самом верху перед текстом анкеты рукой какого-то регистратора выведен адрес заполнившего анкету «Черномор. 18. 5», то есть «улица Черноморская, дом 18, квартира 5».

Под таким номером дома на Черноморской не найти. Но с учетом изменения нумерации домов после утраты ее первого квартала, не составило труда вычислить, что теперь это двухэтажный с деревянными воротами, изящной решеткой лоджии и узкими венецианскими окнами дом под № 8, во дворе которого... никакой дворницкой нет. Только в этом опыте, как во многом другом, виноватой случилась война.

При Паустовском в доме было четыре квартиры, а пятая и шестая, предназначенные для дворника и кучера, располагались в дворницкой. Когда в 1947 году по проекту архитектора Нозми Григорьевны Мильграм восстановили частично разрушенный в 1941 году дом, его фасад воспроизвели в точности, количество квартир увеличили, а место дворницкой только расчистили от обломков, потому что, как она вспоминала, не до этого было тогда. «Теплая земля была так ровна, словно никогда не стоял на ней маленький дом, в котором Паустовский писал, видел сны, встречался с друзьями», – написала потом Татьяна Тэсс, которую известный наш экскурсовод Валечка Ковач привела сюда в конце 1970-х годов.

Но время не все поглощает бесследно. План и описание дворницкой остались в паспорте дома, хранящемся в Бюро технической инвентаризации, главный инженер которого Тамара Николаевна Ляшевская когда-то с добротой и пониманием разрешила с ними ознакомиться. На их основе в Одесском инженерно-строительном институте под руководством доцента Игоря Михайловича Бесчастного, безусловного одессита, как говорил в таких случаях Паустовский, выполнили графическую реконструкцию дворницкой. Это было небольшое строение, крытое в изобилии имевшейся в Одессе марсельской черепицей, о которой потом написал Паустовский: «Мне представлялось, что изготовление этой черепицы (конечно, где-то на Юге Франции, около Марселя или Тулона) – занятие неторопливое, связанное с древними ремесленными секретами,

и потому довольно романтическое. Я был уверен, что заводы марсельской черепицы обязательно строились вблизи морских берегов». Стены в комнатках были беленые, полы сложены из простых сосновых досок, в углу стояла голландская печь, над чугунной раковиной имелся медный кран, а электрические провода или, как тогда говорили, шнуры, крепились на теперь уже забытых фаянсовых роликах. От главного дома к дворницкой тянулись два электрических провода, которые, если там был свет, не замечали, а если не было, напоминали о том, что он когда-то был. В глубине двора располагалась конюшня, рядом с дворницкой – глубокий погреб, сетчатая ограда отделяла от двора сад с благоухающей клумбой, там же была веранда, куда вела дверь из квартиры хозяйина, который, как написал Паустовский, «держал сад на запоре».

И след его тоже отыскался, потому что в Одессе с давних пор было несколько мест – Пале-Рояль, Отрада, Черноморская улица, жители которых, будто в одном большом дворе, знали друг друга, знали друг о друге, о друзьях и родственниках тоже, соседей помнили и рассказывали о них спустя многие годы.

На Черноморской с пиететом относились к высокому и статному хозяину дома № 18, отцу Димитрию, в миру Дмитрию Андреевичу Гончарюку, священнику Скорбященской церкви при Стурдзовской общине сердобольных сестер, расположенной неподалеку на улице Белинского. Хорошо знали и его жену Анну Алексеевну Долматову, дочь врача Одесского кадетского корпуса, выпускницу Художественного училища, учительницу рисования в частной женской гимназии. Был у них сын Сергей, который осенью 1920 года умер в годовалом возрасте, о чем осталась лаконичная запись в дневнике Паустовского: «У батюшки умер ребенок». Квартирант Паустовский знал фамилию хозяина дома и через много лет написал ее в своих воспоминаниях о Бабеле: «Вилла Вальтуха, вилла Гончарюка, вилла Шаи Крапотницкого...». А в повести «Время больших ожиданий» Паустовский, назвав Гончарюка Просвирняком, обеспечил себе полную свободу творчества и создал литературный персонаж, которого с прототипом роднила главным образом нелюбовь к большевикам, что я понял когда-то из бесед с его бывшими соседями по Черноморской улице.

Много раньше, в июле 1927 года, когда Паустовский приехал в Одессу, еще свежие одесские воспоминания и рожденные ими эмоции привели его на Черноморскую. «Был вчера на Черноморской, – она стала

еще лучше, тенистее, из садов пахнет цветами, – писал он жене, – стало почему-то грустно, – наш домик отремонтирован, в нем кто-то живет». Наверное, стало бы Паустовскому еще грустнее, если бы пришел он туда лет через десять и услышал от кого-нибудь горькие новости о Гончарюке. В первой половине 1930-х годов его арестовали, какое-то время держали в тюрьме, потом повезли было куда-то на поселение, но по дороге он умер. Когда об этом узнала Анна Алексеевна, она в одночасье собрала кое-какие вещи и уехала к племяннице в Киев – так и сломалась ее жизнь, когда ей еще и пятидесяти лет не было. А в 1934 году в Зеленом зале Дома ученых на заседании возглавляемого им Общества врачей-невропатологов и психиатров скоропостижно умер доктор Ландесман. Так уходила в прошлое старая Черноморская...

А ведь когда-то жило тут много людей, каждый из которых был нужен и по-своему интересен. Профессора Новороссийского университета Александр Всеволодович Корш и Гавриил Иванович Танфильев. Приват-доценты этого же университета Петр Михайлович Бицилли и Евгений Семенович Ельчанинов. Владелец экзотической по нынешнему разумению фабрики экипажей Фридрих Фридрихович Бергау. Консул Австро-Венгрии Иоган Паумгартнер. Федор Феофанович Килюс – преподаватель коммерческого училища Г.Ф. Файга, в котором недоучился Л. Утесов. Мировой судья Василий Афанасьевич Боур, однофамилец старой гадалки Елены Станиславовны, бывшей возлюбленной Кисы Воробьянинова из романа И. Ильфа и Е. Петрова. Ильф и сам соприкоснулся с Черноморской улицей, когда перед отъездом в Москву пришел сюда и долго смотрел на море, присев на ступеньки полуразрушенного дома.

В одном из таких домов, как вспоминала дочь Ландесмана Лидия Яковлевна, в начале 1920-х годов объявилась странная старая дама, в полутемной комнатенке которой громоздились чемоданы и дорожные сумки, стояли прислоненные к стене обернутые бумагой картины, лежали на столике фотографии Собинова и Шаляпина с дарственными надписями, том Куприна с трогательным автографом... Дама исчезла так же таинственно и неожиданно, как появилась. И на Черноморской тогда говорили, будто это была вдова одесского городского головы Григория Григорьевича Маразли, в прошлом блистательная актриса, красавица-гречанка мадам Кич, и сама греческая королева прислала за ней миноносец, чтобы увезти на родину.

Возможно, это лишь одна из легенд Черноморской улицы, где переплелись судьбы людей, великолепных полотен, чудесных книг, приглушенные годами трагедии и искрометные истории, где летними вечерами в траве, разросшейся на месте канувших в небытие домов, звенят цикады, а осенью, как при Паустовском, каштаны с костяным стуком падают на неподвластные времени камни мостовой... Когда в Одессе хотят сказать, что кто-то сильно похудел, то говорят, что «от него (или от нее) осталась половина». С Черноморской это случилось в прямом смысле слова. Но можно представить, какой она была когда-то, если и половина ее сегодня несказанно прекрасна.

«...Пришел наш корректор Коля Хаджаев»

Если провести «перепись населения» повести «Время больших ожиданий», то окажется, что оно многочисленно, разновозрастно, многонационально, состоит из людей, когда-то известных лишь родным и друзьям, наподобие Киры Регининой, широко известных по сей день, вроде Бабеля или Катаева, известных в свое время, а потом незаслуженно забытых, как Алексей Николаевич Чичерин.

Он был теоретиком науки о стихосложении, автором нескольких поэтических сборников, одним из основателей Литературного центра конструктивистов. История литературой Одессы без него тоже была бы неполной. Он приехал сюда в 1920-м году, познакомился с поэтом, студентом-медиком Александром Кранцфельдом и поселился у него на Греческой, 38. Осмотревшись и разобравшись в местной литературной жизни, Чичерин вступил в Южное товарищество писателей, потом вышел из него, вошел в Группу пролетарских поэтов, выступал на литературных вечерах в актовом зале Высшей школы, как называли бессмысленно упраздненный властями университет, в зале Губполитпросвета на Рижельевской, 4, в помещении бывшего банка Ашкенази. Еще с 1870-х годов в России была распространена мелодекламация, то есть чтение стихов в музыкальном сопровождении. В отличие от нее, Чичерин некоторые свои стихи читал в сопровождении танца, который мастерски исполняла ученица школы ритмики и пластики Лина Орлова. Она уехала потом в Ленинград, где танцевала, преподавала, входила в жюри многих конкурсов. Орлова и там пыталась было по своему одесскому опыту ил-

люстрировать методами пластики читаемые авторами стихи, но те, кто наделен был правом разрешать или запрещать, сказали, что это недопустимые буржуазные выкрутасы, и никакие ссылки на успехи в Одессе ей не помогли. И через много лет Лина Осиповна рассказывала об этом с не угасшей досадой и недоумением. В повести «Время больших ожиданий» есть глава «Скандал с благородной целью» о литературном вечере, в конце которого, как обещали афиши, должны были быть поэты Шенгели. По словам Паустовского, «вечер был устроен для помощи безпризорным». Многие скрывается в тумане времени, но, к счастью, не все. И оказалось, что вечер устроили по предложению молодой библиотекари «Показательного детского городка им. Коминтерна» на 4-й станции Большого Фонтана Оксаны Андреевны Касько, матери покойной Натальи Осиповны Касько, которая много лет работала в научной библиотеке им. М. Горького, а потом заведовала Одесским художественным музеем.

На вечере «среди неистового шума, смеха и легкого свиста поэт Чичерин кричал грубым басом свои стихи». Ко времени выхода повести Чичерина уже подзабыли. И Паустовский посчитал нужным назвать его поэтом, дабы кто-нибудь из читателей часом не понял так, что сам нарком по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин прибыл в Одессу, чтобы поучаствовать в этом вечере и последующем избиении Георгия Аркадьевича Шенгели, о котором осталась в книге экзотическая подробность: «Шенгели ходил по Одессе в пробковом тропическом шлеме». Он был уже автором более десятка поэтических сборников, из коих только в Одессе недавно напечатали четыре, но за этот экстравагантный головной убор восемнадцатилетний корректор «Моряка» Харджиив, по словам Паустовского, считал его «развинченным эстетом».

Николай Иванович Харджиив в 1928 году был в числе учредителей одесского отделения Всесоюзного объединения рабоче-крестьянских писателей «Перевал» и вскоре уехал в Москву. А там он стал писателем, историком литературы, текстологом, искусствоведом, серьезным коллекционером и крупным специалистом по русскому авангарду. «В это время пришел наш корректор, <...> знаток левой живописи и поэзии, ярый защитник футуристов», – представил его Паустовский читателям повести «Время больших ожиданий». А много лет раньше в повести «Черное море» Паустовский написал о том, как «из книг он сложил лежанку, покрыл ее старым ковром и спал на ней. Брошенная кровать стояла рядом. <...> Ложе из книг он устроил для того, чтобы скрыть

их от любителей литературы». Я вспомнил это наивное ухищрение, когда впервые был у Харджиева в Москве на Кропоткинской улице, которая теперь опять называется Пречистенка, где он жил в старинном двухэтажном доме близ Российской Академии художеств. Лежанки из книг там, конечно, не было. Но кабинет его так был заставлен высокими, до потолка, стеллажами с книгами, альбомами, папками, картонными коробками, связками бумаг, что только в центре оставалось место для маленького письменного стола и двух стульев. Все это напоминало пещеру, вырубленную в книжном массиве. Тем не менее, хозяин великолепно ориентировался тут и, когда разговор зашел об Одессе, мгновенно, будто только вчера поставил его туда, достал с полки сборник «Юго-Запад» с дарственной надписью Эдуарда Багрицкого. По словам Харджиева, именно он, а не Изя Лившиц, как о том написано во «Времени больших ожиданий», познакомил Багрицкого с Паустовским в бытность того секретарем редакции «Моряка». После этого Багрицкий начал печататься в морской газете, не литературной славы ради, а для того чтобы время от времени получать то неожиданное и случайное, что выдавали там в качестве гонорара, – «твердую, как булыжник, синьку, кривые перламутровые пуговицы, заплесневелый кубанский табак, ржавую каменную соль и <...> обмотки из вельвета», как написал Паустовский. Но на безрыбье и мидия рыбой была в нищей Одессе.

О Николае Ивановиче Харджиеве теперь пишут статьи, издают в его память сборники трудов, проводят научные конференции, одна из которых состоялась в Одесском литературном музее, и жители славного города Каховка вправе гордиться своим земляком. Но Паустовский так и не назвал его настоящую фамилию. В рассказе «Инкубатор капитана Косоходова» он Метакса, в повести «Черное море» – Харито, во «Времени больших ожиданий» – Коля Хаджаев. Только причина тут не в негативном к нему отношении, а в том, что Паустовский, когда писал о живых людях, нередко изменял их фамилии или имена, иногда – то и другое, что давало куда как большую свободу творчества. Еще с одесских своих времен он дружил с нашим земляком, впоследствии известным московским архитектором Михаилом Исааковичем Синявским и его женой, сотрудницей «Моряка» Мальвиной Климентьевной Хинсон. Ко времени написания «Времени больших ожиданий» она была еще, слава Богу, жива и осталась в повести под другим именем: «Около «буржуйки» сидела неунывающая и шумная машинистка Люсьена Хинсон.

О ней все говорили, что она «красивая, как итальянка, и все завидовали ей из-за лучшего места в комнате». Несколькими страницами позже появляется «сивоусый и вечно кашляющий от нерешительности отставной морской капитан Походкин», которого автор называет редактором газеты «Моряк». В этой же должности и под похожей фамилией он остался виновником закрытия «Моряка» в рассказе «Инкубатор капитана Косоходова». В обоих случаях Паустовский имел в виду Владимира Александровича Кривоходкина, бывшего капитана парохода «Смелый» Русского общества пароходства и торговли. Только не редактором он был, а ответственным работником Райкомвода, но от него во многом зависела судьба «Моряка». Забавное совпадение случилось полвека спустя, когда заместителем редактора «Моряка» стал выпускник университета Косоногий. В том же озорном рассказе Паустовский изменил и свою собственную фамилию, и название своей газеты: «Иногда в порт забредали уличные торговцы, и Карцев – секретарь морской газеты «Маяк» – удивлялся, слушая их диковинные выкрики». А громко и гневно обвинял капитана в закрытии газеты ее «технический редактор Васька Петров», в котором читатели – бывшие сотрудники «Моряка» тотчас узнали Евгения Николаевича Иванова.

«...Неизвестный человек назвал себя бывшим сотрудником газеты «Русское слово» Евгением Ивановым», – вспоминал Паустовский свое с ним знакомство. В журналистской среде того времени это звучало лучшей рекомендацией, потому что «Русское слово» выпускал знаменитый издатель и книготорговец Иван Дмитриевич Сытин, и газета тиражом семьсот тысяч экземпляров была самой распространенной в России. Иванов поступил туда в 1906 году, дослужился до помощника редактора одного из отделов и проработал до закрытия газеты большевиками в 1918-м. Потом была жизнь и работа в Одессе, откуда он в конце 1921 года с матерью, женой Мариной и дочерьми Евгенией и Вероникой уехал в Сухуми. Позднее там объявился Паустовский, оба они жили в одном доме и работали в Союзе кооперативов Абхазии, которая после голодной Одессы могла показаться, как теперь сказали бы, пятизвездочным раем, поскольку там вдоволь имелось еды, вина и ароматного табака самсун, а Паустовский был заядлым курильщиком. Через год Иванов вернулся в Москву, редактировал газету «На вахте», куда пригласил Паустовского. После этого он заведовал редакционно-издательским отделом ЦК профсоюза водников, который в 1925 году выпустил первый

сборник рассказов Паустовского «Морские наброски», работал в газете «Рабочая Москва», как многие в ту жестокую пору, был судим и выслан, но, к счастью, выжил, а в 1956 году умер от инсульта семидесяти лет от роду.

Прожить звездную жизнь не каждому удастся, чаще, но далеко не каждому, выпадает звездный миг, час, день, год или какой другой временной период. Звездным годом Евгения Иванова стал 1921-й, который он считал подарком судьбы, любил, ценил и помнил. Уже в Москве он еще долго носил свою выдавшую виды морскую фуражку, а во время всех переездов хранил подшивку газеты «Моряк», которую военной зимой 1941 года скрепя сердце пришлось сжечь в «буржуйке». Так уж давно повелось у нас, что на крутых поворотах истории соль и спички исчезают, а «буржуйки» появляются. И в редакции «Моряка» на Приморском бульваре, 1, уже переименованном в бульвар Фельдмана, как писал Паустовский, «стояла железная «буржуйка» с выведенной за окно закоптелой трубой», с которой целая история приключилась. За ее изготовление Иванов заплатил жестянщику четыре тысячи рублей из редакционного бюджета. Потом, когда он представил Райкомводу отчет «в израсходовании отпущенных ему на расходы по изданию газеты средств», выплаты жестянщику не утвердили, так как «они произведены вопреки декрету о расчетных операциях». И он, наплевав на этот декрет и эти расчетные операции, внес в кассу редакции четыре тысячи собственных рублей, потому что, по словам Паустовского, «для него выше «Моряка» не было ничего на свете». Старшая дочь Иванова Евгения Евгеньевна, которой в Одессе было всего одиннадцать лет, запомнила номера домов, но отчетливо помнила, что поначалу они жили на Уютной улице в Отраде, а потом перебрались на Канатную поближе к центру. Но в документах, в коих требовалось указать свой адрес, Иванов писал «Бульвар Фельдмана, 1», потому что в первую очередь считал своим домом редакцию «Моряка».

Иванов числился всего лишь техническим редактором «Моряка», поскольку журналиста из буржуазного «Русского слова», закрытого за клевету на советскую власть, эта самая власть ни в коем разе не назначила бы официальным редактором своей газеты, пусть даже ведомственной. Но получилось так, что назначенный Райкомводом редактор из отставных капитанов по нежеланию и полной своей некомпетентности почти не касался редакционных дел и всю работу с мастерством, удо-

вольствием и азартом выполнял Иванов, который до этого уже был редактором водного отдела объединенной газеты водников и железнодорожников «Южный транспорт». Об этом писал Паустовский и через много лет говорили мне бывшие сотрудники «Моряка» – Николай Харджиев, еще один корректор Николай, но по фамилии Подорольский, репортер Яков Кравцов, которым в молодости довелось работать с ним. По словам Паустовского, «Иванов подбирал для газеты сотрудников по своей системе. <...> Прежде всего, он брал молодых и при этом талантливых, потом опытных, так называемых «тертых».

К ним относился и Федор Иванович Благов, с которым Иванов был знаком еще со времен работы в «Русском слове», где тот был редактором, и все сотрудники знали, что он зять «самого Сытина». Подобно Ивану Бунину, Тэффи, Дону Аминадо, Алексею Толстому, Благов бежал от большевиков в свободную еще Одессу, но когда заканчивалась эта свобода, в отличие от них, за границу почему-то не уехал. Уже потом он традиционным тогда, но оказавшимся таким неудачным для Остапа Бендера путем пробрался в Румынию, потом обосновался в Париже. А там он так бедствовал, что вынужден был разносить клиенткам заказы из шляпной мастерской, а знакомые с давних пор литераторы иногда просили издателей перечислять ему причитающиеся им гонорары за газетные или журнальные статьи. До такой жизни он не дошел даже в нищей Одессе 1920-21 годов, где Иванов взял секретарем редакции водного отдела «Южного транспорта» жену Благова Марию Васильевну, а потом, как написал во «Времени больших ожиданий» Паустовский, – «Благова к себе в «Моряк» старшим корректором. Благов оказался возмутительно придирчивым к орфографии. Достаточно было кому-нибудь из сотрудников сделать пустяковую ошибку, чтобы заслужить его вечное презрение». Впервые же о Благове Паустовский написал тремя годами раньше в чудесном рассказе «Случай в магазине Альшванга», включенном в «Золотую розу», книгу о труде и мастерстве писателя: «Сидел с нами и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распространенной в России газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина. Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всей своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной молодежью нашей редакции». Паустовский называет пятидесятипятилетнего Благова стариком, что можно понять, поскольку сотрудники «Моряка» были тогда очень молоды, кроме не-

скольких человек, в том числе Аренберга, которому перевалило за сорок, но и это был, как говорят в Одессе, «не возраст».

«Пришел репортер Аренберг, плотный человек со смеющимися глазами, – писал Паустовский во «Времени больших ожиданий». – Он бурно радовался любой новости, будь то приход в порт норвежского парохода «Камилла Гильберт» или землетрясение в Аравии». Невелик этот абзац, но за ним люди, события и... стихи.

Жизнь Александра Анисимовича Аренберга сложилась так, что он, не имея никакого образования, до всего, что знал и умел, дошел собственным умом и старанием. И в «Моряке» его дружно считали авторитетом по части газетного, равно как типографского дела и всего, что касалось Одессы. Он печатался когда-то в «Киевской мысли», в московских «Русских ведомостях», но постоянно, с 1900 года, был репортером «Одесских новостей». И знал город, как говорится, вдоль и поперек, все его улицы, переулки, тупики, проходные дворы и спуски, от убогих лачуг Сахалинчика до фешенебельных кварталов Дерибасовской. Сообразно специальности и неистребимому любопытству к жизни, он когда-то брал интервью у Бунина, беседовал с Куприным, помнил Чуковского, был знаком с Уточкиным и молодым Утесовым. С равной степенью интереса Аренберг водил знакомства с дворниками, оперными тенорами, трамвайными кондукторами, университетскими профессорами, гостиничными швейцарами, директорами банкирских контор, сыщиками, профессиональными бильярдистами, владельцем знаменитого кафе на Екатерининской, 12, месье Паулем Робина и мадам Песей Друкер, держательницей публичного дома на Мещанской улице с филиалом на Разумовской...

Я еще имел удовольствие убедиться в этом в 1960-х годах, когда Александр Анисимович одиноко доживал свой долгий век на Французском бульваре, где, сложив на груди руки и откинувшись на спинку стула, иногда угощал приходивших к нему рассказами о старой Одессе, но предпочитал отвечать на конкретные вопросы. Однажды, осмелев с помощью бессарабского красного, как по старой памяти уроженца Тирасполя он называл знаменитое молдавское «Каберне», я спросил Аренберга, почему он, отойдя от дел, не написал воспоминания о тех, с кем встречался, о том, чему участником и свидетелем в своей жизни был. И он сразу, как о чем-то давно обдуманном и решенном, сказал, что его дневники пропали во время войны, а писать о серьезных делах и достой-

ных людях, доверяясь исключительно памяти, он себе не может позволить. «Слишком много воды утекло, – сказал он, помолчал и добавил: – И крови». И посмотрел на портрет сына Ильи, военного переводчика, погибшего в 1944 году.

После отъезда Паустовского из Одессы их связывали дружеские отношения. Приезжая в Одессу в 1920-х годах, Паустовский останавливался у Аренберга в доме № 14 по Театральному, ныне переулку Чайковского, где тот много лет жил в 15-й квартире на первом этаже правого дворового флигеля. Но когда весной 1989 года мы с Вадимом Паустовским, который, верный памяти отца, обошел и объездил все места, где тот бывал, жил и писал, пришли в этот дом, там уже только стены что-то помнили и молчали.

В 1960 году, как только в Москве вышло первое издание повести «Время больших ожиданий», Паустовский прислал ее Аренбергу. «Дорогому старому другу Александру Анисимовичу Аренбергу – на память об Одессе двадцатых годов, – написал он, расписался, поставил дату, потом, дорожа его мнением, добавил: – Простите мне некоторые неточности в этой книге, памятуя, что это не мемуары, а свободная повесть». Это признание, будь оно известно тогда историкам Одессы и биографам Паустовского, сняло бы многие их вопросы. Но Аренберг не был ни тем, ни другим и, показывая книгу, сказал, не столько обращая ко мне, сколько размышляя вслух: «Какие извинения, когда здесь всё, что тогда было с нами, и все, кто тогда был с нами. А этот пароход я, оказывается, забыл».

По более-менее свежим следам, еще в 1930-м, Паустовский написал мемуарный очерк «Приморские встречи», в котором упомянул стоявший в одесском порту «Камилла Гильберт», назвав его просто «Гильберт». Очерк впервые был напечатан только в 1958 году в собрании сочинений писателя, и тогда же этот пароход уже под полным своим названием ошвартовался в повести «Время больших ожиданий». Стало быть, какая-то причина запомнить его у Паустовского была. Но пароходы, как люди и книги, имеют свою судьбу, и одесский след «Камилла» – другой нам без надобности – затерялся в море событий и фактов. А потом все-таки отыскался.

1 июня 1921 года в Одессе, как тогда говорили, приняли радио о скором прибытии из Балтимора норвежского парохода «Камилла Гильберт» с грузом угля, закупленного в Соединенных Штатах. Пароход при-

шел вечером 3 июня и за несколько дней с него выгрузили семь с половиной тысяч тонн угля. Правда, одесситам не весь уголь достался, большую часть его сразу погрузили в вагоны и куда-то увезли. Небольшое количество раздали грузчикам в награду «за добросовестную работу без потери единого пуда», и немножко угля для сотрудников «Моряка» выпросил Евгений Иванов: «Братишки, ваша же газета!». Уголь был тогда, что называется, на вес золота, и топили всем, что могло гореть: газетами, выломанными из брошенных домов оконными рамами, акациевыми щепками, книгами, камышом, мебелью, о чем написал Паустовский: «...Иванов приказал притащить из подвала особняка огромный, как готический собор, буфет из черного дуба и разрубить его на дрова». Потому-то, как вспоминал Харджиев, пока он вез на тележке полученный уголь к себе на Нежинскую, 52, его сто раз останавливали и просили продать «хоть ведерко». Паустовскому же «Камилла Гильберт», запомнился, наверное, не только полученным углем.

Пароход этот, принадлежавший некоему Вилли Гильберту, который назвал его в честь кого-то из своих близких, был спущен на воду всего год назад и построен по последнему слову техники. Он имел рефрижераторы, опреснители морской воды, рацию, удобные каюты для экипажа и развивал скорость в 11 узлов, приличную даже по нынешним меркам. И оказавшиеся на сухопутье из-за отсутствия пароходов многоопытные морские люди, как называет их Паустовский, с профессиональным интересом разглядывали «Камилла», завидуя последнему палубному матросу, которому выпало ходить на таком пароходе по морям и океанам. А Паустовский написал стихотворение, которое на первый взгляд могло показаться лишь данью морской романтике.

Вы помните, – у серого «Камилла»
Ныряли чайки, словно хлопья снега,
Как чешуя, вода в порту рябила,
И по ночам слепительная Вега
Сверкала вся, как древняя корона,
Как божий знак покинутых морей.
Железный лязг скрежещущих лебедек
И хриплый крик, и темные закаты
На пелене прозрачной и зеленой,
Где облака – как крылья лебедей.

И тихий ход портовых ветхих лодок
У черных и бездымных кораблей,
Заржавленных, как латы.
А на рассвете, тусклом, как опалы,
Мы слышали густой и медный рев
Сирен тягучих. Бледные кораллы
Мигали в ночь. И этот гулкий зов
Напомнил мне о гаванях шумливых,
О зное стен и запахе вина,
О бронзовых и закаленных лицах
Чужих и странных моряков.
И горечь дум, и блеск зарниц в заливе,
Сквозных медуз в волне голубизна,
И запах соли, солнца и корицы
Измучили, как мучает весна
Беспомощных рабов.

Грустная картина безжизненного порта и без Паустовского была на виду всей Одессы, а вот упоминания о горечи дум и беспомощных рабах могли вызвать крамольные ассоциации. Но цензура, тем более провинциальная, еще не понаторела в таких тонкостях, и стихотворение было благополучно напечатано.

В редакции готовили тогда 100-й номер «Моряка», приуроченный к десятилетию газеты, и хотели выпустить его ни больше ни меньше как на двадцати страницах. Бумагу же ни достать по самому высокому знакомству, ни купить за самые большие деньги нельзя было, потому что все ее скудные запасы, включая плотную синюю, которой раньше оборачивали головки сахара, давно учли и расходовали строго по лимиту. Но охота пуще неволи, и неутомимый Евгений Иванов придумал выход. «Моряк» выходил на четырех страницах, и если бы по четыре предыдущих и последующих газеты напечатать в половинном объеме, можно было сэкономить бумагу для двадцатистраничного юбилейного номера. Кто-то удовлетворенно воскликнул «О!», и предыдущие номера действительно вышли в сокращенном варианте. Но когда 100-й номер на двадцати страницах был готов к печати и некий суровый гражданин в наглухо застегнутой, несмотря на июньскую жару, гимнастерке отпистнул на представленных ему полосах будущей газеты лиловый штамп

пик «Р.В.Ц», что означало «Разрешено военной цензурой», оказалось, что авансом под сокращенные последующие номера бумагу не выдадут. Пришлось оборвать номер на 12-й странице и срочно подверстать к ней выходные данные, а надпись на первой полосе «В этом № 20 стр.» перебрать забыли или не успели. Газету так и напечатали с ней во «2-й Советской типографии», которая располагалась в двухэтажном здании в глубине старинного дома в Красном переулке, 11. От широких дверей типографии через двор, подворотню и тротуар до самой мостовой тянулись и еще много лет потом сохранялись узенькие рельсы, по которым утром 23 июня вывезли на вагонетке перевязанные шпагатом пачки юбилейного номера «Моряка», уложили на классическую одесскую тачку о двух колесах, и старый тачечник поволок ее по Красному переулку, Дерибасовской, Екатерининской на бульвар, где одна из комнат редакции была отведена под экспедицию.

В Одессе проходила тогда представительная конференция водников, на которой в виде подарка раздавали «золотой», как его тотчас называли, юбилейный номер «Моряка». Делегаты же, в свою очередь, «учитывая значительность и ценность газеты для всей морской семьи», приняли решение о «натурпремировании» сотрудников «Моряка», что означало выдачу различных жизненно необходимых вещей, предметов и продуктов – от баночки сливового повидла до нескольких тоненьких свечек, считавшихся роскошью в хозяйстве обнищавших одесситов. Но нищета нередко рождает зависть. И когда однажды пятью фунтами картошки «натурпремировали» всеми уважаемого Аренберга, это вызвало неподдельное возмущение недавно появившегося сотрудника. «Зарежьте меня на куски, – взывал он, – если можно знать, почему продовольствие выдают Аренбергу, когда я раньше него записался в союз». Речь шла, конечно, не о государственном объединении, тогда еще не существовавшем, а о профессиональном союзе, без членства в котором и шага нельзя было ступить, в чем лишний раз убедился Остап Бендер, узрев безжалостное предупреждение «пиво отпускается только членам профсоюза».

«Натурпремирование» за юбилейный «Моряк» выдавали в Райкомводе, расположенном на втором этаже того же дома на Приморском бульваре, где располагалась редакция «Моряка». Туда и подтянулись журналисты, чтобы – подумать только! – безо всяких карточек получить фунт почти уже забытого сахара, две буханки черного хлеба

и четверть фунта настоящего табака, который даже курящая публика тут же пыталась сменить на сахар: «Или я больной курить махорку?». Это было грустное зрелище, когда люди «письменного труда» радовались нежданно-негаданно свалившемуся на них «богатству», от которого еще несколько лет назад ломились полки гастрономических магазинов Ришельевской и съестных лавок Малой Арнаутской улицы. И только «стихотворный фельетонист» Ядов, укладывая продукты в мягкую кошелку из кожаных звеньев, не удержался от ироничного вздоха: «Почти как в «Новостях». Он имел в виду закрытые властями «Одесские новости», где сотрудников и авторов ценили высоко и платили им соответственно. Все это помнили, поняли и промолчали. Только стоявший рядом Аренберг с красноречием Бени Крика и уходящей в прошлое учтивостью полушепотом сказал: «Яша, будьте так любезны, замолчите свой рот! Вы малахольный? Или захотели на Маразлиевскую?». На Маразлиевской, 40, уже переименованной в улицу Энгельса, в реквизированном доме барона Гойнинген-Гюне находилась Губчека, и оказаться там никому не хотелось.

Судя по тому, что в заголовке не проставлена цена, юбилейный номер «Моряка» не предназначался для продажи. Но после раздачи делегатам конференции часть тиража газеты осталась. Тогда и решили передать ее для реализации в клуб водников при Райкомводе и в театр «Красный моряк», открытый в бывшем иллюзионе «Экспресс» на Дерибасовской угол Преображенской, вернее, на Лассалья угол Троцкого, потому что эти улицы переименовали, и называть их по-старому было еще привычно, но уже нелояльно. И те, кому осточертела агитационная беллиберда в газете «Большевик» Одесского губкома КП(б)У или, скажем, «Бюллетене Одесской губпятайки по борьбе с кулацким засильем и недосяемом полей», «золотой» номер читали и передавали друг другу.

А почитать там было что. Стихи Эдуарда Багрицкого, Георгия Шенгели и Эммануила Германа, оставшегося в литературе под псевдонимом Эмиль Кроткий. Рассказы Исаака Бабеля «Король» и Валентина Катаева «Сэр Генри и черт», о котором, как написал в повести «Черное море» Паустовский, «в редакции говорили, что сам Эдгар По содрогнулся бы, читая его». Поэма Якова Ядова об истории «Моряка». Стихотворение «Смеялось море...», которое выпускающий «Моряка» Изя Лившиц подпisał «И. Л.», и его же переводы из французского поэта Жана Ришпена, бывшего актера, моряка и портового грузчика, о ком Багрицкий как-то

сказал: «Босяк, но наш парень!». И подписанное «К. П.» стихотворение Паустовского «Вы помните, – у серого «Камилла»...»

«Золотой» номер стал своего рода антологией поэзии и прозы одесских авторов. И заслуга в этом была Константина Паустовского, который, по словам Валентина Катаева, «заправлял в «Моряке» всей литературой».

«Я видел подлинную концовку рассказа «Гамбринус»...»

Окажись мы каким-то чудом на одесской улице ранним утром 24 февраля 1903 года, то услышали бы, как, обгоняя друг друга, наперебой восклицают газетчики: «Волшебная скрипка Кармена на дне Одессы! Только в «Одесских новостях»! Волшебная скрипка!» Проходим, конечно, интересно было узнать, какая это скрипка вдруг оказалась на дне Одессы. А дело в том было, что понаторевшие в таких делах газетчики представляли новую главу «Волшебная скрипка» пространного очерка журналиста и писателя Лазаря Осиповича Кармена «На дне Одессы», печатавшегося с продолжением в газете «Одесские новости». Кармена уважали за полные жестокой и грустной правды рассказы из жизни тех, коих безжалостная судьба бросила на дно богатого портового города и, когда печатался его очерк, тираж «Новостей» приходилось увеличивать на шестьсот экземпляров, поскольку газета уже с самого утра шла нарасхват.

В этом выпуске Кармен написал о пивном заведении бывшей варшавской жительницы мадам Паулины Гоппенфельд, которое под названием «Гамбринус» укрылось в глубоком полутемном подвале на Преображенской, 32, угол Дерibasовской, где на бочках, заменявших столы, стояли «большие, как фабричные трубы, кружки с черным пивом с «манжетами» (пенной), сосиски с хреном, нарезанные франзолы и французская горчица». Все это можно было иметь и в других заведениях, но «Гамбринус» больше всего был известен своим скрипачом: «В погребке было светло и много народу. Вокруг бочек тесно сидели кочегары, штурманы дальнего плавания, фабричные, ремесленники, кучера с дамами сердца – аппетитными кухарками, мамками и экономками. Все сидели в облаках дыма от трубок, папирос и сигар, пили пиво и жадно слушали широкоплече-

го блондина, которого все фамильярно называли по имени «Сашкой». Сашка сидел, развалившись на стуле, и играл на скрипке, и ему аккомпанировали с двух сторон два молодых человека весьма приятной наружности; один на фортепиано, а другой на фисгармонии... Сашка! Сашка! Кто не знает его! Его едут слушать со всех концов Молдаванки, Пересыпи и Слободки-Романовки, И не даром. Он душу выворачивает своей скрипкой, он в состоянии заставить камни обливаться слезами и сейчас же заставить их пуститься в пляс! Гости и пяти минут не давали отдыху Саше <...> Саша всех удовлетворял. Он играл все <...> К Сашке подошел мужчина в красном шарфе на шее и попросил сыграть «Реде та стогне Дніпр широкий». Сашка заиграл...»

Большую часть времени жил в Одессе, а известен был всей читающей России Семен Соломонович Юшкевич, который, по словам своего друга и собрата по литературному цеху Бориса Зайцева, «был органический писатель, в этом его главная сила, он достигает наибольшего тогда, когда живописует художнически – любимых им людей Одессы». В 1908 году Юшкевич написал повесть «Улица», в которой блистательная Дерibasовская предстала символом распроданной любви и растоптанной молодости тех, кого по вечерам выводила сюда нищета и убожество жизни. И «Гамбринус», который располагался в двух шагах от Дерibasовской, тоже оказался в этой печальной повести: «Погребок полон. Играет музыка, – скрипач, гармонист с папиросой в зубах. Пьяные, шумливые притихли; неподвижно, как бы окаменев в своей позе, играет скрипач, и все – матросы, мастеровые, рабочие, уличные и их любовники дышат с ним одним дыханием, замерли, как он. Если бы так вечно, если бы сгнула жизнь там наверху, и остался для души один этот миг радости...». В 1916 году в прокате появилась «сенсационная драма в 3-х частях», снятая акционерным обществом «Дранков и К^о» по повести «Улица». А через год, как говорили когда-то в Одессе, произошло то, что случилось.

В 1920 году Юшкевич, подобно Благову, оказался в Румынии, оттуда перебрался в Париж и, понятно дело, что книги его у нас не печатали. Повесть «Улица» переиздали в Одессе лишь в 2002-м году, когда читатели уже не могли узнать не названный в ней «Гамбринус» и Сашку. Очерк же Лазаря Кармена вышел в Одессе отдельным изданием в далеком 1904 году, а потом затерялся в бескрайнем книжном море. И попросла бы травой забвения, которая с годами тоже пожухла бы, память

о «короле «Гамбринуса» и его волшебной скрипке, не напиши о нем часто приезжавший в Одессу Александр Иванович Куприн, которого, возможно, Кармен и привел в заведение. В этой связи в рассказе «Гамбринус» упоминается «один репортер местной газеты, Сашкин знакомый». А может, это был Ловенгардт, как написал о том Константин Паустовский. Да так ли уж важно, кто привел Куприна в «Гамбринус»? Главное, что Паустовский напомнил нам о коренном одессите, чей дед приехал сюда из Галиции еще в конце 1840-х годов, известном когда-то, а потом забытом журналисте, авторе вышедшей в 1901 году книжки очерков «В осенней мгле» Антоне Сигизмундовиче Ловенгардте, который много лет жил на Военном спуске, 4, и умер там во время румынской оккупации. Да Куприн и сам мог прийти в «Гамбринус», поскольку всегда считал, что «о душе большого города музеи и дворцы говорят гораздо меньше, чем старые улицы, чем рынок, порт, набережная, церковь, лавка антиквара и, конечно, больше всего – дешевый трактир попроще».

Аренберг рассказывал, что, отправляясь в «Гамбринус», Куприн, дабы не выделяться, одевался соответственно посетителям этого заведения: старенький пиджак, двенадцатикопеечная манишка из магазина готовой одежды Альшванга на Дерибасовской, 14, и съемные манжеты, на которых он иногда что-то быстро черкал карандашом, поскольку, если писать на бумаге, то можно было насторожить посетителей. Он подружился с Сашкой и тот пригласил его к себе на Молдаванку, где жил на втором этаже старого дома на улице Садиловская, 40, в квартире под номером 25. Куприн приходил к нему, перекидывался в картишки, опрокидывал рюмку, попивал чай с монпансье, беседовал, узнал, что Саша его ровесник, родом из городка Чериков на реке Сож в Могилевской губернии, рано потерял мать, а когда отец, бедный тачечник, привел в дом мачеху, подался куда глаза глядели, кормился игрой на скрипке, попал в Одессу, женился на красавице-вдове с ребенком, играет в «Гамбринусе», на жизнь не жалуется, деньжатами не обижен, и люди делают ему уважение. В подтверждение того он показал Куприну большую картину, на которой был изображен Сашка со скрипкой, ее раскрытый футляр на столе и все та же Белочка. Эту картину с непосредственностью и старательностью любителя нарисовал и подарил Саше телеграфист со станции Мардаровка, который специально приезжал в Одессу послушать его скрипку. А рабочий стекольного завода специально изготовил для Сашки кружку в форме са-

пожка, которая вмещала три бутылки пива. И сапожок этот никогда не бывал пустым не потому, что Сашка не жаловал пиво, а потому, что посетители «Гамбринуса» все время наполняли его, почитая за честь и удовольствие угостить своего кумира.

В доме № 14 по Театральному переулку жил ювелир Михаил Яковлевич Хомицер, который в ту пору сопровождал Сашку на пианино. Перед вечерней игрой Саша иногда заходил к нему, а однажды пришел с Куприным. Хомицер, даром что простой ювелир был, по-видимому, смекнул, чем может обернуться дружба писателя с Сашкой, и попросил Куприна «в случае чего» не упоминать его имени, поскольку сын и дочь учатся музыке и ему совсем не хочется, чтобы потом прознали, где играл их отец. Куприн уважил просьбу и в рассказе лишь проходным персонажем появляется «аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика», что никоим образом не сказалось на карьере его внука, талантливого виолончелиста, профессора Московской консерватории Михаила Хомицера.

Рассказ «Гамбринус» был напечатан в февральском номере журнала «Современный мир» за 1907 год. А два месяца спустя Куприн приехал в Одессу, пришел в «Гамбринус», расцеловал Сашку, одарил массивным серебряным портсигаром, поднес журнал с трогательной надписью и, как всегда, уселся за бочку в дальнем углу, откуда все хорошо было видно и слышно. Там и просидел он весь вечер, потом Сашка уложил скрипку в футляр, надел свою неизменную кепочку с лаковым козырьком, кликнул собачку Белочку и ушел вместе с Куприным. На улице он по своему обыкновению купил у торговки связку бубликов, надел на шею и угощал ими встречных бродяг, подгулявших студентов и ночных красавиц с Дерибасовской, будто только что сошедших со страниц повести Юшкевича. Пришли к Сашке на Садиловскую и пили «изрядный магарыч» во славу Одессы, Александра Ивановича, Сашки, Сашкиной скрипки и отдельно – смычка палисандрового дерева с медной шишечкой на конце, только что родившегося сына Аркадия, Могилевской губернии, Черного моря, пивного короля Гамбринуса, одноименного рассказа, одноименного заведения и его буфетчицы Марьи Ивановны, которая «имела полное доверие хозяйки». Последним тостом выпили даже за Белочку, которая, давно привыкшая в «Гамбринусе» к шумному застолию, смиренно сидела на диване, широком и тяжелом, как площадка биндюжника.

Рассказ Куприна обрел собственную судьбу, удостоился одобрения самого Льва Николаевича Толстого, был переведен на другие языки и прочитан в других странах. Сашка же «неизменно каждый вечер к шести часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках», о чем Куприну регулярно писали одесские друзья. С его же легкого пера «Гамбринус» стал своего рода достопримечательностью Одессы, и многие приходили сюда не пиво попить, а посмотреть «на Сашку из рассказа Куприна». В 1913 году, в ореоле всероссийской славы приехал в Одессу поэт Игорь Северянин, пришел в «Гамбринус» и с Сашкой пил здоровье Куприна. Сменив форменную тужурку ученика Одесского императора Николая I коммерческого училища на гражданское платье, приходил сюда Исаак Бабель. Юный Эдуард Багрицкий, коему нечего было сменять, поскольку «за громкое поведение при тихих успехах» его уже вышибли из реального училища Валериана Антоновича Жуковского, подружился с Сашкой, который похлопывал его по плечу и называл «фартовым парнем». И в романтическом порыве молодой Олеша поднял там тост «за Блока, за поэзию, за музыку, за весенние карнавалы на земле!».

В повести «Время больших ожиданий» Константин Паустовский написал о боцмане Миронове, который поразил сотрудников «Моряка» и многих морских людей феноменальной памятью и осведомленностью о судьбе пароходов, уведенных французами и Добровольческой армией за границу, а потом, «смущенный своим триумфом... сбежал в родной Херсон». Похожее случилось и с Сашкой. В конце 1914 года он неожиданно ушел из «Гамбринуса» в подвальный же ресторанчик «Тирольский грот», который достопочтенный супруг Паулины купец Адам Гоппенфельд держал в подвале на Греческой, 46. «Тирольский грот» был отделан, что называется, с претензией: стены выложены дикарным камнем, в нишах горели фонарики и стояли горшки с цветущими растениями, девушки в ярких национальных костюмах с одинаковой приветливостью подавали постоянным и случайным посетителям пиво знаменитого варшавского завода «Габербуш Шиле». Вслед за Сашкой туда перекечевали многие завсегдатаи «Гамбринуса», которые, тем не менее, авторитетно заявляли, что «Гроту» таки далеко до «Гамбринуса», хотя разделяли эти заведения всего два квартала.

Потом Сашку закрутило, понесло по Одессе. Он играл перед сеансами в театрах-иллюзионах «Ренессанс» на Прохоровской, 48, «Океан» на Колонтаевской, 39, «Слон» на Мясоедovской, 24. И былая слава его

не рядом шла, а впереди бежала, потому как владельцы иллюзионов неизменно ставили в афишах: «В фойе театра играет струнный оркестр под управлением знаменитого Сашки-скрипача Гамбриновского». И очень многие платили за билет свои 12 копеек не только для того, чтобы посмотреть, как тогда называли, фильму, пусть даже с Чарли Чаплиным, Максом Линдером или королевой экрана Верой Васильевной Холодной, а чтобы еще раз встретиться с Сашкой. В 1918 году его скрипку можно было услышать в подвальном ресторане «Зимний сад» на Преображенской угол Большой Арнаутской. В сопровождении виолончели, пианино и флейты звучала она и в маленьком, столика на четыре, кавказском винном погребе «Алла-верды» на Ольгиевской улице неподалеку от Нового базара, где Саша сообразно новым временам играл «Яблочко». Но это было уже в 1919 году, одесские события которого Паустовский описал в повести «Начало неведомого века».

А завершается она рассказом о последних днях Добровольческой армии генерала Антона Ивановича Деникина в Одессе, когда «газеты еще выходили», но уже не все, поскольку многие сотрудники их от беды подальше подались в дальние края. До самого конца продержалась лишь газета «Современное слово», где Паустовский работал корректором, и «Одесские новости». Сотрудники их редакций и рабочие типографий подготовили, сверстали, вычитали, выправили и отпечатали завтрашние номера газет. Но утром следующего дня было уже не до газет. «В окно я увидел, как с улицы во двор ворвался «Яша на колесах», – писал Паустовский. – Он открыл дверь на лестницу и крикнул снизу, наполняя гулом своего голоса пустой санаторий: «Большевики прорвались у Тилигульского лимана!». В «оперативной сводке Реввоенсовета республики» тоже было указано, что «наши части, наступая от Тилигульского лимана в юго-западном направлении, выдержали ряд упорных боев...». Но в сводке и слова не было о том, что творилось тогда на улицах, спусках и в порту. К этой теме Паустовский прикоснулся еще в 1930-м году в романе «Коллекционер», который потом был потерян за исключением нескольких глав, напечатанных лишь в 1962 году. К тому времени была уже написана повесть «Начало неведомого века», в которой осталось леденящее кровь описание того, что на глазах Паустовского стряслось когда-то в Одессе: «Я долго потом не мог отделаться от гнетущего ощущения, будто я уже видел на картине какого-то беспощадного художника это гомерическое бегство, эти рты, разорванные криками о помощи,

вылезавшие из орбит глаза, зеленые от ужаса лица, глубокие морщины близкой смерти, слепоту страха, когда люди видят только одно – шаткие сходни парохода со сломанными от напора человеческих тел перилами... Пароходы медленно кренились под тяжестью людей, хватавшихся за борта и карабкающихся на них... Мы видели, как на пароходах начали рубить швартовы, и пароходы отваливали, не убирая сходней. Сходни сползали и обрушивались вместе с людьми в море. Невозможно было слышать крики, проклятия и плач оставленных и разлученных людей. Пароходы медленно отходили на рейд, густо дымя и тяжело работая винтами... По спуску, заваленному изорванными вещами, мимо трупов задавленных людей, медленно ехал в порт разъезд советских кавалеристов». Этой трагедией в субботу 7 февраля високосного 1920-го года началось «то время», как чисто по-одесски однажды сказал мне Валентин Катаев и многозначительно поднял палец. В первой половине 1980-х годов, когда властная система уже потрескивала, Катаев мог себе это позволить в приватной беседе, а в конце 1950-х Паустовский долго искал название повести, полшутя-полусерьезно объявил даже конкурс, победителю которого обещал заплатить 300 рублей, и лишь тогда, когда рукопись повести была уже готова, остановился на «Времени больших ожиданий». Вездесущая, подозревавшая всех и во всем цензура не усмотрела тут никакой крамолы, хотя то, чего ожидали, многим было понятно, а чего дождались – известно.

Грустные черты и черточки, реалии, детали и подробности того времени разбросаны по страницам повести, но если собрать их воедино, картина сложится удручающая. «Сотни тысяч рублей, которые мы получали под видом заработной платы, целиком уходили на обед в соседней нарпитовской столовой. Там изо дня в день мы съедали две-три ложки ячной каши, сдобренной зеленым, похожим на вазелин веществом. Торелли уверял, что это было ружейное масло. Кроме того, мы питались горелым хлебом и мидиями. Хлеб отличался удивительной способностью: корка и мякиш существовали в нем обособленно. Они образовывали как бы два чуждых друг другу геологических пласта. Между этими пластами находилось пространство, заполненное мутной кисловатой влагой, горьким хлебным соком. Были любители, которые высасывали этот сок и утверждали, что он вылечивает опухоли на суставах. Такие опухоли появились тогда от недоедания и холода». «Голод прятался рядом. Мы все время чувствовали его близость...» «Что касается меня, то я считал себя

совершенно счастливым, когда мне удавалось достать несколько таблеток сахара. Я пил с ним чай из сушеной свеклы с горелой хлебной коркой...» «Деньги уходили на ячную кашу и на воду, – за ведро воды приходилось платить пятьсот рублей. Больше их почти ни на что не хватало, даже на спички и дрова. Акациевые дрова, похожие по цвету на серу, продавались в Одессе только щепками и только на вес». «Маленький кусок черствого кукурузного хлеба и десяток абрикосов считали вполне достаточной пищей». «Хлеб давали только по карточкам...» «Кожаная обувь была в то время большой редкостью». «Электричество в Одессе давно не горело. О нем забыли. Лампочки обросли пыльной коркой. Выключатели, если их случайно поворачивали, взвизгивали от ржавчины». «Торелли роздал нищим подавание – по тысяче рублей каждому... Старуха с гноящимися глазами швырнула деньги на могилу Рахили и закричала: «Что мне купить на ваши деньги? Дырку от бублика?» «Володя Головчинер достал где-то кусок старого глицеринового мыла...» «Холод ощущался тяжелее, чем, скажем, в Москве, потому что ноздреватый камень «дикарь», из которого был построен город, легко пропускал пронзительную сырость морской зимы... Снова у всех начали опухать и кровоточить суставы на пальцах». «У меня было немного муки. Я пек из нее пресные лепешки. Мука кончалась, и леденящий ужас уже закрадывался ко мне в сердце». «Какая жизнь, когда подковать этих несчастных коняг стоит чуть ли не миллион рублей! Раньше за миллион можно было купить все Ближние Мельницы со всеми их садочками, абрикосой, борщами и конями!» Таким было «время больших ожиданий», в котором приходилось не просто жить, но выживать, и Саше-скрипачу это не удалось.

В начале лета 1920 года он в компании таких же безработных, обнищавших и голодных музыкантов отправился в Париж, только не в тот, где Елисейские Поля, а на окруженную щедрими черноземными полями станцию, ныне именуемую Веселый Кут. Оттуда он подался в окрестные села в последней надежде сменить куяльницкую соль на продукты, на обратном пути в столпотворении мешочников подхватил тиф, в полубредовом состоянии добрался до Одессы и 23 июня умер в Еврейской больнице на Госпитальной улице. Печальные хлопоты выпали на долю Сашиного пасынка, который в конце того же дня принес объявление о смерти отчима на Екатерининскую, 8, где в помещении редакции закрытых властями «Одесских новостей» располагалась редакция газеты «Известия Одесского губернского революционного комитета, Губерн-

ского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Одесского Совета рабочих и крестьянских депутатов». Только это полное название никто не произносил из-за принципиального нежелания или по какой другой причине. Паустовский в повести «Время больших ожиданий» тоже называет газету «Одесскими известиями» и просто «Известиями».

На следующий день «Известия» в рубрике «Скончались» напечатали крошечное, с почтовую марку, извещение: «Александр Яковлевич Пензнер (Сашка-скрипач из Гамбринуса), о чем извещают жена, дети и родственники. Вынос тела из евр. больницы сегодня, в 1 час дня по сов. времени». Наборщик «Известий» по ошибке набрал «Пензнер» вместо «Певзнер», какова и была фамилия Саши. Но это не имело тогда большого значения, поскольку мало кто из завсегдатаев «Гамбринуса» знал его фамилию, для них он всегда оставался Сашкой из «Гамбринуса», как о том предусмотрительно и написано было в объявлении. К тому же, большинство из них, скорее всего, не читали «Известия», тем более за утренним кофе, а похороны ведь были назначены на час дня. В основном, тут «голосовая почта» сработала: кто-то еще вечером узнал о смерти Саши, сказал другому, тот передал третьему, третий – четвертому, и волной пошла по городу грустная новость, которая всегда почему-то распространяется быстрее веселой. И множество людей пришли к больнице «в 1 час дня по сов. времени», когда июньское солнце еще и не поднялось над акациями Госпитальной улицы, потому как большевики несколько раз затевали декретные игры с часовыми стрелками, в результате чего оказалось, что солнце тоже может «спешить или опаздывать». Как записал в своем одесском дневнике Иван Бунин, «часы переведены еще на час вперед – сейчас по моим десять утра, а «по-советски» половина второго дня». Об этой же несуразице вспоминала и Вера Михайловна Инбер: «Утро наступало неестественно рано, и солнце по вечерам не заходило, когда следовало. В городе кто-то говорил: «Приходите в десять часов по-ихнему».

Тогда и много позже еще сохранялись кое-какие традиции ушедшей размеренной жизни, и гроб с телом усопшего везли на катафалке или на чем другом, провожающие его в последний путь степенно шли сзади, все это именовалось «похоронной процессией» и никому на улицах не мешало, ибо транспорта тогда было негусто. И на этот раз все происходило так же, но от Еврейской больницы похоронная процессия дви-

нулась не в сторону кладбища, а на Преображенскую улицу к «Гамбринусу». Конечно, если бы сразу пойти на кладбище, то дойти туда можно было раза в три быстрее. Но какая могла быть спешка в этом святом и печальном действе, когда люди прощались не только с Сашей-музыкантом, они прощались с молодостью, былым весельем и радостью, которые он дарил им своей скрипкой...

Уже никто не знал, куда подевались последний хозяин «Гамбринуса» Герасим Тобаш и буфетчица Вера Кушнарера, заведение было закрыто, дверь, не оставляя никаких надежд, крест-накрест заколочена досками, а за ней в беспросветной темноте подвала еще стояли бочки, бочонки, старенькое пианино, и стены дышали давнишними пивными ароматами. Правда, еще неизвестно было, что являло собой более печальное зрелище – закрытое заведение или открытое, но испохабленное, как знаменитое, описанное Паустовским в повести «Начало неведомого века» кафе Фанкони. Тогда устроили там столовую Комитета по улучшению быта ученых, сокращенно именованного КУБУЧ, и, подозревая почтенных посетителей во всех смертных грехах, оттиснули на вилках, ножках и ложках уничтожительную надпись «Похищено в столовой КУБУЧ». Узнай это, братья-основатели кафе Аристид и Якоб Фанкони, наверное, перевернулись бы в своих гробах.

О похоронах Сашки-музыканта со многими подробностями написал в повести «Время больших ожиданий» Паустовский. Но яркие краски одесского лета плохо ложатся на грусть, беду, нищету и разруху, и он перенес время действия с лета на зиму: «Переваливаясь, брели старухи в теплых платках... За женщинами шли сизые от холода товарищи Сашки-музыканта... Музыканты вытащили из-под подбитых ветром пальто инструменты...». Теперь, читая об этом, понимаешь и веришь, что именно так все тогда и происходило, поскольку, как считал Эрнест Хемингуэй и соглашался с ним Паустовский, «правда литературы достоверней правды житейской».

Вдова Саши мадам Голда Старинская до появления повести Паустовского не дожидаясь, но все, что было, видела, помнила и еще много лет спустя частенько вздыхала: «Чтобы в Одессе кого-нибудь еще так хоронили, как нашего Сашу, а?». При этом одни пожимали плечами, другие что-то бормотали, зато третьи молча кивали, наливали и не чокались. И еще в середине 60-х годов прошлого столетия были живы те, которые в свои молодые годы знали Сашу, дружили с ним, слушали, привечали.

Последний аккомпаниатор времен «Гамбринуса» Константин Николаевич Вересковский. Знаменитый куплетист Лев Маркович Зингерталь. Борис Рейф, дирижировавший когда-то в трактире на Тираспольской улице созданным им... женским духовым оркестром, что выглядело экзотически даже в Одессе, где, как известно, все возможно. Племянница жены. Приятель сына. Сосед по дому на Садииковской. Ученик Саши, который, сменив потом скрипку на аккордеон, играл на нем в излюбленном морским народом ресторане «Волна» на Екатерининской угол Ланжероновской. Репортер «Одесских новостей». Наборщик из типографии «Одесского листка». Официант ресторана при гостинице «Бристоль». Профессор университета. Редактор сатирической газеты «Перо в спину», которая выходила тут в 1919 году с подзаголовком «Издание своевременное и, по возможности, частое – сами знаете, какие теперь времена!». Театральный администратор. Врач. Шпрехшталмейстер, сиречь ведущий цирковую программу. Адвокат. Эстрадный артист. Виолончелист. Скрипач. Пианист. Баянист. Трубач оркестра «54-го имени товарища Ленина пехотного полка» Миши Япончика, которому, в отличие от командира, чудом удалось унести ноги после устроенной там провокации. Сотрудник губернского уголовного розыска и некий гражданин с криминальным прошлым, незамедлительно сообщивший, что «между музыкантами Сашка был все равно что Соня Золотая Ручка между нашими».

Большинство из них были уже не у дел, но старые музыканты иногда приходили к мастерской по ремонту музыкальных инструментов на Преображенской, 27, напротив сквера, в центре которого красовался мраморный Лаокоон, уступивший потом место бронзовым Пете и Гаврику из повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий». Для них это был своего рода клуб, где разговоры на сиюминутные темы перемежались давними воспоминаниями. Счастливчик-ударник «из молодых» с радостью объявлял, что «в Молдавии таки можно еще купить сносный барабан», а старый флейтист доверительно сообщал, что «в мое время к ресторану «Лондонской» близко нельзя было подойти без галстука, я уже не говорю за пиджак». Здесь восхищались последней симфонией Шостаковича. Спорили, «за сколько» Яша Ядов написал знаменитую песню «Бублички» – за час или «за каких-нибудь» полчаса. Разбирали преимущества ресторана на морском вокзале перед таким же заведением на вокзале железнодорожном. Сокрушались по поводу того, что «в его же городе» забыли виртуоза-пианиста Симона Барера, который одно

время аккомпанировал Саше-музыканту, в 1920-е годы уехал «туда» и покорило своим талантом слушателей во всем мире. Воскрешали из небытия давно забытые заведения, будь то респектабельный ресторан «Аркадия» Я. Сегала – «все блюда исключительно на свежем коровьем масле», или простецкая столовая «Белая скатерка» на Греческой площади. Вспоминали ушедших коллег: «Как это я не знал Петю Глускина, когда он был женат на мою сестру и играл в погребке мадам Цегельницкой, а после в трактире «Лондончик» на Ришельевской угол Малой Арнаутской, где его заменил Лазарь Саксонский, который был потом большим человеком в музыке, и его сын-пианист пошел в папины способности!». Негодовали по поводу того, что доморощенный, но облаканный властями историк, презрев твердую память старожилов, заявил в своей книжонке, что неподалеку от Дерибасовской «был описанный А. Куприным «Гамбринус» с румынским оркестром...». Восторгались повестью Паустовского: «Это же просто чудеса, как там написано за Одессу, за Сашу и за Петра Соломоновича!». Они имели в виду Столярского, которого легко узнали в Науме Токаре, «одесской музыкальной знаменитости», как назвал его Паустовский: «Как вы играете эту вещь! – кричал Токарь какому-нибудь ученику. – Где мягкость? Где сладость? Представьте себе, что ваша мама Розалия Иосифовна сварила свое знаменитое варенье из черешни, и вы ожидаете, что сейчас будете его кушать. У вас даже текут слюнки. Вот так надо играть эту вещь! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая!».

Старики охотно делились воспоминаниями о Саше-скрипаче, которые не были выглажены частыми повторениями, так как никто их об этом не спрашивал. И я не спросил бы, не прочитай о Саше у Паустовского, причем не в одной его книге, а в трех, одна за другой выходивших три года подряд. Весной 1957 года Паустовский написал большой, на двадцать две книжные страницы, очерк «Поток жизни», который с подзаголовком «Заметки о прозе Куприна» был напечатан в качестве вступительной статьи в первом томе шеститомного собрания его сочинений осенью того же года. И начинался этот очерк воспоминанием о похоронах героя рассказа «Гамбринус» Сашки-скрипача. Потом Паустовский, посчитав очерк достойным самостоятельной публикации, включил его в пятый том собрания своих сочинений, который вышел летом 1958 года, когда близилась к завершению его работа над повестью «Время больших ожиданий». Весной следующего года она была

напечатана в трех номерах московского журнала «Октябрь». И одна из ее глав начиналась все тем же воспоминанием о похоронах Сашки-скрипача, который Паустовский в нескольких местах чуточку изменил: что-то исключил, что-то добавил, что-то уточнил. Так, колченогие лошади перестали хромать, но стали «худыми», Куприн в «Гамбринусе» пил уже не пиво, а водку, фразу «Эти похороны были как бы концовкой купринского рассказа» заменили более соответствующие мемуарному жанру «Мне посчастливилось. Я видел подлинную концовку рассказа «Гамбринус» – похороны Сашки-музыканта. Эту концовку дописала вместо Куприна сама жизнь».

А через много лет жизнь написала уже не концовку, а послесловие к этому рассказу, потому что, как сказано у Экклезиаста, «всему свое время, и время всякой вещи под небом». Первого апреля 2001 года, в начале знаменитой одесской «Юморины», в уникальном Саду скульптур Литературного музея открыли памятник герою рассказа Куприна работы скульптора Александра Князика. Сашка-музыкант, сидя на бочонке, играет на скрипке, а на голове его залихватски сдвинутая на макушку корона, поскольку был он королем скрипки, подобно тому как журналист Влас Дорошевич стал в Одессе королем фельетона, Эдуард Багрицкий – королем поэтов, Сергей Уточкин – королем воздуха, а Михаил Веницкий, он же Миша Япончик, – королем налетчиков, которые, кстати сказать, Сашу не только не трогали, но, случалось, что охраняли. День в день и час в час девять лет спустя в Саду скульптур напротив памятника Саше-скрипачу открыли памятник Константину Паустовскому, автором которого был киевский скульптор Олег Черноиванов. И где еще такое возможно помимо Одессы?

«Если знать все эти песенки...»

Любое время, если иметь в виду не «без четверти двенадцать» или «семь сорок», а определенный период истории, не бывает безмолвным. Не было таким и время больших ожиданий в Одессе, не осталась такой и одноименная повесть Паустовского, в которой, если прислушаться, можно многое услышать. Верещание флюгера «на крыше маленькой обсерватории в парке». «Частый стук созревших каштанов о тротуар...». Шум садов Черноморской улицы, который «говорил о разной

силе ветра». «Мощные материнские крики: «Назад, чтоб вас хвороба взяла! Это же несчастье, а не дети! Назад!». Цокот копыт, когда «всадники с красными лоскутками на потертых мерлушковых папах» проезжали Канатной улицей. «Ласковые слова» уличного торговца: «Вот уголь, уголек, уголечек!». «Угрожающий, безжалостный» голос Владимира Нарбута, которым он читал свои стихи. «Далекий звук пушечного выстрела» французской канонерки «Ля Скарп». «Множество клятв, завываний, возгласов, жалоб, истерики, проклятий и ругани, смешанных в слитный гул, внезапно прерываемый пронзительным свистком милиционера» на Новом базаре. Раскаты грома, которые море превращало в «сплетение многих гулких громов». «Шум волн, стрекотание цикад, шорох осыпей и нежный скрип старого электрического провода» летней ночью на Даче Ковалевского. Оглушительный взрыв выброшенной на прибрежные скалы мины, от которого «с веселым звоном вылетели все стекла». Звоночек дверного колокольчика, сохранившегося «еще с дореволюционных лет». Звон колоколов «церкви Ново-Афонского подворья». И песни, которые, как считал Паустовский, неотделимы от своего времени.

Марина Цветаева когда-то написала, что «времена не выбирают...», только в каждом времени все, за исключением разве что потопа и землетрясения, хорошо или плохо, но содеяно человеком. И в песенном мире, как в мире человеческом, есть песни-земляки и песни-приезжие, песни-прародительницы и песни-двойники, песни-озорницы, песни-сироты, песни-фаворитки, песни-изгнанницы, песни-ветераны.

Есть песни-репрессированные и песни-реабилитированные. «Рядом со мной шел репортер «Моряка» старик Ловенгард, – писал Паустовский о похоронах Сашки-музыканта. – Он вспоминал, глядя на похоронных лошадей, как изредка Сашка-музыкант играл старинный цыганский романс «Пара гнедых, запряженных с зарею», а уличная певица Вера по прозвищу Марафет пела его так, что некоторые посетители «Гамбринуса» плакали навзрыд».

Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих, голодных и грустных на вид,
Вечно бредете вы мелкой рысцою,
Вечно куда-то ваш кучер спешит.
Были когда-то и вы рысаками...

Плакали не только посетители «Гамбринуса». И все-таки, несмотря на солидный возраст и всеобщее признание, этот старинный романс Якова Пригожего на слова Алексея Апухтина в начале 1930-х годов власть имущие запретили исполнять и записывать на грампластинки как «воспроизводящий затхлый быт прошлого», и разрешили лишь через некоторое время.

Есть песни-долгожители, написанные еще при колеблющемся свете свечи. Они шагнули в наш ошеломляющий электронный век и теперь, расположившись на раскаленном песке Ланжерона или, скажем, на «закоренелой станции Фастов», как назвал ее Бабель, можно услышать нашу старинную песню, которую поют где-то на другом краю земли, или узнать, к примеру, какие суда ошвартовались вчера в бразильском порту Вила-ду-Конди.

Во времена Паустовского все было по-другому. «Иванов выдал шестьдесят полотняных удостоверений постоянным сотрудникам газеты, – писал он. – Кроме постоянных сотрудников у «Моряка» было множество рабочих корреспондентов. <...> Рабочих корреспондентов сначала было больше всего в Одессе и в ближайших портах – Очакове, Николаеве, Херсоне, Овидиополе, Збурьевке и Станиславове». Паустовский тут ничего не преувеличил, скорее, преуменьшил, поскольку Аренберг имел удостоверение под № 93, и я не уверен, что оно было последним. Помимо этого в «Моряке» регулярно печаталось обращение: «Редакция просит всех товарищей водников, прибывающих по разным делам в Одессу из других портов, обязательно заходить в редакцию». Кто-то приходил, что-то рассказывал, а один из них пришел и остался... на страницах многих произведений Паустовского. 4 июня 1921 года газета сообщила, что «в Одессу прибыл из Соединенных Штатов Северной Америки или, как их зовут сокращенно на западе, из U.S.A., черноморский моряк т. Миронов. В беседе с нашим сотрудником он поделился своими сведениями и впечатлениями о жизни заокеанских стран. Тов. Миронов плывал свыше 2-х лет на американских пароходах и норвежских парусниках из Нью-Йорка в Вест-Индию, в Буэнос-Айрес, огибал мыс Горн, ходил через Панамский канал в Австралию и в Капштадт (Соед. Штаты Южной Африки)». Ниже была напечатана пространная запись беседы с Мироновым, состоявшая из разделов: «Жизнь моряков», «О забастовках», «Русские эмигранты», «Белые и черные». Похоже, что с Мироновым беседовал Паустовский, после чего в том же году

написал рассказ «Слава боцмана Миронова», вложив в его уста многое из того, что он рассказал в редакции. В 1925 году в очерке «Моряки-журналисты» Паустовский опять написал «о боцмане Миронове, который был нежно привязан в газете «Моряк», который, как никто, умел завязывать красный галстук австралийским узлом, <...> был высок, конфузлив, безмолвен и обладал памятью четкой и феноменальной, как фотографическая пластинка». О том же в главе «Веселье и голод» повести «Черное море» Паустовский написал через десять лет: «Он рассказывал точно, не привирая ни слова, но все же рассказы его казались фантастическими от обилия малоизвестных фактов». Эта глава стала своего рода прелюдией повести «Время больших ожиданий», в которой, теперь уже в последний раз, появился боцман Миронов: «По вечерам на Черноморской улице «консультант по мировому тоннажу» (Миронов. – Р. А.) любил сидеть на скамейке во дворе, курить и, поглядывая на звезды, петь вполголоса совершенно сухопутную украинскую песню:

Распрягайте, хлопцы, кони
Та лягайте спочивать!»

Если бы читатель по воле Паустовского остановился на Черноморской, то услышал бы ее продолжение:

Розпрягайте, хлопці, коні,
Та й лягайте спочивать,
А я піду в сад зелений,
В сад криниченьку копать.
Маруся, раз, два, три, – калина,
Чорнявая дівчина в саду ягоди рвала.
Маруся, раз, два, три, – калина,
Чорнявая дівчина в саду ягоди рвала...

Миронов пел одну из тех старинных казачьих песен, которые Бабель слышал в Конармии и отметил в дневнике, что они «совсем украинские».

В посвященной Бабелю главе «Мопассанов я вам гарантирую» Паустовский написал, как летом 1921 года на 9-й станции Большого Фонтана слышал от него «удивительные казачьи песни», одна из которых «особенно <...> поразила Бабеля, и потом в Одессе мы ее часто напевали,

каждый раз все больше удивляясь ее поэтичности. Сейчас я забыл слова этой песни. В памяти остались только первые две строки:

Звезда полей над отчим домом
И матери моей печальная рука».

«Где взял он эти слова: «...звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука»? Их поют у него в рассказе», – написал в своих воспоминаниях о Бабеле его земляк и младший современник писатель Семен Григорьевич Гехт, имея в виду новеллу «Песня» из «Конармии», в которой остались эти строки: «Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню. «Звезда полей, – запел он, – звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...»

На вопрос Гехта до сих пор нет ответа, потому что не известны ни текст, ни автор этой песни. Если она вообще была, если не Бабель придумал эту «томительную и щемящую», как ее назвал Паустовский, «звезду полей». Ни тому, ни другому пока доказательств нет. Но поскольку «Время больших ожиданий», по словам Паустовского, есть «свободная повесть», можно предположить, что он только на этих двух строках из новеллы Бабеля и выстроил эпизод с песней, якобы звучавшей тогда в Одессе на 9-й станции Большого Фонтана. Так оно или не так, но от Паустовского еще больше читателей узнали про «звезду полей», а вариации на темы этих строк остались в стихах разных поэтов:

Звезда полей над отчим домом
и матери моей печальная рука –
приметы эти мне знакомы,
они со мной пребудут на века...

Еще одна, на этот раз известная, кубанская, она же украинская, песня появляется в эпизоде прибытия из Франции в Одессу солдат русского экспедиционного корпуса, который в 1916 году «высадился в Марселе и промаршировал через Париж. <...> Президент республики принял парад русских войск около Триумфальной арки. Солдаты прошли перед президентом с залихватской песней:

Чубарики-чубчики, горе не беда!»

В повести «Начало неведомого века» Паустовский написал о том, как осенью 1919 года в одной теплушке с ним из Киева в Одессу приехал «вертлявый худой одессит с ленточкой Почетного легиона в петлице. Звали его Виктор Хват. Во время первой мировой войны он служил во французской армии...». Это был будущий писатель Виктор Григорьевич Финк, тогда еще Финк-Лебединский. Он поселился у родителей на Пушкинской, 64, в квартире № 7, заболел сыпным тифом, выздоровел, а в середине апреля 1920 года стал сослуживцем Паустовского – поступил, как написал в анкете из тридцати пяти вопросов, «внешним информатором» в редакционно-издательский отдел Опродкомгуба. Не знаю, был ли Финк кавалером ордена Почетного легиона, но он действительно жил, сотрудничал в журналах и учился в университете в Париже, а во время войны служил волонтером во французском Иностранном легионе. Воспоминания об этом, впечатления, размышления и подробности легли в основу вышедшего в 1935 году его романа «Иностраннный легион», написанного от имени русского волонтера: «Зуавы стали требовать русских песен. Я спел «Пойдем, Дуня, во лесок» и «Чубарики-чубчики» с гиком и свистом». Таким манером и пели ее служивые в переводе с украинского:

Эх, да как на горке калина,
Эх, да под горою малина,
Малина, малина-а-а!
Чубарики-чубчики, малина-а-а!

И пели ее так долго и повсеместно, что песня превратилась в символ солдатской службы. «Ставь бутылку, научу с фронтом распрощаться, а то еще долгонько будешь петь: «Чубарики-чубчики», – уговаривал кубанский казак своего земляка в 1917 году, как о том написал Артем Веселый в романе «Россия, кровью умытая».

Но не каждая такая песня была залихватской, не каждую пели с гиком и свистом, не с каждой маршировали люди, обреченные на войну. По словам Паустовского, когда хоронили Сашку-музыканта, процессия остановилась возле «Гамбринуса», и «неожиданная и грустная мелодия старомодного романса поплыла над притихшей толпой:

Не для меня придет весна,
Не для меня Буг разольется...»

Считается, что текст этого романса, полный тягостных предчувствий, восходит к стихотворению А. Молчанова, написанному еще в 1838 году во время долгой Кавказской войны, а музыку в начале 1840-х годов сочинил Николай Девиitte. Потом текст, в том числе название реки – Дон, Буг, Дунай, – разные авторы меняли применительно к временам и событиям, а лучше Анастасии Вяльцевой этот романс никто не пел:

Не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется,
И сердце девичье забьется
С восторгом чувств – не для меня.
Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня.

Когда-то люди старших поколений этот романс знали, пели, помнили. В начале марта 1966 года смертельно больной Аренберг вдруг сказал: «Не для меня придет весна...». А несколько дней спустя он лежал в гробу в своем стареньком черном костюме, с лицом крепко задумавшего человека. На его похоронах никто ничего не играл, но в тот момент, когда гроб опускали в могилу, высоко над кладбищем реактивный самолет преодолел звуковой барьер и резкий хлопок разорвал воздух. Или связь времен, потому что Аренберг был для нас и современником и человеком «с раньшего времени»...

На похоронах же Сашки после этого романса, как писал Паустовский, «музыканты переглянулись, кивнули друг другу, бурно ударили смычками, и по улице понеслись игривые скачущие звуки:

Прощай, моя Одесса,
Славный Карантин!
Нас завтра угоняют
На остров Сахалин!

Влас Дорошевич, который в 1897 году за счет редакции «Одесского листка» отправился на Сахалин, утверждал, что это, скорее всего, единственная песня, созданная на сахалинской каторге, страшной

которой во всей России не было. Обращение же к Одессе вызвано не какими-то теплыми чувствами, а исключительно тем, что пароходы Добровольного флота с будущими каторжанами уходили на Сахалин из Карантинной гавани. Для Паустовского она стала одной из памятных черточек Одессы, и много раз упоминается в «Повести о жизни». «Приходите завтра до Карантинной гавани в час дня. <...> Назавтра я пришел в Карантинную гавань не в час дня, а в десять часов утра». «Дюмон Дюрвиль» стоял у мола в Карантинной гавани...» «Слева внизу были хорошо видны Ланжерон и Карантинная гавань, откуда уходил, изгибаясь, в море обкатанный штормами старый мол». «Самой большой популярностью пользовалось пугало из огорода на Карантинном молу». «Потом в одно безоблачное утро у Карантинного мола пришвартовались две пестрые, как писанки, турецкие фелюги из Скутари...» «Карантинную гавань защищала от моря высокая стена из бетонных плит». Но это было уже в новые времена, а новые времена – новые песни.

Машинистка «Моряка» Люсьена «насмешливо пела, подражая каскадной певице и отбивая лихой такт деревяшками:

Терпи немного,
Держи на борту!
Ясна дорога
И близок порт!

Это припев когда-то известной, а ныне забытой песни «Мичман Джонс», которую студент Петроградской консерватории, впоследствии народный артист СССР Дмитрий Яковлевич Покрасс написал на слова О. Осенина еще в 1916 году:

Сквозь ночной туман
Мрачен океан.
Мичман Джонс угрюм и озабочен.
Получил приказ
Прибыть через час.
Мичман Джонс не может быть неточен.
И, сжимая руль,
Прямо в Ливерпуль
Он ведет корабль рукою твердой.

Вглядываясь в мрак,
Закурил моряк,
Вдаль глядит уверенно и гордо...

Несколькими страницами позже Паустовский называет эту песню в числе тех, которые в его время были популярны в Одессе: «Я помню, как вся Одесса пела «Мичмана Джонса», потом «Эх, хмурые будни, осенние будни...», «Цыпленка», «С одесского кичмана бежали два уркана», «Дочечку Броню»...»

«Эх, хмурые будни, осенние будни...» – первая, измененная кем-то из исполнителей строка романса «Обидно, досадно», в 1916 году написанного композитором Владимиром Бакалейниковым на слова поэта есенинского круга Александра Кусикова.

Вот хмурые будни, осенние слезы,
Мечты о прошедшем и старческий стон.
Где дни беззаботные, светлые грезы?
Их нет. Это был лишь обманчивый стон.
Обидно, досадно
До слез, до мученья,
Что в жизни так поздно
Мы встретились с тобой!..

Паустовский помнил не только первую строку этого романса. Еще в 1923 году он напечатал в московском журнале «Красный транспортник» очерк «Зима в Батуме», в котором «немногие юноши из бесчисленных экспедиций, контор и неких загадочных и сомнительных «фирм» <...> поют навязшую песню:

Обидно, эх досадно
До слез и до мученья,
Что в жизни так поздно
Мы встретились с тобой...»

А в конце 1919 года, в бытность Паустовского в Одессе, романс «Обидно, досадно» с успехом исполняли начинавшие когда-то здесь, а теперь уже известные Иза Яковлевна Кремер и Юрий Спиридонович Морфесси. Они пели его на втором этаже «Дома кружка артистов» на

Греческой, 46, там, где за пять лет до этого в подвальном ресторанчике «Тирольский грот» играл на скрипке Сашка-музыкант. Потом Юрий Морфесси увез романс в Париж, Иза Кремер – аж в самую в Аргентину.

Тогда же или чуточку раньше появилась, быстро и широко распространилась песня «Цыпленок жареный».

Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Пошел по улице гулять.
Его поймали, арестовали,
Велели паспорт показать.
Паспорта нету – гони монету.
Монеты нет – снимай пиджак.
Цыпленок жареный, цыпленок пареный,
Цыпленка можно обижать...

Она считалась песней анархистов, потому «цыпленок пареный» и остался в повести Алексея Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус», главный герой которой угодил в Одессе в деникинскую контрразведку: «Меня допрашивали насчет сапожного крема... – Анархист? – спросил левый из сидевших у стены. – Боже сохрани. Никакой я не анархист. Я просто – мелкий спекулянт. – Цыпленок пареный, – сказал правый у стены, с ввалившимися щеками».

О том, как «с одесского кичмана бежали два уркана» знают все, давно и далеко за пределами Одессы. Но не в обиду ей будь сказано, это не одесская, а многократно переделанная старинная каторжная песня, в подлинном тексте которой урканы не с одесского кичмана бегут, а наоборот, то есть в Одессу. В давние годы она была известна лишь в узком кругу, а в конце 1920-х годов Леонид Осипович Утесов изменил ее, привязал к новым временам и с успехом пустил в народ:

С одесского кичмана
Сорвались два уркана,
Сорвались два уркана в дальний путь.
В вапняновской малине
Они остановились,
Они остановились отдохнуть.

До и после Утесова вариантов этой песни было очень много. Один из них с упоминанием той же станции на севере Одесской области уже в 1960-х годах напел мне в Москве бывший артист одесского Театра миниатюр на Ланжероновской, 28, ставший потом заслуженным артистом РСФСР, Дмитрий Лазаревич Кара-Дмитриев. Перед этим он любезно пояснил, что «бан» есть не что иное, как вокзал, будто человек из Одессы мог это не знать:

С одесского кичмана
Бежали два уркана,
И сели у Вапнярки на бану...

«Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хронологию одесских событий, – с уверенностью современника писал Паустовский. – Так, например, песенку «Ростислав» и «Алмаз» – за республику, наш девиз боевой – резать публику!» пели в 1918 году, а песенку «Выйду ль я на улицу, красный флаг я выкину, ах, Буденному везет больше, чем Деникину!» пели в 1920 году, когда дело Деникина было проиграно». Эта песенка была всего лишь агитационной частушкой не очень внимательного автора, которому, напиши он ее лет через двадцать, недолго было и за решетку угодить, поскольку «выкину» можно, скорее, понять не как «вывешу», а как «выброшу куда подальше».

А в первой песенке теперь уже больше непонятного, чем понятного. Что есть «Ростислав» и «Алмаз»? Кого и за что нужно было резать? О какой республике речь? О расположенной далеко на севере Российской Советской Федеративной Социалистической? О недавно провозглашенной Украинской Народной? Оказалось, что ни о той, ни о другой. 14 января (по старому стилю) 1918 года местные большевики по примеру своих петроградских собратьев устроили в Одессе вооруженный переворот, позже высокопарно названный ими Январским восстанием. Через три дня на Куликовом поле появилась братская могила и была образована Одесская Советская Республика со своим Советом народных комиссаров, которая в середине марта после вступления в город австро-немецких войск приказала долго жить. Но одесситы запомнили кошмар этих двух месяцев, когда множество людей, вся вина которых заключалась в том, что они были купцами, интеллигентами, промышленниками, офицерами, чиновниками, банкирами, домовладельцами, увозили на

оказавшиеся в распоряжении властей военные корабли Черноморского флота «Ростислав» и «Алмаз», и больше их уже никто не видел. Тогда и осталась эта трагедия в одном из сотен вариантов широко известной песенки-частушки, привязанном к печальному «текущему моменту».

Ой, яблочко,
Да куда котишься?
На «Алмаз» попадешь,
Не воротись!

Частушку о красном флаге в чуточку измененном виде Паустовский привел и зверства на «Ростиславе» упомянул еще в 1925 году в рассказе «Дочечка Броня» о литературном вечере на Куяльницком лимане с участием Эдуарда Багрицкого, прозрачно названным «поэтом Вербицким», Льва Славина, выведенного под именем Андриуши Роговера, матроса Бондаря и «рыжей девицы Мэри». В импровизированном застолье Бондарь с восторгом вспоминает о том, как мило он с капитаном проводил время на затертом льдами пароходе по пути в Скадовск: «Напьемся и петь. Капитан за гитару, я просто так. Бывало, как ударим:

Выйду ль я на улицу,
Красный флаг я выкину.
Что-то красным повезло
Больше, чем Деникину!

А рыжая девица Мэри рассказала о своей бабушке, которая «умерла в ту ночь, когда матросы с «Ростислава» сжигали в топках одесских банкиров». Эти несколько слов, по недосмотру пропущенные цензурой, десятилетиями были единственным печатным напоминанием о трагичных событиях в Одессе зимой 1918 года.

Частушки и фольклорные песни имеют свою не всегда безоблачную судьбу. Одни безвозвратно утрачены, поскольку, никогда не напечатанные и никем не записанные, канули в небытие вместе со своими авторами, исполнителями, слушателями. Из других вопреки известной пословице выбрасывали слова или засоряли их тексты современной лексикой. Были и такие, от которых сохранились только «обломки» – отдельные строчки, в лучшем случае куплеты, как это случилось с песенкой «Дочеч-

ка Броня», отрывок из которой остался в одноименном рассказе: «И мы <...> исполнили свой боевой номер – песенку о дочечке Броне. Хотите знать ее слова? Вот они:

А третья дочечка Броня –
Была она воровка в кармане.
Что с глаз она видала,
То с рук она хватала.
Словом...
Любила чужих вещей.

Эффект был страшен. Зал визгливо плакал от смеха, стучал ногами <...> а какой-то матрос требовал «Свадьбу Шнеерсона».

Ни у кого, кроме как у Паустовского, не довелось прочитать, и ни один старожил никогда не вспоминал эту «Дочечку Броню», неизвестный автор которой так злоупотребил типичными оборотами одесского языка, что она смахивает на стилизацию или пародию. Так или иначе, но Паустовский причислил ее к тем, которые «вся Одесса пела».

Другое дело – песня «Свадьба Шнеерсона», о которой в рассказе «Репортер Крыс» Паустовский впервые написал еще в 1922 году: «Фингарет гремел в конторе на разбитом пианино то «Интернационал», то «Свадьбу Шнеерсона». Через тридцать шесть лет она прозвучала в повести «Время больших ожиданий». «Жил в Одессе еще талантливый поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямпольский, – писал Паустовский. – Самой известной песенкой Ямпольского была, конечно, «Свадьба Шнеерсона»:

Ужасно шумно в доме Шнеерсона...

Теперь кто-то уже называет ее «Женитьба в доме Шнеерсона», по незнанию меняет отдельные слова, но ее поют любители старины и профессиональные исполнители, включают в сборники юмора, хотя это не совсем юмор, скорее «смех сквозь незаметных слез», как изъяснялась когда-то одна пожилая дама с Малой Арнаутской улицы.

Местные остряки, неугомонные даже в смутные времена, утверждали, что знаменитая фраза Льва Николаевича Толстого «Все смешалось в доме Облонских» в Одессе звучала не иначе как «Се тит зих хойшех

в доме Шнеерсона». По словам же Константина Паустовского, песенка «Свадьба Шнеерсона» в 20-х годах «обошла весь юг». А старожилы когда-то уверяли меня, что в начале регулярных, многочисленных, монотонных и подлежащих «безусловному» посещению собраний публика деревянными голосами пела ритуальный «Интернационал», но в конце отводила душу «Свадьбой Шнеерсона». А 1 апреля 1999 года, когда в Городском саду Одессы открывали водруженный на постамент бронзовый стул работы Михаила Ревы – один из двенадцати, разыскиваемых Остапом Бендером, по окончании церемонии, выступлений разных официальных лиц и Михаила Михайловича Жванецкого из специально установленного по такому знаменательному событию динамика вовсю грянула «Свадьба Шнеерсона», чему свидетелем был, и даю, как говорили в Одессе, «голову на разрез».

Эта песня побилла когда-то рекорды популярности и продолжительности звучания, поскольку двенадцать ее куплетов выстроены на абсолютно точных и наболевших реалиях одесской жизни начала 20-х годов, которые не понаслышке были знакомы Паустовскому. В его архиве остался листок с текстом «Свадьбы Шнеерсона», правда, уже немножко измененным. Но подлинный, к счастью, тоже сохранился:

Ужасно шумно в доме Шнеерсона,
Се тит зих хойшех – прямо дым идет!
Там женят сына Соломона,
Который служит в Губтрамот.

Невеста же – курьерша с финотдела
Сегодня разоделась в пух и прах:
Фату мешковую надела
И деревяшки на ногах.

Глаза аж прямо режет освещенье,
Как будто бы большой буржуйский бал,
А на столе стояло угощенье,
Что стоило немалый капитал:

Бутылки две с раствором сахарина
И мамалыга с виду точно кекс,

Картошек жареных корзина,
Из ячки разные гебекс,

Жестяной чайник с кипятком из куба
И гутеса сушеного настой,
Повидло, хлеб Опродкомгуба,
Крем-сода с зельцерской водой.

На подоконнике три граммофона:
Один с кеквоком бешено гудит,
Тот жарит увертюру из «Манона»,
А третий шпильт дас фрейлехс ид.

Танцуют гости все в угаре диком,
От шума прямо рушится весь дом.
Но вдруг вбегает дворник с криком:
«Играйте тише, колет преддомком!»

Сам преддомком Абраша дер Молочник
Вошел со свитою – ну прямо просто царь!
За ним Вайншток, его помощник,
И Хаим Качкес, секретарь.

Все преддомкому уступили место,
Жених к себе тотчас его позвал:
«Знакомьтесь, преддомком, – невеста –
Арон Вайншток и Сема Качковал».

Но преддомком всех поразил, как громом,
И получился тут большой скандал.
«Я не пришел к вам как знакомый, –
Он тотчас жениху сказал, –

Кто дал на брак вам разрешенье?
И кто вообще его теперь дает?
Я налагаю запрещение!
Чтоб завтра ж был мне развод!»

Замашки преддомкома были грубы,
И не сумел жених ему смолчать.
Он двинул преддомкома в зубы,
И начали все фрейлехс танцевать.

Со сменой поколений реалии были забыты и теперь нуждаются в объяснениях если не с первой, то со второй строки, и далее, как говорится, везде.

Не самое изысканное еврейское выражение «се тит зих хой-шех» означает суету, переполох – действительно что-то вроде «все смешалось».

«Губтрамот» – губернский транспортно-материальный отдел, «называвшийся сокращенно юмористическим словом «Губтрамот», как через много лет написал Валентин Катаев.

«Деревяшки» – печальный крик тогдашней одесской моды – античной простоты сандалии на деревянной подошве с несколькими ремешками, в которых поизносившиеся за последние годы граждане не щеголяли вне зависимости от пола и возраста. «Кожаная обувь была в то время большой редкостью, – вспоминал Паустовский. – Все ходили в деревяшках. Весь город наполнился их дробным стуком. По утрам, когда одесситы бежали на службу, стук учащался, и если закрыть глаза, то можно было подумать, что все население Одессы разыгрывает на кастаньетах скачущий танец». До Паустовского, еще в 1920 году, по их свежим и громким следам о деревяшках написал Владимир Иванович Нарбут: «Сандали деревянные, доколе / Чеканить стуком камень мостовой?».

Из области забытых кулинарных ухищрений тех голодных лет – «мамалыга с виду точно кекс», сиречь пирог из кукурузной муки, именовавшийся малаем, гебекс – печенье (евр.) из ячневой крупы, о которой говорили, что надежда исчезает последней, а ячка – предпоследней, настой сушеного гутеса (айвы – евр.), заменявший запропастившийся куда-то чай, и «хлеб Опродкомгуба», то есть полученный по карточкам этой организации.

На свадьбе звучит «увертюра из «Манона», распространенный в то время танец кек-уок, для удобства произношения именовавшийся кеквоком, и фрейлехс – еврейский народный танец. Обеспечивают же эту «культурную программу» три граммофона, что вовсе не гипербола, а са-

мый что ни на есть бесхитростный молдаванский шик, ради которого, к примеру, подгулявший биндюжник мог прибыть домой «на трех извозчиках»: на первом самолично восседал он, на сиденье второго был небрежно брошен его парусиновый балахон, на третьем покоился картуз.

И, наконец, преддомком, который, явившись непрошеным гостем на семейное торжество, и тем не менее, встреченный с полным молдаванским же пиететом, ничтоже сумняшеся «налагает запрещение» на брак, опосля чего ошарашенный таким нахальством жених «двинул преддомкома в зубы, и начали все фрейлехс танцевать». Нужно сказать, что решительным мужчиной оказался жених, поскольку в глазах одесситов преддомком, другими словами, председатель домового комитета, был персоной исключительной значимости, а иногда и опасности. Он заверял своей подписью всевозможные справки, имел прикосновение к выдаче драгоценных хлебных карточек, надзирал за уплотнением жильцов и распределением жилья, уже переименованного в жилплощадь. Помимо этих хлопот он иногда «брал на карандаш» что-то опрометчиво содеянное, в отчаянии высказанное, в бессилии прошептанное жильцами, да «постукивал» в Губчека, коей командовал Макс Александрович Дейч, одним из первых награжденный орденом Красного Знамени и одним из многих поставленный к стенке красной же властью.

Но не бывает правил без исключений. Довелось мне знать Леонида Яковлевича Файнермана, который в 1903 году четырнадцатилетним подростком поступил курьером в редакцию «Одесских новостей», со временем стал там агентом по рекламе, после чего возглавил эту службу. Потом он по мере переименования газеты работал в «Одесских известиях», «Большевицком знамени», «Знамени коммунизма», и только за год до смерти вышел на пенсию в 1972 году. В самом начале 1920-х годов он жил на Пушкинской, 7, где получили тогда жилье «пишущие люди» Георгий Шенгели, Яков Ядов в квартире № 15, Валентин Катаев, который через несколько лет в рассказе «Отец» написал о том, как это было: «Ему дали по ордеру комнату в центре, в буржуйской квартире, в первом этаже, где была вода и ковры. Он поставил у себя железную печку и по вечерам топил ее хозяйской мебелью». Файнерман был приличным человеком и, уповая на это, жильцы выбрали его преддомкомом. Файнерман числился «трудовым элементом», и власти согласились с таким выбором.

А одесский преддомком Абраша дер Молочник сродни своему московскому коллеге Швондеру из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», блестяще сыгранному в одноименном фильме одесситом Романом Карцевым. Но песня «Свадьба Шнеерсона» появилась четырьмя годами раньше повести. Потому и первенство в изображении этого рожденного эпохой персонажа можно спокойно числить за Мироном Эммануиловичем Ямпольским, который еще в 1920 году сочинил ее в квартире № 18 дома № 84 на Канатной – подробности в таком деле излишни, поскольку без них самая доподлинная история со временем грозит обернуться легендой.

Ямпольский был интеллигентным человеком с высшим образованием, состоял в Литературно-артистическом обществе, Союзе драматических и музыкальных писателей и не изъяснялся на языке «Свадьбы Шнеерсона». Но он прекрасно знал быт, обычаи, нравы, привычки, жаргон, фольклор одесского обывателя и к тому же в начале 1920-х годов заведовал городским карточным бюро Опродкомгуба. А там перед ним проходила «вся Одесса», измученная революцией, гражданской войной, интервенцией, национализацией, мобилизацией, контрибуцией, реквизицией, декретами, уплотнениями, облавами, обысками, арестами, налетами, митингами и собраниями, голодом и холодом, безжалостно разодранная на «работающих», «неработающих», «совслужащих», «несовслужащих», «трудовой элемент», «нетрудовой элемент»...

И он искусно стилизовал «Свадьбу Шнеерсона» под фольклорную песню, каковой она и стала с годами, оторвавшись от автора. Неудивительно, что в первом издании повести «Время больших ожиданий» Паустовский приписал ее Якову Ядову, равно как песню-продолжение «Недолго длилось счастье Шнеерсона», которая вполне соответствовала тому непредсказуемому, если не сказать сумасшедшему, времени. Старожилы, знатоки и ревностные хранители прошлого тогда забросали Паустовского письмами с убедительными просьбами и настойчивыми требованиями восстановить имя автора песни, неотделимой от Одессы их далекой молодости, как аромат акаций на Малой Арнаутской улице после тихого майского дождя, как синие плитки лавы на Дерibasовской или сольная партия уличной торговли «Риба, дамы, риба!». А Изабелла Мионовна Ямпольская, которая любезно разрешила мне когда-то переписать текст песни из чудом сохранившейся у нее отцовской тетрадки, к Паустовскому не обращалась, но решительно отвергала версию

о продолжении «Свадьбы Шнеерсона». Тут получилось все, как в старом анекдоте: «Как ты говоришь, так ты прав, и как ты говоришь, так тоже прав». Изабелла Мироновна была права в том, что Ямпольский никакого продолжения своей песни не написал, а Паустовский – в том, что «его все-таки было».

Году в 2005-м сестры Оля и Таня, небезразличные к истории Одессы, среди всяких нужных когда-то вещей отыскали на чердаке своего старого дома напечатанную в 1920-х годах в Ростове-на-Дону «летучку» с нотами и словами песни «Развод Шнеерсона», написанной неким Михаилом Безсмартным на слова какого-то Григория Давидовича.

Недолго длилось счастье Соломона,
Не повезло ему со всех сторон.
За взятку в двадцать два «лимона»,
Он был с Трамонта сокращен.
Узнав об этом, Соня обомлела,
И загорелся взор ея огнем.
Она, как стенка побледнела,
И застучала кулаком.

И так далее, и в таком же духе... На первой страничке «летучки» издатели без зазрения совести напечатали: «Последняя новинка! Новая музыка! Колоссальный успех!». По-видимому, в начале 1920-х годов «Свадьба Шнеерсона» была популярна и в Ростове, если там решили написать и рискнули раскошелиться на печатание «Развода Шнеерсона». Но подражать «Одессе-маме» даже в «Ростове-папе» – зряшное дело, потому и забылось продолжение песни. Паустовский же неизвестно где услышал его и первую строку, пусть не совсем точно, запомнил.

В 2004 году мою статью о песне «Свадьба Шнеерсона» в составленном Валерием Хаитом и напечатанном в Москве толстенном сборнике «Одесский юмор» случайно увидел внук Ямпольского, артист московской эстрады Валерий Ямпольский. Потом он приехал в Одессу, разыскал меня, и мы долго рассказывали друг другу об одном и том же человеке. По словам Валерия, в 1945 году его дед с женой Кларой Михайловной вернулся из эвакуации в Одессу, где она через семь лет умерла. Их сын, мастер художественного слова заслуженный артист РСФСР Георгий Ямпольский жил в Ленинграде, и Мирон Эммануилович, спасаясь

от безысходной тоски, уехал к нему, рассчитывая пробыть там не более года. Но человек только предполагает... В октябре 1953-го шестидесяти одного года от роду он умер, его похоронили в Ленинграде, а в Одессе, на памятнике, что на могиле жены, сделали надпись: «Светлой памяти дорогого и незабвенного папочки и дедушки Мирона Эммануиловича Ямпольского...», в надежде, что кто-нибудь из проходящих увидит, прочитает, вспомнит.

Правда, еще в те времена, когда «Свадьба Шнеерсона» была у всех на слуху, имя автора знали не так уж много людей, а его самого – еще меньше. С Исааком Бабелем в середине 1920-х годов случилась забавная история, которую с его слов рассказал украинский писатель Савва Голованивский: «...В порту к нему подошел человек в визитке, с тростью и котелком в руке и попросил разрешения представиться «коллеге». Он жаловался на затянувшийся застой в своем творчестве, на то, что после шумного и всеобщего успеха своего предыдущего произведения никак не может войти в нормальную рабочую колею и одарить любителей изящной словесности новым шедевром. Имени своего он не называл, как видно, совершенно убежденный в том, что Бабель его, конечно, и без того хорошо знает. Смущенный своим постыдным неведением, Исаак Эммануилович вертелся и так и сяк, старался навести его на разговор, из которого так или иначе можно было бы сделать необходимый вывод, и, наконец, выяснил, что разговаривает с автором действительно знаменитой песни «Ужасно шумно в доме Шнеерсона».

Все остальное забыто – многочисленные написанные для артистов эстрады куплеты и песенки, вроде колоритной «Наверху живет сапожник, на низу живет портной». По ней, кстати, и по другим тогдашним песням делали небольшие инсценировки, которые были, по сути, первыми клипами, перекочевавшими потом в кинематограф и на телевидение. И остался Мирон Ямпольский автором одной песни. Но и это, как говорят в Одессе, «надо уметь».

Соблазнительно было бы считать его и автором известной песенки о том, «Как на Дерibasовской угол Ришельевской / В восемь часов вечера разнеслася весть, / Что у нашей бабушки, бабушки-старушки, / Шестеро налетчиков отобрали честь». Большинство наших земляков считает ее фольклорной песней, которую исполнял охочий до всего одесского Утесов. Только получилось тут, как говорят в Одессе, совсем наоборот: Утесов действительно пел ее в Одессе в 1917 году, но написана она была

для его юмористической программы «Одесские новости» («Газетчик») и лишь потом людьми и временем возведена в ранг фольклорной. А кто написал ее, теперь уже не определить, поскольку авторами программы были «три кита», на которых держался репертуар тогдашней одесской эстрады, – Яков Соскин, он же Соснов, он же «Дядя Яша», Мирон Ямпольский и Яков Ядов.

Интересоваться жизнью и творчеством Ядова начали после выхода повести Паустовского, но жизнеописание его, к сожалению, лаконичны, как строка из стихотворения Маяковского – «жил, работал, стал староват». Немного дополняют их материалы, которые удалось разыскать в Одессе.

Яков Петрович Давыдов так давно принял псевдоним Ядов, что настоящую его фамилию знали разве что те, кто оформлял его на работу в газеты, записывал в профсоюз работников полиграфического производства, принимал в Литфонд, а потом исключал из-за того, что его «литературная продукция не имеет художественной ценности», и работники московского крематория, когда регистрировали печальную церемонию в 1940 году.

В 1875 году он родился в Киеве, считается, что на Подоле, этой «киевской Молдаванке», о которой в повести Паустовского «Бросок на юг» поет перебравшаяся в Батуми машинистка «Моряка» Люсьена: «Все вздрагивали, когда во время беседы <...> со двора на Барцхане, где Люсьена мыла посуду или что-нибудь жарила, вдруг взрывалась, как шутиха, очередная песенка. Она как бы приплясывала и подрагивала бедрами:

Жил-был на Подоле
Хаим Шик,
Он был очень набожный старик!
Он молился богу,
Ходил в синагогу
И трэфного кушать не привык!»

В 1910-х годах Ядов печатался в газетах «Одесские новости», «Маленькие одесские новости», сатирическом журнале «Стрелы», в 1918 – в киевских газетах «Последние новости» и «Народная воля», в 1919-1920 годах – в старейшей и самой популярной в Крыму газете «Крым-

ский вестник», которая выходила в Севастополе, а с января 1921-го руководил в Одессе выпуском «Окон сатиры» ЮгРОСТА, как сокращенно называлось Южное отделение Всеукраинского бюро Российского телеграфного агентства (РОСТА) на Пушкинской, 11.

В то время ЮгРОСТА заведовал Владимир Иванович Нарбут, а «Окна сатиры» представляли собой плакаты, нарисованные клеевыми красками на картоне или листах фанеры и снабженные короткими рифмованными подписями. В незавершенной пьесе Багрицкого, написанной, вероятно, в 1930-м году, осталась «Провинциальная РОСТА. Стены увешаны плакатами. Сверхъестественные красноармейцы, протыкающие шароподобных буржуев в смокингах и цилиндрах. Художники в сияющих всеми цветами радуги блузах. Два поэта: один в обмотках, другой в кавалерийский сапогах, <...> у обоих на головах фески». Эта ремарка списана с натуры: Багрицкий носил солдатские ботинки с обмотками, а у Катаева, по его словам, была «красная турецкая феска с черной кистью, полученная <...> по ордеру вместо шапки». Экстравагантный головной убор, в прямом смысле яркую приметку времени запомнил и Паустовский, а потом написал, что на вечере, где было обещано бить Шенгели, «на эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева». В том же 1921 году Ядов печатал в «Моряке» фельетоны в стихах, отрывки из которых приведены в повести «Время больших ожиданий», а во время перерыва в его издании, – в газете «Станок», где тогда же работал Паустовский.

Номер этой газеты стоил 750 рублей. А за все свои труды Ядов получал 25 тысяч рублей в месяц, поскольку журналистов не баловали ни большим жалованьем, ни большими гонорарами. И это в то время, когда на Привозе фунт ячневой крупы стоил 7 тысяч, а за фунт любимой Багрицким брынзы не просили, а требовали 14 тысяч. Потому и приходилось перебиваться пайковым хлебом и продуктами, получаемыми по карточкам.

Из Одессы Ядов уехал на Кавказ, потом – в Харьков, оттуда перебрался в Ленинград, где его усердно поливали грязью фанатично верноподданные члены РАПП, то есть Российской ассоциации пролетарских писателей, из Ленинграда – в Москву. Но где бы Ядов ни жил, он печатался в местных газетах и писал для эстрады.

В августе 1919 года, еще при белых, в Одессе открылось множество маленьких театров, варьете, кабаре: респектабельное «Англий-

ское казино», залихватское «Ко всем чертям», претенциозное «Пале де-кристалл», многообещающий «Наш уголок» – самое уютное место в Одессе», комически устрашающая «Синяя борода», обнадеживающая «Золотая рыбка» – обед за 45 рублей с хлебом и услугами». В «Золотой рыбке» дебютировали злободневными сатирическими куплетами молодые Аркадий Михайлович Гробер и Владимир Самойлович Милич, которые остались в истории эстрады под коллективным псевдонимом «Громов и Милич». Позже они уехали в Москву и так долго работали вместе, что когда я через много лет познакомился с Громовым, он первым делом сообщил, что «сейчас от меня в Москве осталась половина», потому что Милич где-то отдыхал, а они давно ощущали себя единой творческой личностью. Громов вспоминал тогда, как радовались и гордились они тем, что для них начал писать «сам Ядов», который «писал для Леонида Осиповича и Григория Марковича». Уважаемых коллег Громов называл исключительно по имени и отчеству, но тут же пояснил, что «Леонид Осипович – это, как вы понимаете, Утесов, а Григорий Маркович – как вы, скорее всего, не знаете, известный в прошлом эстрадный артист Красавин».

Имя Красавина теперь неотделимо от имени Ядова, имя Ядова – от Красавина. В 1926 году он оказался в Харькове, где в ту пору жил Ядов. Тогда же к Красавину приехали театральные администраторы Аркадий Вольский и давно забывший, что был когда-то дирижером, Борис Рейф. Они давно уразумели, что, подобно Новому году, театральные сезоны как откроешь, так и проведешь, и пригласили Красавина в Одессу на открытие сезона в Театре миниатюр. Красавин же любил поражать публику каким-нибудь номером, выстроенным на местном материале, и поинтересовался, что сейчас самое такое характерное в Одессе. Вольский и Рейф рассказали, что там по всему городу, от Городского театра до Дюковского сада, с утра до вечера только и можно услышать, что «Купите бублики, горячие бублики...», и об этом очень даже хорошо бы спеть песенку. Зная, что в таком деле никто лучше Ядова не поможет, они незамедлительно отправились к нему на Сумскую улицу, и пока чаевничали с его женой Ольгой Петровной, тот отстукал на машинке текст песни на мелодию, которую напел Красавин. Через некоторое время он приехал в Одессу, и – стратегия опытного артиста – спел «Бублики» не первым, а четвертым номером своего концерта в Театре миниатюр, как всегда, ак-

компанируя себе на скрипке. «Назавтра их пела вся Одесса», – вспоминал потом Красавин.

Ночь надвигается,
Фонарь качается,
И свет врывается
В ночную мглу...
А я, немывая,
Тряпьем покрытая,
Стою, забытая,
Здесь – на углу.

Горячи бублики
Для нашей публики,
Гони-ка рублики,
Народ, скорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей.

Здесь, на окраине,
Год при хозяине,
Проклятом Каине,
Я состою.
Все ругань слушаю,
Трясусь вся грушею,
Помои кушаю,
Под лавкой сплю.

Горячи бублики
Для нашей публики,
Гони мне рублики,
Народ, не зря.
Тружусь я ночью,
Считаюсь дочкою
И одиночкою
У кустаря.

Отец мой пьяница,
Гудит и чванится.
Мать к гробу тянется
Уж с давних пор.
Совсем пропащая,
Дрянь настоящая –
Сестра гулящая,
А братик вор!

Горячи бублики
Для нашей публики,
Гоните рублики
Вы мне в момент...
За мной гоняются
И все ругаются,
Что полагается
Мне взять патент.

Здесь трачу силы я
На дни постылые,
А мне ведь, милые,
Шестнадцать лет...
Глаза усталые,
А щеки впалые,
А губки алые,
Что маков цвет.

Горячи бублики
Для нашей публики,
Гоните рублики
Мне кто-нибудь...
Суженый встретится,
И мне пометится...
Мой честный путь.

Твердит мне Сенечка:
«Не хныкай, Женечка...

Пожди маленечко –
Мы в загс пойдем».
И жду я с мукою,
С безмерной скукою...
Пока ж аукаю
Здесь под дождем.

Гони мне рублики
Для нашей публики,
Купите бублики,
Прошу, скорей,
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей!

Этот подлинный авторский текст сейчас мало кто знает, потому что в таком виде песню почти не исполняли. Перво-наперво петь на эстраде все ее десять куплетов было не очень удобно и выигрышно. И очень уж остро звучали социальные мотивы, очень грустной была исповедь «несчастной торговки частной» и как-то не вязалась она с веселой мелодией фокстрота. Разные исполнители по собственному разумению сократили текст, приглушили грусть, заменили не самые удачные обороты, придумали разные варианты. И так сложилась судьба этой песни, что со временем она оторвалась от автора, первого исполнителя, первоначального текста, города, где впервые прозвучала, страны, где родилась, и даже языка, на котором была написана. Паустовский запомнил и в повесть вставил один вариант ее первого куплета:

Купите бублики
Для всей республики!
Гоните рублики
Вы поскорей!

Леонид Утесов пел: «Ночь надвигается, / Фонарь качается, / Мильтон ругается / В ночную тьму» у нас, Юрий Морфесси, не знаю как, но – «у них». Сестры Берри пели «Бублики» на идиш, Барбара Рыльска –

на польском, Мари-Луиза Дамьен – на французском, Катри Хелена – на финском. Симпатично поют ее на своем языке японцы, но слово «бублички» не переводят, и оно звучит как «бубрички», потому как нет у них звука «л».

Ядов за всю свою жизнь в разных городах и при разных властях написал видимо-невидимо песен, куплетов, частушек, эпиграмм. По словам известного в свое время артиста эстрады Ильи Семеновича Набатова, «Ядов <...> был, пожалуй, самым плодовитым эстрадным сочинителем тех лет». Но если имелся у него какой-никакой архив, то после смерти жены, которая еще в конце 1950-х годов одиноко доживала свой век, куда-то заделался. Из всего написанного им сохранилось немного.

В повести Паустовского есть фраза о том, что «даже всеведущие жители города не могли припомнить, к примеру, кто написал песенку «Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая!..». Может показаться, что он имел в виду знаменитую «Мурку», но не хотел напрямую упоминать эту блатную песню и вместо Мурки поставил Любку. Похоже, однако, что Паустовский ничего не менял, а имел в виду широко известную когда-то, а потом начисто забытую песню Ядова о Любке-голубке и о случившейся с ней супружеской неверности. Не исключено, что на основе этой песни были написаны бесчисленные варианты «Мурки», у которой от первоисточника остался лишь мотив измены, но уже не супружеской – «Ты зашухерила всю малину нашу...». Подлинного текста Ядова нигде нет, разве что напоминает его песня, в которой Мурка уже заменила Любку:

Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая!
Помнишь ли ты, Мурка, наш роман?
Как с тобой любили, время проводили
И совсем не знали про обман...

В 1930-х годах он написал песню «Смейся, смейся, громче всех», которую записал на грампластинку легендарный певец Вадим Козин, благодарая чему она пережила и автора своего, и исполнителя:

Ты смеешься, дорогая,
Ты смеешься, ангел мой.

И тоску свою скрывая,
Сам смеюсь я над собой...

Козин пел и песню Ядова «Нет на свете краше нашей Любы», которая не имеет никакого отношения к «Любке-голубке» – прародительнице «Мурки».

Нет на свете краше нашей Любы,
Черны косы обвивают стан,
Как кораллы розовые губы,
А в очах бездонный океан.

Обе песни, что называется, без претензий, но и без назойливой идеологии, ложились на слух и на душу, старые грамзаписи их еще звучат в эфире, и современные исполнители не обходят их своим вниманием.

В бумагах Утесова сохранился листочек с текстом нескольких куплетов Ядова. Один из них написан на часто обыгрываемую им тему еще с одесских времен, когда в газетах печатали извещения типа «Работникам 1-й Советской щетинно-щеточной мастерской на Польской, 18, талоны на баню будут выдаваться...».

От среды и до субботы
В нашей бане нет работы,
От субботы до среды –
В нашей бане нет воды.

Другой куплет появился после советско-китайского вооруженного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) в 1929 году, когда известный в то время композитор, уроженец Одессы Александр Александрович Давиденко написал песню на слова Демьяна Бедного, который всегда знал, что и когда нужно сочинить для благополучия собственной жизни:

Нас побить, побить хотели,
Нас побить пыталися,
Но мы даром не сидели,
Того дожидалися...

Этот, с позволения сказать, песенный шедевр так часто звучал со всех эстрад и на всех радиоволнах, что очень скоро опостылел, и Ядов отреагировал на сей факт по-своему:

На эстраде двое пели:
«Нас побить, побить хотели»,
До того они завыли,
Что действительно побили.

Не знаю, рискнул ли кто-то открыто петь эту частушку, но она разошлась и в чуточку измененном виде даже осталась в записной книжке Ильфа.

В романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» имеются авторские рассуждения о том, что «параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами». В подтверждение этого авторы сообщают: «В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны «Мертвые души», построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики»... Неумолимое время меняет многое. «Мертвые души» остаются «Мертвыми душами», но дизель-мотором теперь никого не удивишь, Днепровская гидростанция давно не являет собой энергетическое чудо и в эпоху космонавтики перелет вокруг света не вызывает интереса. А давняя песенка «Кирпичики» из «маленького мира» поныне не забыта, и «Бублики», родившиеся там же, поют до сих пор.

Человеку не дано знать, какое событие, поступок, эпизод, «хитро-сплетение обстоятельств», как писал Паустовский, станет для него судьбоносным. Ядов, наверное, не думал, что если будут помнить его, то как автора «Бубликов». И даже не снилось ему, что секретарь редакции «Моряка» Паустовский, которому он приносил свои фельетоны, через сорок без малого лет напишет о нем несколько страниц своей повести.

Паустовский, по-видимому, хорошо относился к Ядову и с грустью понял, что талант его с годами растворился в житейской суете и повседневной работе. Правда, иногда он пытался вырваться из рамок ситуационных тем и веселеньких куплетов. Один из примеров этого на-

прямую связан с Одессой. В 1914 году Ядов вел в газете «Маленькие одесские новости» рубрику «Гримасы дня», в которой под своим «текущим» псевдонимом «Жгут» ежедневно печатал стихотворный фельетон о последних событиях в мире, в стране, но главным образом, в Одессе. Невзирая на то, что он давно уже писал рифмованные строчки со скоростью, с которой мы пишем обычные, это была изнурительная работа, поскольку для выбора темы будущего фельетона нужно было каждый день прочитывать несколько газет, слушать, что говорят, и видеть то, что делают. И во всей этой каждодневной круговерти он вдруг написал на украинском языке и в день столетия со дня рождения Тараса Шевченко напечатал на первой полосе «своей» газеты стихотворение «Кобзарю», в котором юбилейную тему повернул совершенно в другое русло. Орфография его, правда, оставляет желать лучшего, но смысла не меняет. Стихотворение было подписано псевдонимом «Я. Д-ов», образованным от первой буквы имени и сокращенной фамилии Давыдов. Если прочитать его слитно, то получится «Ядов» – возможно, так и родился его чаще других использовавшийся псевдоним, который с годами заменил фамилию. А стихотворение это оставалось на газетной полосе почти сто лет,

Тарасе, Тарасе, коли б на годину
Покинув ти темну свою домовину,
Та знов поглядів би на нас,
Та рідну Україну окинув би оком,
Та в хату мужицьку зашов ненароком,
Чи мало б побачив, Тарас?

Все та-ж Україна, все ті же на волі
Гнучки и високі до неба тополі,
Ту ж пісню несуть красоті,
Такіі і коси, і стани дівочі,
И так же нас сяють мов зірочки, очі,
Та люди, Тарасе, не ті.

Від праці ничемной себе заморила,
Себе підкосила казацькая сила,
Жахаєця рідной землі.

На рідні звичаї всі дивляця косо,
Ніхто не признає в собі «малороса»,
А хвастують – Ми москалі!

Кто-ж щиро і вільно ще любить Україну,
Того «патріот» самозваний, звичайно,
«Крамольником» грізно зове,
І скрізь піднімає доноси і звони,
Зове на України синов «скорпіони»,
Від того, паскуда, живе!..

Тарасе, Тарасе, коли б на хвилину
Покинув ти темну свою домовину,
Вернувся к своїй стороні,
Сказав би ти гірко: – Ой діточки милі,
Оставьте мене, сиромаху, в могилі,
В могилі бо краще міні!..

Страницы, посвященные Ядову, самые, пожалуй, трагичные, в повести «Время больших ожиданий» и самые назидательные, почему и нужно прочитать их с умом в молодости, чтобы с досадой не перечитывать в старости. А то, что оказались там одна-две неточности, так это ровным счетом ничего не значит. Паустовский написал, что в 1922 году встретил в Батуми Ядова, и они обедали в ресторане, где оркестр «заиграл знаменитую песенку Ядова». Но «Бублики» появились четырьмя годами позже, о чем Паустовский мог знать, а мог и не знать, к тому же, по мере течения лет воспоминания о прошлых событиях как бы спрессовываются во времени. В любом случае речь об ошибке тут не может идти. Песня нужна была для эпизода, в котором Ядов признается, что «написать настоящему» уже не может, а Паустовский отвечает: «Грех вам так говорить, Яков Семенович...». Но Ядова звали Яков Петрович, и тут Паустовский действительно ошибся, что простительно, если учесть, что, по его словам, больше они уже не встречались. Впрочем, не прощать тут нужно, а понимать, что писатель тоже имеет право на ошибку, поскольку он не небожитель какой-то, который является к нам своими писаниями, а такой же, как все, живой земной человек. Только талантливый.

Константин Паустовский

Киев – Одесса
(Отрывок)

...В желтом, грязном тумане – притихший, встревоженный город, тусклое золото его куполов, близкие и гулкие раскаты орудий и по ночам, за мутными пятнами станционных фонарей – злая зимняя тьма, родящая жуть, тревогу, тихую, саднящую тоску.

Здесь, на ржавых разбитых путях, около остывших паровозов, в станционных помещениях – прокуренных, с лужами липкой грязи на полу, в густо заселенных, дымящих жестяными трубами товарных вагонах – вся русская жизнь, как в призме. Жизнь растревоженной, измученной, одичалой страны.

Стоим. За Ирпением сердито ворчат орудия. Ждем паровозов. Изредка мимо нас проползает маневровый паровоз, пуская пар из всех щелей. Но это не то. Мы ждем пассажирских.

Наконец, паровозы пришли. Тогда нас начинают катать по путям. Катают два дня, передавая из парка в парк, делая на стенах какие-то загадочные пометки мелом, сцепляют, вновь расцепляют и, наконец, загоняют в какой-то безнадежный тупик, среди скелетов пассажирских вагонов с выбитыми окнами, с сорванными с петель дверьми, снова стоим. Наш путь на Фастов закрыт. Большевики, отступая на север, рванулись в сторону и захватили станцию Мотовиловку, пытаюсь соединиться с бандами, орудовавшими вблизи города. На рассвете приходит серый, стальной бронепоезд. Солдаты рассказывают, что Мотовиловка отбита, банды разогнаны и чины, и штаб их повешены в Жулянах под Киевом. Путь свободен. Вечером, после недельной стоянки, мы отходим.

Наш поезд первый должен пройти по только что очищенной линии до Фастова и Белой Церкви. На паровозе ставят охрану. В глубокой темноте перекликаются патрульные офицеры. И всю ночь мы медленно, крадучись, ползем до Фастова с потушенными огнями. Изредка заглушено свистит паровоз.

Туман сошел, и на черных пустых станциях с развороченными окнами, с остовами разрушенных водокачек, в тишине гулко и раскатисто колыхают одиночные выстрелы. Мы идем вдоль линии фронта.

Здесь со стороны большевиков стоят сбродные части. Есть даже два махновских пачка. Обмундированы они отвратительно. Вчера вели партию отчаянно ругавшихся пленных, в галошах на босу ногу, в лаптях, в «цыганских» рваных шинелях, даже в женских теплых кофтах. Это не армия, а, как сказал нам веселый рыжеватый солдат-артиллерист, – «настоящее босячье».

Фастов – сплошные развалины. Здесь только что стих бой, еще свежи следы пуль, еще стоит сладковато-горький, удушливый запах пожарища.

За седой, в тополях и зимней изморози, Белой Церковью пошли гиблые места, наводненные мелкими бандами.

По пути к поезду выходят «дядьки» и чудом уцелевшие местные интеллигенты – агрономы, священники, учителя. Как нищие бродят около вагонов, выпрашивая газеты. Жадно расспрашивают о Киеве, рассказывают о налетах банд, разъезжающих по деревням на подводах с пулеметами, о разных Конурах, Федоренко, подмахновцах, о развинченных рельсах и обстрелах поездов.

Сами грузим дровами паровоз, сами накачиваем воду в тендер. Патрули ходят около вагонов, зорко всматриваясь в небольшие толпы крестьян, угрюмо и долго глазающих на поезд.

За Бобринской начинается «египетская казнь» – нашествие одесских мешочников. Мешочники – это фанатики. Рискую жизнью, ругаясь, крича до хрипоты, изредка вступая в жестокие драки, они лезут на буфера, тормоза, крыши, тендер стихийно и неудержимо.

Бороться с ними нельзя. Паровоз весь облеплен мешками, впереди котла на площадку они взгромоздили комод – «один дядько везет в подарок дочке» – и сидит на нем, щелкая подсолнухи. На промежуточных станциях они с пеной у рта отбивают атаки новых волн мешочников, становясь ярыми законниками и ссылаясь

поминутно на коменданта поезда и железнодорожные правила. На подъемах, когда паровоз едва ползет и через каждые 300-400 саженей останавливается «набирать пар», они с гиком, смехом и свистом бегут рядом с поездом и дико топчут ногами – греются.

Около Поможной беспокоит. Патрули с паровоза сообщают, что поезд преследует какой-то подозрительный разъезд. Начинается бешеная гонка, и разъезд отстает. По сторонам пути – следы крушений, перевернутые вагоны, изогнутые рельсы. Здесь проходил Махно.

Все крупные станции – сплошные кладбища паровозов, стоящих длинными вереницами на запасных путях и ржавеющих от дождя и ветра.

За Поможной кончается полоса разрушенных станций, разбитых путей, грязи и случайностей.

«Современное слово», № 45, 5 (18) декабря 1919

К. Паустовский – Е.С. Загорской-Паустовской

Крол, родной... Завтра я думаю устроить все с отпуском и тогда во вторник или среду приеду к вам на хутора. Если меня до пятницы не будет, значит дело не выгорело. Следующую субботу, или в крайнем случае в воскресенье приду снова на Фонтаны, приму, может быть, участие в перевозке хлеба морем...

<...> В городе все по-старому. Обысков не было. Приходит каждый день Головчинер с Полянским. Питаюсь я очень хорошо – съедаю кроме обеда и чая еще по два фунта абрикосов. Пишу много. В домике стало без тебя пусто и скучно, – словно и домик-то не живой. По маленькому зайцу соскучился я очень...

Твой Кот

Одесса, 1921[?]

К. Паустовский – Е.С. Загорской-Паустовской

Из Севастополя в Одессу, 25 января 1922 года

Крол, родной. Только на море во время страшного шторма, который перенес «Дмитрий» около Тараханкута, я понял, как глупо

и даже преступно оставлять друг друга. Мы должны быть всегда вместе. Ведь мы совершенно одни в этой жизни.

Я, как и все пассажиры «Дмитрия», перенес несколько действительно не выдуманно страшных дней. Ночь на пятницу мы простояли на рейде. Ушли только утром. К вечеру в открытом море начался шторм. Ночью он усилился. Утром весь пароход трещал и гудел от ветра и нырял в пену по самую палубу. Когда я вышел из каюты, я сразу ничего не понял – выше мачт, уходя в небо, шли водяные горы, и «Дмитрий» едва карабкался на них, черпая бортами воду. Капитан говорил потом, что волны были океанские, каких он на Черном море не помнит. Ветер по морскому выражению достиг 11 баллов – т. е. был «полный ураган». Ходить по палубе было нельзя. Вода застывала на бортах и лед нарастал глыбами. Но мы все-таки шли – ½ мили в час. К вечеру наступил момент, когда машина перестала выгребать, и пароход стало сносить и заливать. Было темно, все ревело так, что голосов не было слышно, волны перекатывали через палубу, и капитан дал в Севастополь радио о гибели.

Ты не можешь, маленький человечек, понять, какую тоску я пережил в течение этого часа. Пассажиры плакали, молились, женщины выли от ужаса. Я сдерживал себя и думал только об одном – о Кроле, и думал о том, что Крол должен молиться обо мне, и все повторял про себя – Крол, молись, тогда все пройдет.

Нос дал течь и стал садиться в воду. Я ушел в каюту, чтобы не слышать дикого морского рева и ждал, закрыв глаза, и думал о Кроле. И случилось чудо. Пришел матрос и сказал, что машину довели до крайнего напряжения и мы идем – ¼ мили в час. Так, карабкаясь, ежеминутно рискуя взорвать ветхую, дырявую машину, мы ночью подошли к Тараханкуту. Здесь волна у берега стала слабее, и «Дмитрий» вошел в бухту Караджи, к северу от маяка, – отстаиваться.

Стояли там два дня. Потом пошли к Евпатории, шли до ночи все время в сплошном шторме и густом непроницаемом тумане. Ночью бросили якорь в открытом море. Качало сильно.

Утром прошли еще 10 миль и снова стали – над морем шли испарения (я это вижу впервые – все море кипит струйками пара, как вода в гигантском котле). Простояли еще ночь.

Сегодня утром запросили Севастополь по радио, и он ответил, что в 2 милях от того места, где мы остановились, никакого тумана нет. Мы пошли наугад, и здесь я видел второе чудо – за мысом Лукулл туман сразу словно бритвой срезало, шторм и ветер стихли в течение 2 минут, жарко полилось солнце, и в необычайно чистом воздухе четко и радостно встали Крымские горы – Чатырдаг и Демерджи.

К концу шторма не хватило пресной воды, масса пассажиров отморозило себе ноги, почти у всех вышли все продукты (у меня все же остались), и на пароходе начался форменный голод.

К Севастополю мы подходили словно к сказочному городу. С моря он необычайно красив. Здесь тепло. Райкомвод дал мне комнату на Садовой 12, недалеко – почти рядом с Соборной, где ты жила. Я бродил по знакомым местам, зашел во двор (старуха Чуева жива), и все время мне было так хорошо и грустно, и я думал о моем зайчишке, вспоминал 16 год.

Послезавтра еду в Ялту на автомобиле. Вернусь к половине февраля. Готовься к этому времени к отъезду – мы поедем на «Вега» – это спокойно и хорошо. А на «Дмитрии» я дал себе зарок не ездить – грязно, пароход был набит битком, и в каюте (единственной) нас было 10 человек (вместо 2-х). Вши, рвота, спанье на корзинах – все это только на «Дмитрии». Ехал я в компании Абергуза и Зеленко и 7 очень славных моряков – о них я расскажу подробно. Послал с пути 2 радио в «Моряк» – получили ли? Почтение ко мне всюду необыкновенное.

Как уютен и солнечен Севастополь. Как тепло, ярко, южно. Уедем мы непременно. Все это страшно освежает.

Я здоров. Можешь гордиться. Твой Кот оказался хорошим моряком. Меня совсем не укачивает. Все пассажиры и часть команды, по выражению капитана, «травили якоря», – я же ничего не чувствовал. Хотелось только есть.

Здесь дороговизна. Все, что нужно, я сделаю. Кое-что уже узнал.

Заходи в редакцию, береги себя, не голодай, жди меня и почаще обо мне думай... Кота погладь за пышными ушами. Кланяйся всем знакомым. Привет Фраерману и Коле. Пиши мне с каждым пароходом. Из Ялты снова напишу. Посылаю мате-

риал в редакцию. Дело с корреспондентами и подпиской налаживается.

Целую. Твой Кот

К. Паустовский – Е.С. Загорской-Паустовской

Из Севастополя в Одессу, 30 января 1922 года

Крол, родной, маленький. Если бы ты знала, какая у меня тоска по тебе. Сегодня вечером я даже плакал. Я, как маленький, считаю дни. По моим расчетам я вернусь в Одессу к 18-20 февраля. До сих пор я в Севастополе – жду «Батума», который почему-то не идет. Говорят, одесский порт замерз, и он не может выйти. Такая долгая остановка в Севастополе спутала мои расчеты, и потому я решил больше нигде не останавливаться (тем более что пароходы стоят в портах минимум 8-10 часов) и на «Батуме» вернуться в Одессу. В крайнем случае остановлюсь в Сухуме, чтобы устроить свои личные дела.

Дни мои здесь проходят очень томительно. Я брожу по знакомым местам, по Соборной, по Приморскому и Историческому бульварам и вспоминаю тебя, март 16 года, и мне почему-то очень грустно. Был я даже около Коммерческого училища...

Голод здесь жуткий, под его впечатлением проходят все дни. Город мертвый и притихший. На улицах бродят толпы голодных. Хлеб надо заворачивать и прятать под пальто – иначе вырвут. В каждой столовой есть специальный человек, который стоит у двери и отгоняет толпу голодных палкой. В такой обстановке приходится мне обедать.

Завтра идет в Ялту миноносец. Если утром выяснится, что «Батум» придет не раньше пятницы, – поеду на нем, – в Ялте легче ждать – там Яковлев. Пиши мне с «Батумом» – письмо оставь у капитана, комиссара или помощника. Деньги расходую экономно. Привет всем. Послал 3 радио и 3 корреспонденции. Почаще думай обо мне и береги себя. Котишку погладь за меня. Если бы ты знала, как меня тянет к тебе, домой.

Поедем в Сухум не раньше 1 апреля, когда стихнут штормы.

Целую. Кот

Константин Паустовский

Мытарства «Димитрия»

Бухта Караджи. 22.1. (Радио нашего специального корреспондента). По пути в Севастополь в ночь на 21 января «Димитрий» был застигнут штормом. К утру шторм достиг полной силы. Волна по своей силе и высоте была равна океанской. «Димитрий», котлы которого повреждены и работают только на половину пара, едва держался против волны и ветра. Ход упал до 3 четвертей мили в час. Винт наполовину работал в воздухе.

Момент был крайне опасный. Если бы вторая машина не выдержала, пароход был бы унесен в море, что при полном шторме грозило ему гибелью. К вечеру 21 «Димитрий», благодаря выдержке и опытности капитана и команды, вошел в бухту Караджи, к северу от Тарханкутского маяка, где и стал отстаиваться. Шторм не прекращается. Запас воды и провизии есть. Заболеваний среди пассажиров нет.

«Моряк», 31 января 1922 года

Севастополь

(от нашего специального корреспондента)

На шестой день после отхода из Одессы «Димитрий», стоявший в душном тумане в двадцати шести милях от Севастополя, получил радио о том, что в Севастополе ясно и тихо. Пароход снялся с якоря и, медленно работая машиной, окунулся в морозный, ослепительно-белый от солнца туман. И вдруг случилась одна из странных морских причуд – туман отрезало словно бритвой, и он остался позади черной колышущейся стеной. Впереди было солнце, тишина и необычайно прозрачные дали, в которых резкими гранями вычерчивались медные слитки Крымских гор.

Тысячи чаек подняли вокруг бортов снеговой танец, и в дымах, в жарком солнце, в причудливости малахитовых бухт встал из тихо шумящих волн Севастополь, город солнечной тишины, херсонского желтого камня, якорей, ядер, старинных бронзовых мортир, позеленевших памятников, окруженный синим кольцом

высокого моря, овеянный памятью обороны, памятью лейтенанта Шмидта, восстаний и вспышек во флоте.

В Севастополе поражает тишина. И только потом, дня через два, начинаешь понимать причину этого безмолвия севастопольских улиц. Это – голод. В городе нет лошадей, и только изредка, три-четыре раза в день, проплетается по Нахимовскому проспекту тощая кляча.

Город сжат мертвым кольцом. Бахчисарай, Байдары, Ялта, Евпатория вымирают. Одесса еще не знает сотен бродящих по улицам, качающихся от истощения людей, жадно следящих за тем, что вы несете. Если хлеб, хотя бы четверть фунта, – вокруг вас собирается плачущая, умоляющая толпа, вас хватают за руки, рвут по кусочкам хлеб, подбирают крошки. И севастопольцы особенно тщательно заворачивают хлеб и прячут его под пальто.

Грабежи все учащаются: за прошлый месяц было их свыше 1000.

В бухте с рассвета до позднего вечера погромыхивает лихорадочная ружейная стрельба: бьют бакланов, мясо которых нестерпимо пахнет рыбой. Его вымачивают в уксусе и едят. На Нахимовском окна магазина «Комитета помощи голодающим» завалены восточными сладостями, фруктами, копченой рыбой и бутылками с крымским вином. На этикетках бутылок марка: «вино комиссии помощи голодающим».

А в порт втягиваются ежедневно тяжелые иностранные суда с мукой, рисом, сахаром. Разгружаются, цветя на солнце флагами, у пристаней внешторга, против серых бездымных броненосцев. Но приход иностранных судов не уменьшает толпы голодных – внешторговская мука вылеживается в амбарах.

Порт оживлен. К Графской пристани пристают, бурля зеленоватый малахит бухты, моторные катера, вползают на рейд мимо брандвахты итальянцы, греки, турки, и в глубине гавани, в дыму и солнце, высятся подъемные краны.

Стоит на якоре серая стройная «Жанна», привезшая в Россию генерала Слащева.

И только на Историческом бульваре, безлюдном, бесконечно пустынном, когда по вечерам Корабельная сторона зажигает огни и светлые бухты засыпают в чуть видной закатной дымке, дымке ранней крымской весны, – на минуту забываешь об умирающем, истощенном, тяжело молчащем городе, скованном мертвым кольцом.

«Моряк», 23 февраля 1922 года

Яков Ядов

Жертва долга

Слушали: О рубке мебели на топливо в редакции газеты «Моряк».
Постановили: Выразить техническому редактору газеты порицание
путем печати.

(Выписка из протокола объединенного заседания
плenumа Одесского Райкомвода Всер. Союза раб. водного транспорта
от 25 февраля с. г.)

Сидел он, жертва Райкомвода,
Главу запрятав между плеч,
И ключья мертвого комода
Бросал в дымящуюся печь.

Шептал: «Я чист, как Пенелопа,
Тебя на смерть сам бросил я,
И пусть на совести Главтопа
Отныне будет смерть твоя.

Ты был рожден для службы барской, –
Но уж таков судьбы подвох,
Что для печати пролетарской
Последний издаешь ты вздох.

Печать в стране – могучий фактор,
Блюсти ее – мой долг прямой.
Не допущу я как редактор,
Чтоб замерзал сотрудник мой.

И пусть сгорит средь общих песен
Твоя последняя доска,
Зато – да будет интересен
И полон номер «Моряка».

Я не боюсь суда и штрафа,
Пускай гремит сам Совнархоз,
Не пожалею стульев, шкафа,
Коль «Моряку» грозит мороз.

Пусть страшен грохот резолюций,
Но дорог мой сотрудник мне –
Коль надо, – как Сцевола Муций
Сожгу и руку на огне».

Так он ответил... Но так некстати.
Он был сражен и пал в борьбе...
О, бедный друг, грозят в печати
Вдруг порицанием тебе...

О, техноред, не пожалевший
Себя... О, жертва непогод!
– Смотри, – печально уцелевший
Взирает на тебя комод!..

Ужели он – второй по счету...
Ужель умрет и сей комод...
– О, нет, я потерял охоту, –
Редактор молвил, – пусть живет.

И бросил взгляд он быстрым оком
На блеск комода своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.

Вахтенный
«Моряк», 1 марта 1921 года

Устав клуба литераторов «Под яблочным деревом»

Наши силы, наше знание, наши дарования и опыт были брошены в течение последних лет на всевозможные фронты. Один лишь фронт остался у литераторов совершенно забытым и заброшенным. Этот фронт – фронт литературы.

Ныне, демобилизуясь вместе со всей страной, мы невольно стали лицом к лицу с забытым нами плацдармом. Сбросив с плеч щиты и латы, мы возвращаемся к единственно родной для нас стихии борьбы и жизни – радости и творчеству.

«Литераторы, назад к литературе!» – вот девиз наш сейчас.

Клуб «Под яблочным деревом» стремится стать олицетворением литераторов в Одессе.

§ 1. Членами Клуба могут быть только несомненно чистокровные, густопсовыые литераторы (расклейщики газет, выпускающие, любители порнографических программ и одесские репортеры исключаются).

§ 2. Членом Клуба может быть только литератор талантливый или «подающий надежды» (женщинам-литераторам – 20% скидки, поэтессам – 30%).

§ 3. Для вступления в Клуб необходима личная рекомендация двух действительных членов и одного общепризнанного гения (гением обычно бывает сам рекомендуемый).

§ 4. На собраниях Клуба литераторов запрещается вести беседы:

- о политике,
- о пайках,
- о предстоящей зиме,
- о дороговизне лука и о Шенгели.

§ 5. Каждому члену Клуба вменяется в обязанность носить в боковом (левом) кармане пиджака:

- № 1) членский билет,
 - 2) книжку стихов Веры Инбер,
 - 3) порцию сахара для чая на собраниях (сахар можно заворачивать в стихи Инбер)
 - 4) и пропуск для хождения по улицам после 3-х часов ночи.
- § 6. Литературные беседы ведутся по заранее разработанному плану. Каждому члену Клуба вменяется в обязанность разработать «свой» план. Прения о планах воспрещаются.

....
Евгений Иванов назначается плавучим доком Клуба для ремонта литераторов, получивших боковую течь или севших на мель».

В уставе не забыли и о необходимости назначения казначея и почетного председателя. На этот пост выдвинули Семена Юшкевича, оговорив, что «из Америки его вызывать не следует».

А.Т. Твардовский – К.Г. Паустовскому

26 ноября 1958 г.

Мы были очень обрадованы встречей с Вами в редакции после первого чтения «Времени больших ожиданий». Более того, мы с особым удовлетворением вспоминали и ставили в глаза и за глаза в пример некоторым молодым, да ранним Вашу исполненную достоинства скромность, готовность и способность спокойно выслушать даже и не очень приятные редакторские замечания, по-деловому заключить нелегкий разговор согласием «перепахать» еще раз рукопись, сделать все, что необходимо для беспрепятственного ее опубликования.

И нам, право, жаль, что покамест – так уж оно получилось – результаты «перепашки» оказались, мягко выражаясь, малопродуктивными. Да, Вы внесли некоторые изменения в текст повести, кое-что опустили, кое-что даже вписали, например, странички, призванные разъяснить особое положение Одессы в 20-21 гг. Так, Вы, объясняя «тишину» и, так сказать, свое право пользоваться благами этой «тишины», сообщаете, что наступила она вследствие ухода рабочей части населения города на северные фронты и в деревню от голода. Словом, ушли, нету их, нет необходимости их описывать. Согласитесь, что этот прием сходен с тем, что применяют авторы некоторых пьес, удаляя со сцены детей (к бабушке, к тетушке, в деревню и т. д.), мешающих взрослым резвиться на просторах любовной и иной проблематики.

Но дело, конечно, не в этом, а в том, что внесенные Вами исправления нимало не меняют общего духа, настроения и смысла вещи. По-прежнему в ней нет мотивов труда, борьбы и политики, по-прежнему в ней есть поэтическое одиночество, море

и всяческие красоты природы, самоценность искусства, понимаемого очень, на наш взгляд, ограниченно, последние могикане старой и разные щелкоперы новой прессы. Одесса, взятая с анекдотически-экзотической стороны.

Не может не вызывать по-прежнему возражений угол зрения на представителей «литературных кругов»: Бабель, апологетически распространенный на добрую четверть повести, юродствующий графоман Шенгели в пробковом шлеме, которого Вы стремитесь представить как некоего рыцаря поэзии; Багрицкий – трогательно-придураковатый, – Вы не заметили, как это получилось, – придураковатый стихолюб и т. п.

И главное, во всем – так сказать, пафос безответственного, в сущности, глубоко эгоистического «существовательства», обывательской, простите, гордыни, коей плевать на «мировую историю» с высоты своего созерцательского, «надзвездного» единения с вечностью. Сами того может быть не желая, Вы стремитесь литературно закрепить столь бедную биографию, биографию, на которой нет отпечатка большого времени, больших народных судеб, словом, всего того, что имеет непреходящую ценность.

Таким образом, Константин Георгиевич, эта «доработка» не позволяет нам считать рукопись пригодной для опубликования в журнале, – если бы мы это сделали, мы навлекли бы на Вас тяжкие (и, увы, справедливые!) нападки критики, да и журнал бы понес серьезный урон, журнал, который, смеем думать, никак не менее других журналов способен понять специфику художественного изъяснения, индивидуальную особенность письма и т. п.

Мы просим Вас еще раз обратиться к рукописи, не торопясь и не решая вопроса облегченным способом. Мы хотели следующие конкретные авторских «вмешательств» в изложение:

- 1) Несколько добрых, не формальных слов о людях труда, налаживающих новую жизнь в Одессе после ухода белых;
- 2) Решительного сокращения апологетического рассказа о Бабеле, который, поверьте, не является для всех тем «божеством», каким он был для литературного кружка одесситов;
- 3) Снятия истории с публикацией в «Моряке» (...).
- 4) Снятия «спора о Родине» в Доме творчества «Переделкино» (там одинаково неправы обе «стороны»);

5) Устранения в нескольких случаях особо «кокетливых» фраз и абзацев, вроде того, что на первой странице, где цитируются плохонькие стишки Адалис (неужели Вы не замечаете этого, например, употребления ею слова «помалу» в смысле «мало», тогда как смысл этого слова другой – постепенно, помаленьку).

Вот и все, примерно, дорогой Константин Георгиевич. Мы искренне хотим быть понятыми правильно, мы хотим напечатать Вашу вещь, имея в виду и вообще интерес читателя ко всему, что принадлежит Вашему перу, и, в частности, интерес журнала, который никак не хотел бы утратить и в данном затруднительном случае контакт с таким автором, каким являетесь Вы.

Не откажитесь откликнуться на это письмо.

Александр Твардовский

К.Г. Паустовский – редакционной коллегии
журнала «Новый мир»
А.Т. Твардовскому, А.Г. Дементьеву

7 декабря 1958 г.

Получил Ваше письмо от 26 ноября. Задержал ответ, так как сейчас очень болел и писать мне трудно.

Прежде всего я прошу редакцию тотчас же отправить два экземпляра моей рукописи («Время больших ожиданий»), находящихся в «Новом мире», на мою московскую квартиру во избежание всевозможных недоразумений.

Теперь несколько слов по существу. Редакция утверждает, что она не хочет терять контакт со мной, но вместе с тем сделала все возможное, чтобы этот контакт уничтожить. В данном случае я говорю даже не о содержании письма, а о его враждебном, развязном и высокомерном тоне.

Я – старый писатель, и какая бы у меня ни была, по Вашим словам, «бедная биография», которую я стремлюсь «литературно закрепить», я, как и каждый советский человек, заслуживаю вежливого разговора, а не грубого одергивания, какое принято сейчас, особенно по отношению к «интеллигентам».

Нельзя ли редакции «Нового мира» страховать от возможных уронов с большим достоинством и спокойствием.

Я обещал Вам «прополоть» рукопись (до возможного для меня предела), что и сделал, а не в корне «перепахать» ее. Вы сами прекрасно знаете разницу между этими двумя понятиями, когда они переносятся в литературу. Поэтому редакция напрасно делает вид, что ее обманули.

Все, что вписано в последний экземпляр о рабочих в Одессе, сделано по Вашему прямому предложению после того, как я рассказал Вам о специфическом положении Одессы в те годы. Поэтому пошловатое сравнение этого якобы «приема» с поведением взрослых, усылающих детей, чтобы они не мешали взрослым «резвиться на просторах любовной проблематики», поразило меня своим дурным вкусом и грубостью.

Я никому не обещал и не брался писать эту повесть о труде. Этой теме посвящены другие части эпопеи. Что же касается политики, то ею так наполнена третья книга («Начало неведомого века»), которую Вы, по Вашим словам, не читали, что насыщение политикой еще и четвертой книги было бы простым повторением.

В книге, по-Вашему, показаны разные «щелкоперы новой прессы». Такое заявление более пристало гоголевскому городничему, чем редакции передового журнала. Щелкоперов нет! Есть люди. Люди во всем разнообразии их качеств, и незачем клеить на них унижительные ярлыки. У какого-нибудь одесского репортера может быть больше душевного благородства, чем у Вас, сомнительных учителей жизни.

Что касается Бабеля, то я считал, считаю и буду считать его очень талантливым писателем и обнажаю голову перед жестокой и бессмысленной его гибелью, как равно и перед гибелью многих других прекрасных наших писателей и поэтов, независимо от их национальности. Если редакция «Нового мира» думает иначе, то это дело ее совести.

Почему Багрицкого, человека шутиwego, вольного, простого, Вы считаете изображенным в качестве трогательно-придураковатого стихолюбa? Из чего это видно? Неужели из того, что он ненавидел чванство и спесь, ставшие одной из современных доблестей.

Что касается Ваших слов «о гордыне автора, которому плевать на мировую историю» с высоты своего «единения с вечностью» (??), то эти путанные слова отдают фальшью и свидетельствуют о непонимании текста.

Вас, как поэта, я хочу спросить, Александр Трифонович, что означает лермонтовское «Выхожу один я на дорогу»? Не то же ли «единение с вечностью», по вашему толкованию. Тогда побейте Лермонтова камнями, если Вы искренни.

Пожалуй, хватит. Скажу только, что я не ожидал именно от Вас столь незначительного письма, продиктованного, очевидно, вне-литературными и служебными соображениями.

Не знаю, – заслужил ли я в конце жизни такое письмо от поэта? Судя по десяткам и десяткам тысяч писем читателей – не заслужил. Но Вам, с официального верха, виднее.

Напоследок решаюсь посоветовать Вам хотя бы быть логичнее и, сначала приняв (может быть, сгоряча), в основном, мою повесть, не стараться потом начисто опорочить ее, как Вы это делаете, опорочить все ее четыре книги заявлением о ничтожности моей биографии.

В старину говорили: «бог вам судья», подразумевая под богом собственную совесть. Вот единственное, что я могу пожелать Вам. Рукопись прошу поскорее вернуть.

К. Паустовский

Ялта

Письмо К. Паустовского в газету «Моряк»

Я хочу начать с благодарности одному из читателей – отставному капитану первого ранга А.И. Малову, живущему в Севастополе.

Капитан Малов проверил в предыдущей автобиографической повести «Время больших ожиданий» все, что имело хотя бы косвенное отношение к морю, и прислал мне несколько своих замечаний.

Обширные и живые познания капитана в морском деле придают его замечаниям характер коротких морских рассказов. В письме капитана включены своего рода небольшие исследования о цвете берегов северо-западного Крыма, о так называемой «башне Ковалевского» под Одессой, служившей путеводным знаком для штурманов, о многих подробностях морского дела – настолько интересных и неожиданных, что из них неизбежно рождается морской романтизм.

Я приведу без выбора всего три замечания, присланные мне капитаном.

Из этих замечаний каждому станет ясно, как человек относится к своему делу.

Прежде всего, он его уважает и не терпит по отношению к нему легкомыслия. В одном месте книги я взял в скобки слово «лоция». Это сейчас же вызвало справедливое возражение старого моряка: «Не надо принижать лоцию и брать ее в скобки».

В другом месте я опрометчиво написал, что Тарханкутский мыс и маяк с давних пор пользуется дурной славой среди моряков. Мой капитан по этому поводу замечает: «Это правильно. Но зачем вы упоминаете маяк? Мыс – это да! А спасательный,



Одесса. Вид на город с Николаевско-херсонской пристани. Начало XX века

предупреждающий, ориентирующий маяк, хотя и носящий (не-любимое моряками) имя Тарханкутского, не вспоминается лихом. Моряки маячные огни почитают, а вот мысы, узкости и другие навигационные опасности не славословят».

И, наконец, совершенно трогательно выглядит заступничество капитана за обиженный мною пароход «Пестель».

Я несколько раз плывал на «Пестеле», привык к нему и даже полюбил его. В первые годы советской власти он единственный поддерживал связь между Кавказским побережьем и Одессой. Но я написал, что «Пестель» был дряхлый и тесный пароход, такой же, как и старая посудина «Димитрий» (этот последний сделался одним из неодоушенных героев книги «Время больших ожиданий»).

Эти мои слова вызвали ответ капитана:

«Вы слишком одряхляете «Пестеля». Он был иным, чем «Димитрий». Он был моложе, мореходнее и иной корабельной архитектуры. За свой внешний вид, удивительно красивое строение корпуса, рангоута и надстроек «Пестель» у всех моряков торгового и военного флота пользовался глубоким уважением, симпатией и даже особой любовью.

«Пестель» погиб в 1943 году. Он был торпедирован в районе Анатолийского побережья. До 1941 года он плавал на линии Одесса – Батум, а с наступлением войны стал транспортом. Память о нем жива среди старых моряков».

Заканчивая это небольшое вступление к книге, я хочу пожелать каждому писателю таких взыскательных читателей, как капитан Малов.

Одесса – ее пустой порт,
ее пустые в то время
улицы...

К. Наумов

Впервые часть дневников отца опубликовал Вадим Паустовский. Они вошли в подготовленное им издание «Книги о жизни» К. Паустовского. Вадим Константинович писал, что «одесские» дневники состоят их трех частей: «Первый, «киевско-одесский» период, записан в объемной, чуть ли не на 100 листов самодельной несшитой узкой тетради. Записи носят систематический и по хронологии сквозной характер. Правда, надо заметить, что некоторые листки этой тетради-блокнота утеряны (вернее, пока еще не найдены), в том числе листок с записями после приезда К.Г. Паустовского в Одессу; записи продолжают лишь с марта 1920 года. Вторая часть «одесских» дневников представляет собой всего лишь два линованных листа бумаги, видимо, вырванных из тетради. На листках рукой Паустовского сделаны соответствующие пометки: «Одесса. 1920 г.» и «Зима. 1921 г.». Третья часть дневниковых записей периода «Времени больших ожиданий» сделана на трех листочках в довольно пухлом блокноте служебных записок Союза кооперативов Абхазии с подзаголовком: «Одесса – Сухум – Батум. 1922 г.». Это позволяет предположить, что записи о плавании на «Димитрии» и о пребывании в Севастополе, как и заметки путевого дневника «Севастополь – Сухум», выполнены им вослед событий, как бы по памяти».

Уже после смерти Вадима Константиновича в журнале «Мир Паустовского» № 23 за 2008 г. двадцать семь листов дневниковых записей, считавшихся утраченными, были опубликованы Д. Лосевым под названием «1920 год». Настоящее издание объединяет оба текста.

Алена Яворская

Крол, Катя, Хатидже – первая жена Паустовского, Екатерина Степановна Загорская.

Гюль (Гюль-Назарьянц) Александр Мартынович – журналист, Назаров в повести «Начало неведомого века». Андрей Соболев – писатель, герой рассказа «Случай в магазине Альшванга».

Вера Михайловна Инбер – поэтесса, жила в Стурдзовском переулке, рядом с Черноморской улицей.

Дерибас Александр Михайлович – писатель, журналист, автор книги «Старая Одесса».

Мальвина – Мальвина Хинсон-Синявская, машинистка в газете «Моряк».

Эйбер – Эйбер Марк Борисович, знакомый К. Паустовского, муж машинистки «Моряка» Евгении Эйбер.

Цакни Анна Николаевна – первая жена И.А. Бунина.

Коваленко, Яковлев, Рыбарский, Мартынов – работники местных учреждений Райкомвода – Всероссийского союза рабочих водного транспорта – и их комитетов пропаганды.

Константин Паустовский

Из дневников Из Киева в Одессу, конец 1919 года

Снова тревога. Канонада. Эвакуация. Отъезд штаба. В редакции – томительные долгие часы. Прорыв. Сбор в дорогу. Некий Козловский – грязный, с кинжалом. С ним – на вокзал. Женщина-извозчик. Есть теплушка. Длительное совещание. Дали деньги. На вокзал и в армянскую миссию. Крол плакал весь день. У Эммы. Вечером грузили вещи на санки. Ваня. Доехали и влезли. Гибель народу. Негде повернуться. Я, Лифшиц и Ярцев на полу. Чаговец <...> Полковник с винтовкой. Кошмарная ночь. Крол топил печку. Утро. Бродили по вокзалу. Мы – в город. В редакции. В студенческой столовой. На извозчике. Снова тяжелая ночь.

Утро. Киселев на вокзале. Отъезд Чаговца и Ярцева. Вечером выгружался Лифшиц. Просторно. Нас перевели – куда-то в тупик.

Бронепоезд «Генерал Духонин». С Полем в город. У Проскура. Тревожно. Перевели к вокзалу. Стрельба по ночам. Верочка.

Дурак-капитан в тулупе. Сумасшедшая бабушка. Носим воду. На вокзал. Ссоры с Марией Александровной. Тоска. В грязном тумане – город. Приходила Маруся. Перевели куда-то на задворки, около скелетов вагонов. Начались колебания. Лужи. Туман. Все пути отрезаны. Наконец двинули. Катя и Верочка. Все на местах. Прицепили к длинному составу. Тревожно. Офицерам раздают винтовки. Полковник-комендант.

Тронулись. Банды. Едва ползем без огней. Дежурства на паровозе. Я уснул. Проснулся в Фастове. Вопли дерущихся баб. Белая Церковь. Иней, изморозь. Гадалка. Инженер из Союза. Поляки. Снега уже нет. Мироновка. Грузим дрова. Гиблые места. Нищий-агроном. Хмурые мужики. Штаб Слащева. Терцы. Цветково. Вода в сторожке. Замызганная станция Бобринская. Огни, культура. Будем стоять два дня. Утром – за водой у верениц паровозов. Базар. В Смелу. По путям. Дамба у Тясмина. Красиво по-зимнему. Крол тянет свои калошки. Местечко. Тишина и уют. Базар. Еврейские лавчонки. К Проскурам. Нашли. В маленьких комнатках – тепло и чисто. Старуха. Лидия Федоровна и Володя. Обрадовался. Мы грязные, как черти. Пошел проводить. Около церкви. Туман. Дома. Вкусный обед.

Утром Гюль переселился. Поход на Полтаву. Мыли калоши. Ходили его провожать. Тащил с полковником ведро. Колот дрова. Морозно. Ночью пошли. Утром – степи. Ново-Миргород. Поиски дров. Комод на паровозе. Мешочники. Следы крушений. Здесь проходил Махно. Стоим. В степи на подъемах. Паровоз набирает пар. Снег вместо воды. Гнались разъезды бандитов. Помошная. Утром Голта – «стоит на каменистой почве». Курьезное местечко... [нрзб.] Смотрим в открытую дверь. Украинские хатки. Где-то около Балты перерезали телеграфные провода. Тревога. Я ночью дежурю. Жарко. Чай...

Из одесских записей того же блокнота, с марта 1920 года

Приехал Гюль. Его мытарства. У нас. Вечеринка у Любовича. Хейфец и Соломон. У Робина. Ланжерон. Прозрачное море. Камни обросли льдами. Тишина. Черноморская улица. Порт. «Cleopatra».

Итальянцы. Английский крейсер «Concord» и контр-миноносец «Tabaco». No, hip! Чистота и уют в теплых стальных каютах. Английские матросы в широких брюках, с трубками. Мильруд. С Катей и Гюлем – на Ланжерон. Крол нездоров. Радуетя как маленький. Камешек. Порт. «Dumont Durville» после взрыва. На шлюпке. Старый миноносец «Беспокойный». Пищат и дерутся чайки. Гирлянды снега.

Вечером – в городской театр. Красивый, итальянский. Гражданская жена Любовича. Хейфец – шалый. Смех. Убогие кооператоры. Юбилей «Рочдэльских» пионеров. Домой. Кекс Кролу. Уже выздоровела.

Написал об Оберучеве.

Приехал Лифшиц с женой. Обрадовались. К себе. Кофе. Обедать – в «Отдых». «Южное слово». Клеопатовский. Хорошая редакция, но редактор – мальчишка. Дурацкий телефон. К Поляковскому – Гюль и каштаны. Стрельба. Брели, хромая, по темным улицам. Спальня. «Шляпа» Лифшиц Сонечка. Плач. Пришли. Уютная квартирка у Федора Давидовича. Тепло. Уснул. Утром – бежали. Солнце и влага. На следующий вечер – ночевать к Полю. Тьма, окраины, весенне и свежо пахнет морем. Белая, чистая, одинокая комната. Холодно. «На северной форелевой реке». Шумит море. «Вилла ветров». Тоска о Москве. Английский кофе. Дикая ночь, не раздеваясь. Гюль сердится. Утро – море дымно-розовое у берегов, дальше синеватый свинец. Ветер. Крол на «Commandant Barry».

Из записей на отдельных листках, октябрь-ноябрь 1920 года

21. Серый день сквозь ржавчину листьев. Сизый туман холодного моря и алые просветы над его северным берегом. Василий Иванович у нас. Художник. Иконописец. «Последние новости» в Париже. Ярцев в Константинополе. Он снимает перед морем шляпу. Северянин в Ревеле.

22. На службе гнусно. Едва досиживаю до трех часов. Мясо. Тоскливо. Батарейный переулочек – словно в Севастополе. Читаю

«Боги и люди» Поля Сен-Виктора. Декаданс, рассыпанный массой ценных и точно вычеканенных вещей. Бессилье мысли. Хорошо о Марке Аврелии. Бензиновая свеча.

24. Музей Толстого. Анфилады комнат в золотистом осеннем солнечном свете. Штофные стены. Дворец. Итальянский рояль. Empire и барокко. Чудесные японские вазы. Хороши миниатюрные портреты. «Ветер. Версаль» Бенуа. В окнах версальского дворца отсвечивает дождливый тускло-желтый закат. Ветер рвет плащи. Красота ровных газонов, статуй, стен из зелени. Людовик XIV... Рассказы Крола о версальских фонтанах.

В университете. Белый восьмигранный зал. Годовщина литературного кружка. Шенгели – истомленный. [нрзб.] Читал «Поэтам». «Друзья, мы римляне». «Золоторжавая, холодная заря» над форумом. Приход нового Ронсара. Кованные стихи. Тоска. Я создан для этого. Андрей Соболев читал «Тихо было». Вспомнил «Цыганского барона». Вера Инбер – маленькая одесситка в красной вязаной кофточке. Шамкал Де-Рибас. Красивый вечер. Фосфористая луна. Думы.

25. Холодно. Я в летнем пальто. Раздевают страну. Вечером – полный месяц над зимним морем в сизом углубленном небе. Серебряный диск сквозь ржавую листву.

У нас больной Антонин с Фонтанов. Был на принудительных работах – нажил флегмону. Прожорлив. Старая казенная крыса. Она. Дикая пара. Наше время доводит до идиотизма. Холода. В комнате ниже нуля. Именины у Головчинеров. Опухли руки. Тоска. Статья Рысса в «Общем деле».

У Василия Ивановича. Немочка жена. Столовая. Поэтесса Данилова. О Шенгели. Серо-желтый парк

Читаю Розанова. Чудесный русский язык Рим, жить в нем. Вторая родина. Смерть Гартенштейна, – от тоски. Несколько дней ничего не ел. Похороны. Полянский и Лоран. Ковальский. Обмывание на кладбище. Драка канторов. Торг как на базаре. Омерзительно. Ой, Лейбе-Ицко. Встретили арестованных – около двух тысяч. Врангель разбит. Радиостанция приняла радио с «Адмирала Корнилова» об оставлении Феодо-

Зима, 1921 год

сии и Севастополя. Удерживаются в Ялте. Последний акт трагедии. «Громадный народ умирает в тоске, как больной заброшенный зверь». Сергей Петрович у нас. Сидел в тюрьме. Крики женщин, которых ведут на «размен». По вечерам – тьма, холод. Уходит жизнь. Ждут «Волю», которая якобы пришла сдаваться. Таскаю обед. Серые сумерки.

20. На море сильный шторм. Заходил на бульвар. Волна перекачивает через молы. Зеленое море. Ветер. Брусилов... говорил о Петрограде, – за 6 дней он не слышал смеха, не видел ни одной улыбки. Говорят шепотом. Импотенция мужчин. Прекратилось деторождение.

22/XI. Мутные, свинцовые дни. Был Сергей Петрович. Спал несколько дней в бараках – обовшивел. Около 6 часов вечера неожиданный и сильный орудийный огонь. Никто не знает – что это. Тяжелый гром в [нрзб.], оправленный в яркую ржавчину парк.

У батюшки умер ребенок.

Именины Крола. Хризантемы. В холодных комнатах. У Ковальских. Восточная музыка. Черные ночи. Медведев. Его рассказы. Много читаю об искусстве. Хейфец. – Замерзло море – особый запах снега. Рождество. В монастырь. Красавица-послушница. Лицо Нестерова. Диакон. Великая ектения. Сочельник. Елочка. Лифшицы. 1-ый день у моря. Молочный туман. Бледно-зеленое, едва шумит у дамбы. Ледяные торосы. Плач чаек.

Свежесть. Отдых – покой. У Ивановых. Свиньи в гостинной. «Морьяк». Скука этой жизни. В кабинете изящных искусств университета с Ковальским – Серов, Борисов-Мусатов. Изможденный хранитель – Василенко.

29/XII. 14° тепла. Совсем весна, – все в синем отблеске. Тихое море. А в Москве – костры в морозном тумане. Готовимся к Новому году. Новый год – у нас. Ковальские. Коньяк. Тепло. Танбура. «Просим младшего корнета выпить рюмочку вина». Утром к морю. Я в летнем пальто.

«Морьяк». Купчиха Благова. Темно. Ермил Иванович.

Мальвина с помятым лицом. «Южный транспорт». В типографию. Дикая ночь. Снег. Иван Гаврилыч – боцман с «Гангута» с вырванной ноздрей. «София». Болгарский капитан. «Астракан». «Варна» бьется сквозь лед. Уткин. Зарисовки. Первый № «Моряка». В типографии. Чай. Благов – приказы. Канышевич уехала в Болгарию, Любович негодует. Эйбер – горлан и скандалист... Боцман Яков и его ужасная жена. 9-го января на Б. Фонтан. В домике тишина, собака, трещит печь, шуршат листья, с моря тянет теплом.

Масляная. У Ивановых, Бона, дети. У нас. Гюль. Еще холодно. На живую газету. Кронштадтское восстание. Растерянность среди коммунистов. Папаша Кривоходкин. «Не так ревно, як его жинка». Бершадт. В редакции весело. Капитан дальнего плавания. Аншелес-Терский. Книги о Кавказе. Острослов. Сценки с Ивановым. Фицев. «Решид Паша» с врангелевцами. На «Дмитрии» с Евгением Николаевичем. Март, тепло, влажные доски пристаней. Близится Пасха. Лукагер. Его жена-парижанка. В типографии – кепстэн. Подорольский. Пасха. Даша печет куличи. Миндаль. Красиво в комнатах. Стурдзовская церковь. Монастырь. Разговенье. Цакни. Гюль и поэтесса Данилова. У Иванова – банкет. Вино. У Головчинеров на Базарной. Ганфман отяжелел. Мобилизация журналистов. Проводы. Старый Лифшиц, его шапка. Тепло, цветет акация. История с речью Ленина. На заводе Черномортранса. Подводная лодка «Лебедь». Ковальский в Крыму. Носил куличи ей на квартиру. Приехал. Почернел, длинные волосы. Скрывался у нас. Сел в бает. Лукагер с дочкой у нас. Я у них. Лимон. Рыжий. Фешенебельно. С Ковальским в Аркадию. Жара, солнце. На 9-ую станцию. Дядя Коля. Снова к морю. Пакр Ралли – развалины, [нрзб.] вода, [нрзб.], проводы. Виды Крыма.

Из путевого блокнота: Одесса – Севастополь – Сухум, январь 1922 года

19/I. Одесса. Туман. Белый вышитый шатер. Абергуз. Левшин на «Батуме». Ночь на рейде. По брегватеру гуляет прибой. Город во влажных огнях. Тоска. Утром снялись. Упруго заходили палубы,

желтые берега. Фонтаны... Санджейка. Гудок лоцмана. И открытое море. Мелодично позванивает лаг. Качка. Пассажиры травят якоря. Одиночество. Зеленко. Плавающая мина. Ночью винт треплется в воздухе. Утром страшный, поистине страшный шторм. Океанская волна. Берега Тарханкута. Размахи. Лаг стоит. Сносит. Зеленко и командир Николаевского порта. Абергуз мучается. Смертельная тоска. Молитвы о Кроле. «Пошли». Бухта Караджи. Голая степь. Вечер. «Сумасшедший» Апухтина. Капитан и механик Санджейского маяка. Капитан – волгарь. Ария из «Князя Игоря». Радио в Одессу. В каюте капитана. Солнце и испарения. Море ходит гейзерами. Бунт военморов. Глаз Тарханкута. «Ветер драит». Пошли. Испарения. Ночь в открытом море. Белая пена в черноте. Берега Евпатории. Отошли. Снова ночь. Каша. Сон на корзинах. Минный офицер. Песня о трубочке. Утро. Идем в густом молоке. Вдруг солнце, тишина, густая бирюза и мертвые слитки крымских гор. Снег на спардеке. Гидроплан. Кача. Тихо шумят волны. В солнечных дымах – Севастополь.

Пушка. Прощанье. В город. Обед. Гармоника. Райкомвод. Коваленко. Проводы «Дмитрия». Новое радио. Соборная 26. Тоска щемит сердце. Думы о Хатидже. Садовая, детский сад. Адмиральша Коланс. Мичман и козы. Строгановец Макаренко. Гончаров. Пьяная история. Диван, холод, пароходная лампа. Дни в городе. Морагенство. Базар, золото. Серые туманы на Приморском. Хоран [13] на Историческом. Тоска по 16 году. Столовая водников. Кустарная выставка. Около Коммерческого училища. Петропавловская церковь. Рассветы. Чай у адмиральши. Николаеведы. «Пестель» – Рыбарский. «Вече».

Жарко. Дрема. Приход «Батума». Погрузка. Ходынка. Нахал-помощник. Американский миноносец «240». Неохотный салют. Херсонесский маяк.

В рубке с Перевозчиковым. На корзинах. Пот и духота. Синие крымские горы. Сарыч. Облака. Зелено-мутное море. Обогнал миноносец. Печаль. Ночью Ялта. Дождь. У Яковлева. Накурено. Лужи...

1920 год. Из дневника

Такого глухого, чугунного времени еще не знала Россия. Словно земля почернела от корки запекшейся крови. Ухмыляющийся зев великого хама.

В Петербурге – городе мертвых – прекращается деторождение. Мужчины импотентны. За шесть дней он не видал ни одной улыбки, не слышал смеха или окрика извозчика. Любви нет. Разница между полами стерта голодом, грязью, невыносимой тяготой жизни. Нет того, что раньше называлось флиртом. Резиновая скука. Жизнь – в этой скуке, серой, пахнущей аммиаком из отхожих мест – тянется как высохшая резина, пока не разорвется.

Нет пола. Есть голодное существо, одетое в рваную шубу, с потухшими глазами. Почти все не моются по два месяца – в квартирах замерзает вода – разве здесь можно говорить о любви. Женственность – признак жизни живой, свободной и богатой, усохла, как усыхает река. Женщины внушают только отвращение грязью, затасканными подолами, слезящимися глазами, точно так же, как и обросшие, несвежие мужчины.

Боже, до чего ты довел Россию. Хочется молиться в теплых, блестящих матовым золотом, полутемных соборах. Молиться и знать, что за папертью идут в голубых огнях и снегу тихие площади Кремля, живет быт, пушистые снежинки падают на бархатную девичью шубку. Молиться. В последних истоках мутного света сослепу тычется, ища черствую корку, громадный умирающий народ. Чувство головокружения и тошноты стало всенародным. И больше умирают от этой душевной тошноты, тоски и одиночества, чем от голода и сыпняка.

Сегодня утром за маленьким окном едва светало. Вспомнил стихи, Москву, детство. Лежа на рассвете в теплой постели, в рождественские синие рассветы, так похожие на сумерки, хорошо было слушать треск дров в печке, звон чашек в столовой, смотреть на запущенные деревья в уютном саду, на красные блики огня на натертом паркете, вдыхать запах елки и ни о чем не думать.

Каждый день учеты, регистрации, допросы, реорганизации, сокращения штатов, слияния, аресты, боевые приказы, картавые мальчишки с револьверами на заду, дурацкая суета и отупелое ничегонеделанье – так живут советские учреждения. Крепост-

ные. Хуже крепостных – «сволочь», скоты, которых дерут плетью ежечасно. Больно дерут по лицу. И за дрожью от холода, обиды, от смутной боли – жалкое сознание, что и где-то «хвост» – очередь, и в этой очереди дают раз в три дня кислый ячменный хлеб, от которого пучит живот. Во имя этого терпят. А среди них есть интеллигентные люди.

Я совершенно не создан для службы, для канцелярщины, для сиденья за столом. Я болен. Тоска стала непрерывной, замкнутой в себе кругом (я не могу теперь, не сдерживая слез, слышать плач детей), она наполнила все мои дни до краев, и я не знаю ни сил, ни возможности разорвать ее, засмеяться, почувствовать, что ведь я еще молод, что мне всего только 28 лет, что я хотел жить иначе.

Книги лежат начатые, но писать дальше не могу. Отморожены, должно быть, мозги и отморожены руки. Пальцы опухли, в язвах, и умыванье вызывает слезы.

У батюшки умер сын. Ребенок был слаб. Дети рождаются хилые, с дурными соками, у матерей нет молока. Вечером он служил панихиду у гробика в цветах. Цветы (астры) принес Крол. Горела коптилка. За окнами дул сырой норд-ост и стояла черная злая ночь... «В месте светле, в месте покойне, иде же несть ни болезнь, ни печаль, ни въздыхание, но жизнь бесконечная». Великая жажда у всех к этим местам, где нет въздыхания. У меня, у немногих есть свои «дети», – то, что мы отдаем будущему, свою душу в этих разорванных листках и книгах, то, что мы расплещем из себя, как пену из стакана с вином. У многих этого нет, нет своей доли в бесконечности жизни, кроме детей. В нашем положении – выгоднее всего – это ждать смерти.

Вспомнил похороны Гартенштейна. Он был еврей. Что-то бормотал над ним рыжий синагогальный служка в пыльном цилиндре. На кладбище около гроба подрались канторы. Один из них взял верх и надрывно, отчаянно запел отходную. «Ой, лейбе, ицко, лейбе!» Было невыносимо тяжело. Весь обряд погребения, от обмывания и выдавливания экскрементов, до савана, из которого торчат мертвые ноги в носках, и носилок для тела со следа-

ми каких-то высохших соков – безобразен. Я нес эти носилки. Старик умер от тоски – пять дней ничего не ел.

Мы дожили до самого страшного времени, когда правы все идиоты. Третья революция, которая близка, будет самой кровавой. Будут убивать на улицах, как зверей. Ибо давление ненависти и тяжесть терпения перейдут предел и разразятся внезапным и ошеломляющим взрывом.

Жалость... будет достаточным поводом для смерти. Жизнь народа не терпит пустоты, а теперь эта беспощадная пустота (скопческая в отношении духа, творчества) наступила. Нет никаких надежд. У безнадежного один исход – расплата с теми, кто загнал его издыхать во вшивую нору. Издыхать одного, ибо давно уже умерли маленькие дети и слабая жена, и чувство человеческого, и любовь, и вера в какой-то смысл своего земного существования.

На угрозу «поставить к стенке» он ответил: «Я 24 часа в сутки стою у стенки, – стою у стенки за фунтом хлеба, у стенки за советским пойлом, у стенки за восьмушкой сахара и за поленом, стою у стенки голодной смерти и, если вы поставите меня к последней стенке, – я буду только благодарен».

Расстрел, «размен», «ставка Духонина» совершается над каждым из нас 24 часа в сутки, непрерывно. А смерть – это только «последняя» стенка, цементная стена гаража и грохот автомобильного мотора (их заводят, чтобы не было слышно выстрелов), после которого останутся только ключья воспаленных мозгов и лужица крови. Товарищи-операторы (раньше – «палачи») разденут труп, и родные увидят на улице на одном из них знакомые вещи и только по этому узнают о смерти близкого. Узнают еще и по тому, что после смерти приходят к родным и забирают вещи убитого. Так было с братом Ириши.

2 декабря. Первый снег. Пушистый. Какое красивое слово «снег», «снежный». Если бы художником, написал бы картину «Снега». Снега на закате, розовеющие, как в полях... «Страна, которая молчит, вся в белом, белом...» От вечернего снега в тихие залы деревенских домов ложатся бледные отсветы. А в Москве – балы. Вспомнил Зайцева. Море – в снежном тумане. (Мост на Греческой).

Рисую план Парижа. Меня волнуют даже названия улиц. Есть три важных города, где я хотел бы жить, – Москва, Париж и Рим.

В Москве – потому что там есть Гранатный переулок и «в ноябре на Тверской лежит снег», потому что там прекрасные русские девушки, милый ласковый быт и белые соборы в Кремле. «Дальний край» Бориса Зайцева.

Париж – за блестящее очарование его бульваров, как запах меха, только что сброшенной женщиной, за кафе и газовые рожки и Верлена, за Notre-Dame и Гюго, и сады Версаля в дождях, с желтыми отблесками ноябрьского заката в окнах дворца.

Рим – за кислотоватое вино и остерии, за то, что Рим – город печальных любовников и художников в потертых пиджаках, за мрамор, увитый плющом Муратова, и солнце в узеньких улочках.

3/XII. Утром рыжий парк весь в солнце, белым пятном сверкает маяк, заголубело море. К вечеру закат ослепительно горел в окнах обсерватории жидким золотом, и над бухтой нависла розовая морская мгла. Болит голова, и трудно о чем-нибудь думать. Устал от тасканья по базару, где все продают и никто не покупает. На возах сидят, расставив ноги, толстые бабы с лицами чудовищ. Около каждой – десятки женщин с измученными глазами, мужчин в пенсне, студентов... и все, как нищие, протягивают руки с бельем, ботинками, мехами. Какая-то всероссийская распродажа интеллигенции. Но на все – один ухмыляющийся самодовольный ответ: «не треба». И острая, злая радость в глазах, что можно унижить «панов». А «пань», может быть, уже двое суток ничего не ели.

Острое, почти болезненное желанье сладкого чаю и легких, красивых журналов. Весь день бы просидел за номерами «Столицы и усадьбы», «Искры», «Солнца России», вглядываясь в рисунки, радуясь каждой букве, как запойный пьяница.

4/XII. На рассвете Крол рассказывал мне о своем детстве. Какой это был милый и цветистый быт. Красное платице. Все зимние дни – на деревенской улице с Лелей на салазках и ледянках. Далекие поездки на лошадях по родственникам в престольные праздники. Колокольные звоны. Снега, солнце и пыльное лето во ржах. Введенье – преддверье Рождества. Домовитость, уют, ма-

мины заботы, теплые лежанки. Гаврила Петрович – псаломщик – венчал ее кукол. Ей надо, хотя бы раз в год, побывать около рязанских березок, около Оки в лапотной, родной и древней (седенькой) России. А я завез ее сюда, на юг, в бездушный и тяжелый город, где даже раз нельзя услышать чистый, русский, поющий язык рязанский говор.

«Я пришла к тебе от быта».

Быт и Кустодиев. На полотнах его много пряников (красных и зеленых лошадок), игрушек, базарной пестроты, овчин и мохнатых лошадемок. Там на Успенье уже краснеет калина, вода в речушках студеная и чистая, играют пескари, и золотые листья, как уборы с икон, опадают с березовых лесов на увалах, и такая нерушимая, церковная, золотая тишина над землей. Это родное. А здешнее, «украинское», все эти «перукарни», «харчкомы», атаманы, Черные Ангелы и Тютюнники, размокшие степи и наглые мужики – лукавое, тяжкое, недоброе, замкнутое – так органически, до отвращения чуждо, хотя мой отец малоросс. Я родился в Москве, крестили меня в Георгиевской церкви (что на Всполье), и Москва преобразила мою хохлацкую кровь, дала ей древность и крепкую свежесть русской земли.

Бог прислал меня на землю с даром красок. Поэтому – я художник. Я остро чувствую краски и настроения дней, хотя близорук. И в людях я чувствую краски их души. Пишу, и слова ложатся мазками, как краска на холст, и вся моя мысль – в этих тонах, то блеклых, то густо-алых, но больше всего золотых, золотеющих, насыщенных внутренней теплотой. Мысль, философствование, как игра идей, как шахматы, как комбинации вдумываний, из которых рождаются гениальные прозрения, – мне чужды. Я мыслю сердцем. Может быть, потому так быстро сгорает жизнь. Хорошо погрузиться в воспоминания, думы, образы, как в теплый сон, безвольно, без притягивания своей мысли веревкой (дисциплиной дня) все на ту же дорогу. Поэтому я вряд ли создам что-нибудь дельное. Но я могу написать несколько прекрасных строк о свете лампадок и вечернем чае в теплой, уютной столовой, о морском утре, словно закутанном в голубой шелк,

переливающий солнцем, и о покрытых жемчужной пылью кулис картинах Дега.

Я вдруг почувствовал, что впереди меня ждет небывалое еще счастье. Был сырой день, я шел парком, с зеленого взволнованного моря дул сырой ветер. Такое чувство бывает у меня редко и никогда не обманывает.

Первый раз было в Ревнах, в лесу, в июльский день, когда наливались ржи. 14 год. И действительно пришло счастье бродяжничества, великой любви и моря.

Второй раз – вот теперь.

Кролу к именинам подарили белые хризантемы. Зимние, с хлопьями усталых лепестков. Они особенно красивы в холодных комнатах, когда на стеклах – узоры от мороза. Горький запах очень печален. Почему-то вспоминаются снежные глубокие дни в Москве и голос Бумы.

Когда кончилась гражданская война и началось «мирное строительство» («фронт труда») – все сразу увидели, что «король голый» и вся сила его – только в войне, в разрушительной энергии злобы, в ужасе, в махновцах, одетых в колпаки из старых красных и зеленых портьер. Чтобы создавать – нужна свободная душа и детские пальцы, а не прокисший ум, изъеденный, как молью, партийной программой и трехлетним озлоблением. Они – искалеченные, но не огнем, а тлением, распадом, неудачливостью. Вся страна превращена в аракчеевские поселения.

Началась новая эпоха – прикармливание интеллигенции, профессоров, художников, литераторов. На горьком хлебе, напитанном кровью, должно быть, они создадут какой-то нудный лепет – «великое искусство пролетариата, классово-ненависти». Должны создать. Положение к тому обязывает. Чека им крикнуло «пиль», и они покорно пошли, поджав облезлый от голода хвост. Голгофа. Предсмертная пена на губах такого тонкого, сверкавшего, заморожившего все души искусства. Кто из них потом повесится, как Иуда на высохшей осине? Кто однажды продал душу? Господи, да минет меня чаша сия.

Не может быть, чтобы они не знали, что в Чека перед расстрелом смертникам, раздетым до нага, пускают в спину струю ледяной воды из шланга и потом стреляют, – чтобы меньше было крови. Все же жизнь прогрессирует. Из недр Чека исходит этот прогресс, ибо техника убийства там разработана в недостижимом совершенстве. Никто не проклянет тех, кто пошел «чесать пятки Луначарскому». Тех, кто мог бы проклясть [нрзб.] и завистливо смотрят, как «те» тащат два фунта ячной крупы с мышинным пометом – академический паек.

Самое ненормальное и чудовищное явление в жизни – физический труд. Он мельчит душу и родит тусклое, непрерывное озлобление. «Кто не трудится – тот не ест» – детская галиматья, недомыслие. Слово для того человек пришел в жизнь с изощренным богатством своего ума и чувств, чтобы всю жизнь кряхтеть и сверлить сталь на заводе, потом выпить и спать, как животные.

Почти никто не знает, что человек (не изломанный) призван к тому, чтобы «ничего не делать», но создавать. Из великой лени созданы узоры уальдовского письма, «Евгений Онегин» и стихи пьяницы Верлена. И весь производственный труд всех социалистических, советских, федеративных и красных республик не стоит одной его строчки: «Les sanglots longs des violons de l'automne». Наши деды умели только лежать на диванах в зимние оранжевые дни и слушать треск дров в старинных (синих) голландских печах – и они создали дворянские гнезда и домовые церкви, залитые блеском свечей, и покрытые снегами набережные Невы в фонарях, и балы, и Пушкина, и Грибоедова, и Бунина, создали Толстого (не религиозно-философствующего, а Толстого «Войны и мира») и, наконец, печальника русской осени, русского флорентийца Бориса Зайцева. Они создали редкий фарфор и гобелены, и клавишины красного дерева. И прабабушки прозрачными пальцами играли на них Моцарта, композитора старой изысканной Вены. А тот, кто «трудится и ест», создали Чека, советское пойло, советских скотов (всю Россию), тоску, грязь, плакаты и сотни жеванных «правд» и «известий».

Какая тонкость вкуса. Китайцы стараются окрашивать фарфоровые чашки в такие краски, которые гармонировали бы с цветом чая. Голубой цвет. Он создает с коричнево-золотым чаем зеленые, теплые отсветы. В этом – прелесть быта, ежедневного уклада. На красивые вещи нельзя смотреть в музеях, как на редкость, открыв от изумления рот. С ними надо жить, каждый день едва скользить по ним взглядом, но потом это уж не вытравишь из души. Незаметно душа нарастает. Я замечаю это по той серебряно-зеленой парче – бывшему антиминсу, что висит над диваном.

Коммунизм, интернационал рождены еврейством, это – органическое, как у нас, русских, – дряблость и неуклюжесть. По существу, еврей, ненавидящий большевиков, более большевичен, чем русский красноармеец.

Медведев долго рассказывал о том, как выкладывали мозаикой его панно для дворца одного из петроградских князей. Медленная и красивая работа. Какое богатство ума было вложено в технику этих вещей. Говорили о реставрации старых картин, о подмосковной усадьбе кн. Щербатова с трельяжами, елисаветинскими залами и отблесками снега на стенах, куда он ездил в «теплом» автомобиле. Мы слушали как сказку.

В грязной комнате было ниже нуля. Замерзло чернило. У него – черные, изъеденные язвами руки – от копоты и от того, что чистит картошку. Сквозь дыру в ботинке выглядывал белый носок.

Первый и безошибочный признак пошлости – холеные усы. Слегка подвинченные. Приказчицы. Как у Головчинера.

Опять в снега, как в ризы голубые,
Закутана вечерняя страна.
В пустых соборах служат литургии,
И грусть моя по-зимнему ясна...

В седых садах, где в небе бродят звезды,
В золотизне рождественских ветвей,

В седых садах, где месяц всходит поздно,
Над белизной березовых аллей.

А в городке горят в домах лампы,
И отблеск их ложится на паркет.
В Москве балы и пышные парады,
И на Тверской вечерний мягкий свет,

В Москве мороз горит в дыму кострами
И в Зубове, в твоём особняке.
Я слышу смех и вздох о «нежной даме»,
Мои стихи в задумчивой руке.

Мне грезится блистательный Растрелли,
Его рука чертила белый зал,
Где столько лет потом в ночах звенели
Моцарта сны под русский клавесин.

Опять снега закутали, как пледом,
Весь городок, и только сторожа
Стучат в ночах. За ними ходит следом
Глухой рассвет, синяя и дрожа...

16/XII. На днях был странный сон. Снова я в старом помещицьем доме с низкими потолками, теплом и уютном. Из светлых сеней, где стояли еще с зимы в зимних кадках рододендроны и пальмы, я вышел на крыльцо. Был март. Вокруг дома стоял сосновый лес, снег лежал весь в синих лужах. Чудесный талый воздух. Около крыльца пилили сосну, и ее смолистый запах, снега, теплые предвечерние отсветы в окнах дома – все это было до того родное, русское, далекое от «интернационализма», что я заплакал во сне от детской, беспомощной тоски. Проснулся в слезах

Замерзло море, и стали холода. Тянет над садами ледяным и соленым воздухом. Над белым платом льда – сизое, северное небо. Рано зажигают огни. Перелом зимы.

Часто приходит ко мне желание писать – писать дни и ночи напролет, лишь изредка отрываясь и глядя в туманный зимний сад или спускаясь к черно-зеленому, покрытому льдами у берега морю. И думать о тех, кто прочтет эти строки, написанные мной. О далеких друзьях в Москве, в России. Но это желание вянет, комкается в жизни от ежедневного хождения в какой-то дурацкий Окружкомгуб, от усталости, холода, таскания обедов и тысячи мелочей! А жизнь уходит. Ленивый раб, зарывший талант свой в землю.

Святки, Рождество и Пасха – самые душистые праздники в жизни.

Утром выпал легкий, едва тронувший бурю землю, снег. Парк, словно старинный зал в серых, но светящихся, серебряных отсветах. Глубокая, поразившая меня тишина стояла над садами и морем. Только по усадьбам глухо кричали петухи. Цвет неба – словно цвет крыльев синевато-серебряной моли. И такая тишина стояла кругом, что, кажется, можно было зажечь под этим низким небом, в ясности этого святочного утра маленькую елку, и ее золотые огни не погасли бы и горели недвижно и ярко, как на алтаре. Молитвенная, церковная красота, не создавшая еще своих художников, своих поэтов.

Теперь впервые я все чаще и чаще встречаю на улицах умирающих людей. Выпитые глаза, трупный цвет рук и лица, трясущаяся голова, забитая, неизлечимая тоска в глазах. Тоска неизбежного смрадного и потому бесконечно горького конца. И за этой тоской – какие-то серенькие огоньки – память о прошлом, о милых святках и светлых, теплых комнатах, о друзьях и родных, которые теперь досадливо отмахиваются.

В Одессе можно было
ожидать чего угодно...

К. Наумович

Слава боцмана Миронова

Листвой акаций и морем шумело одесское лето, голодное и веселое лето 1921 года.

Из окон редакции газеты «Моряк» были видны желтые мачты в порту и вереница стариков, сидевших вдоль набережной с гигантскими бамбуковыми удочками.

С утра собирались в редакцию помощники с пароходов, стоявших с погашенными машинами, матросы, масленщики, портовые служащие, и начиналось густое курение табака и густое вранье. Говорили о фрахтах, восстании на «Жане Барте», рейсах, рыбе и о прочих прекрасных вещах. Редакция превращалась в клуб.

Иногда в редакции появлялись иностранные моряки, больше греки. Они скалили зубы и хлопали всех по плечу. Их угощали чаем из сушеной моркови.

Греки приносили с собой запах маслин и Эгейского солнца. В их морщинах лежала сизая синева.

Почему-то все греческие пароходы носили женские имена: «Анастасия», «Ксения», «Елена», «Афродита», были маленькие, черные и смешно подскакивали на гребнях пенистых черноморских волн. Над портом страшно дымили их красные трубы с белыми звездами.

Пароходики были похожи на переводные картинки. Сиплые их машины и тесные каюты, где коки выращивали в жестянках побеги лимонов, напоминали детство парового флота, то добродушное и безмятежное время, когда, по словам стариков, на морях стояли мертвый штиль и глухая жара.

Пароходы эти не торопились уходить. Они лежали, накренившись на борт, в теплой воде у набережной, обвешанные матросским бельем. Команда ловила с бортов скумбрию и мылась

на палубе. Идиллическое существование этих финикийских судов не нарушалось ни войнами, ни революциями. Им было немного надо: груз лимонов, малую толику хлеба, вина и сыра, много солнца и побольше беззаботности. При наличии этого жизнь казалась прекрасной.

Чаще всех в редакции бывал боцман Миронов.

Он нежно был привязан к своей морской газете. Он умел, как никто, завязывать галстук австралийским узлом, был высок, конфузлив и обладал памятью четкой и феноменальной, как фотографическая пластинка.

В Нью-Орлеане в 1920 году он вошел в бар, сел под полосатым тентом и заказал бутылку виски. Вокруг сидели негры и скалили ослепительные зубы. Вслед за Мироновым вошел полисмен, тронул его за плечо и грубо сказал:

– Выйдите отсюда!

– Почему?

– Это заведение для черных. Вы не должны унижать белых.

На это со стороны Миронова последовал ответ об «американском байструке», меткий удар и «хорошенький тарарам» с участием негров и команды с норвежского наливного парохода.

– Стекла набили на советские деньги лимонов на восемьсот. Дрались, чтоб не соврать, часа три. С полисменов выпустили всю подкладку.

Потом, конечно, Миронов сидел три месяца на «президентских харчах» в каменно раскаленной тюрьме, где от духоты весь день шла носом кровь, а ночью кусали сколопендры.

Он презирал Америку, потому что там «трудно поворотиться рабочему человеку», презирал, несмотря на то, что он был единственным русским моряком, плававшим на стеклянных американских пароходах, которых пока только два в мире.

Об этих пароходах он говорил лаконически:

– Сверху, конечно, черный, а в середине – стеклянный. Плаваешь в нем, как в бутылке. Моряки на нем липовые, все на один рейс, больше все шпана с Маврикия. Конец потравить не умеют. Подымут у пиджаков воротники, насунут кепки и бегают по палубе, как на Бродвее!

В морские способности американцев он вообще не верил.

– Норвежцы – это да! – говорил он. – Это люди! Валит через океан на дырявой шхуне, груза накладает полную палубу, кофе надуется, и на все ему наплевать. Штормов не боится, качается – и ему весело. Можно сказать, что народ до моря подходящий.

И вот с боцманом Мироновым в редакции «Моряка» произошла необычная история. Тот вундеркинд, которого возили по Европе и показывали в цирке за деньги, так как он множил в полминуты 3375 на 931, может почернеть от зависти. Потому что память боцмана была более четкой, острой, была поистине какой-то нечеловеческой памятью.

Не помню кто – Наркоминдел или Внешторг – просил редакцию сообщить все сведения о русских пароходах, уведенных за границу. Надо знать, что был уведен почти весь торговый флот, чтобы понять, как это было трудно.

И когда мы просиживали напролет жаркие одесские дни над судовыми списками, когда в редакции потели от напряжения и вспоминали старые капитаны, когда изнеможение от путаницы новых пароходных названий, флагов, тонн и «дедвейтов» достигло наивысшего напряжения, – в редакции появился Миронов.

– Вы это бросьте, – сказал он. – Так у вас ни черта не выйдет. Я буду говорить, а вы пишете. Пишите! Пароход «Иерусалим». Плавает сейчас под французским флагом из Марселя на Мадагаскар, зафрахтован французской компанией «Пакэ», команда французская, капитан Борисов, боцмана все наши, подводная часть не чистилась с тысяча девятьсот семнадцатого года. Пишите дальше. Пароход «Муравьев-Апостол», теперь переименован в «Анатолий». Плавает под английским флагом, возит хлеб из Монреала в Ливерпуль и Лондон, зафрахтован командой компанией «Рояль-Мейль-Канада». В последний раз я видел его в прошлом году осенью в Нью-Порт-Ньюсе.

Это длилось три дня. Три дня с утра до вечера он, дымя папиросами, диктовал список всех судов русского торгового флота, называл их новые имена, фамилии капитанов, рейсы, состояние котлов, стоянки, состав команды, грузы. Капитаны только качали головами. Морская Одесса взволновалась. Слух о чудовищной памяти боцмана Миронова распространился молниеносно.

Пароходные агенты приходили в редакцию посмотреть на него и стояли почтительно в соседней комнате, сняв шляпы.

Это было неслыханно. Это было точно до одной тонны. Об этом стали создавать легенды, об этом горланили в кубриках, на палубах, в кают-компаниях. Херсонские матросы стали бахвалиться и обзывать всех остальных матросов «гицелями» и «штукатурками», потому что Миронов родом был из Херсона.

Слава тяготила Миронова. Наркоминдел прислал благодарность. Сотрудники «Моряка» и все желающие морские люди снимались с ним на шхуне «Мальвина» в порту. Был устроен даже банкет. И Миронов сбежал. Он зашел ко мне попрощаться и сказал мне напоследок:

– Ну и тарарам, не дай бог! Надо тикать. Поеду я лучше до себе, в Херсон, пойду на море, а то задурили мне совсем голову, – совести нет у людей.

И он бежал, преследуемый по пятам славой, безжалостной и назойливой, как слепни на вспотевших лошадях.

Одесса, 1921

Золотая роза Глава из повести

Случай в магазине Альшванга

Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья «Альшванг и компания». Я занял явочным порядком при머очную на втором этаже.

В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки – и мои, и поэта Эдуарда Багрицкого – выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло.

В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящичков с гнилой стружкой. Хорошо еще, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящичка и устраивал на этой двери свою постель.

Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тьюфяк сползал вместе со мной и сваливался на пол.



Реклама магазина братьев Альшванг. 1910-е гг.

Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть, тюфяк остановится. Но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала.

Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замерзло от порта до Малого Фонтана. Жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые. Снег ни разу не выпал, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег.

В примерочной стояла маленькая жестяная печка-«буржуйка». Топить ее было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на «буржуйке» я только кипятил морковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет.

На третьем ящике был устроен стол. На нем по вечерам я зажигал коптилку.

Я ложился, наваливал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хозе Мариа Эредиа в переводе Георгия Шенгели. Стихи эти были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели: «Друзья, мы римляне. Мы истекаем кровью...».

Кровью мы, конечно, не истекали, но все же и нам, молодым и веселым людям, бывало иногда чересчур холодно и голодно. Но никто не роптал.

Внизу, в первом этаже магазина, развертывала суетливую и несколько подозрительную деятельность художественная артель. Во главе этого предприятия стоял старый ворчливый живописец, известный в Одессе под кличкой «Король вывесок».

Артель принимала заказы на вывески, шитье женских шапочек, изготовление «деревяшек» (женских туфель, производство которых отличалось античной простотой: к деревянной подошве приколачивалось несколько тесемок – и все!) и на рисование реклам для кино (их писали клеевыми красками на кривой фанере).

Но однажды мастерской повезло, и она получила заказ на так называемое «носовое украшение» для единственного в то время черноморского парохода «Пестель». Он собирался идти первым рейсом в Батум.

Сооружение это сделали из листового железа, а затем расписали по черному фону золотым растительным орнаментом.

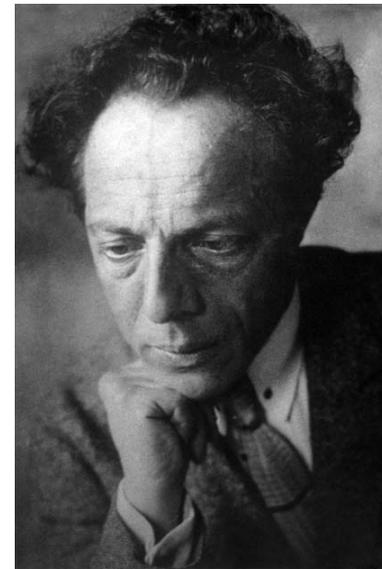
Эта работа увлекла всех, и даже милиционер Жора Козловский отлучался иной раз с соседнего поста, чтобы посмотреть на нее.

Я работал тогда секретарем в газете «Моряк». В ней вообще работало много молодых писателей, в том числе Катаев, Багрицкий, Бабель, Олеша и Ильф. Из старых, опытных писателей часто заходил к нам в редакцию только Андрей Соболев – милый, всегда чем-нибудь взволнованный, неусидчивый человек.

Однажды Соболев принес в «Моряк» свой рассказ, раздербанный, спутанный, хотя и интересный по теме и, безусловно, талантливый.

Все прочли этот рассказ и смутились: печатать его в таком небрежном виде было нельзя. Предложить Соболеву исправить его никто не решался. В этом отношении Соболев был неумолим – и не столько из-за авторского самолюбия (его-то как раз у Соболева почти не было), сколько из-за нервозности: он не мог возвращаться к написанным своим вещам и терял к ним интерес.

Мы сидели и думали: что делать? Сидел с нами и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распростра-



Андрей Соболев (1888-1926). Начало 1920-х гг.

ненной в России газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина.

Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всей своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной молодежью нашей редакции.

Я забрал рукопись Соболя с собой в магазин Альшванга, чтобы прочесть ее еще раз.

Поздним вечером (было не больше десяти часов, но город, погруженный в темноту, пустел уже в сумерки, и только ветер злобно выл на перекрестках) милиционер Жора Козловский постучал в дверь магазина.

Я туго свернул жгут из газеты, зажег его и пошел с ним, как с факелом, открывать тяжелую магазинную дверь, заткнутую ржавым куском газовой трубы. Коптилку брать с собой было нельзя – она гасла не только от самого слабого колебания воздуха, но даже от пристального взгляда.

Стоило, задумавшись, уставиться на нее, как она тотчас начинала жалобно потрескивать, моргать и тихо гасла. Поэтому я даже избегал смотреть на нее.

– К вам гражданин просится, – сказал Жора. – Удостоверьте его личность, тогда я его впуск. Тут мастерские. Одних красок, говорят, на триста миллионов рублей.

Конечно, если принять во внимание, что я, например, получал в «Моряке» миллион рублей в месяц (по базарным ценам их хватало на сорок коробков спичек), то эта сумма была не такой уж баснословной, как думал Жора.

За дверью стоял Благов. Я удостоверил его личность. Жора впустил его в магазин и сказал, что часа через два он придет к нам погреться и попить кипятку.

– Вот что, – сказал Благов. – Я все думаю об этом рассказе Соболя. Талантливая вещь. Нельзя, чтобы она пропала. У меня, знаете, как у старого газетного коня, привычка не выпускать из рук хорошие рассказы.

– Что же поделаешь! – ответил я.

– Дайте мне рукопись. Клянусь честью, я не изменю в ней ни слова. Я останусь здесь, потому что возвращаться домой, на Лан-

жерон, невозможно – наверняка разденут. И при вас я пройду по рукописи.

– Что значит «пройду»? – спросил я. – «Пройтись» – это значит выправить.

– Я же вам сказал, что не выброшу и не впишу ни одного слова.

– А что же вы сделаете?

– А вот увидите.

В словах Благова я почувствовал нечто загадочное. Какая-то тайна вошла в эту зимнюю штормовую ночь в магазин Альшванга вместе с этим спокойным человеком. Надо было узнать эту тайну, и поэтому я согласился.

Благов вынул из кармана огарок необыкновенно толстой церковной свечи. Золотые полоски вились по ней спиралью. Он зажег этот огарок, поставил его на ящик, сел на мой потрепанный чемодан и склонился над рукописью с плоским плотницким карандашом в руке.

Среди ночи пришел Жора Козловский. Я как раз вскипятил воду и заваривал чай, но на этот раз не из сушеной моркови, а из мелко нарезанных и поджаренных кусочков свеклы.

– Поимейте в виду, – сказал Жора, – что издали вы похожи на вылитых фальшивомонетчиков. Чего это вы тут делаете?

– Исправляем рассказ, – ответил я. – Для очередного номера.

– Поимейте в виду, – снова сказал Жора, – что не каждый работник милиции поймет, чем вы занимаетесь. Благодарите бога, которого, конечно, нет, что тут я стою на посту, а не какой-нибудь другой тютя. Для меня культура выше всего. А что касается фальшивомонетчиков, то это такие артисты, что из одного и того же куска навоза сделают доллары и удостоверение на право жительства. В музее Лувр в Париже лежит, говорят, на черной бархатной подушке мраморная рука неопикуемой красоты. Так то не рука Сары Бернар, Шопена или Веры Холодной. То слепок с руки самого знаменитого фальшивомонетчика в Европе. Забыл, как его звали. В свое время ему отрубили голову, а руку выставили, как будто он был скрипач-виртуоз. Поучительная история?

– Не очень, – ответил я. – У вас есть сахарин?

– Есть, – ответил Жора. – В таблетках. Могу поделиться.

Благов кончил работу над рукописью только к утру. Мне он рукописи не показал, пока мы не пришли в редакцию и машинистка не переписала ее начисто.

Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная, литая проза. Все стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова.

Я посмотрел на Благова. Он курил толстую папиросу из черного, как чай, кубанского табака и усмехался.

– Это чудо! – сказал я. – Как вы это сделали?

– Да просто расставил правильно все знаки препинания. У Соболя с ними форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки. И абзацы. Это великая вещь, милый мой. Еще Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинания – это как нотные знаки. Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться.

Рассказ был напечатан. А на следующий день в редакцию ворвался Соболев. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрепаны, а глаза горели непонятым огнем.

– Кто трогал мой рассказ? – закричал он неслышанным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль, как извержение, взлетела над столом.

– Никто не трогал, – ответил я. – Можете проверить текст.

– Ложь! – крикнул Соболев. – Брехня! Я все равно узнаю, кто трогал!

Запахло скандалом. Робкие сотрудники начали быстро исчезать из комнаты. Но, как всегда, на шум примчались, стуча «деревяшками», обе наши машинистки – Люсьена и Люся.

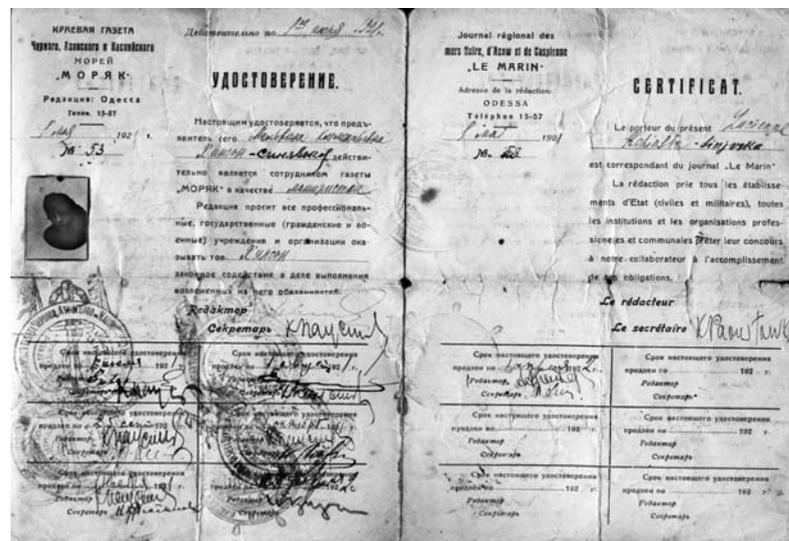
Тогда Благов сказал спокойным и даже унылым голосом:

– Если вы считаете, что правильно расставить в вашем рассказе знаки препинания – это значит тронуть его, то извольте: трогал его я. По своей обязанности корректора.

Соболев бросился к Благову, схватил его за руки, крепко потряс их, потом обнял старика и троекратно, по-московски, поцеловал его.



Мальвина Хинсон-Синявская (Люсьена) с мужем. 1920-е гг.



Удостоверение машинистки «Моряка» М. Хинсон-Синявской, подписанное К. Паустовским. 1921 г.

– Спасибо! – сказал взволнованно Соболев. – Вы дали мне чудесный урок. Но только жалко, что так поздно. Я чувствую себя преступником по отношению к своим прежним вещам.

Вечером Соболев достал где-то полбутылки коньяка и принес в магазин Альшванга. Мы позвали Благова, пришли Багрицкий и Жора Козловский, сменившийся с поста, и мы выпили коньяк во славу литературы и знаков препинания.

После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная вовремя.

1955-1964

Инкубатор капитана Косоходова

Дыма в порту не было. В ржавых трубах пароходов играли зайчики от солнца. Чистый воздух струился к зениту над стеклянной водой. Налет красноватой соли на старых якорях говорил о полном запустении.

Вдоль набережных сидели старики с гигантскими бамбуковыми удочками. Удочки они называли «прутами». Когда в гавань заходила стая скумбрии, удочки вздымались от одного конца мола до другого, будто их подбрасывала резвая волна, и на каждой трепыхалась, брызгая солнцем и зеленой водой, ве-



Австрийский пляж. 1918 г.

селяя скумбрия. За спинами рыбаков прятались облезлые кошки – портовые воры.

Иногда в порт забредали уличные торговцы, и Карцев – секретарь морской газеты «Маяк» – удивлялся, слушая их диковинные выкрики. Особенно поражала его старуха, кричавшая голосом козы:

– Кому следует бублики, бублики кому следует!

Первое время Карцев даже не решался покупать эти тощие бублики. Ему казалось, что они продаются по предварительной записи только тому, кому следует, но никак не ему – приезжему, случайному человеку.

Карцев поселился в одной комнате с корректором «Маяка» – студентом Метаксой. Корректор был грек родом с острова Митилена, где его отец издавал газету. Газету эту технический редактор «Маяка» Васька Петров прозвал «Вестникопуло Митиленакаки», потом кличка Вестникопуло прочно укрепилась за корректором.

Как все корректоры, Вестникопуло был критический и недовольный человек. У него была страсть – стихи Осипа Мандельштама и фамильные предания. Стихи он читал наизусть по любому поводу.

Укладываясь вечером спать и прислушиваясь к шуму прибоя, он говорил нараспев:

И море Черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью...

Покупая виноград, он декламировал:

Виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке...

В одесские дни с их устойчивым зноем стихи Мандельштама врывались, как прохладный ветер. Было приятно вспомнить далекую зиму и пропеть про себя:

Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам студеная зима...

По утрам Карцев ходил в редакцию «Маяка» – в старинный итальянский особняк на бульваре.

Ответственным редактором был отставной капитан Косоходов – старичок с обвисшими запорожскими усами. Море он не

любил, плаванье считал делом хлопотливым, отставке искренне радовался. Он был из тех капитанов, которые плавали со своими женами, похожими на провинциальных полковниц. Он не любил свежей погоды и лучшим экзаменом на моряка считал умение швартоваться.

Косоходов жил в Аркадии, в домике у моря, где завел инкубаторы и высиживал цыплят. От инкубаторов в комнатах стоял гниловатый сухой воздух, – яйца грелись в тропической теплоте керосиновых ламп. Из ста яиц вылупливалось не больше десяти цыплят, да и те дохли. Занятие было разорительно, но Косоходов не терял надежды на золотые барыши.

Газетой он не интересовался и лишь ревниво следил, чтобы правильно печатались фамилии начальства. Искаженная фамилия была, по его словам, «гробом» даже для редактора с самой прочной карьерой.

Кроме Метаксы в «Маяке» работал корректор Суходольский – томный студент, ходивший без шапки, в рваной солдатской шинели и пышном дамском боа. Он долго жал руку, заглядывая в глаза.

Метакса, враждовавший с Суходольским из-за того, что оба считали себя блестящими знатоками литературы, говорил, что привычка долго жать руку у Суходольского осталась от отца – ростовщика. О старике Суходольском ходили темные слухи. В его конторе висел плакат: «Не волноваться». Клиентам он долго жал руку, чтобы ему не дали по физиономии.левой рукой давать пощечину было неудобно, а правая была крепко зажата в пухлых ладонях ростовщика.

Среди репортеров «королем» считался Саша Хейфец – старичок в пенсне, мнивший себя «морским волком». Был он кроток, говорил вкрадчивым голоском, но, по словам Васьки Петрова, был редкий врун. Карцев убедился в этом.

Однажды он застал Сашу в редакции ранним утром. пышное солнце плавало воск на паркете, и в окна беззаботно входил черноморский бродяга-ветер. Саша сидел у секретарского стола и, сняв пенсне, плакал.

– Что с вами?

Саша показал рукой на аршин от пола и пробормотал:



К. Костанди. 1910-е гг.

– Вот таким его знал. Мальчишками вместе финики в порту воровали. И вот – умер. Талантливейший человек, друг Куинджи, друг Айвазовского.

– Да кто умер?

– Костанди, художник. Лучший мой приятель. Зашел к нему утром, а он уже лежит на столе, все картины завешены простынями...

Горе Саши тронуло Карцева, – старик был беспомощен, руки его тряслись. Успокоившись, Саша спросил, не написать ли некролог. Карцев согласился. Некролог был написан с «морским» уклоном, – Костанди был пейзажист, и Саша цветисто описывал морские пейзажи покойного: прибой и необычайную передачу

приморских песков. Сдав некролог, Саша вздохнул и ушел в бывшее кафе Фанкони, где после революции, по его словам, кофе горчило, а официанты хамили.

На следующее утро в редакцию ворвался свирепый и рычащий Костанди и долго стучал палкой по столу Васьки Петрова. Он был жив и налит кровью, как помидор. Саша гнусно соврал. Три дня он не появлялся в редакции, а на четвертый пришел, кротко улыбнулся и сказал беззаботно:

– Немножко, знаете, ошибся. Умер, оказывается, сапожник Костанди, а живут они в одном доме. Естественно, легко спутать.

Саша был старый одессит, столь же неизбежный в перспективе Дерibasовской, как памятник Ришелье был неизбежен в перспективе бульвара.

С утра в редакцию собирались помощники с пароходов, стоявших с погашенными машинами, матросы, масленщики, портовые



Кафе Фанкони. 1910-е гг.

сторожа, и начиналось густое куренье пайкового табака и густое вранье. Говорили о фрахтах, лоцманах, восстании на «Жане Барте», рейсах, женщинах, рыбе и других прекрасных вещах.

Васька Петров щедро раздавал пайки, поэтому в газете было человек пятьдесят сотрудников, – от боцмана Стаха, ввинчивавшегося во всех зелеными ядовитыми глазками, до бывшего пароходчика Лукашевича.

Иногда в редакции появлялись иностранные моряки, больше греки. Они скалили зубы и хлопали всех по плечу. Их угощали чаем из сушеной моркови. Прием иностранцев оканчивался тем, что редакционный парикмахер Тер-Назарьянц брил их начисто, выдергивая у некоторых из носа черные волоски. Делал он это виртуозно, – жертва не успевала даже вскрикнуть.

Греки приносили с собой запах маслин, смолы, эгейского солнца.

Почему-то все греческие пароходы носили женские имена: «Анастасия», «Ксения», «Елена», «Афродита», были ма-

ленькие, черные, пахли кухней и кофе и смешно подсакивали на гребнях пенистых, синих, как излом стекла, черноморских волн. Над синевой страшно дымили их красные трубы с белыми звездами. Пароходы эти были похожи на детские переводные картинки. Сиплые их машины и тесные каюты, где коки выращивали в банках от консервов побеги лимонов, напоминали детство парового флота – добродушное безмятежное время, когда моря знали только мертвый штиль и непрерывную жару.

Пароходы эти не торопились уходить. Они лежали, накренившись на борт, в теплой воде у набережных, обвешанные матросским бельем. Команда с бортов ловила скумбрию и мылась, голая, на палубе. Идиллическое существование этих финикийских судов не нарушалось ни войнами, ни революцией. Им было немного надо – груз лимонов, малую толику хлеба, вина и сыра, много солнца и главное – побольше беззаботности. При наличии этого жизнь была хороша.

Но в общем море было пустынно. Ясность и бездымные дни стояли над ним. Казалось, вся Россия заросла густой и нагретой травой. На дачах людские голоса заменило шуршание ящериц. Фронт гремел за спиной, но до Одессы докатывался, затихая, как зыбь.

Потребности иссякали, и от этого Карцев чувствовал в теле особую легкость. Кусок хлеба, чай с брынзой и помидоры были его единственной пищей. На лице по вечерам явственно выступала серебряная пудра соли.

Это время было целительным, как пустыня. Громадное солнце проплывало над безлюдным городом и степью, громадная тишина стояла над миром, как осень.

Прошлая жизнь была враждебна своей суетой и шумливостью. Бывшие прокуроры чинили сапоги, бывшие генералы собирали на топливо терновник по обрывам. Карцеву нравилось, что через жизнь прошла трещина, и по эту ее сторону остались легкость, молчаливость, насыщенная человеческой задумчивостью, простое существование на земле без чинов и звездочек в петлице, черный хлеб, море и тишина. Начиналось новое существование. Оно было полно чувства молодости.

Карцев часто думал об этом, сидя на палубе миноносца «Занте». Миноносец наскочил в тумане на прибрежные камни, был разоружен и оброс ржавчиной. Корма его уходила под воду, на палубу набегали волны. Карцев ловил с палубы разъяренных бычков. Вместе с ним бычков ловили мальчишки. Разговаривал он почему-то шепотом. После ловли Карцев купался с палубы и нырял, – иллюминаторы и борта миноносца под водой приобретали фантастический вид.

Но мирному существованию Карцева скоро был положен конец. «Маяк» закрылся из-за недостатка денег. Закрытие было ознаменовано пирушкой в Аркадии на даче у Косоходова.

На пирушку собралась вся редакция. Карцев пришел поздно. Было уже шумно и дымно. Репортер и поэт Бачинский стоял на стуле и, размахивая палкой, читал свои стихи:

О, многогранных душ конечная усталость!
В закатный час любви и тоски
Вонзилась волн тоскующая алость
И лориган – тончайшие духи.

– Довольно! – кричал писатель Бернер и стучал ножом по столу, рассекая ослепительную скатерть. – Вы оскорбляете природу своими стихами! Вы оскорбляете советскую власть! Долой!

Бачинский слез со стула, протер пенсне и сказал Бернеру:

– Вам, собственно говоря, следовало бы дать по физиономии, но так и быть – вы хороший парень.

Косоходов опустил усы в стакан и трясся от смеха. Вестникопуло сидел на перилах веранды, спиной к пирующим, и ел апельсин. Он недовольно посмотрел на Карцева и сказал нараспев:

Я изучил науку расставаний
В простоволосых жалобах ночных...

От оглушительного шума пиршества, лая псов, привязанных под верандой, голоса боцмана Стаха, будто бывшего кулака в бубен, от распаренного лица жены Косоходова, носившейся с блюдами, Карцев растерялся. Васька Петров сидел на полу у дверей и пел, покачиваясь, украинские песни. На глазах его блестели слезы.

– Газету жалко, – сказал он Карцеву. – Не было и не будет такой газеты во всем мире. Вот, возьмите!

Он вытащил из кармана измятый номер, напечатанный на обороте бандерольной бумаги.

– Какая свежесть! Морем пахнет, мировыми портами, кардифским углем, лимонами – всем миром пахнет! Если бы нам дали настоящего моряка, а не эту шляпу, – он показал на Косоходова, – мы бы с вами завинтили такую газету, что все бы шарахнулись. Это не газета, – глядите, – это роман!

Он совал Карцеву в лицо последний измятый номер. Карцев знал его наизусть, но все же взглянул. Он увидел свою статью о моряках – участниках Парижской коммуны, письмо в редакцию боцмана Стаха о том, что лоцмана получают с иностранных судов плату натурой – ромом и трубочным табаком, что является безусловно вредным фактом, стихи французского матроса-поэта Тристана Корбьера, заметку Бачинского о приходе шхун с акациевыми дровами из Херсона и портрет капитана Хмары, спасшего во время шторма у Зангулдака турецкую фелюгу с лимонами.

Множество знакомых, ставших милыми слов зарябило в глазах: тонны, якоря, брекаватеры, лоцмана, норд-осты, таможни, пассаты, Марсели, Севастополи и Генуи.

Карцев вздохнул. Он вспомнил редакцию, – из окон ее были видны желтые мачты и сонные полудни над морем, вспомнил яркие и свежие от теней утра, когда он правил заметки и весь мир блестел у него под пальцами сухим и веселым сверканием. Мир гаваней и каботажных судов, парусников и забастовок докеров, мир, связанный рейсами, как сетью, нагретый средиземноморским солнцем и бурлящий винтами пароходов.

– Все дело погубила эта тютя, – зло сказал Петров, поглядывая на Косоходова. – Этот старый гнилой баклажан, паршивый моряк. Он не мог достать денег. А цыплят может высиживать!

Тер-Назарьянц сидел на корточках рядом и сочувственно кивал головой.

– Никакой моряк, – бормотал он. – Халамидник. Зачем закрыл газету, скажи, зачем? Хорошая газета, веселая газета.

– Вот побьем ему все яйца, тогда будет знать, – сокрушенно сказал Васька Петров. – Побить разве?

Тер-Назарьянц вдохновился.

– Товарищи! – он вскочил. – Пожалуйста, послушайте меня. Я хочу сказать. Зачем закрыли газету? Кто закрыл? Он закрыл! – Назарьянц яростно показал на Косоходова. – Халамидник он, не моряк, я говорю!

– Халамидник! – крикнул боцман Стах. – Верно, халамидник. Он привык на пароходах барынь катать. Липа!

– Липа, – радостно прокричал Назарьянц. – Разве это дело, товарищи, моряку цыплят разводить?

– Это цинизм! – крикнул Рачинский.

– Ты за моих цыплят помолчи, брадобрей, – грозно сказал Косоходов. – Ты помолчи маленько.

Васька Петров вскочил, бросил фуражку с якорем на стол и закричал, брызгая слюной:

– Друзья, он закрыл нам газету – чудеснейшую из газет во всем мире, – а мы прикроем его дрянное птицеводство! Стыд и срам, – капитан дальнего плавания высиживает цыплят!

– «Цыпленки тоже хотят жить», – пьяно пробормотал Саша Хейфец.

– К дьяволу! Товарищи, бей инкубаторы!

– Бей!

Тер-Назарьянц бросился в комнаты. Удушье керосиновых ламп ударило ему в нос. Он закачался, схватил с подоконника горшок с кактусом и швырнул в инкубатор. Треснуло и посыпалось стекло. Отчаянно взвизгнула жена Косоходова. Васька Петров давил яйца пивной бутылкой. Ошеломляющий запах тухлой курятины смешался с гарью ламп.

– Бей кактусы! – кричал Бачинский и жестом фехтовальщика на турнире протыкал палкой с серебряным набалдашником прозрачную скорлупу. Псы безнадежно выли.

– Пафос разрушения! – промолвил Вестникопуло, невозмутимо очищая апельсин.

– Круши! – рыдал сам Косоходов, внезапно впавший в непонятный восторг. – Круши, дуй. Заслужил, понимаю. Верно, – заслужил. Не мои – женины инкубаторы. Крой со всех сторон, разноси!

Он плясал по скорлупе, хлопая в ладоши, потом поскользнулся на липком белке и упал.

Лампы потухли. Жена Косоходова скрылась.

Карцев сидел за столом и не спеша пил вино. Шум погрома затихал. Поздняя ночь безмолвно стояла около дома и с любопытством наблюдала веселых и разгневанных людей, яростно давивших яйца.

Васька Петров вышел на веранду, налил в стакан вина и поднял его выше головы.

– Друзья, – сказал он. – Пробил час возмездья!

В ту же минуту стакан выскользнул у него из рук и беззвучно лопнул на полу. Ударил чудовищный гром, будто небо обрушилось на дачу и на пирующих. Желтый огонь взорвался над горизонтом и погас.

Вестникопуло упал с перил на цветочные горшки под террасой.

– Мина! – прокричал Косоходов, поднявшись с пола и показывая всем желтые липкие руки. – Мина у скал взорвалась. Соблюдайте спокойствие!

Карцев и Вестникопуло побежали на берег. Светало. Тихая зыбь лениво колыхала у берега трупы фиолетовой скумбрии и бычков. Прибрежная скала была разворочена взрывом, и от нее шел дым.

Не заходя на дачу, Карцев и Вестникопуло пошли по берегу в город. Море едва шумело, и в сером тумане зарождался день, полный тишины и безветрия.

1933

Я покинул Одессу
давным-давно,
но нет дня, когда бы я ее
не вспоминал...

К. Карцев

Черное море Глава из повести

Веселье и голод

Наконец я собрался навестить капитана Баранова. Я знал его давно, по Одессе, где в 1921 году издавалась морская газета «Моряк». Баранов в ней сотрудничал.

Встреча с Барановым в Севастополе вызвала поток воспоминаний об Одессе и «Моряке».

С Барановым я познакомился в редакции этой замечательной газеты. На ее первой странице на четырех языках красовался лозунг «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!»

Это была газета с большим революционным прошлым. До революции она выходила в Александрии и Константинополе. Кочегары привозили ее в угольных ямах пароходов в Одессу. Тогда она больше походила на прокламацию, чем на газету.

После революции она начала выходить в Одессе. Бумаги не было. Таможня выдала нам из сострадания кипы чайных бандеролей разнообразных и приятных цветов – розового, зеленого и сиреневого.

На обороте этих бандеролей мы печатали газету. Каждый день цвет ее менялся. Только по воскресным дням (тогда выходных дней еще не было) мы выпускали «Моряка» на белой бумаге такой толщины, что газета не печаталась на ней, а выдавливалась, как книга для слепых.

Старые газетчики в первый же день выхода «Моряка» создали ему неслыханную популярность. Шаркая ревматическими но-

гами, они плелись по голодным улицам Одессы и равнодушно кричали:

– Газета «Мрак»! «Мрак»–газета!

«Моряк» разошелся в полчаса. Всем было интересно прочесть газету с таким страшным названием. Пожалуй, впервые в жизни неправильность одесского произношения сыграла такую роль в деле распространения печати.

После надлежащего внушения газетчики начали кричать не «Мрак», а «Морак». Им было все равно. Какая разница! Разве это была жизнь! На кладбище годилась такая жизнь, когда газета стоила пятьдесят рублей, а за эти пятьдесят рублей можно было купить на базаре... двадцать спичек, вот что можно было купить на базаре!

В «Моряке» печаталось все, что имело хотя бы отдаленное отношение к морской жизни, – от истории кораблекрушений и ре-



Журналисты «Моряка» на яхте «Мальвина». 1921 г. 1. Л. Борев. 2. А. Аренберг. 3. М. Хинсон
4. Е. Эйбер. 5. М. Иванова. 6. Боцман Миронов. 7. Е. Иванов. 8. Е. Загорская-Паустовская
9. К. Паустовский. 10. Н. Подорольский. 11. Я. Кравцов. 12. И. Лившиц. 13. И. Горелик



Исаак Бабель. Начало 1920-х гг.

волюционной хроники заграничных портов до стихов Тристана Корбьера и рассказов Катаева.

В газете было шестьдесят сотрудников – журналистов, капитанов, писателей, масленщиков, корабельных инженеров, лоцманов, матросов, галюньщиков и поэтов.

В ней сотрудничали Бабель и Семен Юшкевич, Катаев и Шенгели, Эдуард Багрицкий и Славин, Семен Гехт и Андрей Соболев. Ильф в то время работал, кажется, монтером и еще не задумывался над литературным будущим.

Шенгели в солдатских обмотках и белом тропическом шлеме пел звучащие медью стихи о римлянах, истекающих кровью.

Катаев ходил в прожженной шинели, пахнувшей карболкой и сыпняком, и в линялой турецкой феске. Он напечатал в «Моряке» рассказ «Сэр Генри и черт». Рассказ был романтичен и страшен. В редакции говорили, что сам Эдгар По содрогнулся бы, читая его.

Бабель только что приехал из Конармии. Он писал свои рассказы с таким же вкусом и неторопливостью, как портовые грузчики едят белый хлеб с маслинами, – крякая от наслаждения.

Багрицкий, худой и бледный, целыми днями лежал в степи за Люстдорфом и ловил жаворонков и перепелок. В свободное от этого занятия время он писал чудесные стихи и страшным басом рассказывал вымышленные истории из своей жизни на турецком фронте.

Славин писал очерки об одесском базаре под названием «Имеете пару интеллигентных брюк». Гехт работал фальцовщиком в типографии «Известий» и слагал стихи о небе Иудеи.



Лев Исаевич Славин (1896-1984). Одесса, 1920-е гг.



Семен Григорьевич Гехт (1903-1963). Москва, 1920-е гг.

Никто из сотрудников не получал ни копейки. Гонорар выплачивался черным кубанским табаком, синькой и хлебом.

Было время веселья и голода, время молодости республики и не затихающих над горизонтами гроз.

Почему именно из Одессы, а не из Киева или Саратова появилось столько талантов? Я ценю Баранова за то, что в 1921 году в Одессе он произнес в редакции «Моряка», сидя за стаканом морковного чая, пророческие слова:

– В Одессе много солнца, много моря, и вы увидите – в Одессе будут свои Мопассаны!

Одесса – это Левант. Это Черное море, теплые ветры с Босфора, бывшие греческие контрабандисты и негодянты из Пирея. Итальянцы-гарибальдийцы, капитаны и портовые грузчики – банабаки. Богатства всех стран, влияние Франции, гетто на Молдаванке, бандиты, ценившие превыше всего остроумие, седоусые рабочие с Пересыпи, итальянская опера, воспоминания о Пушкине, акации, желтый камень, цветы, любовь к анекдоту и страшное любопытство к каждой мелочи. Все это – Одесса.

Но главное – море. Баранов был прав. Черное море выбросило в жизнь этих писателей, как дарит берегам самые разнообраз-



«Открытый лист» с просьбой оказывать содействие сотруднице газеты «Моряк» Е.С. Загорской. 1921 г.

разные вещи – от поющих раковин до сорванных с якорей плавающих мин, разносящих в пыль прибрежные скалы.

Кроме писателей в «Моряке» работали два корректора – Подбельский и Харито. Оба они были студентами Одесского университета.

Подбельский был томный и картавый юноша. Он ходил преимущественно босиком и в дырявой шинели. В холодные зимние дни он носил облезлое, но все еще пышное дамское боа.

Он любил возвышенные разговоры и считал себя знатоком литературы.

Харито был грек родом с острова Митилены, где его отец до войны издавал греческую либеральную газету. Харито тоже считал себя знатоком литературы. Оба знатока презирали друг друга и обменивались язвительными замечаниями по тонким и спорным вопросам поэзии и прозы.

Когда умер Александр Блок, Харито объявил траур и два дня не выходил из своей комнаты, заваленной книгами. Из книг он

сложил лежанку, покрыл ее старым ковром и спал на ней. Брошенная кровать стояла рядом.

В свою комнату Харито никого не пускал, чтобы сберечь книги от разграбления. Ложе из книг он устроил для того, чтобы скрыть их от «любителей литературы».

Однажды Подбельский пришел в редакцию не в боа, а в добротном матросском тельнике, бушлате и каскетке с золотыми пуговицами. Он объяснил редактору, что из склонности к морской жизни решил переменить профессию и поступил матросом на шхуну «Паванна».

Это была не шхуна, а херсонский дубок, приспособленный под перевозку дров. Пышное название «Паванна» объяснялось просто. Некогда эта шхуна принадлежала Павлу и Анне Бывальченко – херсонским торговцам. Слияние этих имен дало грязному дубку имя, достойное прекрасного клипера Вест-Индской компании.

Подбельский начал плавать на «Паванне» между Одессой, Хорлами и Скадовском. Изредка он заходил в редакцию, загорелый и таинственный. Все заметили, что он начал употреблять в разговоре не подходящие к его интеллигентной внешности крепкие морские слова.

Через два месяца его арестовали вместе со всей командой «Паванны» и выслали из Одессы. Обнаружилось, что «Паванна» занималась незаконной торговлей хлебом и мелкой контрабандой:

Казалось, для Харито пришло время торжествовать над бесславным концом соперника, но, наоборот, Харито пришел в уныние. Причины этого скоро выяснились.

Владельцем «Паванны» в то время был единственный сын Достоевского – Федор Федорович Достоевский, бывший, игрок на бегах.

Я встречал его в Одессе. Это был плотный и неразговорчивый человек с холеной наружностью барина. Он не любил отца. Он морщился, когда при нем разговаривали не только об отце, но вообще о литературе. Когда его знакомили с кем-нибудь и говорили: «Это сын Федора Михайловича Достоевского», он резко бросал: «Я существую сам по себе, вне зависимости от таланта или бездарности моего отца».

Харито называл Подбельского идиотом. Если б ему, Харито, пришлось плавать с сыном Достоевского, то он, конечно, сумел бы вытянуть из него все, что сын знал об отце.

Из моряков – сотрудников газеты – самыми выдающимися были капитан Баранов и боцман Миронов.

Боцман Миронов писать не мог. Он умел только рассказывать. Он много плавал на американских пароходах, сидел в тюрьме в Чикаго и хорошо знал жизнь иностранных моряков. Он рассказывал точно, не привирая ни слова, но все же рассказы его казались фантастическими от обилия малоизвестных фактов.

Миронов прекрасно читал по-английски, пожалуй, лучше, чем по-русски. Он очень любил О. Генри и Джека Лондона и сокрушался, что никто из нас не умеет так писать, как они.

– Вот это ребята! – говорил он. – Способные до писания чудачки. Чернила у них крепкие, как спирт. Одно мне жалко – Лондона я не застал. Приехал к нему на ранчо, а он уже отравился. Жену видел. Грубая женщина, ее бы к нам на Привоз торговать пирогами.

Миронов изредка выступал у нас в роли переводчика.

Баранов переводил с итальянского прекрасную книгу «Заповеди моряка». Это был дневник итальянского кочегара – целая энциклопедия несчастной жизни на грузовом итальянском пароходе. Мы печатали переводы из номера в номер. Матросы на заржавленных пароходах в порту читали их со слезами и восхищением.

В те годы притихшая и пустынная Одесса была погружена в прозрачный воздух и тишину.

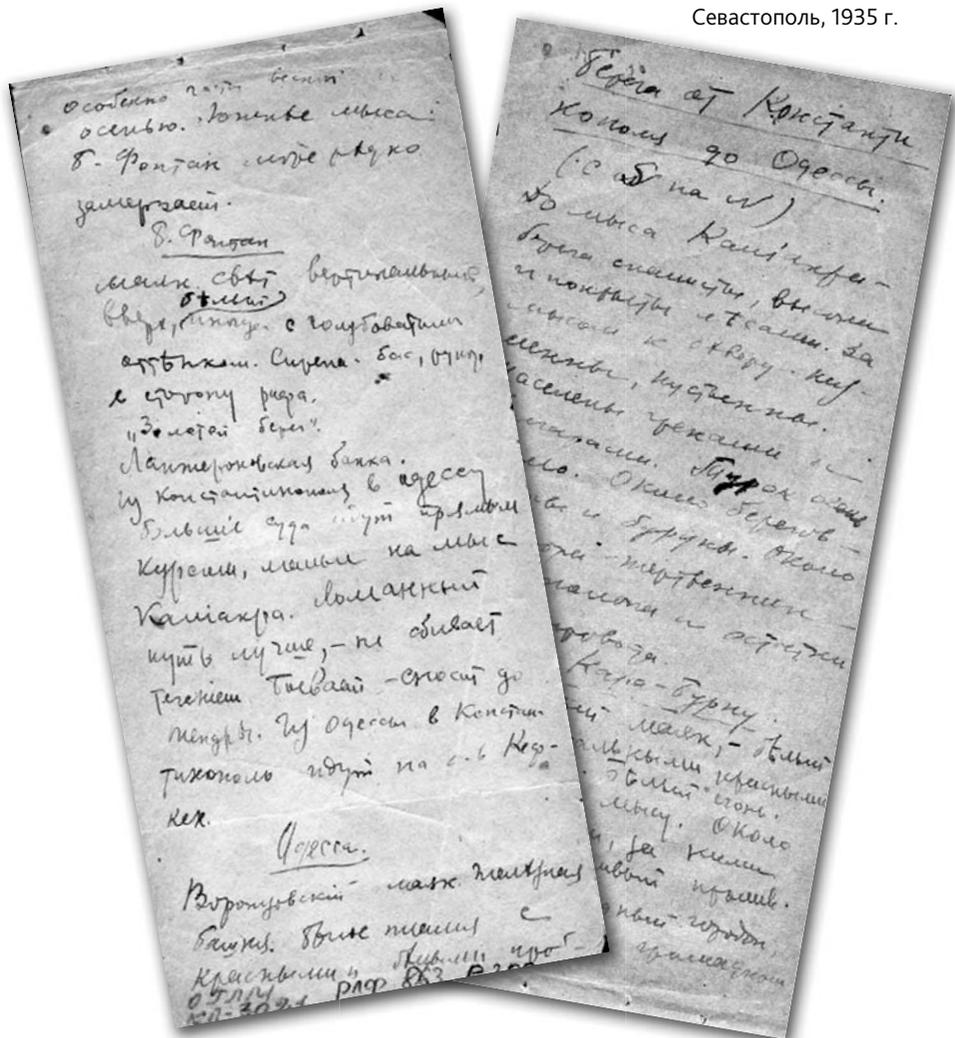
Бездымные дни проплывали над морем и городом торжественно и спокойно. Польша росла на трамвайных путях и на руинах богатых дач в Аркадии и Ланжероне. Иногда тяжелый гром сотрясал берега – это врангелевский крейсер «Кагул» подходил к Очакову, и крепость отгоняла его уверенными и ленивыми залпами.

Все лето было полно морского безмолвия, изредка прерываемого орудийным громом, полно запаха морской травы и степей, полно голода с его легкостью тела и мыслей.

Вся жизнь в Одессе, даже чистый воздух и пустынный порт, где старики удили рыбу, напоминала о блокаде. Только стаи скумб-

рии – веселой средиземноморской рыбы – прорывали ее. Скумбрия приходила из Мраморного моря. Мы удили ее на самодуры. Это было в те дни нашим единственным отдыхом.

Севастополь, 1935 г.



Выписки К. Паустовского из лоции Черного и Азовского морей, касающиеся одесского побережья 1920-1921 гг.

Константин Паустовский

Ровесник революции

Сорок лет для газеты – это почетный возраст. Очень немногие из газет в нашей стране могут гордиться тем, что они – ровесники революции.

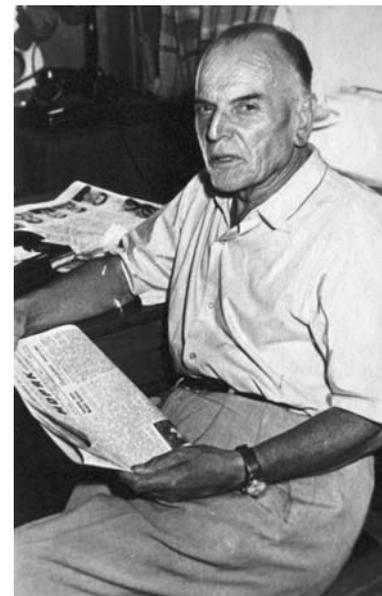
Среди этих немногих газет – черноморский «Моряк».

Он начал выходить еще до революции в Александрии и Константинополе. Кочегары привозили его в Одессу в угольных ямах пароходов.

В то время «Моряк» больше походил на прокламацию или листовку, чем на газету.

После революции «Моряк» начал выходить в Одессе и превратился из листка в большую и своеобразную морскую газету.

Я начал работать в «Моряке» в первые дни его легального существования. Поэтому, пользуясь традиционным правом одного из старейших сотрудников газеты, я поздравляю ее с долголетием и плодотворным существованием и хочу пожелать, чтобы в дальнейшем «Моряк» был так же необходим морякам-черноморцам, как необходимо



К. Паустовский в редакции газеты «Моряк». 1960 г.

само Черное море, чтобы нельзя было представить себе Одессу без «Моряка», как нельзя ее представить без славных морских традиций, без кипучей – трудовой и живописной – жизни, свойственной этому городу.

Морской труд был во все времена, и тем более в наше время, овеян легким дыханием романтики. Эта романтика, равно как и любовь к морю и замечательному труду мореплавания, должны отражаться на страницах «Моряка». В специфичности любого труда заключается большая притягательная сила. Поэтому каждая профессиональная газета должна не терять этой специфичности, прививать любовь к профессии, воспитывать людей, ощущающих свою профессию, как высокое мастерство.

Мы мало говорим о профессиональной гордости, а между тем она особенно свойственна морякам и может поистине творить чудеса.

Черноморские моряки доказали это всей историей нашего черноморского торгового флота, своим героизмом и своей не крикливой, а скромной и потому подлинно глубокой любовью к делу.

«Моряк» получит, конечно, множество приветствий и пожеланий к своему прекрасному юбилею.

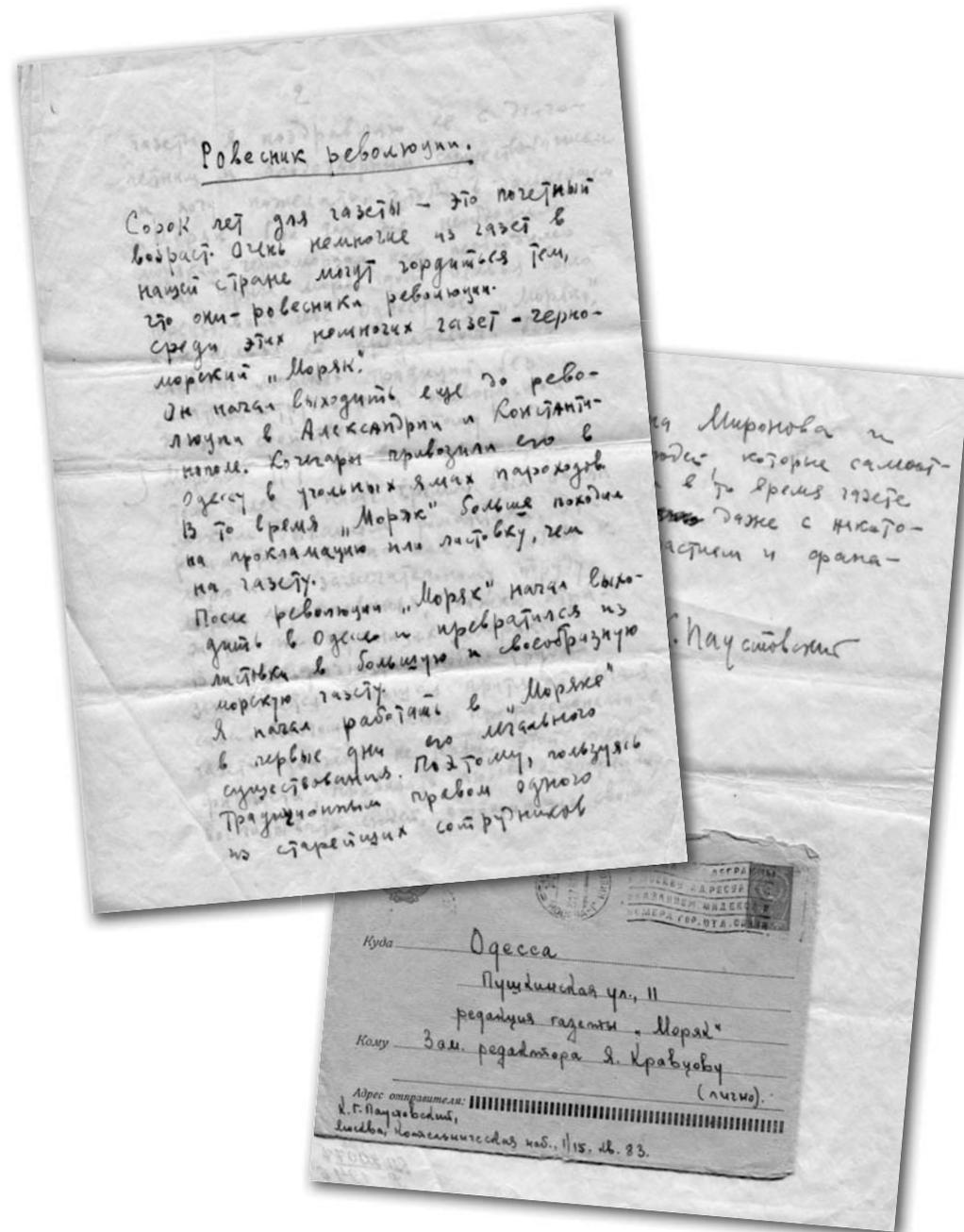
К этим пожеланиям мне хотелось бы добавить только одно – дать газете более широкое «дыхание», иными словами, не ограничиваться только статьями и информацией, но придать газете и литературный характер. «Моряк» должен объединить вокруг себя морских писателей и поэтов и находить и печатать все лучшее в нашей и западной литературе, что имеет непосредственное отношение к морю, к труду и жизни моряков.

Пусть его страницы наполнятся шумом портов, блеском морей, всей живописностью морской жизни.

Сейчас, в дни юбилея, мне кажется уместным вспомнить о тех, кто создавал газету в далекие – трудные, но прекрасные – времена молодости революции, в годы гражданской войны и блокады.

Следует вспомнить добрым словом первого технического редактора газеты Евгения Иванова, сотрудников – писателей и поэтов.

Рукопись из фондов ОЛМ



Новогодний привет

В годы гражданской войны и голода, в один из одесских зимних дней, когда море покрылось льдом до Большефонтанского маяка и гранитные мостовые было отполированы норд-остом до зеркального блеска, зашел однажды в редакцию «Моряка» Бабель и сказал в беседе с редактором пророческие слова о том, что в Одессе много моря, много солнца, много милых женщин и поэтому в Одессе будут свои Мопассаны.

Это предсказание сбылось. За годы революции Одесса дала не одного, а нескольких «Мопассанов», прежде всего, самого Бабеля, поэта Бялика, Катаева, Ильфа, Петрова, Олешу, Веру Инбер, Гехта, Бондарина, Багрицкого, Славина, Маргариту Алигер – столько талантов, что, как говорится, «имя им – легион».

Я благодарен Одессе за многое – за ее жизнерадостность и веселье даже в самых трудных обстоятельствах, за кипучесть ее жителей, за их мужество, доказанное последней войной, за их ребяческое любопытство и простодушие и за их впечатлительность. Нет такого другого места в нашей стране, где бы люди так бурно отзывались на любое событие, хотя бы оно их непосредственно и не касалось.

Одесса прекрасна. Каждый, кто ее покинул, испытывает тоску по ее акациям, ее говору, ее великолепному морю – родному и потому самому лучшему из всех морей.

Я покинул Одессу давным-давно, но нет дня, когда бы я ее не вспоминал. И почти нет ни одной моей повести, где бы не чувствовалось (по крайней мере для меня, для автора) дыхание этого удивительного города.

Пусть же в новом – 1965-м году Одесса расцветет еще богаче, пышнее, пусть дарит людям характерное ощущение счастья, как бы разлитого в самом воздухе этого города.

Что касается моих будущих литературных работ, то мне совершенно ясно, что без Одессы мне не обойтись.

Я хочу передать в этой маленькой заметке самый сердечный и дружеский привет жителям Одессы и товарищам – журналис-

там Одессы, в частности, старейшему журналисту города Александру Александровичу Аренбергу и Якову Кравцову.

[Декабрь 1964 г.]

Рукопись из фондов ОЛМ

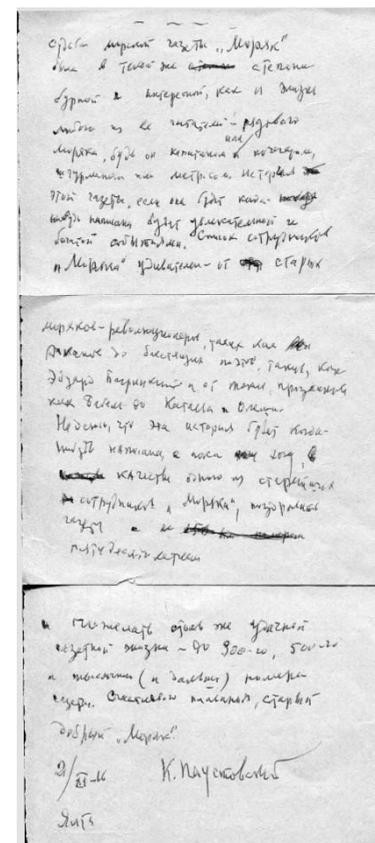
«Судьба морской газеты...»

Судьба морской газеты «Моряк» была в такой же степени бурной и интересной, как и жизнь любого из ее читателей – рядового моряка, будь он капитаном или коچهгаром, штурманом или матросом. История этой газеты, если она будет когда-нибудь написана, будет увлекательной и богатой событиями. Список сотрудников «Моряка» удивителен – от старых моряков-революционеров, таких как Ачканов, до блестящих поэтов, таких как Багрицкий, и от таких прозаиков как Бабель до Катаева и Олешу.

Надеюсь, что эта история будет когда-нибудь написана, а пока хочу в качестве одного из старейших сотрудников «Моряка» поздравить газету с пятидесятилетием и пожелать столь же удачной газетной жизни до 300-го, 500-го и тысячного (и дальше) номера газеты. Счастливого плавания, старый добрый «Моряк»!

21 ноября 1966. Ялта

Рукопись из фондов ОЛМ



К. Паузовский. «Судьба морской газеты...». 1966 г.

К.Г. Паустовский –
Я.Г. Кравцову

Дорогой Яков Григорьевич!
Собирался в Одессу этим летом, но ничего не получается. Осенью много работы с собранием сочинений и к тому же – работы, требующей моего пребывания вблизи Москвы.

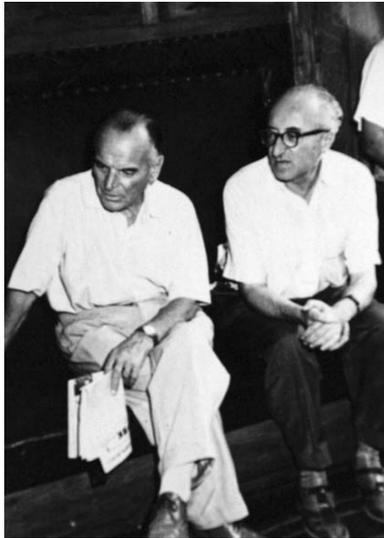
Надеюсь приехать осенью. Очень хочется побродить по Одессе, по Фонтанам, кое-что вспомнить и кое о чем написать.

В связи с тем, что я сейчас не приеду, у меня к вам большая просьба. Валентин Петрович Катаев говорил мне, что в Одесской публичной библиотеке сохранился (кажется единственный) комплекс «Моряка» за 1922 год. Если это так, то попросите, пожалуйста, дирекцию библиотеки от моего имени снять копию (на машинке) моих очерков, напечатанных в «Моряке». Они нужны мне для собрания сочинений. Вот список этих очерков: «Мытарства Дмитрия» – 1922 год, номер от 31-го января, «Морские очерки» – 1922 г., №№ 156, 161, 163. «Из горного дома» 1922 год, № 192 от 5 мая, «Серебряные горы» 1922 г. номер от 7 марта, «Батумские письма» 1922 г. номер от 11-ого октября, «Тропики» № 73, «С берегов Куры» 1923 год, номер от 11-ого марта.

Я, конечно, немедленно оплачу всю эту работу. А перед Вами буду в моральном долгу, – за мной книги.

Буду очень Вам благодарен, если удастся это сделать. Все материалы лучше посылать по моему московскому адресу: Москва Ж-240, Котельническая набер. дом 1.

Таруса, Калужской обл.
17 июля 1957 года
Рукопись из фондов ОЛМ



К. Паустовский и Я. Кравцов
в редакции газеты «Моряк». 1960 г.

Константин Паустовский
Несколько слов о себе
(Отрывок)

«Детская литература», 1937, № 22

«Пришла революция, газетная работа и новые скитания, вызванные гражданской войной. Киев, Полесье, бои с бандами, Одесса – ее пустой порт, ее пустые в то время улицы, где буйно разрасталась акация, работа в газете «Моряк». Это была необыкновенная газета. В ней было около ста сотрудников – писателей, поэтов, художников, лоцманов, матросов, капитанов и грузчиков. Гонорар платили хлебом и табаком. Крепкий черноморский смех



Акации на Дерибасовской улице. Начало XX века

гремел в редакции с утра до ночи. Был голод, но люди смеялись, – будущее шумело вокруг, каждый день был талантлив и свеж. Багрицкий приносил в редакцию свои стихи и пел их своим хриплым взволнованным голосом.

В Одессе я впервые начал писать. Тогда в Одессе начали писать Бабель и Катаев, Ильф и Олеша, Багрицкий и Гехт. Я никогда не забуду работу Бабеля над словом. Я наблюдал ее и понял, что каждое слово заключает в себе великие опасности и вместе с тем великие возможности для писателя. Для точного владения словом нужен беспощадный вкус, строгость.

Из Одессы я уехал на юг на старом пароходе, груженном минами. Девять дней нас мотало в открытом море ледяным штормом. Мы погибали и звали о помощи по радио, но никто не мог нам помочь – весь флот был уведен белыми за границу».

Запись в книге почетных посетителей Научной библиотеки им. М. Горького



К. Паустовский у входа в Научную библиотеку им. М. Горького. 1957 г.

Однажды замечательный писатель – уроженец Одессы – Бабель сказал мне (это было еще в 1921 году): «В Одессе много моря, в Одессе много солнца и в Одессе будут свои Мопассаны. Вот увидите!». Бабель оказался прав. Одесса дала стране плеяду великолепных писателей и поэтов – Багрицкого, Катаева, Ильфа, Петрова, Бабеля, Кирсанова, Инбер, Адалис, Льва Славина, Юрия Олешу, Гехта, Бондарина, переводчика Аркадия Штейнберга, Маргариту Алигер и еще многих. И все это – за последние тридцать лет.

Каждый раз, когда я попадаю в Одессу, я радуюсь каждой мелочи. Здесь действительно «в каждой луже – запах океана, в каждом камне – веянье пустынь». Я благодарен работникам замечательной Одесской библиотеки за помощь – той библиотеки,



Читальный зал Публичной библиотеки. 1910-е гг.

где я бывал (читал в обеденном зале) еще в «древние времена», зимой 1921 года.

29 сентября 1957

Участникам конференции «Литературная Одесса 20-х годов»

Дорогие друзья!

Вы знаете, как я люблю Ваш город, Черное море.

Я не раз старался выразить это в своих книгах и никогда не устану об этом думать, вспоминать и говорить, никогда не устану говорить о том, сколько хорошего, важного принесла мне дружба с Черным морем, с тенистой и солнечной разнохарактерной Одессой, с ее веселыми людьми, славными одесситами, среди которых были такие писатели и поэты, как Исаак Бабель, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Илья Ильф, Евгений Петров, Семен Гехт... Одних я знал больше, дружил с ними ближе, других знал меньше, но от всех этих

встреч я становился богаче. Я очень люблю и ценю писателей и поэтов, чьи имена принято связывать с Одессой: кроме упомянутых – Лев Славин, Сергей Бондарин, Адалис, Шишова.

Не знаю, прав ли я, но мне трудно представить себе Бабеля без Гехта, Олешу без Славина или Бондарина. Разумеется, этим я не хочу сказать о равнозначности этих очень разных литературных талантов. Я говорю об их духовном родстве, о преданности литературному делу.

Я не могу представить себе без этих имен то бурное и шипучее время, когда рождалась на юге советская литература.

Я не назвал еще многих, кого следует отнести к этой славной группе советских писателей и поэтов. Я назвал имена наиболее мне близкие.

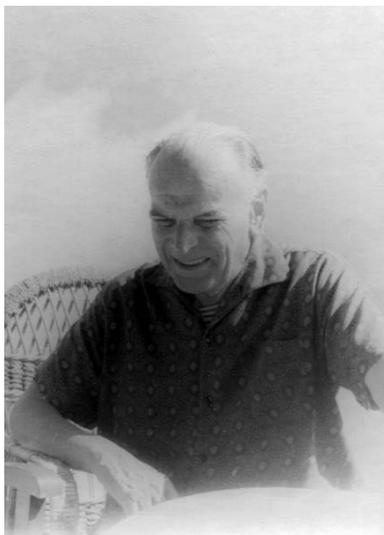
Мне не раз приходилось слышать, что и меня относят к ним, к южанам с берегов Черного моря. Возражать не стану. Какой-то общий ветер обвевал этих людей, и я действительно чувствовал этот ветер и на своих щеках.

Что же это за ветер? Почему так случилось, что за ничтожно короткое время один город дал такой литературный урожай? Конечно же, очень интересно об этом поговорить и подумать.

Ваша конференция подтверждает мою мысль. Я приветствую встречу науки и искусства. Желаю успеха конференции, организованной кафедрой современной литературы Одесского университета им. Мечникова.

Очень жалею, что болезнь не позволяет мне принять в конференции участие более близкое и деятельное.

Москва, Загородная больница, 18 ноября 1964



К. Паустовский. 1966, Ялта. Фото В. Бобовича

Татьяна Липтуга

Одесса в письмах К.Г. Паустовского

В литературном наследии К.Г. Паустовского письма занимают особое место. Наверное потому, что, как и у любого другого известного человека, переписка с друзьями, эпистолярное общение со своими современниками представляют собой целый мир чувств, мыслей, скрытых от нас, читателей, знакомых с автором лишь через его опубликованные произведения. Этот мир открывается для читателей и исследователей гораздо позднее, когда начинают собираться сведения и документы о прожитой жизни писателя.

Письма Константина Георгиевича Паустовского ценны не только как документальные свидетельства творческой биографии писателя, многие из них представляют интерес и как образец жанра. Эпистолярный стиль Паустовского прекрасен, отрывки, а иногда и письма целиком, по праву можно считать маленькими законченными по форме литературными произведениями, где музыкой звучит каждая фраза. Рувим Фраерман так характеризовал письма Паустовского: «Уже в самых ранних письмах, которые, конечно, чаще писались в спешке, где-нибудь на вокзалах в ожидании поезда, не только стилю, но и самим мыслям нельзя отказать в блеске, меткости и тонком изяществе. Зоркий глаз сразу схватывал нужную деталь».

Именно в ранних письмах Паустовского появляются первые упоминания об Одессе. Она стала не только городом в ряду многих, где он побывал в течение своей жизни. Одесса для него – город у моря, здесь он увидел его впервые. Морем были наполнены мечты юного Паустовского, о нем он пишет в ранних стихах, тетрадь с которыми затем посылает И. Бунину. Среди них – стихотворение «У Ланжерона прибой пели». Об этой тетради и «одесском» стихотворении мы

узнаем из его письма будущей жене Екатерине Степановне Загорской от 12 февраля 1917 г.

Море для Паустовского всегда было чем-то большим, чем обыкновенным, пусть и прекрасным явлением природы. Одушевляя его, он жил сперва мечтой, затем – воспоминаниями о нем. Очевидно, поэтому уже в ранних своих письмах он всегда обязательно несколько строк посвящает морю, спрашивает о нем, передает «привет морю».

Одесса стала для Паустовского и городом его первой любви. Образ любимой и образ южного города, овеянного морскими ветрами, сливаются воедино в его ранних романах – «Черное море», «Блистающие облака». Но еще раньше этот образ рождается в его письмах. В одном из писем Е. Загорской 1915 г. он пишет: «Когда я напрягаю память, мне смутно видится широкая знойная улица, ночь, прозрачная бесконечность огней, шелест листвы каштанов по сонной улице, где разлита чуткая тишина, какая-то особая тишина звезд, гулко звучат мои шаги, и я знаю, что где-то здесь близко-близко дышит море. Весна прильнула к морю. И в шелесте листьев, в теплых ветрах, в шуме ночного моря, во всем я чувствую твою близость, я вижу твои глаза, Неуловимый сон, что-то, что было и чего не было. Может быть, образы Одессы».

Впервые К. Паустовский побывал в Одессе вместе со своим отцом, будучи четырнадцатилетним подростком. Именно тогда произошла его первая встреча с морем. Но настоящая любовь к этому городу пришла лишь в 1915 году, когда он, санитар военно-санитарного поезда № 255, после дыма, грохота, крови и человеческих страданий первой мировой войны увидел перед собой пронизанную солнечным сиянием Одессу. Спустя несколько месяцев он пишет Е. Загорской о себе и своем товарище по санитарному отряду: «Со слезами вспоминали Одессу».

В письмах этой поры Паустовский постоянно возвращается к приезду в Одессу 1915 г., стремится приехать вновь. В феврале 1916 г. в письме из Москвы к Е. Загорской он пишет: «Здесь я пробуду недолго, числа до 24-го, потом – в Одессу... В Одессе я буду писать...».

Однако надолго приехать в Одессу ему было суждено лишь в 1919 г., когда он бежит из Киева от деникинской мобилизации. Этот одесский период, длившийся до января 1922 г., и лег в основу автобиографической повести «Время больших ожиданий». Но впервые впечатления об Одессе 20-х годов отразятся в письмах. 25 января 1922 г. в письме из Севастополя в Одессу появится первое описание плавания на паро-

ходе «Димитрий», из письма к матери от 17 декабря 1923 г. мы также узнаем о его жизни в Одессе и отъезде из нее: «В Одессе жилось очень скверно, был голод, холод... Из Одессы пришлось бежать в Сухуми от голода в январе 22 года. Я уехал вперед, на разведку, и десять дней наш пароход носило штормом по Черному морю, занесло в Босфор, мы уже дали радио о гибели, но в конце концов все обошлось».

Отъезд на «Димитрии» из голодной, пронизанной ледяным норд-остом Одессы не прервал связь с городом. Паустовский продолжает оставаться сотрудником газеты «Моряк», где на протяжении многих лет публикуются его очерки. И спустя месяц после отъезда забываются все трудности одесской жизни: «Я все не могу забыть туманный день в такой милой теперь Одессе, когда ты провожала меня и долго махала шарфом» (письмо к Е. Загорской от 19 февраля 1922 г.).

В 1925 г. он опять приезжает к морю, побывав перед этим в Каховке, Николаеве, Херсоне. И об этом приезде в Одессу мы узнаем лишь из письма к Е. Загорской от 8 июля 1925 г.: «Из Херсона в Одессу шли на «Желябове». За Очаковым была качка... В Одессе остановились у Аренберга (семья на даче). За три дня загорели страшно, я весь коричневый. В Одессе я умышленно никуда не хожу, чтобы не уставать. Видел



Э. Багрицкий, В. Катаев, Я. Бельский. Одесса, 1925 г.



А. Аренберг. Одесса, 1950-е гг.



С. Гехт. Москва, 1933 г.

Багрицкого и Колю. Ловил сегодня бычков на 9-й станции, на старом камне. Поймал 20 штук. Море яркое, дни солнечные, жара тропическая. Едим страшно много. Я посвежел. Багрицкий спел мне песенку старых евреев с Молдаванки, я ее записал, ужасно смешная». Позднее он напишет: «Эта поездка дала мне очень много, гораздо больше прошлогодней». По тому же адресу (Театральный переулок, 14) у журналиста Александра Аренберга Паустовский живет в июле 1927 г. В своем письме к Е. Загорской от 23 июля он подробно отчитывается о каждом дне, проведенном в Одессе: «Подробно опишу тебе все свои дни. В среду 20-го был на даче у Аренберга (на Французском бульваре). Купался, катался на шлюпке в море... 22-го ездил с Гехтом, Верочкой и очень славным студентом Бондариним в Аркадию... Сегодня компанией (Гехты, Бондарин, Кирсанов (поэт) были на Австрийском пляже, Кирсанов читал свою поэму... Одесса стала очень хороша, – напоминает 16 год, когда мы были с поездом. Новость – обочины улиц засеяны цветами, особенно много табаку, по вечерам он сильно пахнет. Дни стоят страшно знойные, в 3 часа жутко выйти, вечера прекрасные. В городе много музыки, огней».

Этот приезд был последним в череде 20-х годов. Но мысли о море, страсть к путешествиям не оставляют Паустовского. Он готовится стать моряком и связывает эту мечту с Одессой. Это доказывает письмо 1929 г.: «Из Москвы в мае мне надо будет ненадолго уехать в Одессу – сдать экзамен на штурмана дальнего плавания. Я не думаю делать из этого свою профессию, но это даст мне возможность иногда плавать, главным образом за границу», – пишет он своему дяде Николаю Григорьевичу Высочанскому. Позднее Константин Георгиевич вспоминал: «Одно время я всерьез думал стать моряком. Но вскоре мечта о писательстве вытеснила все остальные. Писательство соединяло в себе все привлекательные профессии мира. Оно было независимым, мужественным и благородным делом».

В 1935 г. Паустовский вновь побывал в Одессе с семьей, о чем мы узнаем из его письма 1941 г.: «Вчера утром вернулся в Тирасполь, а ночью выехал в Одессу вместе с Михалковым... Остановился в Красной гостинице – рядом с тем номером, где мы все жили в 1935 году...».

Так случилось, что встречи Паустовского с Одессой происходили в наиболее трудные для города времена. В 1941 году ему довелось увидеть Одессу совсем другой, непохожей на тот светлый беспечный город, который он так любил. Не верил, что немцы могут занять его. Работая при редакции военной газеты «Во славу Родины», он побывал на передовой, после чего опубликовал три очерка о бойцах Южного фронта. Тогда ему уже было 43 года. В октябре 1941 года он напишет Рувиму Фраерману: «Полтора месяца я пробыл на Южном фронте, почти все время, не считая трех-четырёх дней, на линии огня. Из москвичей видел Михалкова и Бориса Горбатова, в Одессе видел Олешу. Был и на суше, и на море...».

В годы войны и после нее образ Одессы не оставляет его. Он пишет в Алма-Ате «четыре связанных жанром коротких сценариев об Одессе, Севастополе, Ленинграде и Сталинграде (об осажденных городах)». Об этом мы узнаем из его письма А.Я. Таирову 1943 года. В 1949 г. написана пьеса о Пушкине. Паустовский избирает два периода в биографии поэта: одесский и михайловский.

Все цитируемые выше письма были опубликованы в девятитомном собрании сочинений. Тогда читатель впервые смог познакомиться с такой полной подборкой писем К.Г. Паустовского. Однако со времени выхода в свет собрания сочинений стали известны новые материалы, среди

которых – письма Паустовского старейшему одесскому журналисту Якову Григорьевичу Кравцову. Эти материалы поступили и хранятся в фондах Одесского государственного литературного музея.

Последние приезды в Одессу Константина Георгиевича связаны с его работой над главной книгой писателя «Повесть о жизни» и, конечно, одесской ее частью – повестью «Время больших ожиданий». В 1956 г. из Одессы он отправляется в путешествие на теплоходе «Победа» по странам Западной Европы. А в следующем, 1957 году, собирается в Одессу вновь. Об этом мы узнаем из его письма Я.Г. Кравцову из Тарусы 17 июля 1957 г.: «Собирался в Одессу этим летом, но ничего не получается. Очень много работы с собранием сочинений. Надеюсь приехать осенью». В письме он сообщает о работе над собранием сочинений, куда должны войти и очерки, впервые увидевшие свет на страницах газеты «Моряк» 1922 г.

Паустовский все-таки приедет в Одессу в 1957 году и в книге почетных посетителей публичной библиотеки имени М. Горького, где он работал над материалами 1919-1925 гг., оставит следующую запись: «Однажды замечательный писатель – уроженец Одессы – Бабель сказал мне (это было еще в 1921 году): «В Одессе много моря, в Одессе – много солнца, и в Одессе будут свои Мопассаны. Вот увидите!». Бабель оказался прав. Одесса дала стране плеяду великолепных писателей и поэтов...».

Легко писались одна за другой страницы замечательной повести об Одессе 20-х годов, о «республике молодых поэтов», которая царил в эти годы в городе. Но нелегко был путь этой книги к читателю. В то сложное время 50-х годов, когда на многие имена и события нашей истории был наложен запрет, К.Г. Паустовский остался верен себе, сохранил свою цельность, свой взгляд на историю, на мир, на предназначение писателя. Во времена травли Ахматовой и Зощенко, Шостаковича и Пастернака Паустовский во весь голос заговорит после долгих лет молчания о Бабеле. То, что было присуще ему всегда, честность перед самим собой, осталось с ним и в эти трудные годы. Вот почему он, человек очень деликатный и мягкий в общении с людьми, пишет столь резкое письмо по поводу своей книги «Время больших ожиданий» в редакцию журнала «Новый мир», куда он отдал рукопись: «В книге, по-вашему, показаны разные «щелкоперы новой прессы». Такое заявление более приста-

ло гоголевскому городничему, чем редакции передового журнала. Щелкоперов нет! Есть люди. Люди во всем разнообразии их качеств, и незачем клеить на них унижительные ярлыки...».

На смену волнениям о судьбе книги к Паустовскому приходит уверенная мысль: «...у меня теперь странное состояние, – я почти не волнуюсь и мало думаю об этом. Лишь бы лежала законченная книга, а рано или поздно она дойдет до страны», – пишет он Виктору Шкловскому.

Последний раз К. Паустовский побывал в Одессе в сентябре 1960 г., но связь его с городом после этого не прервалась. Среди материалов, хранящихся в Одесском литературном музее, – рукопись статьи Паустовского, присланная им в Одессу к 40-летию газеты «Моряк». С просьбой что-то написать для газеты к писателю обратился Я. Кравцов. Ответ был получен незамедлительно. Через три дня в редакцию пришел пакет с текстом статьи «Ровесник революции».

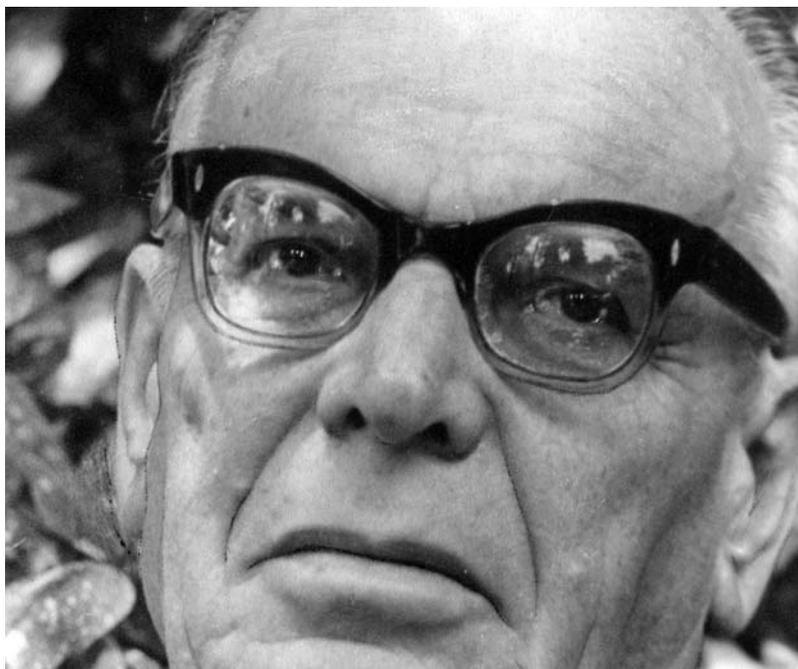
Судьба газеты не могла не волновать Паустовского. С 1 января 1963 г. «Моряк» неожиданно прекратил свое существование. Предпринимались всевозможные меры для возобновления газеты. И опять Я. Кравцов обращается за помощью к ее бывшему сотруднику Константину Паустовскому. Через некоторое время он получает телеграмму: «Позвоните скорее Паустовскому. Есть новости». Этой новостью было решение о возобновлении выпуска «Моряка».

1 мая 1963 года после пятимесячного перерыва вышел его очередной номер.

В 1965 г. Я. Кравцов получил ответ на просьбу к Паустовскому прислать какой-либо материал для «Моряка». Рукопись этого ответа хранится в фондах литературного музея. В ней выразилась вся любовь, вся теплота писателя к городу своей юности: «Одесса прекрасна. Каждый, кто ее покинул, испытывает тоску по ее акациям, ее говору, ее великолепному морю – родному и потому лучшему из всех морей. Я покинул Одессу давным-давно, но нет дня, когда бы я ее



Телеграмма Я.Г. Кравцову 22 января 1963 г.



Мне хочется
хотя бы маленькой,
но светлой памяти о себе...

не вспоминал, и почти нет ни одной моей повести, где бы ни чувствовалось... дыхание этого удивительного города. Что касается моих будущих литературных работ, то мне совершенно ясно, что без Одессы мне не обойтись».

Библиография

1. Паустовский К.Г. Собрание сочинений в 6 т. – М., 1968.
2. Паустовский К.Г. Собрание сочинений в 9 т. – М., 1986.
3. Воспоминания о Константине Паустовском. – М., 1975.
4. Паустовский К.Г. Поэтическое излучение. – М., 1976.
5. Левицкий Л.А. Константин Паустовский: Очерк творчества. – М., 1977.
6. Ачкасова Л.С. Раннее творчество К. Паустовского, 1916-1932 гг. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1960.

К. Паустовский



Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе. Такой же слабой, как мимолетная улыбка.

Улыбнитесь же мне напоследок. Я приму эту улыбку как величайший и незаслуженный дар и унесу ее с собой в тот непонятный мир, где нет «ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

Одесса – Паустовскому

1961 – в издательстве «Маяк» тиражом 100000 экземпляров вышла книга «Время больших ожиданий». Редактор Л. Пятницкая, художник А. Галушкин.

1968 – по инициативе Ю. Комаровских принято решение Одесского областного исполнительного комитета о присвоении имени К.Г. Паустовского районной массовой библиотеке № 2.

1971 – решением одесского Городского совета депутатов вновь созданной улице на поселке Котовского присваивается имя К. Паустовского.

1977 – в издательстве «Маяк» тиражом 150000 вышла книга «Время больших ожиданий: Повесть, рассказы». Составитель Ж. Зинченко, предисловие Ю. Бондарева, иллюстрации А. Слепкова.

1984 – открылся Одесский литературный музей. Создатели экспозиции, посвященной Константину Паустовскому, – научные сотрудники Т. Липтуга, О. Попроцкая, Н. Городецкая, М. Лошак, художник А. Гайдамака.

В фондах музея хранятся 16 рукописей и писем, 50 подлинных фотографий, 112 прижизненных книг и публикаций писателя, удостоверения сотрудников «Моряка» И. Лившица, Е. Загорской и Л. Хинсон-Синявской 1921 года, подписанные К.Г. Паустовским, личные вещи – тельняшка, фуражка, удочки, блесна и поплавки. Все это передано в дар музею В. Паустовским – сыном писателя, журналистом «Моряка» Я. Кравцовым и его женой, писателем С. Бондариним, бывшим корректором «Моряка» Н. Подорольским.

1990 – установлена мемориальная доска на ул. Черноморской, 8. Скульптор Н. Конищев.

1992 – выходит библиографический указатель «Константин Паустовский в Одессе», составитель Г. Зленко, издание ОГНБ им. М. Горького.

1993 – основано литературное товарищество «Мир Паустовского», председатель В. Глушаков, секретарь С. Кузнецова.

1995 – решением Одесского областного военного комиссариата К.Г. Паустовский награжден посмертно медалью «За оборону Одессы».

1998 – литературным товариществом «Мир Паустовского» создан народный музей К.Г. Паустовского.

1999 – народный музей стал мемориальным музеем К.Г. Паустовского – филиалом ОЛМ. Адрес – ул. Черноморская, 6. Заведующий филиалом В. Глушаков.

1999 – по инициативе В. Глушакова учреждена ежегодная Муниципальная литературная премия им. Паустовского, которая вручается 31 мая, в день рождения писателя.

1999 – установлена памятная доска на ул. Паустовского.

1999 – выходит библиографический указатель «Одесса – Константину Паустовскому. 1993-1999», составитель С. Кузнецова, издание ОЛМ.

2004 – в издательстве «Полис» тиражом 100 экземпляров вышла пьеса «Поручик Лермонтов» с предисловием П. Мацкевича и комментариями С. Малыш.

2004 – распоряжением одесского городского головы К.Г. Паустовский награжден посмертно знаком «60 лет освобождения г. Одессы от фашистских захватчиков».

2006 – Международная конференция, посвященная 70-летию выхода повести «Черное море», на теплоходе «Южная Пальмира», Одесса – Стамбул.

2007 – Международная конференция «Творчество К.Г. Паустовского в XXI столетии». Одесса, Литературный музей.



Мемориальная доска на ул. Черноморской, 8

2008 – в издательстве «Optimum» тиражом 500 экземпляров вышла книга «Время больших ожиданий», в которую вошли дневниковые записи 1920 года. Главный редактор А. Таубеншлак, директор издательства и автор идеи Б. Эйдельман.

2008 – в издательстве «Optimum» тиражом 500 экземпляров вышла книга «Черное море» в переводе на украинский язык Г. Островской, с иллюстрациями С. Крыжевской.

2008 – создан сквер имени Паустовского на ул. Черноморской.

2010 – в Саду скульптур Литературного музея открыт памятник «Время больших ожиданий». Автор проекта – Л. Липтуга, скульптор – О. Черноиванов, меценат – О. Платонов, президент АО «ПЛАСКЕ».



«Время больших ожиданий». Сад скульптур Одесского литературного музея

Тексты печатаются по:

І. У Ланжерона прибои пели

Главы из повести «Беспокойная юность». Печатается по: Паустовский К.Г. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 3. М., 1957.

Главы из повести «Начало неведомого века». Печатается по: Паустовский К.Г. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 3. М., 1957.

«Время больших ожиданий». Печатается по: Паустовский К.Г. «Время больших ожиданий» / Октябрь, 1959. № 3, 4, 5.

К. Паустовский. Киев – Одесса (отрывок). Современное слово, 1919, 5 (18) дек., № 45.

Письма К.Г. Паустовского Е.С. Загорской. Печатается по: Паустовский К. «Время больших ожиданий»: Повести, дневники, письма. Т. 1. М., 2002.

«Мытарства «Димитрия». Печатается по: Моряк, 1922, 31 января.

«Севастополь». Печатается по: Моряк, 1922, 23 февраля.

Я. Ядов. Жертва долга. Печатается по: «Моряк», 1921, 1 марта.

Устав клуба литераторов. Печатается по: Паустовский К. «Время больших ожиданий»: Повести, дневники, письма. Т. 1. М., 2002.

Письмо К. Паустовского в газету «Моряк». Печатается по рукописи из фондов Одесского литературного музея.

Письмо А. Твардовского К. Паустовскому.

К.Г. Паустовский – редакционной коллегии журнала «Новый мир» А.Т. Твардовскому, А.Г. Дементьеву. Печатается по: Паустовский К. «Время больших ожиданий»: Повести, дневники, письма. Т. 1. М., 2002.

II. Одесса – ее пустой порт, ее пустые в то время улицы...

Из дневников. Печатается по: Паустовский К. «Время больших ожиданий»: Повести, дневники, письма. Т. 1. М., 2002.

Дневники 1920 года. Печатается по: Паустовский К.Г. Дневники 1920 года / Мир Паустовского. – 2005. – № 25.

III. В Одессе можно было ожидать чего угодно

«Слава боцмана Миронова». Печатается по: Паустовский К.Г. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 4. М., 1958.

«Случай в магазине Альшванга». Печатается по: Паустовский К.Г. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 4. М., 1967.

«Инкубатор капитана Косоходова». Печатается по: Паустовский К.Г. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 4. М., 1958.

IV. Я покинул Одессу давным-давно, но нет дня, когда бы я ее не вспоминал

Глава из повести «Черное море». Печатается по: Паустовский К.Г. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 1. М., 1957.

«Ровесник революции». Печатается по рукописи из фондов ОЛМ.

«Новогодний привет». Печатается по рукописи из фондов ОЛМ.

«Судьба морской газеты...» Печатается по рукописи из фондов ОЛМ.

Письмо Я.Г. Кравцову. Печатается по рукописи из фондов ОЛМ.

«Несколько слов о себе...» Печатается по: «Детская литература». 1937. № 22.

«Однажды замечательный писатель...» Печатается по записи в книге почетных посетителей Научной библиотеке им. М. Горького.

Участникам конференции «Литературная Одесса 20-х годов». Печатается по рукописи из фондов ОЛМ.

«Одесская библиотека»

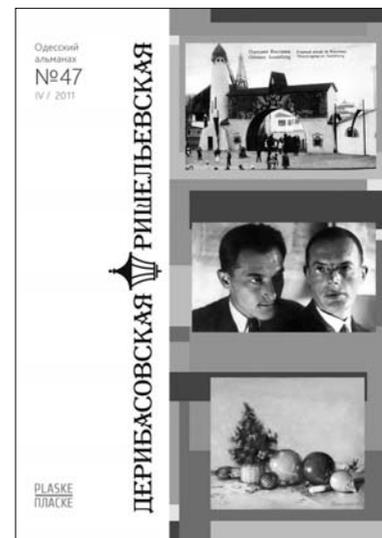


С сентября 2011 года мы адресуем всем, кого интересует история, сегодняшний день и будущее Одессы, специальное предложение. Раз в три месяца вы можете приобрести сразу два издания из серии «Одесская библиотека», которую выпускают Всемирный клуб одесситов и АО «ПЛАСКЕ»: очередной номер альманаха «Дерибасовская – Ришельевская» и книгу, жанр которой меняется (проза, стихи, мемуары, краеведение), но неизменно связан с Южной Пальмирой.

Вышли в свет

2011

Альманах «Дерибасовская – Ришельевская», кн. 47



Тема номера: Одесский Новый год

Он, как известно, отмечается 2 сентября – в День рождения города. По традиции, Литературный музей и АО «ПЛАСКЕ» дарят одесситам и нашим гостям очередной календарь, посвященный одной из улиц – на сей раз Маразлиевской. С нее начинается парк культуры и отдыха имени Шевченко, который ранее назывался Александровским. Здесь в 1910-11 годах состоялась знаменитая Одесская промышленная выставка. От-

кройте наш альманах на восьмой странице – и вы, словно на машине времени, перенесетесь в Одессу начала XX века, когда деревья были молодыми, а на аллеях парка располагались павильоны с продукцией самых известных фирм Юга России, познакомиться с которыми в наш город приезжали деловые люди со всего света...

Анатолий Горбатюк. «Хоть джаз и не родился в Одессе...»



Тема книги: Мы таки да из джаза

Автор книги уверен, что это заморское детище не только прижилось в Южной Пальмире, но и обогатилось музыкальными традициями народов, создавших наш город и населяющих его и поныне. Анатолий Горбатюк – морской строитель, в молодости был знаменитым джазовым барабанщиком, и в душе остается им и сегодня. Он играл в прославленных одесских биг-бендах с музыкантами, чьи имена стали легендарными. Увы, многих уже нет с нами, других время разбросало по све-

ту, но джазовое братство вечно и незыблемо. Книга нашего земляка нашла горячий отклик повсюду, где живут одесситы.

2012

Альманах «Дерибасовская – Ришельевская», кн. 48



Тема номера: Эхо фестиваля

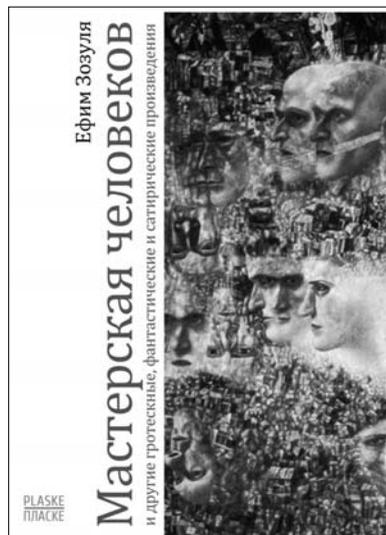
Международного литературного, который под эгидой Одесского литературного музея и московского журнала «Октябрь» летом минувшего года собрал ведущих прозаиков, поэтов, критиков, журналистов, режиссеров России, Украины, стран дальнего зарубежья. Тогда темой круглых столов, диспутов – подчас и горячих – стала история зарождения уникальной литературной школы «Юго-Запад», давшей миру выдающихся писателей, – и в первую очередь, Исаака Бабеля. Не менее актуальным был

вопрос, существует ли эта школа сегодня... И вот спустя несколько месяцев участники фестиваля выполнили своеобразное «домашнее задание» – передали в наш альманах и журнал «Октябрь» произведения, навеянные днями, проведенными в Одессе.

Ефим Зозуля. «Мастерская человек»

Тема книги: Сатира не стареет

Этот том имеет подзаголовок: «...и другие гротескные, фантастические и сатирические произведения». В этих жанрах Ефим Зозуля, творчество которого связано с Одессой, был непревзойденным мастером, а как создатель антиутопий – и первопроходцем.



Еще в 30-е годы минувшего века он остроумно и убедительно показывал подлинное лицо тоталитарного режима, царившего в СССР. Долгие годы творчество Зозули замалчивалось, его книги стали редкостью и были практически неизвестны большинству наших современников. Известный одесский литератор и культуролог Евгений Голубовский собрал под одной обложкой произведения Зозули, опубликованные много лет назад, и в предисловии подчеркивает, что подлинный талант остается востребованным спустя годы, а острая сатира не стареет.

Если вас заинтересовали издания «Одесской библиотеки», и вы захотели их купить, обращайтесь на сайт АО «ПЛАСКЕ»:
www.plaske.ua/publishing

Номера альманаха «Дерибасовская – Ришельевская» с 2000 по 2012 год можно найти на сайте Всемирного клуба одесситов:
www.odessitclub.org

Содержание

Алена Яворская «Глубокое очарование жизнью»	5
У Ланжерона прибои пели...	15
Беспокойная юность. Главы из повести Океанский пароход «Португаль»	17
По разбитым дорогам	34
Начало неведомого века. Главы из повести О фиринке, водопроводе и мелких опасностях	37
Последняя шрапнель	56
Время больших ожиданий	65
Предки Остапа Бендера	65
Лабиринты из фанеры	86
Ячная каша	91
Блокада	95
Хитросплетение обстоятельств	108
«День мирного восстания»	113
Австрийский пляж	124
Глицериновое мыло	130
Рубка мебели	141
Полотняные удостоверения	156
Похищенная речь	172

Мнимая смерть художника Костанди	176
«Что вы хотели, молодой человек?»	187
«Мопассанов я вам гарантирую»	197
«Тот» мальчик	211
Каторжная работа	219
Близкий и далекий	228
Скандал с благородной целью	234
Замедленное время	245
«Прощай, моя Одесса, славный карантин!»	266
Одиннадцать баллов	277
Акрополь Таврический	292
В глубине ночи	305
Ростислав Александров	
Что было – то было, или Хожжение внутри книги	313
Константин Паустовский. Киев – Одесса (Отрывок)	379
К. Паустовский – Е.С. Загорской-Паустовской	381
К. Паустовский – Е.С. Загорской-Паустовской	381
К. Паустовский – Е.С. Загорской-Паустовской	384
Мытарства «Димитрия»	385
Севастополь	385
Яков Ядов. Жертва долга	387
Устав клуба литераторов «Под яблочным деревом»	389
А.Т. Твардовский – К.Г. Паустовскому	391
К.Г. Паустовский – редакционной коллегии	
журнала «Новый мир» А.Т. Твардовскому, А.Г. Дементьеву ...	393
Письмо К. Паустовского в газету «Моряк»	396
Одесса – ее пустой порт, ее пустые в то время улицы.....	399
Из дневников	402
Из Киева в Одессу, конец 1919 года	402
Из одесских записей того же блокнота, с марта 1920 года ...	403
Из записей на отдельных листках,	
октябрь – ноябрь 1920 года	404

Зима, 1921 год	407
Из путевого блокнота: Одесса – Севастополь – Сухум,	
январь 1922 года	407
1920 год. Из дневника	408
В Одессе можно было ожидать чего угодно.....	419
Слава боцмана Миронова	421
Золотая роза. Глава из повести	
Случай в магазине Альшванга	425
Инкубатор капитана Косоходова	433
Я покинул Одессу давным-давно, но нет дня,	
когда бы я ее не вспоминал.....	443
Черное море. Глава из повести. Веселье и голод	445
Ровесник революции	453
Новогодний привет	456
«Судьба морской газеты...»	457
К.Г. Паустовский – Я.Г. Кравцову	458
Несколько слов о себе. (Отрывок)	459
Запись в книге почетных посетителей	
Научной библиотеки им. М. Горького	460
Участникам конференции	
«Литературная Одесса 20-х годов»	461
Татьяна Липтуга	463
Одесса в письмах К.Г. Паустовского	463
Мне хочется хотя бы маленькой,	
но светлой памяти о себе... ..	471
Одесса – Паустовскому	474
«Одесская библиотека».....	479

Литературно-художественное издание

Паустовский Константин Георгиевич
Время больших ожиданий
Рассказы, дневники, письма

Координатор проекта «Одесская библиотека» Иван Липтуга

*Редактор Феликс Кохрихт
Верстка, корректура Татьяна Коцневская*

Подписано в печать 18.04.2012
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Cambria
Формат 60x84/16
Зак. № ___ Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в издательстве «ВМВ»

www.odessitclub.org

PLASKE
ПЛАСКЕ

Издательская организация «ПЛАСКЕ» АО
Регистрационное свидетельство ДК № 2149 от 08.04.05
а/я 299, г. Одесса, 65001, Украина
Тел. +38 (048) 7 385 385
E-mail: books@plaske.ua